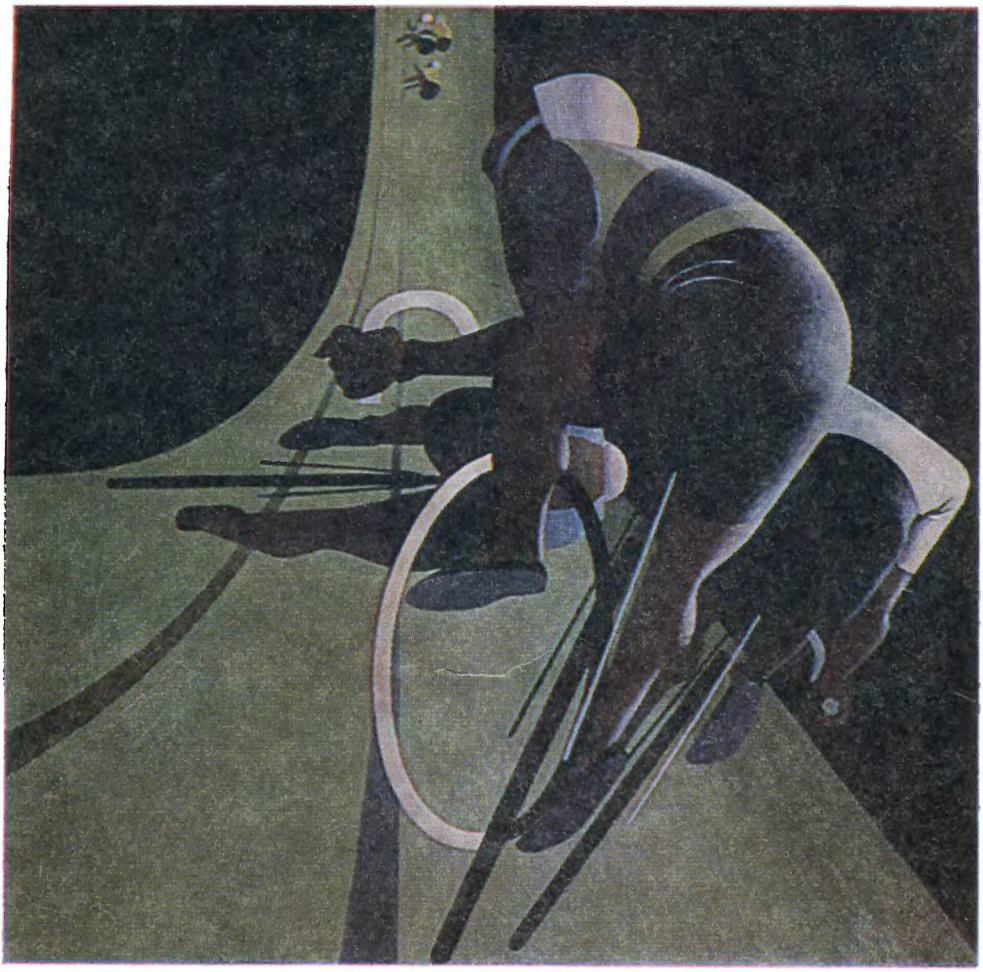
ISSN 0130–6545

11. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ПЬЕР ШАРЛЬ БАЙЛЬ «Композиция».

Цветные иллюстрации номера — работы французских художников.

На 1-й и 4-й страницах обложки —

ЖАН ЖЮЛЕН «Рыбная ловля».

ПЬЕР ГОТЬЕ «Волна». (Посвящается Ивану Айвазовскому)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1986

Содержание

ГЕРМАН КАНТ — Рассказы *(Перевод с немецкого И. Каринцевой)* 3

Из поэзии Южной Африки

ВИЛМА СТОКЕНСТРЕМ. ЛИНА СПИС *(Перевод с африкаанс Евгения Витковского. Вступление Аполлона Давидсона)* 30

ПИРС ПОЛ РИД — Женатый мужчина *(Роман. Окончание. Перевод с английского А. Клышко. Послесловие Георгия Анджапаридзе)* 40

Из французской поэзии

ЖАН Л'АНСЕЛЬМ. РУБЕН МЕЛИК. ИВ БЕРЖЕРЕ. ЖАН ОРИЗЕ *(Переводы с французского Александра Ревича, Элисбара Ананиашвили, Юлии Сульповар, Аллы Тер-Акопян, Ильи Кутика, Григория Кружкова)* 153

КОБО АБЭ — Вошедшие в ковчег *(Роман. Продолжение. Перевод с японского В. Гривнина)* 162

Публицистика

ВЛ. ГАКОВ — Размышляя о немыслимом *(Атомный контекст американской фантастики)* 206

Культура и современность

А. Строев — Признание или эпитафия? *(По поводу одной международной премии)* 214

Критика

Н. ФЕДОРЕНКО — Лицом к правде *(Заметки о китайской прозе 80-х годов)* 219

ВИК. ЕРОФЕЕВ — Путешествие Селина на край ночи 228

Редакцию посетили...

МАРГАРЕТ ФОРСТЕР и ХАНТЕР ДЭВИС *(Великобритания)* 237

Антирубрика

Рассказы итальянских писателей

ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО, МАРИО ГРАССО *(Перевод с итальянского Л. А. Вершинина)* 238

Среди книг

Издано в СССР

Е. Горбань — Разочарования и надежды Эсы де Кейроша *(Жозе Мария Эса де Кейрош. Избранные произведения в двух томах)* ✦ А. Парин — Итальянцы, заговорившие по-русски *(Вернисаж. Стихи итальянских поэтов)* 244

Издано за рубежом

Кирилл Ковальджи — Памяти поэта *(Никита Стэнеску. Мемориальный альбом)* ✦ Далия Мендоса — В огне революции *(К. Фуэнтес. Старый гринго)* 248

Из месяца в месяц

251

ГЕРМАН КАНТ

Рассказы

■

Перевод с немецкого И. КАРИНЦЕВОЙ

Нрав ее и.

Наука подобных явлений не отмечает, но по моим наблюдениям они случаются: разведенные женщины красят волосы, разведенные мужчины облицовывают кафелем свои кухни.

Как уже сказано, это не научное положение, а факт, известный из жизненного опыта. И ничего такого загадочного в этом нет. Когда пыл негодования утихает, человек задается вопросом о причинах пережитого краха и сталкивается прежде всего с обстоятельствами, в которых он никак не повинен, но которые он отчасти мог бы изменить. Это целиком и полностью относится к окраске волос.

С кухнями дело обстоит так же просто. Чаще всего мужу приходится покинуть супружескую квартиру. Что он получает взамен — к первому сорту не отнесешь. Комната, кухня, старый дом, и любая попытка приукрасить это жилье есть, по существу, попытка приукрасить свою жизнь. Если уж мир полетел в тартарары, так хоть стены облицую кафелем.

В моем случае, правда, инициатива исходила от соседей. У меня голова была занята другим, но они, кажется, связали с моим въездом надежду, что последняя оголенная ванная комната будет наконец приведена в соответствие со стандартом остального дома. Подписывая договор о найме квартиры, разговаривая в первые дни с соседями по лестничной площадке, я услышал суровые отзывы о моем предшественнике. Особенно тяжко обвинялся он в том, что не облицевал свою ванную.

Вопросы эти я считал сугубо личными, но, не желая выглядеть недружелюбным, а также неблагодарным, ведь как-никак собственная ванная — большая удача, я заявил, что согласен произвести соответствующие переделки. Управление коммунального хозяйства разрешение на задуманную операцию дало, контора строительных материалов приняла мой заказ, и вскоре я совсем позабыл об этом деле.

© Rütten & Loening. Berlin, 1986.

ГЕРМАН КАНТ — HERMANN KANT (род. в 1926 г.)

Немецкий писатель (ГДР). Председатель Союза писателей ГДР, действительный член Академии искусств ГДР, лауреат Национальной премии, премий имени Г. Гейне, Г. Манна и других. Автор романов «Актовый зал» (русский перевод напечатан в «Иностранной литературе», 1968, № 1—3), «Выходные данные» («ИЛ», 1974, № 3—5), «Остановка в пути» (р. п. «Новый мир», 1979, № 9—12), а также сборников рассказов, публицистических статей и эссе.

Публикуемые новые рассказы Г. Канта взяты из сборника «Бронзовый век» («Bronzezeit». Berlin, Rütten und Loening, 1986).

К тому же, уступив принятому в доме обычаю отделки квартир, я притормозил, казалось, усилия соседей втянуть меня в их сообщество. Они оставили меня в покое не только по вопросам благоустройства моего жилья.

Только страховой агент, а это была женщина, заглянувшая ко мне из-за путаницы в записях, заговорила вновь о необлицованной бадье в ванной комнате и показала в цифрах, на сколько за каждую налепленную плитку повысится стоимость моей квартиры, и тогда — если квартира сгорит дотла — я могу рассчитывать на совсем другие выплаты.

Я ответил ей, что чувствую себя счастливым, не пугая вечно своих ближних всевозможными жуткими случаями.

Но у них в страховом агентстве, видимо, неплохо поставлено обучение: на все мои возражения, что высказывал я всерьез или подтрунивая над фрау Зимонайт, она находила ответы. Они были так же различны, как и мои аргументы, но каждый сводился к настоятельной необходимости страхования. Против самой смерти у них средств еще не было, для всего последующего в их каталоге пункты имелись.

Я ощутил нечто вроде сожаления о том, что у меня больше нет семьи, раз, с точки зрения страховой агентши, человек лучше всего доказывает своим любимым свою любовь, уходя, после подведения разумных итогов, в мир иной. Все зависит от условий, и если повести дела правильно — при выборе, к примеру, страхового полиса поступить согласно совету фрау Зимонайт,— то можно спокойно вопросить госпожу смерть, где, с точки зрения страхования, ее жало [1]. С точки зрения страхования, сказала фрау Зимонайт, все последующее предусмотрено, а это в конце-то концов самое главное. Я, правда, ощутил в себе желание возразить, что я, если речь пойдет о моей смерти, вижу главное вовсе не в этом, но тут я испытал совсем иное желание, и оно имело отношение не к смерти, а к самой что ни на есть жизни. Страховой агент-женщина была ярко выраженной женщиной, и мне не хотелось бы думать, что ее манера отвечать на мои взгляды была только результатом хорошего обучения. В такой ситуации самое лучшее — спросить. И я спросил:

— Я вам нравлюсь?

Она приветливо взглянула на меня и ответила:

— Вполне возможно, но понравитесь ли вы Вильяму?

Дело было улажено приемлемым для всех образом. Я не обидел страховую агентшу, она ответила мне необидно, а Вильяма пусть бы черт побрал.

— Что ж,— сказал я, надеясь, что слова мои прозвучат достаточно многозначительно,— оставим пока вопрос открытым.

Формулировка мне удалась. Она несколько отодвигала меня от проблемы страхового полиса и удерживала в достаточной близости ко мне страховую агентшу Зимонайт. После объяснения, завершившегося упоминанием некоего Вильяма, было бы рискованно возвращаться к деловым переговорам. Правда, мое предложение оставить вопрос открытым тоже можно было толковать превратно. Но ведь это в разговорах мужчины и женщины все равно главная опасность.

Когда фрау Зимонайт сняла сумку со своих милых коленей и собралась уходить, я спросил:

— Должность, которую вы занимаете в страховой кассе, все еще называют «агент»? Я имею в виду царящую в стране чрезмерную щепетильность.

— Щепетильность эта уже привела к тому, что должность моя больше так не называется,— ответила фрау Зимонайт.— Мы назы-

[1] Намек на библейское изречение: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Книга пророка Осии, 13, 14). *(Здесь и далее прим. перев.)*

ваемся уполномоченными, и это, кстати говоря, моя вторая специальность.

— А первая и главная — домашняя хозяйка?

— Первая и главная — аптекарша, и в разводе, если вы это имеете в виду.

Я это имел в виду. Но какая же досада! Ведь в ней я снова встретил наконец женщину, которая хотела, чтоб все было выражено точно, а сама понимала все с полуслова. Аптекаршу, которая вполне могла бы сыграть в кино «прекрасную аптекаршу». В разводе, как и я, стало быть, свободную и холостую, как я. Но в том-то и дело, что не как я, а хоть и холостую, но имеющую в запасе некоего Вильяма. Какая же досада, раз уж ее лаконизм так ладился с моим лаконизмом.

Я вышел проводить ее, и в коридоре она бросила в направлении ванной взгляд, который подытожил нашу дискуссию о страховых полисах.

— Н-да! — сказал я.— Если вы и в аптеке так же здорово действуете, как в страховании!

В ответ фрау Зимонайт дала мне свою визитную карточку:

— Может, вам еще какая-нибудь идея придет в голову!

При такой походке, какой она спускалась с лестницы, и при том, как она помахала мне, остановившись на площадке, я понял — идеи не заставят себя ждать.

Однако я повременил неделю, прежде чем попытался набрать в своей конторе номер ее телефона. Мои сослуживицы убежали в магазин напротив за какими-то гардинами с голландским узором, а мне, когда я стану разговаривать со страховой агентшей Зимонайт, их уши ни к чему.

Она к аппарату не подходила, что я мог предположить заранее. В это время дня в аптеке имели дело с действительными бедами, а потому сообщение о бедах, таких, скажем, как сгоревшие чулки или поломка стиральной машины, выслушали бы не слишком охотно.

Несмотря на столь убедительные соображения, я долго слушал гудки: ведь и фармацевтши бывают иной раз больны или берут положенный день для домашних работ. Пока я ждал, я задавался вопросом, что мне делать, если в трубке отзовется Вильям. Я могу положить трубку, но это будет трусостью. Я могу спросить, в какие часы принимают в ремонт электроплитки, что, правда, тоже будет трусостью, но ответ Вильяма позволит судить о его характере. Если он облает бедного обывателя, не знающего, куда податься со своей неисправной плиткой, значит, ясно — недостоин милой, изящной фрау Зимонайт. Если пустится в подобные объяснения — тоже нет, а уж с примитивным «не туда попали!» тем более. Во всяком случае, пока он будет отвечать, мой детектор личности будет включен, и при первой же фальшивой интонации этот мужчина потеряет эту женщину.

Я удивился беспардонности, с какой готовился изменять судьбу других людей, но другие люди изменили же мою судьбу, и слово «беспардонность» было еще эвфемизмом.

По виду моих сослуживиц я понял, что желанные занавески им не достались, а они по моему виду поняли, что меня мучают какие-то тягостные проблемы, в которых я только потому не запутался окончательно, что Вильям моей агентши не поднял трубку. Возможно, желая меня подбодрить, они объявили, что голландские занавески наверняка очень подошли бы к моей новой квартире. Мне было интересно, как долго после моего переезда они еще будут говорить о новой квартире, и мрачно ответил:

— Если речь пойдет о том, чего в магазинах нет, так я могу назвать уйму вещей, нужных мне для кухни.

Мое заявление надолго отвлекло нас от бухгалтерских обязан-

ностей. Я полагал, что женщины моей бригады на все сто процентов обеспечены современными плитами и стариннымн полками, мойками и мельницами, а как я теперь услышал, у них были всего-навсего старомодные плиты, да по две-три самодельные поварешки. В ходе разговора, однако, они оказались владелицами богатых наборов кастрюль для парки и варки или уж по крайней мере кухни с кухонным столом и кухонным стулом, с кухонным окном и кухонными занавесками. Единодушно отвергали они раздаточное окно в столовую и одобряли нидерландские мотивы как неотъемлемый элемент уюта.

Тут речь, естественно, зашла о моем кафеле и еще раз о том, почему я не заказал кафель с голландским рисунком. По слухам, теперь плитки из Бойценбурга тоже были разрисованы ветряными мельницами, сабо и конькобежцами, синим по белому, а коллега Егер знала художника, живущего неподалеку от Лёвенберга в Бранденбурге, который такую декоративную керамику изготовлял по заказу.

Я ответил, что всю жизнь мечтал сидеть в ванной и разглядывать стены, стоимость которых была бы не ниже стоимости стен с развешанными на них картинами художников голландской школы. Но мне придется все же из-за размера страховой премии обсудить это дело с моим консультантом по вопросам страхования. Ибо с тех пор, как воровские шайки не стесняясь проникают и в социалистический лагерь, надо быть готовым к уплате солидных страховых взносов, и если я из любви к отечественному искусству готов, хм, заложить последнее столовое серебро и, ведя на поводке своих левреток, отправиться на фабрику супа из телячьих го... о нет, простите, на фабрику черепашьего супа...

Эллен Егер с маху ударила по клавишам престарелой бухгалтерской счетно-пишущей машинки, кофемолка Хельги Вольтерман пронзительно заверещала, а фройляйн Вайгель затянула в унисон с ней какую-то песенку. Мои сослуживицы знали, как поступать, когда надо было удержать меня от слишком обстоятельного изложения своих мыслей. В данном случае меня это вполне устраивало, ибо хоть и без слов, но тем обстоятельнее мог я заняться страховой агентшей Зимонайт. Ее Вильяма я мысленно послал подальше, сам же мысленно встал к ней поближе, и это согревало душу.

Ничего не могло быть естественней, чем позвонить ей в тот же вечер. И так как господь бог иной раз благоволит к любящим не первой молодости, я нашел свободную телефонную будку с аппаратом, монетная щель которого не была забита, у меня оказались нужные монетки, а фрау Зимонайт была дома. Она ответила с приветливым самообладанием человека, постоянно имеющего дело со страждущими. День-деньской только рецепты, осведомляющие ее о страданиях, а по вечерам — всевозможные материальные ущербы, у меня бы от этого давно душа зачерствела, с фрау Зимонайт этого не случилось.

Когда я спросил фрау Зимонайт, не сможет ли она, совершая обход клиентов, позвонить в мою дверь, то подумал, что ей по крайней мере в одном повезло с мужем, с которым она теперь разведена. Она получила фамилию, которую можно, если человек обладает подходящим голосом, очень даже красиво произнести. Фрау Зимонайт таким голосом обладала, и этим голосом она объявила мне, что больше всего ее устраивает позвонить в мою дверь сейчас же.

Сдается мне, что, выскочив в совершеннейшем восторге из телефонной будки, я не проверил, нет ли в «возврате монет» забытых пфеннигов.

Фрау Зимонайт пришла к концу «Последних известий», и я, направляясь к телевизору, чтобы со значением его выключить, сказал:

— Сегодня дело идет не о вопросах страхования, сегодня дело идет о попытке сближения.

— Прекрасно,— согласилась она.— А дальше?

— К дальнейшему я не подготовлен,— сказал я, и сказал правду.

— Мы можем вновь поговорить о кафеле,— предложила фрау Зимонайт.

— Это мы можем,— ответил я.

Я подумал, не изложить ли мне ей теорию образа действий разведенных, но позже, запутавшись в темных волосах Лены Зимонайт, я уже мог думать только о практике. Для изысканного умствования время было неподходящим, и как бы мне пришло в голову заговорить о других мужчинах?

Ни о Зимонайте, имевшемся ранее, ни о Вильяме, ныне исполняющем его обязанности, не могло быть и речи. Речь сейчас могла быть только о Фарсмане. Правда, фамилия эта звучит благодаря центральному «р» скорее как собачий рык, а не заливается колокольчиком как «и, е, ай» и не кричит ослом «и-я», но речь сейчас идет именно о фамилии Фарсман, в которой рык слышится в центральном «р».

Деликатный момент подобных встреч заключается, с моей точки зрения, в исходной частоте движений: пульса, дыхания и так далее. Я, во всяком случае, знаю одну прелестную даму, с которой во время наших встреч ничего не происходило, потому что она, прижавшись губами к моему уху, милым голоском выражала пожелание, чтобы в следующий раз щеки у меня были лучше выбриты.

Я порой тоже отпускал подобные отрезвляющие замечания, но точный их текст позабыл, чего в вину себе не ставлю. Зато я тем точнее знаю, какими словами выражает свои желания страховая уполномоченная и аптекарша Лена Зимонайт. Она поднялась, потянулась — и это было прекрасное зрелище — и, шествуя в направлении необлицованной ванны, сказала:

— Это не могло быть причиной.

Я стал ломать себе голову над ее многозначительными словами, но поостерегся попросить уточнения. Я почувствовал себя хорошо уже оттого, что́ эти слова могли означать.

Лена Зимонайт вернулась и объявила:

— Если уж кафель, так пусть сразу и новую ванну поставят.

— Теперь, когда в этой хранится след твоей ноги? — возразил я и получил в ответ чисто аптекарский взгляд.

Она быстро оделась, и ее, казалось, вовсе не смущало, что я с приязнью наблюдаю за ней. И я не вижу причин, почему бы это могло ее смутить.

— Нет,— сказала она,— я не останусь. У меня еще дома дела, да и скотина неохотно остается одна.

Я был не слишком расположен к Вильяму, но мне бы не хотелось, чтобы о нем так говорили.

Либо человек — скотина, тогда с ним не живут, либо таковым не считают того, с кем живут.

Я повторил это слово, снабдив его целым рядом порицающих знаков вопроса.

Улыбку Лены Зимонайт словно отмерили на весах, на которых развешивают порошочки.

— Это игуана, вернее, игуан.

Пока протекало время моей реакции на ее ответ, она искала ключи от машины, и когда нашла, то я спросил:

— Этакий дракон?

— Тебе, видимо, не внушают симпатию игуаны?

— Мне не внушают симпатию драконы.

— Этого никто и не требует,— сказала она и, легонько помахав рукой, ушла.

Да, жизнь полна закавычек, в который раз подумал я и в который раз спросил себя, есть ли хоть какой уголок жизни без всяких закавычек. И чем больше проходило времени, тем меньше верил я в это. Только что ты имел самое естественное дело с самой естественной представительницей мировой истории, чуждой всякого жеманства аптекаршей, параллельно действующей в социальном страховании, и оказывается — она держит дома драконов. К котам и собакам ты внутренне подготовлен, даже с камышовым котом и собакой динго можно смириться, но игуан...

Я был твердо уверен, что игуаны мне симпатии не внушают, хотя сверх этого я мало что о них знал. Мне приходилось собирать кое-что поважнее, чем картинки с изображением нелепой живности, но сейчас мне казалось, что речь шла о какой-то разновидности съежившегося дракона или, наоборот, о какой-то разросшейся гусенице с зубчатым спинным гребнем и кривыми лапками. Во всяком случае, о существе, которое обитает где-то среди папоротников и хвощей, а не в квартире общительной аптекарши.

Очень странно, но имеющийся в наличии тритон злил меня куда больше, чем предполагаемый мужчина. Последнего я, правда, мог бы вышвырнуть в окно, но первый вызывал у меня гусиную кожу. Вполне возможно, что я поступаю неразумно, но моя готовность терпеть рядом с собой другие создания — поскольку все мы божьи твари — кончается примерно на проехиднах, а о таковых без предлога «про» я с собой и говорить не дозволяю. Упрек в том, что я человек нетерпимый, я не принимаю, ведь я же в конце-то концов разрешаю головастикам и аллигаторам не питать ко мне симпатии.

Поскольку я подозревал, что фрау Зимонайт не согласится признать мое великодушие, то решил, что заговорю с ней о ее рептилии не слишком скоро. Кто держит у себя дома игуана, умеет его защищать, и я не желал слушать, как Лена Зимонайт восторгается белым брюшком Вильяма.

С неудовольствием обнаружил я, что нахожу недостатки в особе, с которой так восхитительно возлежал. При этом я не считал свои доводы убедительными. В чем можно упрекнуть эту женщину? Пока она не водит свое ослизлое чудовище на веревочке или не вытаскивает его фотографии из сумочки, чтобы показать мне, я не вправе жаловаться, а за то, что все безобразие мира отступает на второй план при мысли о Лене Зимонайт, я должен быть благодарен судьбе.

И кое-что должен иметь в виду. По аптекарше этой можно заметить, что всякие предубеждения она считает необычной формой болезни. Поэтому представлялось целесообразным раздобыть точнейшие данные о таком явлении природы, как игуаны, и коль было всего-то около полуночи, я вновь отправился к таксофону и позвонил своему кузену, у которого имеется «Жизнь животных» Брема и который приходит в хорошее настроение, если в газете напечатано объявление, что кому-то нужен этот научный труд.

У кузена, видимо, были гости, ибо он предложил мне в следующий раз звонить часика в четыре утра, и держался так, словно звонить в полночь и просить прочесть тебе кое-что из иллюстрированной книги о жизни животных было чем-то сверхъестественным.

Но поскольку кузен время от времени ищет в моем Брокгаузе статьи, которые мне не показывает, он разыскал то, что требовалось, и сообщил мне, а также своей аудитории, что нужная мне статья находится в пятом томе, где речь идет исключительно о пресмыкающихся (рептилиях) и чешуйчатых. От одних только наименований у меня могла появиться нервная экзема, но я заставил себя добросовестнейшим образом записать то, что мой кузен и господин Альфред Брем сообщали об игуане, iguana hypsilophus tuberculata.

Нет, о предубеждениях не могло быть и речи. Что написано было в книге об этих тварях, из коих одна отзывалась на имя Вильям, превосходило все их ослизлые облики, какими они мне представлялись.

Не только из-за помех в телефонной связи, но еще и потому, что слово, сказанное вслух, теряет свой устрашающий смысл, я повторял услышанные мною невероятные данные, прежде чем заносил их на бумагу. Я записал, что голова у игуаны четырехгранная, на затылке бугристая, что спереди на горле у нее большой отвислый, усеянный шипами мешок. Я запротоколировал наличие бедренных пор, лежащей открыто барабанной перепонки, а также нескольких костей нижней челюсти. Кроме того, я записал информацию зоологов о том, что нрав этой И. малопривлекательный и умом она, кажется, не отличается, зато — злобностью и коварством.

Дабы этих тварей изловить, говорилось далее в сообщении как кузена, так и исследователя, к ним подбираются насвистывая, что побуждает iguanae tuberculatae радостно высовывать свои четырехгранные головы из листвы деревьев и кустарника.

К тому же, прочел мне кузен, естествоиспытатель Брем заметил, что речь идет явно о глуповатых созданиях, и это я тоже записал, равно как и сбивающее с толку заключение, что уже при незначительном понижении температуры эта скотинка грустнеет. Свое сообщение об игуанах автор иллюстрированной «Жизни животных» заключал сдержанным замечанием: «Те особи, которых я мог наблюдать, не вызвали моей симпатии».

— Этого только не хватало! — крикнул я кузену, и человек, который ждал по другую сторону стеклянной стенки и, видимо, прислушивался к моему разговору, испуганно отскочил когда я, повысив голос, стал повторять стержневые понятия в характеристике, данной Бремом: затылок бугристый, брюхо умеренной величины, часто меняющаяся общая окраска сжатого с боков тела.

— Хотел бы я видеть индивида,— воскликнул я в своей гулкой коробке,— которому симпатична чешуйчатая ящерица с мешком на горле и с несколькими костями нижней челюсти.

Не услышав ответа от кузена, я предположил, что он, подобно человеку, навострившему уши за стеной будки, в ужасе отскочил от телефона.

Я освободил аппарат ожидающему, и если верно разглядел в слабом свете, то мой преемник вошел в будку с чрезвычайной осторожностью. Видимо, боялся, не пованивает ли там игуаньей пастью и секретом бедренных пор.

На обратном пути сквозь сумерки улицы Гора Пренцлауэр я спросил себя, почему не пожелал фрау Лене Зимонайт по телефону спокойной ночи. Она, конечно же, еще сидит над своими полисами и, может, попросила бы меня взглянуть на них через ее нежное плечико.

Сколь бы я ни думал и как бы хорошо ни знал, почему я не позвонил, все сводилось к одному: Вильям tuberculata стоял между нами. Правда, Альфред Брем писал, что эти ужасающие ящерицы, демонстрируя величайшее равнодушие к окружающему миру, часами сидят на одном и том же месте, но, возможно (так уже мыслил я), они только делают вид. Ведь в той же статье они характеризовались как весьма коварные.

Нет, ни за что на свете не хотел бы я жить в одной комнате или в одном гроте с игуаной. Прекрасная аптекарша может по натуре своей быть такой, какая она есть. Я же по натуре совсем иной и не умею ладить с существами, у которых барабанная перепонка лежит открыто.

Что-то подобное увидел я во сне и при первом же удобном случае откровенно поговорил с Леной, объяснив без обиняков, почему нель-

зя рассчитывать на мой ответный визит к ней. Но так как в остальном при этом удобном случае я проявил достаточно нежности, то Лена восприняла мое заявление снисходительно. У тебя, сказала она мне, как у каждого человека, есть право на недостатки, а визиты сюда меня нисколько не затрудняют. В конце концов, с тобой можно общаться, чудовищное состояние твоей ванной комнаты, надо надеяться, вот-вот кончится, хотя и так у тебя вполне сносно.

Ко мне, бывало, обращались и более пылко, но вполне могло ведь случиться, что Лена стала бы горячо защищать Вильяма или с жаром клеймить меня позором за мою человеко-шовинистическую ограниченность. А так я отделался легким испугом и даже узнал, как фрау Зимонайт обрела сего противного малогабаритного ящера. Его оставил господин Зимонайт, когда их дороги разошлись и они делили имущество. Несчастное существо, сказал господин Зимонайт, привыкло к этой квартире куда больше, чем он сам, вдобавок новая его жена не была расположена к рептилиям.

Понятное дело, Лена не удержалась от замечания, что эта новая жена наверняка подошла бы и мне, я же с удовлетворением отметил, что пугающая движимость была результатом развода, а не симпатии. Высказать свое удовлетворение я поостерегся, но меня тут же осенило: если Вильям столь привязан к своему жилищу, так именно Лену надо из него извлечь, и я набросал в уме текст объявлений об обмене наших двух квартир, в которых говорилось: «со всеми удобствами, включ. игуану», а также о моей свежеоблицованной ванной.

Будущий образ моей жизни, каким я его себе представил, был мне по душе: Лена, я, бойценбургский кафель, и нигде, куда ни глянь, никаких ящериц. При этом возможно даже, подумал я и ощутил себя человеком, свободным от предрассудков, что по случаю заключения брака я запишусь в актах гражданского состояния под другой фамилией, поменяю рыкающую фамилию Фарсман на заливающуюся колокольчиком Зимонайт.

Я представлял себе, как будет звучать моя новая фамилия у нас в конторе, и порой меня это забавляло, два раза, отвечая по телефону, я даже назвал себя этой фамилией. Больше, правда, не называл, так как во второй раз звонила Лена. Едва у меня слетела с губ фамилия Зимонайт, как она с автоматизмом, приобретенным в браке, выпалила:

— Говорит тоже Зимонайт!

Думается, Альфред Брем, наблюдая мои попытки целым и невредимым выбраться из создавшейся ситуации, заметил бы, что у меня сжатое с боков тело и моя часто меняющаяся окраска вряд ли укрылась бы от него.

Вот почему теперь я строжайше придерживался своей старой фамилии. Но наши новые обычаи тоже утверждались. Лена, возвращаясь домой из аптеки или от своих страховых клиентов, заглядывала ко мне, а после приятнейшего времяпрепровождения ехала к себе домой и к Вильяму. Как она там жила, я знал из ее описаний, а от описаний существа, обитающего у нее, она меня избавляла. Но время от времени, и все чаще и чаще, Лена заговаривала о расставании, имея в виду животное, а не меня.

Я считал разумным не вмешиваться в это дело, даже не отвечать Лене и от случая к случаю слышал о ее попытках избавиться от iguana hypsilophus tuberculata. Объявления оставались без отклика: никто не хотел Вильяма ни покупать, ни получать в подарок, что я очень хорошо понимал. Соседей я тоже понимал, ибо все кроме одной пожилой женщины с благодарностью отказались. Пожилая женщина отпадала, так как не включала отопительные приборы на полную мощность. От холода же, знал я благодаря естествоиспытателю

Брему, игуана грустнеет, а грустить Вильям и без того будет после разлуки.

Оставался зоопарк, но там Вильяма отвергли на том основании, что штатная единица игуаны уже занята. Однажды я вспомнил, как пошутил в конторе, упомянув своих левреток и фабрику черепашьего супа, и хотя считал, что скотина, живущая в квартире Лены, вполне пригодна, чтобы воспроизвести в соответствующем супе требуемую рептилию, но подавил любой намек на это.

События развивались неблагоприятно. Правда, наша взаимная приязнь не страдала, но уже случалось, что мы пускались в многословные рассуждения, о госте в квартире Зимонайт мы больше не упоминали. Зато однажды поздно вечером ножки все еще необлицованной ванны показались мне точно такими, как зафиксировано у Альфреда Брема, том 5, hypsilophus tuberculata.

Подобные симптомы свидетельствуют о назревающем акте насилия, и, видимо, в местной конторе строительных материалов пахнуло предчувствием грозящей опасности, ибо они сообщили мне, что кафель наконец-то будет доставлен. Но либо они очень поспешили со своим решением, либо почта была отправлена без обычной спешки. Извещение лежало в моем почтовом ящике вечером в канун доставки. Насколько подчеркнуто точно была указана дата, настолько неопределенно выглядели все прочие указания времени. Могло случиться, что фургон прибудет тотчас вслед за утренней газетой или только тогда, когда дети из группы продленного дня возвращаются домой. Об одном лишь говорилось очень определенно — что меня они надеются застать на месте в течение всего этого времени. Или кого-нибудь другого с ключами от моей квартиры и правом совершения сделок, связанных с домашним хозяйством.

Впервые я пожалел о том, что ограничил свои отношения с соседями приветствиями и оценками погоды, теперь, сознавая свою вину, я понял, что читаю газетные страницы, на которых пишут о коллективе жильцов, более рассеянно, чем другие сообщения.

Лену Зимонайт можно было бы принять в расчет как получателя груза, тем паче что она куда более нетерпеливо, чем я, ждала украшения для ванной; однако сравнение работы в аптеке и в бухгалтерии показывало, что в бухгалтерии скорее можно обойтись без меня. Конечно, должны существовать люди, ведущие счета на небольшом предприятии, торгующем канцелярскими товарами, и я выполняю свои обязанности не без необходимой сознательности, но силы человека, умеющего разбирать почерки докторов и сдавшего экзамены по токсинам, нельзя разбазаривать на экспедиционные задания.

Об этом благородном решении, и прежде всего о подкатывающей ко мне клади, следовало известить фрау Зимонайт, и я отправился к моей телефонной будке с надежным аппаратом. Лена обрадовалась, но пожалела меня: мне ведь придется сперва ждать, а потом таскать, и обещала, если будет хоть какая-то возможность, заглянуть ко мне. Кроме того, она обещала позвонить мне на работу и выразила уверенность, что водитель и грузчик конторы стройматериалов вывалят мне груз у входной двери.

— У двери в мою квартиру, хочешь ты сказать?

— Нет, у входной в дом. Так записано в условиях, и мы как раз на днях рассматривали дело о причиненном вреде.

— Страховое агентство или аптека?

— В известном смысле и то и другое. Нарушение кровообращения, а один из ящиков повредил лестничный пролет.

— Ничего себе перспектива,— сказал я.— Но вдруг я их уговорю. Не знаешь, сколь высоко оценивают работники транспортной конторы свою рабочую силу?

— Слишком высоко для тебя,— ответила Лена Зимонайт, хорошо знавшая мои возможности.

Я попросил ее впредь всегда об этом помнить, когда она будет омывать свое тело в моей мраморной посудине.

Она обещала как то, так и другое, и мы уже собрались было попрощаться, как вдруг я слышу, что она, словно бы припомнив в последнюю минуту, говорит:

— Вильям умер.

— Господи Иисусе! — воскликнул я, и так как не знал, что следует говорить по случаю кончины игуаны, то привел в свое оправдание длиннющий хвост у будки и быстро повесил трубку.

Мне стоило больших усилий не представлять себе жутких картин и не ощущать столь же жуткого зловония, и я не мог вовремя притормозить мысль о том, что окоченевшая игуана неприятна в той же степени, как и теплая. Я позволил себе выпить еще бутылку пива и наконец в довольно поздний час погрузился в сон.

Завтракая, я все же еще надеялся, что Лена заблуждалась относительно условий поставки кафеля или что они в последнее время изменились. Я живу на четвертом этаже, а плитки в конце-то концов всего-навсего камни. И словно мне не довольно было тщетно надеяться на одно, я позволил себе надеяться на другое — что мой адрес может быть первым в маршрутном листе грузовика.

Он не был первым, а примерно — в той мере, в какой позволяла прихоть коллег из конторы стройматериалов,— одиннадцатым. Около полудня меня вытребовал из квартиры на лежащую где-то далеко внизу улицу некий трудяга — на нем была нарядная в светло-серо-голубую полоску рубаха,— предложил подписать документы с неведомым мне текстом и не проявил интереса к моему вопросу, какую сумму можно принять за основу наших переговоров.

Упаковки с кафелем они не то чтобы сбрасывали с грузовика лопатами, но кривая, по которой мой кафель приземлялся у входной двери, не могла быть более крутой, и по тому, как росла куча, я осознал, что в моей тесной квартире имеется на удивление обширная ванная комната.

Облицовочная плитка прибыла в удобных коробках, а в маленькие ящики было упаковано то, чем я собирался выложить пол. Я ухватил для пробы одно место обшитого деревом груза и тотчас ясно представил себе и нарушенное кровообращение, и развалины лестничного пролета из Ленинова рассказа. К тому же размер ящиков вызвал в моей памяти другой груз. Как ни настойчиво уговаривал я эту мысль тотчас убраться прочь из моей головы, она оставалась и вопрошала — можно ли из тарных планок сколотить гроб для недавно почившей рептилии.

Поэтому меня вполне устроило, что господа в светло-серо-голубых рубахах торопливо, словно ограбили банк, убрались. И даже дождь меня устраивал, большие его капли начали падать на облако выхлопных газов, и на горячие следы шин, и на партию товара из Бойценбурга. Я приветствовал все, что вытесняло из моей памяти жуткие образы усопшего животного. Но в какую-то минуту в моем сознании сквозь все препоны все-таки пробился вопрос — подвязывают ли опочившим ящерицам нижнюю челюсть к верхней и как это осуществляется при многочисленности челюстных костей. Тем более что имеющийся на горле отвислый мешок, усеянный шипами, конечно же создает дополнительное тому препятствие.

И тут я, словно убегая от самого себя, бросился к упаковкам — схватил две из них и устремился вверх по лестнице к своей двери. Когда же, едва переводя дыхание вновь сошел вниз, то решил умерить свой пыл и при последующих восхождениях ограничиваться каждый раз одной упаковкой.

У ворот, несмотря на плохую погоду, собрались участливые прохожие. Они с жадностью поглядывали на мои стройматериалы, так что я подумал: не следует ли сказать им, что это вовсе не бесхозное

добро, выброшенное последним ураганом на берег к подножию горы Пренцлауэр, то бишь на улицу Гора Пренцлауэр. Передвинув для порядка парочку пакетов и тем самым дав понять, что являюсь хозяином этой кучи кафеля, я, видимо, получил право на советы.

Вернее будет, закричали они мне со своего мола под защитной аркой ворот, прежде всего укрыть то, что упаковано в картон, ибо дождь зарядил надолго. Какого цвета вся эта груда плиток, хотели они знать, и когда я по всей правде доложил — цвета резеды, иначе говоря — желтовато-зеленый, кто-то обидчиво заявил, что кафель цвета резеды в нашем районе не принят.

— Разве не так? — обратился он с вопросом к своим собратьям.

И те хором ответили:

— Не в наших местах!

В этих местах, узнал я, встречается главным образом цвет светло-зеленый, и зеленый цвет вообще, кроме цвета резеды, преобладает среди расцветки отделочных материалов для ванных комнат в этом районе. Здесь можно встретить и совсем-совсем темно-зеленый, и совсем-совсем светло-зеленый, и даже ядовито-зеленый не такая уж редкость.

— Ну вот,— воскликнул я в ответ,— точно как с игуанами, о которых Альфред Брем рассказывает, что, часто меняя свою окраску, они порой обретают промежуточный очень красивый темно-зеленый цвет.

Потому ли, что резеда была отклонением от нормы, потому ли, что они разделяли отвращение большинства людей к непонятным речам, но публика в подворотне сразу же изменила свое отношение ко мне и стала наводить критику на то количество груза, которое я таскал наверх.

Когда он был в моем возрасте, сообщил Предводитель хора, он таскал на весу у живота по три, а то и по четыре таких упаковки с плиткой и при этом еще насвистывал песенку. А в те времена, добавил он,— словно бы это имело какое-то значение для веса — плитка была с голландским узором.

— Да, ядовито-зеленого цвета! — воскликнул я и взвалил на плечо очередную упаковку.

Сим замечанием я не снискал любви зрителей, но мне и без того не приходилось ждать от них помощи. Они, правда, пока я взбираюсь на свою верхотуру, наврут друг другу с три короба о том, сколько и чего только не таскали они еще на весу у своих животов, однако теперь они сильны лишь на словах, и я даже не пытался вербовать среди них шерпов для восхождения.

Итак, вновь в одиночку на вершину Нангапарбат и вновь в одиночку с загадкой, что же, ради всего святого, гонит некоторых людей пешком на горы многокилометровой высоты.

Вопреки здравому смыслу, я счел вполне возможным, что мои упаковки с кафелем, подобно губкам, предоставляют дождю убежище в своих порах. Иначе никак не понять было, почему с такой быстротой увеличивается вес груза. Все раньше и раньше добирался я до той точки, после которой к каждой ступеньке прибавлялся год — один из тех, что прожил я после двадцати.

В Райнхольды Месснеры [1] я не годился, и ко всем чертям как слава вершины Вацман[2], так и слава Фарсмана. Я человек низин и, будучи таковым, стал себя спрашивать: с чего это я, собственно говоря, должен превращать свое моечное заведение в римскую баню? Можно было бы, думал я, хромая теперь даже при спуске, подарить престарелым приверженцам зеленого цвета, что толпятся внизу,

[1] Райнхольд Месснер — известный итальянский альпинист, совершивший в 1980 году восхождение на Эверест в одиночку и без кислородного прибора.

[2] Самая высокая горная вершина берхтесгаденских Альп в Верхней Баварии.

весь груз, правда, с одним условием: свой пакет каждый уносит домой на своих немощных плечах.

Однако моя готовность стать меценатом улетучилась, когда Предводитель хора, перехватив меня у ворот, осведомился, знает ли жилищное управление о кафеле для пола. Мой ответ, что столь дифференцированно свое заявление я не составлял, встречен был с явной насмешкой. Предводитель сообщил своим вассалам, что я один из тех, кто понятия не имеет о статике. Если вскорости гора Пренцлауэр поползет, так пусть вспомнят мой кафель цвета резеды и нелегальный настил пола.

Я стал искать крепкое словцо, каковым можно было бы уязвить этих ветеранов, а в плиточной куче, что и уменьшилась-то всего ничего, попытался подыскать упаковочку полегче, которую мог бы с опасной лихостью вознести на плечо, но ни того, ни другого не нашел и решил приберечь дыхание для восхождения по лестнице. На первой же площадке меня догнала Лена.

— Еще так потаскаешь,— сказала она,— и вместо плиток в ванной увидишь кафель в морге.

Мне не по душе пришлось, что меня зачислили в разряд слабаков, поэтому, сделав с усилием глубокий вдох, я словно бы между прочим спросил:

— А от чего он, собственно, умер и что ты будешь с ним теперь делать?

— Уже сделала,— ответила Лена,— но чем он болел, я не знаю, он просто захирел с тоски. Мне нужно в аптеку, я приду, как только освобожусь. Не надрывайся.

Легкий взмах руки — и она зашагала вниз, но только я стал подыматься на свои скалы, как у меня вырвался мучивший меня вопрос:

— А что ты с ним сделала?

Она поискала глазами, нет ли кого на лестнице, и, прежде чем ответить, снова поднялась на несколько ступенек:

— Н-да, что же делают с мертвым игуаном? Кое-что исключено. К примеру, мусоропровод, даже будь у нас таковой. Или поездка с лопатой за город? Рассказывай потом леснику, что ты идешь из его леса, где хоронила некоего Вильяма.

— Так, значит?

— Так, значит,— сожжение на костре.

— И ты развела костер? Где? На балконе?

— Я ничего не разводила, я воспользовалась другим огнем. В подвале соседнего дома — топкой.

— И ты отправилась туда с ним под мышкой!

— Сначала я завернула его в газеты, потом попыталась сунуть в пластиковый мешок, но все это показалось мне не очень-то подходящим. Я взяла старый льняной мешочек, на тот случай, если повстречаюсь с кем-нибудь из соседей. Ведь рядом стоит мусоросборник для черствого хлеба.

— Весьма осмотрительно! — сказал я и спросил, словно бы это имело какое-то значение: — А мешочек для булочек ты тоже сожгла? Тот, с вышитой ветряной мельницей?

— Да, а что? Ты хотел его взять?

— Нет, спасибо,— ответил я.

Теперь Лене Зимонайт и правда надо было идти.

Еще раз легкий взмах руки, а я еще раз в одиночку вверх по крутому склону. Но кряхтел я теперь не только из-за конфликта высоты и тяжести, и вздыхал я не только потому, что знал свой предел как посредник между ними. К грузу, который следовало поднять, преодолевая земное тяготение, присоединилась совсем другая нагрузка, и от нее я переводил дух с не меньшим трудом.

Мне бы надо почувствовать облегчение, поскольку дракон уже не преграждал мне доступ к Лене. Тем не менее я спускался к оставшейся плосковерхой горе плиток более удрученным, чем прежде. Праздная публика оставалась на своих местах, но я не обращал внимания на их болтовню. Внимание я обратил только на историю Лены и ее игуана и находил эту историю далеко не такой прекрасной, как историю Леды и Лебедя. У рассказа Лены постепенно отрастал зубчатый спинной гребень, и, к моему ужасу, подозрение, падавшее поначалу на животное из-за его коварства, стало постепенно переходить на страховую агентшу Зимонайт.

Я призвал себя к порядку и решительно оборвал столь дикие размышления. Покорно принимал я боль, которую причиняли мне взваленные на плечо килограммы, и ступенька за ступенькой подвергал себя наказанию, какое положено за дурные мысли.

Ничего иного я и не заслужил, и вполне справедливо, что придавившая меня тягость выжимала все соки из моих хрящей и грозила сломать суставы, назначение которых не ломаться, а сгибаться. И даже то, что в повинной моей груди будто кто молотками стучал, было только справедливо.

Так наказывается человек за подлые мысли, но это не может изменить самого хода мыслей. То были размышления, мучившие меня с разных точек зрения. Словно бандиты напали они на меня, окружили, опутали. Из множества драконьих голов изрыгали они ядовитые вопросы, и поскольку я, задыхаясь, вынужден был дышать тем, что имелось в наличии, то я вдыхал их смрадный дух.

Жила-была на свете игуана, вернее игуан, и если бы он не умер, то жил бы до сего дня. А жил бы он, так стоял бы у меня на дороге, теперь он больше не стоит у меня на дороге. Он захирел с тоски, он будто бы захирел с тоски, а не от холода ли, не соответствующего его норме? Не помог ли ему кто-то перейти в мир иной, выдав с избытком губительного свежего воздуха? Игуан грустнеет, если ему холодно, но в какой степени? А что, если грусть его глубока и безысходна, как бездна, и, может, у той бездны есть иное название — смерть?

Двойной груз из одолевших меня плиток и одолевших меня дум оказался больше того, что я в состоянии был нести, перед моей дверью я сел на кучу плитки, выросшую уже до высоты скамьи, и стал отбиваться от наседавшей на меня мерзкой оравы точно нацеленными ударами. Смехотворно даже представить себе: фрау Зимонайт распахивает утром окна, дабы Вильям умер с горя. Как будто человек столь образованный не знает других средств для решения возникшей проблемы. Страховой агент. Аптекарша. Человек, знающий, как реализовать недозволенное и как составить неусваиваемую смесь, никогда такой человек не положился бы, желая смертельного исхода, на сверхдозу прохладного ветра.

Столь мощный полет мысли, подхватив, увлек меня, и я спросил себя строго и решительно, не считаю ли я, что в дело замешан вредоносный порошок. Почему, набросился я на себя, не дознался я сразу, на сколько и в чью пользу был застрахован почивший вечным сном Вильям И.?

Ведь если не имелось страхового полиса, не было и мотива отправлять темно-зеленую рептилию на тот свет. Ибо причина, во всяком случае, временная, каковая могла стать поводом для убийства, отпала, когда стало известно, что кафель прибывает.

А до тех пор — да, это следовало допустить — Лене Зимонайт сидеть в моем корыте в окружении жестянок сантехники было примерно так же приятно, как мне при мысли о том, что она живет в одной квартире с ядовито-зеленым тритоном. До получения кафеля — разве можно этого не признать — у Лены имелся резон для совершения преступления. Но даже и это было не столь уж важно, ибо...

Ибо, сказал я и услышал, как я это сказал. Услышал, как говорю под своей дверью, растянувшись на скамье из декоративных плиток. Прислушался к себе, рассуждавшему о деле, не поддающемся проверке, и понял, что созрел, чтобы проверить самого себя.

Фарсман! — подумал я, неслышно при этом рыча,— а теперь хватит. Лена очаровательна, Вилли умер, а тебе еще надо одолеть парочку-другую скал. Так бодро вперед, продолжай свое дело.

О бодрости, признаюсь, и речи быть не могло. Скорее уж я смахивал на увядший лист, когда, спустившись по лестнице, приземлялся на улице, держаться же молодцом силился только пребывая на глазах деятельных пенсионеров.

Кафель я на гору втащил, ванная, выложенная кафелем, вскоре засверкала желтоватой зеленью, а в моем районе не могли же вечно разглагольствовать о более чем странном цвете ее облицовки Но наши отношения с Леной шли к концу, и в этом тоже была все еще повинна скотинка, наводящая жуть.

Мы оба, правда, делали вид, будто Вильяма никогда не существовало, и что касается меня, то я допускаю, что он умер естественной смертью. Однако в квартиру разведенных Зимонайтов я по-прежнему не ходил, не зная теперь, как объяснить это Лене. Да и о возникшем подозрении лучше было помалкивать.

Но в силу коварства игуана, которое отличает его нрав, несчастный червь все время напоминал мне о себе. Напоминал, когда я слышал, как прекрасная аптекарша плещется в окаймленной зеленью ванне. Напоминал, когда я шагал по своей лестнице, зная текстуру каждой ступеньки. Напоминал, когда я пользовался тем самым софоном. Напоминал, когда речь заходила о сильном холоде, и напоминал при каждом слове, сказанном близко от огня.

Хуже всего было как-то на днях, когда Лена принесла свежий хлеб от булочника. Мешочек, в котором она несла под мышкой хлебобулочные изделия, тоже был свежим. Один из обычных льняных мешочков с душещипательной вышивкой. Полагаю, это была мельница. И еще, полагаю я, придется мне расстаться с Леной Зимонайт Все должно совершиться любовно — ведь ко мне Лена относилась любовно. Лучше всего, если я обменяюсь и уеду из этих мест может, куда-нибудь на окраину. При моей свежеоблицованной ванной у меня, думаю, вряд ли возникнут проблемы.

ВЗАПСИС

Берлин считается местом, в котором вполне можно жить, но, получив туристическую путевку на Волгу, я сказал себе: это что-то новенькое. Правда, мне давно хотелось на Балатон, однако путевку выделили не на Балатон. А на Волгу.

Когда мы подходили к Астрахани, я разговорился с двумя русскими учительницами, благодаря чему узнал многое о восстаниях стрельцов, о Золотой Орде и о Киевской Руси, а в известном смысле кое-что и о моем родном крае.

Путешествуя на пароходе, человек, видимо, позволяет себе расслабиться, вот почему, когда выяснилось что обе дамы, кстати говоря — мать и дочь, и обе из Казани,— ни разу еще не бывали в немецких землях но с удовольствием побывали бы там я тотчас предложил, пусть в таком случае приезжают ко мне в гости.

Это не так просто, услышал я в ответ, поскольку их официальные инстанции желают видеть приглашение по установленной форме, засвидетельствованное дружественными официальными инстанциями. И тогда я, обдуваемый волжским ветром у Астрахани, объявил о своей готовности такой документ получить.

Однако же мои способности улаживать дела в официальных учреждениях весьма ограниченны, хотя кое-кого из моих друзей это удивляет.

Ты же бухгалтер! — говорят они и не очень-то мне верят. Как будто я руковожу теми операциями, которые на самом деле я всего лишь регистрирую. Я не вершу никаких дел, я лишь аккуратно провожу их по счетам.

Тем не менее, вернувшись с берегов Волги на берега Шпрее, я как-то раз после работы с этаким ретивым видом отправился в полицию, в отдел прописки. Настроение мое сразу же упало, стоило мне увидеть переполненный зал ожидания. Помещение это было таким, каких я знал предостаточно. Тут вся жизнь оказывается в каком-то застое.

Поздние часы приема в официальных инстанциях задуманы для таких трудящихся, как я, однако скамьи были заняты в основном гражданами куда более старого образца. Но как старые, так и молодые уставились на меня словно на непрошеного гостя, что вламывается в некое общество и подрывает его накрепко замкнутые круги. К тому же, видимо, все ждали от меня чего-то еще кроме приветствия, а поскольку я ничего такого не изрек, какой-то пожилой человек сказал мне:

— Вы должны спросить, кто здесь последний.

Я послушно осведомился, и старик ответил:

— Я!

Он явно был горд тем, что дал мне указание и сумел в односложном слове выразить полное удовлетворение. Он больше не последний, теперь последний — я, и я задавался вопросом, не надо ли написать крупными буквами: «Последний — я, я — последний».

Однако из дальнейших разговоров я понял, что принят в их круг, и еще некогда в школе мне говорили о симметрии круга. В нем нет ни начала, ни конца и, стало быть, ничего первого или последнего, что мне очень нравилось.

Воспоминание это успокоило меня, и я понял, что преувеличиваю, считая, что в зале жизнь оказывается в застое. Ведь жизнь твоя не ограничена этим залом, и занят ты не только делом, с которым пришел сюда. Ожидание — это лишь часть твоей жизни.

Впрочем, я ведь по доброй воле отправился в отдел прописки и присоединился к заявителям, дабы оказать дружескую услугу; в отличие от кое-кого из сотоварищей по ожиданию, я пришел с совершенно ясным делом, которое требовало лишь регистрации. Здесь заботились о порядке, а порядок должен быть.

Осмыслив все это, я расслабился и ничуть не испугался, когда раздалось какое-то странное урчание и на стекле ящичка над дверью засветилась бледная надпись: *«Следующий, пожалуйста!»*

Ожидавшие, правда, либо болтали о пустяках, либо в который раз перечитывали не слишком-то информативную газету, либо — словно обидевшись — пялились куда-то в пространство, однако, главным образом, как теперь выяснилось, все готовились услышать сигнал. Я обратил внимание: не каждый прервал свое затянувшееся занятие и поднял голову, чтобы понять, кто же будет следующий. Следующий, *следующий*, однако совсем уж не проводить взглядом входившего в кабинет не мог никто. Взгляды одних непритворно говорили о желании знать, что заставило их ближнего перешагнуть порог канцелярии, другие взгляды, скорее полувзгляды, а то, пожалуй, и четвертьвзгляды, блюли последовательность: если это следующий, то когда же моя очередь?

Но как только закрылась дверь в канцелярию, снова наросло напряжение, возникающее из ситуации, в которой человеку оставаться не хочется. Тут даже появление новых посетителей давало лишь слабую разрядку. Кто теперь приходил, не менял ничего в расстоя-

нии между своим местом в очереди и местом следующего под светящимся табло.

Я, правда, смотрел на вошедшую после меня женщину с повышенным интересом, так как только благодаря ей я был окончательно включен в процесс продвижения посетителей. Теперь я не просто следую, как последний за движущейся очередью, теперь меня будут еще и подталкивать.

Вошедшая была, казалось, хорошо знакома с организационными формами ожидания. Она окинула всех нас, стоявших до нее, взглядом, пересчитала наше число в минуты, из минут вычислила часы, и когда уголки ее губ опустились, стало ясно: для нее слишком долго.

К тому же в тоне, каким она задала ожидаемый вопрос, слышалось неудовольствие, и я ершисто подумал: «Да, милейшая, мы хочешь не хочешь все должны пройти!» Однако мое чистосердечное признание в том, что я последний, вряд ли звучало ершисто. Иначе моя сменщица еще подумала бы, прежде чем обратиться ко мне со своим наглым требованием, а она сразу же выложила его, облачив в форму вопроса:

— Простите, вы не пропустите меня?

Не всегда удается сделать хорошую мину при плохой игре и не всегда удается построить вопрос так, чтобы из настоятельного требования он превратился в вежливую просьбу. Это был как раз такой случай, и сообразно с ним я спросил:

— А почему, собственно?

Связано с художественной самодеятельностью, ответила посетительница, только теперь, казалось, заметив, что все присутствующие принимают участие в нашем разговоре. Какое она на то имела право, не знаю, но взглядом и жестами она сумела внушить нашим сотоварищам по ожиданию, что я единственный в зале, кому, несмотря на столь исчерпывающее объяснение, требуется еще что-то. Она потянула меня в глубь эркера, в котором я сидел, и заговорила со мной, как говорят с больными:

— В восемнадцать часов будут продавать болгарские гитары фирмы «Русалка», место производства — Кремона, такую гитару я хочу купить.

Я, не зная, как мне иначе защититься, сказал:

— Кремона вовсе не в Болгарии.

— Но это написано на гитарах,— возразила посетительница,— и написано кириллицей. Я полагаю, для перестраховки.

У нее была интонация человека, который хочет посвятить другого человека в некую тайну. И этот другой был я, а я страдаю одной слабостью — люблю, чтобы меня посвящали в тайны. Пытаясь скрыть свое слабое место, я спросил грубее, чем мне свойственно:

— Уж если вам разрешили прочесть надписи на этих мандолинах, почему вы ничего не купили? Но даже если я вас пропущу, вы не успеете пройти до шести.

Посетительница не обратила внимание на мою грубость и терпеливо ответила:

— Продавщица показала образец. Продавать их будут только с шести. Из-за работающих, сказала она, но я думаю, она любит, чтобы магазин был битком набит.

— Такие бывают,— поддержал я.

Посетительница поняла это как знак моего согласия. Она перехватила вопрос вошедшего пожилого посетителя о последнем и большим пальцем указала на меня. Из дальнейшего я уяснил себе кое-что еще, при этом казалось, что посетительница теперь разговаривает со мной, отдалившись на некоторое расстояние и несколько даже сверху вниз.

— Еще два-три таких любезных человека, как вы,— сказала

она,— и я успею до шести. Кто же был до меня перед вами в очереди?

Я позавидовал ее сноровке. Почти без усилий обменяла она себя на меня, для верности закрепив новый порядок еще и словом. Надеясь, что пожилой человек окажет ей более решительное сопротивление, я показал ей старика, как, надо думать, показывают сильному преследователю жертву, чтобы не быть одному в подобной роли.

Я очень пожалел, что не мог собственными ушами слышать, как была одержана победа, поскольку мой товарищ по несчастью сидел довольно далеко, и пока настырная посетительница прокладывала к нему дорогу, я подумал, что надо было по крайней мере спросить ее, по какой такой важной причине она нарушила очередь в зале ожидания, а не заняла, имея все шансы на успех, позицию в том хвосте, который формируется перед раздаточным пунктом болгарских гитар. И почему это должен быть обязательно инструмент из Болгарии фирмы «Русалка», изготовленный в Кремоне, что начертана кириллицей?

Этот вопрос интересовал меня тем более, что я уголком глаза заметил приближение пожилого господина, который пришел позже меня и той настырной женщины и должен был быть после нее и после меня последним. Я знал, чего он хочет, и не хотел этого слышать. Я попытался злобным взглядом помешать ему завести разговор, но он, видимо, был истым господином и мысли не допускал, что его может коснуться злоба.

— Вы, стало быть, последний,— сказал он, и звучало это так, словно он долго меня искал и словно я — его последняя надежда.— Я должен кое о чем сообщить! — добавил он и уставился в окно на улицу.

Окна, безусловно, следовало вымыть, а на улице не было ничего, о чем следовало бы сообщать в полицию. Затихающее в послерабочие часы уличное движение, которое я лишь потому не называю унылым, что не знаю, можно ли охарактеризовать движение транспорта на улицах большого города этим словом. Только мне бы хотелось, твердо знал я, чтобы мои гости из Казани не прибыли как раз в тот час, когда городской транспорт столь уныло двигается по улицам столицы. Но я не мог бы объяснить, почему это имело значение. Я ведь даже не знал, как выглядят пути-дороги и транспортные средства в Казани.

Но пожилой господин, который хотел занять мое место в очереди, потому что должен был кое о чем сообщить, знал о машинах и улицах Берлина все. Во всяком случае все, сказал он, что узнаёшь, если ты счетчик на перекрестке, изучаешь транспортные потоки и выражаешь полученные данные в цифрах.

Признаюсь: много раз, проходя мимо такой группы наблюдателей, я испытывал желание осведомиться у них о некоторых методах их работы. Каким-то труднопостижимым образом они были со мной в родстве. Они устанавливали, что́, когда и где двигалось, суммировали результаты и определяли тенденции, и если даже не делали окончательных выводов и не имели прав принимать меры, то своей работой открывали другим возможность развивать напряженную деятельность. Они были бухгалтерами уличного движения, и мы могли бы обмениваться с ними опытом.

Однако исполнение подобных намерений растягивается на годы. То ты куда-то спешишь, в другой раз у тебя нет охоты, то из-за плохой погоды просто невозможно долго стоять на обдуваемом углу, а сойдется однажды все благоприятнейшим образом — досуг, климатические условия и настроение,— так на перекрестке царит безумное оживление и ты не осмелишься помешать престарелым исследователям измерять параметры потоков.

Поэтому было весьма удачно, что именно пожилой господин прорывался мимо меня в кабинет, поскольку он куда подробнее, чем та настырная женщина, желавшая поспеть к продаже болгарских гитар, все мне о себе объяснил. Теперь я полностью в курсе дела касательно подсчета транспортных средств. Работа эта, как я и подозревал, весьма ответственная. Нужно обладать аналитическими способностями, крепкими нервами и здоровыми легкими. Отличное зрение — непременная предпосылка, а невежество в технике, особенно в автосфере, уже само по себе немыслимо, ибо необходимо отличать легковой автомобиль от грузового, а тот и другой, в свою очередь, от трейлера и вдобавок всех вместе от мотоциклов любых марок.

Полученные числа различных типов машин, разъяснял пожилой господин, заносят нажатием кнопки в память микрокалькулятора, и тут уж один палец должен знать, что делает другой.

Начинающие счетчики держат калькулятор в левой руке и тычут, разыскивая нужную кнопку, куда попало. Пока они сообразят, в каком порядке у них растут пальцы, длиннющие колонны машин давно прошли. Уже подумывали о тренировочном лагере с макетами системы уличного движения, продолжал пожилой господин, но этот вопрос связан с валютой, да в конце-то концов практика, как всегда,— лучший учитель, кто выдерживает и у кого есть хоть капля таланта, тот в конечном счете овладевает своим инструментом, как кларнетист — кларнетом.

Пожилой господин показал мне наглядно, с каким совершенством можно осмыслить насыщенность столицы движущимися средствами. Не обращая внимания на грязные окна, он не сводил глаз с перекрестка перед полицейским участком, а руку держал у меня перед глазами; все, что двигалось по улице, вызывало ответное движение одного из его пальцев, сам он вслух регистрировал то, что видели его глаза, для чего каждый раз, сгибая палец, говорил:

— Щелк!

У меня не хватило духу указать на этого умельца, когда в зал ожидания вошла женщина с ребенком и спросила, кто последний. Поскольку сложнейший поток всевозможных драндулетов заставил как раз танцевать пальцы счетчика, я поднял руку, добровольно признаваясь, что среди ожидающих — последний.

Пожилой господин кивнул, соглашаясь с моим жертвенным жестом, и одновременно, сказав без промедления «щелк!», ввел в калькулятор безумного, ищущего смерть мотоциклиста.

Когда демонстрация была закончена, я спросил, о чем он хочет столь срочно сообщить в полицию. Является ли счетчик также помощником властей и должен ли он доводить до сведения властей все нарушения правил? Проезд спешащего мотоциклиста, случись он во время дежурства счетчиков, был бы причиной для доклада в полицию?

Нет, сказал пожилой господин, он здесь только из-за голых цифр, а предосудительное поведение водителей его не касается. Его не касается предосудительное поведение водителей, но его касается таковое, если он сталкивается с ним у счетчиков.

И он с таковым столкнулся?

— Столкнулся. Один из них считал неточно. Определенно и умышленно.

— И доказуемо?

— Что значит доказуемо? Я это вижу. Он заносит неточные данные. Сперва они попадают в микрокалькулятор, потом — в итоговый подсчет всех счетчиков, потом — в приблизительный подсчет общего результата на основе частичных данных, потом — в оценку тенденций, потом — в плановые кривые, потом — в бюджет и, наконец, дают полностью искаженную картину движения транспорта.

— Ошибиться может каждый, и это вряд ли повлечет за собой такие последствия,— сказал я.

И сам себя услышал с неприятным удивлением: так не скажет человек моей профессии. За что я тут же был наказан, ибо пожилой господин ответил мне тоном, столь же учтивым, сколь и язвительным:

— Если бы мы так думали, нам нечего было бы стоять в дождь, ветер, жару и стужу на своем посту! Это не ошибка, это умысел, и я должен об этом сообщить.

— Тем не менее это недоказуемо,— сказал я.

На что он, бросив на меня далеко не учтивый взгляд, возразил:

— Будто вы в этом хоть каплю смыслите!

В этой фразе звучал многозначительный подтекст, и потому я твердо заявил:

— Я вынужден взять назад место в очереди, которое я вам уступил. Не я теперь предпоследний, а опять вы. Кроме того, я сомневаюсь, что вам с вашим случаем следует обращаться в этот отдел полиции.

Когда нужно, и я могу выразиться вполне определенно,— пожилой господин все понял и быстро ушел.

Уже довольно долго, возможно из-за нашего содержательного диалога, никто не входил в зал ожидания. Зато кое-кто из первых в очереди урчанием и свечением был приглашен в канцелярию, и я нашел место у стола, на котором лежал пожелтевший от времени женский журнал. Эти издания, уже достаточно устаревшие, всегда читаешь как новые, и я протянул было руку за сей печатной продукцией, но тут мое внимание от достойного журнала отвлекла официальная акция. В зал ожидания вошла служащая полиции и спросила, кому еще нужны бланки. Высоко подняв вверх разные бумаги, словно распродавая их по дешевке, она стала называть их разными аббревиатурами, одни из которых были мне понятны, другие — нет.

Два подростка пришли за удостоверениями личности, и, девочка, получив бланки, сделала такой книксен, какие, полагал я, давно уже забыты. Многие пенсионеры просили бланки для получения виз на поездку в Западный Берлин[1] и тотчас садились к столу, чтобы заполнить свидетельства их высшей степени зрелости.

— Я хочу пригласить гостей,— сказал я в ответ на вопрошающий взгляд лейтенантши,— двух дам из Казани.

Прежде чем я успел добавить, где сей град стоит, лейтенантша вручила мне несколько бледно-голубых листков и объявила:

— Два раза Советский Союз, и печатными буквами, пожалуйста.

Женский журнал я подложил под бланк, хотя в крайнем случае я бы и без журнала обошелся, никакой особенно писанины, чтобы устроить гостям из Казани поездку в Берлин, не требовалось. Мои анкетные данные и анкетные данные обеих дам — это было почти все. И еще я должен был указать мотив приглашения.

Большую часть первой страницы бланка занимало напечатанное курсивом предписание, которое вялым канцелярским языком вменяло мне в обязанность заботиться о питании и жилье для моих гостей, а также нести за них ответственность в случае, если они создадут стране, их принимающей, финансовые проблемы.

Это предписание я тут же подмахнул, ибо учительницы, с которыми я столь приятно беседовал у Астрахани, на неоглядной, что море-океан, реке, карманницами наверняка не были. Мне это предостережение официального бланка показалось несколько неуместным.

Однако нельзя не согласиться, что кое-какие малоприятные случаи бывали. Мой коллега, который держит за домом породистых

[1] Пенсионерам в ГДР разрешено посещение родственников в Западном Берлине

собак, поселил в своей квартире друзей по Обществу собаководов, приехавших на собачью выставку. Предполагалось, что гости пробудут у него три дня, но они вместе с двумя огромными овчарками оставались у него целый месяц, и все от мала до велика их единомышленники, проживающие в стране, появлялись в доме на протяжении этих четырех недель, делились своими соображениями о собаке как пастухе овец и при этом еще ели вволю.

Видимо, происшествия подобного рода и привели к тому, что пункт этот вписан в бланк; было бы на нем напечатано указание — ненужное зачеркнуть, я бы знал, куда приложить мое перо. Дамы из Казани не владели живностью и хотели всего-навсего бросить взгляд на нашу столицу.

Представить себе это — просто, а вот как написать — задумаешься. Мотив приглашения: взгляд на столицу. Что подумают власти, получив такую информацию? Конечно, Берлин заслуживает того, чтобы сюда приезжали гости даже из Казани, но если вопрос задает официальное учреждение, оно не желает завуалированных ответов.

Лучше уж, кажется, написать: туризм. Но это обозначение я счел неудачным. К двум дамам из Казани никак не подходил термин, при котором прежде всего думаешь о рюкзаках, кроме того, спрашивалось не о мотиве их путешествия, а мотиве моего приглашения. Но и моим мотивом был не туризм. Моим мотивом было знакомство, что и могло служить обоснованием.

Я уже хотел было вписать это слово в пустую строку, но поскольку моя профессия развила у меня определенную особенность — педантично обдумывать каждую позицию, я поставил себя на место сотрудника, который будет читать мое ходатайство. Вот эта лейтенантша, например, которая наверняка не только раздает бланки, но потом их изучает, что подумает эта славная женщина с погонами, если прочтет такой ответ?

Прежде чем я успел углубиться в ведомственный образ мышления, в зал ожидания влетел молодой человек и чуть ли не упал передо мной на колени. Стоя передо мной в преувеличенно согбенной позе, он просил пропустить его.

Я вовсе не последний, хотел я сказать, так как после ретировавшегося автосчетчика пришла женщина, которая в виде исключения не хотела встать в очередь передо мной, а после нее, пока шла раздача бланков, пришли еще два-три человека, но до тех мне уже дела не было. Если ты не упускал из виду впереди стоящего, то все в порядке.

Я хотел объяснить молодому человеку этот порядок, довести до его сведения, что я не последний, хотел спросить его, почему он именно меня счел последним, но другие уже просветили новичка относительно соблюдения очередности.

Его, однако, не так-то легко было обескуражить. Он встал куда положено и, обратившись ко всем нам, объявил:

— Мое посещение полиции имеет смысл лишь в том случае, если я тотчас войду в канцелярию, иначе говоря, буду следующим. Только в этом случае улучшатся условия моего существования.

Мы были бы тупым сборищем, если бы не проявили к нему внимания. Однако мы были обкатанные жизнью люди, и та женщина, которая на подходе к болгарской гитаре обошла меня и других ожидающих, была вправе сознавать себя представительницей нашего сообщества. Ведь следующее урчание в ящичке над дверью адресовалось бы ей, поэтому ее привилегией было справиться у молодого человека о более точных обстоятельствах его существования.

Совершенно очевидно, что молодой человек обдумал свой ответ по дороге сюда, а в том, что ответ этот был построен по законам стратегии, я убедился очень скоро.

Собственно говоря, начал он, его дело касается квартиры, но в

настоящее время он студент-заочник, и так как он уже на последнем курсе, то месяц-другой будет жить в столице. Вопрос с квартирой решается там, где он родился и живет постоянно, в Бурге под Магдебургом, однако же, если иметь в виду его будущее жилище, огромная удача, что его пригласили участвовать в столичном заключительном семинаре. Ведь из числа временно собранных сюда специалистов набираются Национальные группы заполнения.

По воцарившемуся вокруг меня молчанию я понял — не только я не знал, что́ это за группы заполнения, и узнал я это вместе со всеми. Речь шла о создании Протокольного центра, а группы эти были характерным явлением телевизионной эпохи.

— Группа заполнения,— объяснил нам молодой человек,— есть не что иное, как оперативная команда для заполнения пустот в кадре, сокращенно ОКЗПК, и как таковая — фактор конфронтации.

Вот такой ответ имел я в виду, когда сказал, что он был построен по законам стратегии. Вначале великое слово — существование, затем будничное слово — квартира, а далее одни только заумные понятия; тут уж участие не заставит себя ждать. Наша представительница попросила его подробнее разъяснить нам сказанное.

И мы это разъяснение получили. Мы узнали, что наша жизнь подчинена диктату взаимосвязи планетных систем, сокращенно ВЗАПСИС, и что мы не можем надеяться, будто наше житье-бытье остается незамеченным другой стороной. Важно тут одно — не облегчать задачи другой стороне. Точнее говоря, все дело в том, чтобы эту задачу ей усложнить. Национальные группы заполнения, сокращенно НАГЗ, весомая составная часть совокупности усложняющих средств.

— СОЧСУС,— сказала женщина, знакомая с кириллицей, и когда студент-заочник как-то тупо поглядел на нее, добавила: — Всего-навсего еще одно сокращение, извините, я не хотела вас прерывать.

Зато я бы сделал это с большим удовольствием: ведь нельзя же начинать с квартиры, а потом ни с того ни с сего переключаться на планетные системы. Но здесь слушали не меня, студент-заочник продолжал держать речь.

По всей вероятности, к концу долгих ученических лет его так напичкали знаниями, что каждое высказанное слово приносило ему заметное облегчение.

— По телевидению, — сказал он, — общественно-актуальные форумы транслируют, начиная с определенной степени их значимости, и престиж докладчика на этих форумах определяется числом голов слушателей, которые будут вмонтированы в кадры с его речью. Как принято сейчас считать, личный авторитет докладчика обратно пропорционален числу вмонтированных в кадры с его речью голов. Таким образом добились признания сторонники увеличения и уменьшения числа вмонтированных голов, теории, которая гласит примерно...

— Можем себе представить,— сказала женщина, сидевшая под табло над дверью, табло, которое вот-вот заурчит и засветится лично ей,— но если сейчас раздастся звонок, а я не уловлю связи вашего разъяснения с вашим жилищным делом, я войду в канцелярию. Итак?

Молодой человек не торопясь продолжал:

— Придерживаясь законов оптики и заботясь о лучшем контакте докладчика со зрителями, телекамеры показывают преимущественно головы сидящих в первых шести рядах. Здесь по протоколу сидят высокопоставленные деятели общественной жизни, сокращенно ВЫДОЖ, и другая сторона изучает эту позицию с чрезвычайным интересом. Как здесь сидят? По алфавиту или по рангам? Кто присутствует, а кто отсутствует, и почему тут или там образовалась брешь в ряду кресел? Выше, среди факторов конфронтации, я назвал пустоты в кадре, теперь добавлю: среди них самые опасные — бреши.

— Понятно,— сказала женщина у двери,— и группа заполнения должна эти бреши заполнить, верно?

— Верно,— ответил заочник,— на сегодня выделили меня, объявлено, что будут присутствовать руководители государства, а из-за эпидемии гриппа вполне вероятно, что мне придется принять участие в передаче. Но я потерял удостоверение личности, его нашли и сдали сюда, мне велено его взять. Я должен его взять — без него я не войду во Дворец заседаний, ведь пропуск НАГЗ действителен только в сочетании с личным кодом, а код...

— Вписан в удостоверение личности, ясно,— сказала наша представительница,— не ясно только, какое это все имеет отношение к вашему квартирному делу, и не говорите, что я вас не выслушала!

Она подняла глаза на табло, словно требовала наконец-то сигнала, а молодому человеку это послужило знаком выдвинуть свои стратегические резервы.

— Это будет иметь отношение,— ответил он,— если Центральное телевидение, передачи которого смотрят также в Бурге под Магдебургом, смонтирует мою голову с лидирующими головами и покажет меня как одного из высокопоставленных деятелей нашей общественной жизни. Этого будет достаточно, чтобы улучшить условия моего существования.

Еще пока он говорил, засветилось и заурчало табло, разрешающее вход, и я в который уже раз убедился, что принадлежу как гражданин к просвещенным гражданам, что я часть разумной нации, которой и слова достаточно, чтобы повести себя тем или иным образом.

Все ожидающие одновременно показали на дверь, и наш заочник перешагнул порог, словно и не ожидал от нас ничего другого.

А та женщина, которая все-таки рисковала не получить гитару из болгарской Кремоны, даже подтолкнула его дружески, и было видно: она разделяет с ним его счастье. Мы все разделяли с ним его счастье. СЧАСТЬЕ — это была аббревиатура, обозначающая наши объединенные эмоции.

Чувства эти позволили мне уверенно заняться собственным делом и делом обеих дам из города на зеленых берегах Волги: мотив приглашения, стало быть, сердечная дружба, этого вполне достаточно.

Пусть такая формулировка — преувеличение, потому что, обдуваемые волжским ветром у Астрахани, мы подружились лишь в той мере, какая казалась необходимой, чтобы предстать перед органами власти. Темой нашей была Киевская Русь и стрелецкое восстание, сердечное же смятение места не имело. Два педагога из Казани, к тому же мать и дочь, и путешествующий бухгалтер — подобное сочетание редко ведет, полагаю я, к любовным приключениям. В нашем случае это не привело даже просто к дружбе, но в бланк я был вправе вписать слова «сердечная дружба», так как слова эти подкреплялись нашими более общими отношениями — отношениями наших стран.

Однако стоило мне об этом подумать, как меня охватило новое сомнение. По всей вероятности, в этом учреждении частенько бывало, что человек очень личные желания выражает иносказательно, лозунговыми формулировками, и мне не хотелось встретить иронический взгляд женщины с погонами, каковой был бы вполне обоснован, впиши я в графу о мотиве приглашения только слово «дружба».

Почему уж не «дружба народов»? — вопросил бы взгляд лейтенантши.

Все взвесив, я собрался было начертать что-то вроде «личная дружба», хотя и слышал доносившийся до меня издалека вопрос, как следует представлять себе дружбу безличную. Да что уж, личная дружба — хорошо придумано. Вряд ли это захотят проверить, но если да, то, по мне, пусть. Кто бы мог оспорить мое объяснение — вот так, именно так формировалась у меня личная дружба: в спокойно теку-

щей беседе о восставших стрельцах, об основании государств и набегах Золотой Орды. Кого кроме меня и обеих дам касается, какие формы приняли наши отношения? В этих делах каждый держится на свой лад и указания не принимаются.

Я готов был уже заполнить пустующую строчку в бланке, как перед моим внутренним взором вторично возникла лейтенантша. Личная дружба? — услышал я ее голос и последующий вопрос: — Которая же из двух эта счастливица? Одной вы годитесь в отцы, другой едва ли не в сыновья, такая ситуация возбуждает любопытство. Или вы, я спрашиваю неофициально, на обеих глаз положили? В таких случаях, дорогой господин Фарсман, только зрением ничего не добиться, и вопрос еще, одобрят ли дружественные инстанции подобные отношения. Гражданин, поразмыслите хорошенько!

Я стал размышлять, и так как не мог остановить свой выбор ни на «личной дружбе», ни на такой, которая была бы вообще как-то обозначена, то не мог заполнить бледно-голубые листки, и с губ моих слетело заявление, что с этой минуты меня, поскольку я еще должен поломать голову над бланком, опять можно считать последним.

Оставшиеся в зале, вместо того чтобы попросту не принимать меня в расчет и двигаться к канцелярскому столу в установленном порядке, вновь стали соревноваться за ближайшее к табло место.

Так как покинул сформировавшуюся очередь я, то я и был виновен в возникшей заварухе, и только сознание, что это средство уже использовано, удержало меня от того, чтобы аннулировать свой отказ от места в очереди. Я бы с радостью, оставаясь глухим к происходящему, углубился в заполнение бланка, но поставить непроницаемые переборки между мной и залом было невозможно. Картины происходящего и разговоры вокруг доходили до меня, и хотя я ответил на прощальное приветствие заочника и гитаристки, покидавших полицейский участок, куда больше занимали меня дела и люди в зале.

Какая-то женщина, которую, как мне показалось, я видел в американском фильме в роли пьяницы, решилась на ребяческий маневр. Даже я, посвятивший себя целиком заполнению бланка, разглядел ее попытки незаметно приблизиться к двери и окутать свое движение туманом пустопорожней болтовни. В ее никому не нужном рассказе речь шла об улетевшей дикой утке, но никто не выказал участия к судьбе скрывшейся птицы. Все молчали и взглядами, словно тяжеленными бревнами, преграждали женщине дорогу к цели.

Минут так через пять-шесть мы по слуху определили, что кое-кто из оставшихся в очереди простужен, потом, возможно, чтобы разрядить обстановку, один из ожидающих рассказал, что подал заявление, в котором просил увеличить ему сумму, полагающуюся для обмена на валюту при выезде за границу. Дело в том, что в соседней стране у специалистов по оборудованию террариумов имеется в продаже корм для амфибий, не лишающий блеска кожу саламандр. Местный же товар — и это он наблюдал на своих пятнистых саламандрах,— к сожалению, лишает.

Намерения у человека были добрые, но столь подчеркнутый профессионализм помешал какой бы то ни было дискуссии, и общественная атмосфера ничуть не улучшилась после того, как мы получили представление о потускневших пятнистых саламандрах.

Только один парнишка, решивший, что после утки и саламандр следует завести разговор о прочих видах живности Ноева ковчега, предъявил нам коробку из-под печенья и какую-то бумажку. Бумажка была заключением ветеринара, которое удостоверяло, что голубовато-розовую окраску попугая в коробке следует считать естественной. Цена на голубовато-розовых попугаев чрезвычайно высока, поэтому их в последнее время подделывают. Но поскольку даже некоторые ветеринарные заключения оказывались фальшивыми, наиболее

осторожные покупатели требовали, чтобы заключение ветеринара было заверено в полиции. Парнишка помахал своим ценным документом, и когда он снова прижал к груди коробку, я увидел в одном из отверстий для воздуха редкостное свечение словно бы от голубовато-розовых перьев.

В ящике вызова загорелся тоже слабый красноватый свет, а урчание в нем напоминало воркованье, в ответ на приглашение приветливого сигнала поднялись одновременно четыре человека. Это была, видимо, семья, и, как можно было заметить, трое составляли всегонавсего эскорт четвертого. Ни один из них не принял участие в нашем разговоре, так что я не могу сказать, по какой причине четверо родственников скопом отправляются в полицию.

Зато благодаря массовому исходу зал ожидания стал доступен обозрению. Кроме какого-то угрюмого человека и меня оставалась только довольно молодая и видная собой особа. Она сказала, обращаясь ко мне:

— Значит, так оно и будет — вы последний? Тогда я, если вы не возражаете, следующая.

Так и будет, для меня это значения не имеет, сказал я с каким-то смутным чувством, словно должен был еще что-то уладить. И потому, что забытое скорее всего вспомнишь, не слишком усердствуя, и потому еще, что я охотно беседую с видными особами, я добавил:

— Сомневаюсь, что отдел прописки станет заниматься подобными проблемами зверья. У вас такая же проблема?

Она могла бы ответить, что таким тоном только что-то выпытывают, но бесхитростно сказала:

— Нет, я сообщу лишь мой новый адрес.

Я порадовался за лейтенантшу. Наконец-то вопрос, непосредственно относящийся к полиции. Конкретное дело, требующее всегонавсего печати и записи в книгу. Дело, связанное с порядком, не менее, но и не более того. Дело, желательное лейтенантше, поскольку его можно быстро уладить, желательное угрюмому посетителю и мне, оставшимся последними в длинной очереди этого дня.

Однако молодая женщина, словно сожалея, что дала столь краткий ответ, представила дополнительное объяснение:

— Я поменяла квартиру, нет больше моих сил выдерживать проделки мужа надо мной каждое воскресное утро.

Она, похоже, попыталась сдержать себя, и я тоже хотел просить, чтобы она не ставила нас в неловкое положение, рассказывая подробности, но ей необходимо было выложить нам то, что она, по всей вероятности, слишком долго терпела.

— У мужа есть страсть,— сказала она,— в воскресенье он носится на мотоцикле с коляской вокруг гравийного карьера. За многие годы возле самого края карьера образовалась четкая тропа. Это мы ее выдавили в песке, муж на мотоцикле и я в коляске. Поначалу муж увлекался только скоростью. Но потом ему захотелось ехать по земле на переднем и одном заднем колесе, а чтоб я в коляске парила над пропастью рядом с ним. Край карьера изрыт выемками, так что на отдельных участках это еще получается, но вокруг всего карьера — никак. Я была рада, что не получается: ведь лететь по воздуху не очень-то весело, но мой муж желает — и все тут! — на двух колесах вокруг всей ямы. Мы попытались и в том и в другом направлении, но даже если коляску мы прицепляли не справа, а слева, что запрещено законом, ничего не получалось. Я сказала мужу, что с природой и силой инерции не поспоришь, но он ответил, что сам проверит. Мы уже четыре раза грохались в карьер. С меня хватит.

Видно было, что обсуждать дальше этот вопрос с посторонними ей не хочется, я же рискнул поразмыслить над проблемой движения по кругу, которая включала вопросы динамики, силы тяжести и си-

лы инерции, однако почувствовал от этого легкую дурноту. А поэтому вдвойне обрадовался, когда секретарь в форме младшего лейтенанта вышла, чтобы проводить семейную группу через зал ожидания до двери. Старший из четверых выглядел довольным, остальные, показалось мне, не очень. Служащая полиции закрыла за ними дверь и сказала, обращаясь к нам:

— Ну и денек выдался сегодня!

Обе звездочки, надо думать, тяжело давили ей на плечи, и она взглянула на нас с таким видом, словно пыталась догадаться, какие еще испытания приготовили ей мы. Она показала на дверь под табло вызова, и женщина из гравийной ямы проследовала за ней в канцелярию. Я надеялся, что вторая в разговоре с первой умолчит о проблемах парения и гравийного карьера.

Легко сегодня говорить, но тогда я бы вполне стерпел, если бы угрюмый посетитель, после которого я был последним, помолчал и тем самым нарушил обычай зала ожидания. Информацией я был переполнен, а его информация, судя по выражению его лица, сулила только дурное. К тому же я смутно ощущал, будто меня ждет какое-то невыполненное дело, но еще прежде чем я восстановил в памяти, что это за дело, угрюмый человек крикнул через несколько столов:

— А теперь я хочу получить письменное полицейское свидетельство!

После столь многообещающего начала последовало нечто столь же содержательное. Я значительно ужимаю рассказ, подобный в его исполнении разветвленной дельте реки.

Он работал в Государственном комитете по изысканию методов и способов. Его дочь брала уроки игры на скрипке. Скрипка упала, и один колок сломался. Его коллега знал человека, который мог привести скрипку в порядок. Но на тот день, когда он хотел принести своему коллеге инструмент, в Госкомитет методов и способов был назначен визит весьма высокопоставленного лица. К вахтерам присоединилось множество молодых людей, слишком молодых, чтобы быть вахтерами. Некоторые, стоя на дальних подступах к зданию Комитета, крепко сжимали в руках складные зонтики. И во все глаза глядели на человека с футляром для скрипки. Поначалу он ничего такого не подумал. Потом вспомнил старые фильмы, в которых футляр для скрипки был классическим вместилищем взрывчатки. Он хотел было повернуть, но за ним уже шел «хвост». Тогда он зашагал на работу, а рядом с ним шагали два молодых человека, которые настроились на дождь и пытались создать впечатление, что совершают утреннюю прогулку. Сотрудник Комитета нашел ситуацию забавной, но все-таки ящик, в котором лежала сломанная детская скрипка, заметно потяжелел. Заметно многочисленней стало и сопровождение сотрудника. И прогулочные шаги вокруг него приобрели что-то от пружинящей готовности. Это помогло сотруднику Госкомитета методов и способов кое-что понять. Он протянул сотрудникам другого Госкомитета футляр для скрипки и крикнул:

— Да всего-то-навсего детская скрипочка!

Но это было ошибкой с его стороны. Еще большей ошибкой было вдобавок к этим словам и жестам от души рассмеяться. Он хотел, чтобы его смех звучал заразительно, а смех его был понят как намек на что-то. Ему, правда, не пришлось открыть футляр, но пока руководящий визитер находился в Комитете, человека и его футляр не упускали из виду. Позже с ним состоялся ряд бесед. Вначале речь шла о скрипке, которой в служебном здании делать совершенно нечего. С этим он согласился. А с тем, что он должен лучше воспитывать свою дочь, он не сразу согласился, но согласился, когда мнение о воспитании отнесли конкретно к бережному обращению с ценными вещами. И еще он согласился с настоятельным требованием бдитель-

нейшей бдительности, с обстановкой вообще, с особенностями этой обстановки, с возрастающей необходимостью этой бдительности, с секретным характером личных бесед и с неизбежностью личных бесед в случаях, подобных его случаю. Труднее было ему согласиться с тем, что обсудить следует всю его жизнь. Крах его первого брака. Школьные дела его дочери. И даже его активность как добровольца Общества Красного Креста. В двух-трех дальнейших личных беседах речь шла о его несознательности. И о принципиальной сознательности, которая принципиально противоположна несознательности. Беседовавшие с ним готовы были забыть футляр и смех, но на позицию, занятую их сотрудником, на его позицию нельзя было закрывать глаза. Такую позицию не мог занимать сотрудник Государственного комитета методов и способов, и так как ни о чем другом договориться не смогли, то договорились о дополнительной личной беседе.

Содержание этой беседы я не узнал, так как лейтенантша, выйдя проводить умученную мотоциклом женщину, а также друзей животных, спросила угрюмого человека и меня, что заботит нас.

— Справка о благонадежности,— сказал угрюмый сотрудник.

Тогда лейтенантша предложила ему для начала подать ей данные о себе в письменном виде, и если у него, кроме этого, нет вопросов, добавила она, то я могу подойти к ее столу вместе с ним.

Угрюмого сотрудника лейтенантша внесла в толстую книгу, сделав это очень быстро. И я лишь мельком подумал, что мне светящееся табло не проурчало. Разве здесь последний не признается следующим?

Служащая помешала мне заняться этим крамольным вопросом. Мое дело, сказала она радостно, считается самым простым из всех подлежащих ее ведению дел. Две подписи, две печати, двойной налог, и мы сможем покинуть полицейский участок. Она не сказала, но в тоне ее слышалось, как страстно желала она поскорее выйти из здания полиции. Ее хозяйственная сумка стояла наготове, связка ключей с печатью лежала рядом.

Лейтенантша взяла у меня листки и мое удостоверение личности. Она бегло проверила, соответствует ли мой адрес в одном документе адресу в другом, и, подписывая документ, легонько постукивала левым указательным пальцем по пустой строке — мотив приглашения.

Тут я опять вспомнил то, что на время выпустил из виду, и сказал смущенно:

— Н-да, знаете ли, это две учительницы из Казани, и как иной раз получается, особенно если тебя вечером обдувает летний ветер, да еще под небесами, что простираются до стран Леванта...

Лейтенантша наклеила гербовые марки, поставила печати на бледно-голубые документы, взяла у меня деньги и вернула мне бумаги со словами:

— Мотив приглашения внесете сами, вы же в конце-то концов знаете, какие у вас мотивы.

Взяв связку ключей, она хотела уже нас выпроводить. Но я попросил ее специально для меня, чтобы мне легче было уйти, еще раз включить табло над дверью — это, мол, благотворно действует на зрение и слух. Лейтенантша, правда, смерила меня — ого, каким! — взглядом, но положила усталую руку на кнопку, и когда я с заверенными документами, которые, подумать только, имел право оформить окончательно по собственному усмотрению, переступил порог, над моей головой раздалась скорее барабанная дробь, чем урчание, и свет оттуда лился небесно-голубой. Все звучало и сияло так, как положено, когда человек первый, Первый, *Первый*, и тут сотрудник Комитета методов и способов заторопился вниз по лестнице.

Меня это вполне устраивало, ибо он не производил впечатления смельчака, чтобы выслушать меня и понять мои предчувствия, к тому же он был, видимо, слишком углублен в себя после других бесед. Впрочем, в подобное мгновение своей жизни лучше оставаться

одному. Круг ожидающих сократился до точки, и этой точкой был я. Я был очевидцем некоего конца, а может быть — начала. У меня было тому письменное подтверждение. Оно было у меня в том смысле, что я обладал двумя парами печатных двоеточий, за которыми следовала пустота. У меня в руках были официальные документы, подписанные и скрепленные печатью, возможность поразмыслить над ними кружила мне голову куда сильнее, чем сумасшедшая гонка вокруг зияющего карьера. Безбрежная и бездонная пропасть разверзлась на моем документе. Всасывающая вселенская расщелина, способная с чавканьем поглотить весь мир земной между здешним краем и Астраханью, вкупе со всеми живыми существами, включая людей и саламандр. Незаполненный официальный бланк был тем зверем, что пожирает самого себя. Это был конец.

Что же касается начала, то мне показалось, что я был в государственном учреждении как раз в тот момент, когда началось известное отмирание. Объявлено о нем было уже давно; почему, стало быть, ему не начаться в моем присутствии? Да и как иначе можно представить себе подобную смерть? Ведь не о внезапном же коллапсе или неожиданной остановке дыхания шла речь у классиков, а именно об упомянутом отмирании, которое начинается, видимо, с неучастия и отказа от действий.

Кроме того, я думаю, что в отличие от круга у смерти есть где-то начало. А если где-то, так отдел прописки подходит с тем же успехом, как любой другой пункт. Почему же неуправляемое время не может начаться с переутомленной лейтенантши и спокойно сказанных слов: «Мотив приглашения внесите сами».

Когда я услышал эти свои мысли, то, стоя на пустой лестнице, один на один с пустой строкой в официальной бумаге, я содрогнулся. Почувствовал искушение заткнуть зияющие пустоты незаполненных строк любой записью, так как сознавал вдобавок свои обязательства перед обеими дамами из Казани, дав им слово. Но я всеми силами сопротивлялся тому, что само собой разумелось, и громко сказал на безлюдной лестничной клетке:

— Право, если уж дух, все вверх дном переворачивающий, вырвался из бутылки, так не я буду тем человеком, который загонит его обратно и закупорит сосуд!

Эта мысль кажется смелостью, тем более в отделении полиции, но была она всего лишь пустым звуком. На деле я понимал, что мне не по плечу строка с этой ошеломительной пустотой, которую я нес в моей папке.

А посему я поторопился переправить оба документа почтовому ведомству. С незаполненной строкой и без пометки «заказные». Все это, правда, противоречит нормам моей жизни, но пока письмо совершает долгое путешествие, я вправе считать возможным даже немыслимое. По-видимому, последствия утомления: отказ от действия тут, несостоятельность там, забывчивость еще где-то, иссякающие традиции, рассеивающиеся, как дым, обычаи; все это, на мой взгляд, накапливается. Я знаю, что́ сейчас пришло в движение, и я знаю также, где это началось.

КАРИНЦЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА

Советский германист, переводчик.
В ее переводе издавались романы Э. М. Ремарка «Время жить и время умирать» (совместно с В. Станевич), Л. Франка «Из трех миллионов трое» и «Шайка разбойников», М. Вальзера «Браки в Филлиппсбурге», Г. Э. Носсака «Дело д'Артеза», Г. Гёрлиха «Извещение в газете» («ИЛ», 1980, № 8), а также романы Г. Канта, А. Зегерс, К. Вольф, З. Ленца и других писателей ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии.

Из поэзии Южной Африки

Перевод с африкаанс ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО

Живая традиция Ингрид Йонкер

Десять лет назад, в январе 1976-го, журнал «Иностранная литература» познакомил читателей с творчеством Ингрид Йонкер. Эта южноафриканская поэтесса привлекла внимание не только своими стихами, но и трагической судьбой. В июне 1965-го она уплыла в ночной океан возле родного Кейптауна, уплыла, чтобы не вернуться. Перед смертью написала: «Я ничего не могу изменить, я не могу больше вынести все это». Ей было тридцать два года. В ее поэтическом завещании, стихотворении «Я улетаю с ветром», слышатся сетования на личную драму, но звучит и другое: любовь к народу «моей Черной Африки», неприятие, гнев и ненависть к «колючей проволоке лагерей и гетто», боль за «разодранную землю», «застреленное слово».

В трагедии Ингрид Йонкер отразилась судьба ее родины, Южной Африки. Весь мир сочувствует черным жителям этой страны. Ну, а для белых — это разве рай земной? Во всяком случае, не для тех, кто задумывается над окружающей жизнью, над будущим. Ведь и там, на Юге Африки, как и повсюду, не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.

Ингрид Йонкер по законам апартеида принадлежала не к угнетенным, а к угнетателям. Более того, ее отец был депутатом парламента от правящей Националистической партии, той самой, которая изобрела политику апартеида. Во время второй мировой войны он желал победы Гитлеру и не скрывал этого. Одним словом, он был из того лагеря, который Ингрид Йонкер яростно ненавидела и который в свою очередь травил ее. Когда ее отца назначили еще и председателем комиссии по введению закона о цензуре, дочь ушла из дому...

Потом — сборники стихов. Первый из них — «Побег» — вышел в 1956-м, когда Ингрид было двадцать три года. Пришла известность в стране и за ее пределами. Ингрид Йонкер едет в Европу.

О возвращении Ингрид домой — трагическом возвращении, после которого последовало самоубийство,— поэт, Уильям Плумер, написал: «Зачем она вернулась? Узнать, что в родном доме ей места нет?..»

...Сейчас журнал представляет читателям двух других южноафриканских поэтесс: Вилму Стокенстрём и Лину Спис.

Почему же тут, говоря о других поэтессах и к тому же через двадцать с лишним лет после смерти Йонкер, нельзя не вспомнить о ней?

Да потому, что Вилма Стокенстрём — ровесница и последовательница Ингрид Йонкер. А Лина Спис, она помоложе,— лауреат премии имени Ингрид Йонкер. Эту премию присуждает жюри, состоящее из лучших поэтов Южной Африки.

Как и Йонкер, обе они принадлежат к народу африканеров (или буров) — народу, который стоит на самой верхушке расово-национальной пирамиды, воздвигнутой властями Южной Африки. Народ этот происходит от голландцев и французов, переселившихся на юг Африки еще в XVII столетии. Вилма Стокенстрём и Лина Спис, как и Ингрид Йонкер, пишут на африкаанс — языке африканеров, близком к голландскому. Творчество прозаиков и поэтов на этом языке — важная часть южноафриканской литературы, которая развивается и на английском, зулусском, языках коса, суто, тсвана и других.

Имена Вилмы Стокенстрём и Лины Спис приобрели на юге Африки известность в 70-х годах. Популярность Вилмы Стокенстрём началась с ее сборников «Для внимательного читателя» (1970), «Зеркало воды» (1973) и «О забвении и блеске» (1976). Лины Спис — со сборников «Почти что радость» (1971), «Зимняя гавань» (1973) и «Дневной рейс» (1976). Издавались эти сборники в Капстаде — так на языке африкаанс называется Кейптаун — и в Претории.

Публикуемая подборка, мне кажется, дает представление о творчестве обеих поэтесс — и о манере и о содержании. И то и другое нельзя назвать усложненным, как это бывает подчас у современных поэтов. Так что какие-то особые комментарии или разъяснения вряд ли необходимы.

О чем они пишут? О разном. Это и общечеловеческое, извечное. Любовь. Дети. Это и портреты жертв трагических событий XX века — еврейского мальчика в гитлеровские времена, вьетнамской девочки, маленького ирландца. Страшный образ профессионала-наемника, делом жизни которого стало подавление любого освободительного движения.

Это и свое, южноафриканское. В их стихах — Шарпевиль, африканский поселок под Йоханнесбургом, где когда-то, в марте 1960-го, полиция расстреляла демонстрацию африканцев. По решению ООН 21 марта теперь ежегодно отмечается во всем мире как День борьбы против расизма.

Но свое, местное,— это и общечеловеческое, тем более в стране, где так много человеческой боли.

Начальство дает разъяснения представителям прессы,
а в стране
каменеет и чахнет земля,
и ужас
раскрывает огромные крылья,
торжественно, триумфально.

(Перевод Е. Витковского)

Во многих стихах — протест против мещанства, обывательщины, на которых так прочно держится «порядок».

Как увидят читатели, эпиграфом к одному из своих стихотворений Лина Спис выбрала четверостишие Марины Цветаевой. Удивительно ли такое знакомство южноафриканской поэтессы с российской литературой? Да нет, в сущности тут нет ничего удивительного. Вот как начал свое стихотворение южноафриканский поэт Уильям Плумер:

Русский роман читаю
вдали в Трансваальской степи
чистая линза неба ко мне приближает холмы
и так же близка Россия
в фокусе чистой прозы место где был я и не был
с которым я странно слит.

(Перевод И. Озеровой)

Как может существовать настоящая, подлинная литература в стране, где весь политический климат, казалось бы, не благоприятствует ей?

Об этом я спрашивал африканеров из Южной Африки, встречаясь с ними в Лесото и Зимбабве, в сопредельных с ЮАР странах. Один из собеседников, противник расизма, но патриот своей литературы, оказался в то же время и знатоком истории. Он решил убедить меня параллелями с историей нашей страны.

— Пушкин, Лермонтов, Гоголь — великие писатели, а в какое время они жили? Крепостничество, шпицрутены... Что же удивляться нашей литературе? Дай ей бог. Какой бы жестокий ни был у нас режим, а смотрите, несмотря на него и вопреки ему, сколько у нас хороших писателей. Хорошо бы у вас в Москве их получше знали.

У нас уже переведено немало южноафриканских писателей — и черных и белых. Прежде всего тех, кто, как Ингрид Йонкер, видел действительность не через призму цвета своей кожи.

Знакомство со стихами этих двух поэтесс обогатит наши представления о поэзии на языке африкаанс, да и в целом о жизни сегодняшней Южной Африки. Имена Вилмы Стокенстрём и Лины Спис станут рядом с именами Ингрид Йонкер, Дидерика Оппермана, чьи стихи тоже печатались в «Иностранной литературе», и Эйса Криге — сборник его стихов был издан в Москве в 1977-м. Мы сможем лучше понять думы и чаяния людей, которые живут, говоря словами Эйса Криге,

там, в далекой стране,
у земли на краю.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

ВИЛМА СТОКЕНСТРЁМ

Ужас

Вдоль колючей проволоки висите, детишки, как лоскутки;
пусть туристы посмотрят в окошко и скажут:
«Узнаём, узнаём, это — Африка!»

Мясник! Шарпевиль — твой затылок. Все Шарпевили —
затылки таких вот мясников. Несомненно,
газеты со стоек в кафе
раскупают быстрей пирожков, если в них
дух свежепролитой крови.

Прицельно, как хищная птица,
налетает газетчик,
раздирает фату на невесте,
чтобы все показать, и в деталях, и в цвете:
обнаженье, трепет и страсть,
раскрыванье бутона и стон приглушенный,
все как есть, как в натуре.

Мириады крошечных трупиков, уносимые водостоком,
комары и цикады, похожие на стариков,
беззаконно бегущих из города по недосмотру властей.
Транспортеры, сирены включив, спешат, чтобы вывезти мусор.
Светофоры торчат, будто виселицы, вдоль дорог.
Начальство дает разъяснения представителям прессы,
а в стране
каменеет и чахнет земля,
и ужас
раскрывает огромные крылья,
торжественно, триумфально.

Жизненный цикл

Детские каракули: никогда больше
черная кошка, ночь, не станет лакать
молоко из миски луны; солнце больше
никогда не будет огромным апельсином.
Картинок, стало быть, хватит.

Потом сплетаются ветки, звезды,
цветы и бабочки, чтобы для влюбленных
получилось подобие полога — но эти годы
летят—не успеешь заметить.

Потом — покупка дома в рассрочку.
Хозяин обрастает привычками — как соседи.
Как соседи, ухаживает за газоном,
он угощает соседей, они его угощают.

ВИЛМА СТОКЕНСТРЁМ — WILMA STOCKENSTRÖM (род. в 1933 г.)

Южноафриканская поэтесса.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Для внимательного читателя» («Vir die Bysiende Leser». Kaapstad, Reijger-Uitgewers, 1970), «Зеркало воды» («Spieël van Water», Kaapstad, Human & Rousseau, 1973), «О забвении и о блеске» («Van Vergetelheid en van Glans». Kaapstad, Human & Rousseau, 1976).

Дети — сперва отправляются в школу,
а потом уезжают учиться все дальше и дальше.

Нерушимость традиций. Преемственность поколений.
Обратить внимание. Принять к сведению.
Не прекращать накопительства. Цифры. График режима. Рецепты.
Не прекращать. По привычке: сон, смех, ласки. Не прекращать.
В солнечный день—дремать на веранде:
домик голубенький, мирный заборчик,
олеандры. Кладовка — чтобы было, куда сложить.

Потом, лазя по дому и изучая, дотошные внуки
откроют ветхую дверь,
разгребут документы, будут чихать от пыли,
читая даты крестин, имена,
глядя на лица совсем неизвестных друзей.
Быстро соскучатся, сложат костер и сожгут
все квитанции, акты, контракты.

Жизнь человека: развлеченье всего-то на вечер.

Нападение мамбы [1]

На холме, на вершине водораздела—дом.
Исполинская мамба скользит по траве,
обвивает свое эластичное тело
вокруг колонны крыльца. Чутко
исследует прорезь замка, сигнализацию,
потом—по асбесту, по черепице
ползет к каминной трубе, ныряет в нее,
блестящая, черная — в черноту.

И взывают сирены в благопристойных коттеджах,
будто присевших на корточки возле дорожных развилок,
двери захлопываются. Именно в этот миг
раздирается занавесь храма наживы.
В библиотеках гаснут огни. В теплых шахтах
клокочет вода, и топчется в страхе
обожравшийся золотом город.

Мамба сделала дело свое. Она
ползет вдоль кровати, устремляет
глазок-самоцвет на того, кто в постели
лежит, обмочившись от страха,— и только затем
кладет холодный подбородок ему на белое горло.

Прошлое

Юности не было: разве что прошлое,
заколоченное крест-накрест, до смущения давнее,
он тогда еще лаять не мог, только слабо ворчал,
если кошка пыталась приблизиться к ящику.
Каким подъемным краном
извлечь его из былого?

[1] Мамба — большая ядовитая змея. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Откуда мне знать?
Безымянный корабль в глубокую полночь
появляется, чтобы в нейтральных водах
потопить загулявший понтон.

Порой, когда город растерянно дремлет
под надкушенным кругом луны,
слышишь ты, как собака скулит над водой,
слышишь ты, как прошедшие дни
воют, словно собаки?

Порой поднимается над горизонтом
собачья голова: уши свисают к воде.
Она глядит на город вращающимися глазами,
их лучи, как спицы, проводят по крышам,
добираются до закоулков, до самых темных.
Воет собака, воет на наши окна, наши дома,
воет и воет, к луне обратив силуэт.

Среди проснувшихся — ропот.

«Заткнись!» — хрипло рявкнул мужчина,
и с пирса, с разгона, в автомобиле
бросился в море, зеленое, как обсидиан.

Делегаты идут в министерство,
им говорят, что уже принимаются меры,
что подобного больше не будет,
напротив, наступит порядок.
Делегатам дают по пирожному и по чашке чая.

Иногда меня будит царапанье, фырканье
возле входной двери.
Как собака, приходит собака,
пахнет псиной и ластится, черт возьми.
Люди, простите пса: он не хочет топиться,
простите за то, что он воет средь ночи,
что лежит у меня на пороге
как мешок, набитый мокрым песком.
Я знаю, впрочем, я знаю,
что прочту в глазах у него,
в шоколадных глазах:
нежность, радость.

Дурбан ночью

Город — кроссворд огней
в окружении темных локаций, и воздух
жёсток, как шевелюра индуса. Двумя рядами
валы нападают на берег — акульей хваткой впиваясь в песок;
к причалам жмутся суда,
тяжко дышат проспекты,
выдыхая угар показного сияния,
блеска реклам.
Турист надевает пижаму, щелкает выключателем,
вечерний Дурбан уходит во мрак,
кроссворд так и не разгадан.

Резолюция по поводу установки монумента

Комиссия посещает деревню
и выносит решение (ясно, после того,
как она погуляла у церкви, у почты,
по окраинам — тоже прошлась с эскортом
именитых граждан, из коих один,
указав на домишки цветных, с сожаленьем отметил,
что такое соседство пока неизбежно):

здесь воздвигнется монумент —

время само по себе создает колорит,
долина же — так поэтично покрыта
стрелолистом, козловником, вереском,
перегной так богат, и к тому же река
из коричневой почвы начало берет,
а у моря становится белой, кипящей;

там никто и не помнит о темных истоках.

Наемник

Опытный профессионал-наемник предлагает услуги
любому, кто берется планировать войну.
Доставка — за счет нанимателя. Оклад — сговоримся.
Свидетельства квалификации: ранения, шрамы,
будто наклейки на коже — Плайя-Хирон, Катанга,
посредине лба, словно каинова печать: Биафра.

Таков этот тип, настоящий поденщик смерти,
усики лисьи, голубые злые глазенки,
мистер выкидыш, мистер поскребыш! Ша-агом марш!
Шарлатан и бездарность, поганая тряпка — это если
оружье отнять. Если нет — ого-го! Ша-гом марш!
Сверхгерой, сверхмужчина, короче — бравый вояка.

Вояка, к примеру, для обезлиствевших джунглей
Юго-Восточной Азии, где мертвые ветки деревьев
едва поднимаются над морем отравляющих газов.
Роттердам, Хиросима, Дрезден — его реклама.
Ловкость рук — это самое важное, если нужно
урвать от большого чужого — кусок для себя.

Ша-агом марш! Что, однако, за стадо баранов?
Веселей, переростки-подростки, краса и гордость
наемных отрядов,— что? — да это почетное званье!
Шире улыбки, загрёбистей руки, ярче глаза!
Это шанс твой последний, ты, дряхлый бойскаут,
ковыляющий с боеприпасами на горбу.

На изготовку: снаряды, подводные лодки,
все с неснятыми пломбами, новенькие, высший сорт,
с иголочки, элегантные, защитного цвета —
чтобы прикрыть пятна проказы, язвы войны,
метастазы, которыми скрыт, искажен, уничтожен
человеческий образ под этой чудовищной маской.

Немая земля

Ни огонька. Нам-то казалось: предки
сразу рты раскроют, забитые глиной;
речи огня непонятны, непереводимы.
Норы в камне, недоступные свету дня —
между смертельно-белых корней, оцепивших
устья пещер. Жалоба, утишение боли,
хруст песка на равнине — все молкнет,
сохраняя слова и возгласы предков,
давно ушедшие в глубь земли.
Здесь ничто не звучит — нет и речи о том,
чтобы прислушаться. Только ветер кружит
в руинах древнего Мапунгубве [1],
рвет цинковые крыши Ферейрасдорпа,
будто тянет один человек другого
за локоть: и травяной воротник
дыбом стоит у отвала шахты,
словно грива пленного зверя; вдаль —
цепочка шакальих следов. Дым,
только дым. Где же шепот, где говор,
слова сквозь зубы, крики, быть может
впечатанные в блестящий пирит,
словно пламя; дыханье души земли
окаменело и тайно мерцает
металлической речью, глубинно-прекрасной,
недвижной и вечной, — это речь наших предков,
застывшее пламя. Только ветер, только Ничто
властвуют здесь,
царят над нищим предместьем,
где ныне молчит земля,
которую некому слушать.

Эланд [2]

Движение чуть обозначенной руки
заставляет бежать антилопу красную белую
это чудо совершенное здесь в пещере

желтые пальцы красная глина это чудо
антилопа совсем как живая на камне стены
человечек большой желтый антилопа маленькая красная

большой охряный зверь восстает из праха
смотрит на жизнь одетую в тихие краски
из пещеры за выступом темно-зеленой рощи

бегут человечки в глубь котловины
к светлому стаду там вдали
чтобы шум поднять метать ассегаи

и там будет черный-черный козел
и живот его будет красно-кирпичным
будут сильными ноги и плоским хвост

[1] Древние руины вблизи границы ЮАР с Батсваной и Зимбабве.
[2] Африканская лосеподобная антилопа.

это чудо стрела в руке но рука
остается рукой а стрела превращается
в кисть — и камень вдруг оживает

рука дающая жизнь руке
другой нарисованной и стреле
что с лука широкого как горизонт

устремляется в цель на огромном небе.

ЛИНА СПИС

Песня для девушек

Быть в аду нам, сестры пылкие,
Пить нам черную смолу,
Нам, что каждою-то жилкою
Пели господу хвалу.

Марина Цветаева

Быть в аду нам, сестры,
нам, что пели господу хвалу,
но сроду не склонялись к колыбели,—
быть в аду нам, быть в аду.

Нам, с нашими блузками от Диора,
со слишком низким декольте,
и нам, чопорно поджавшим губы при виде мирры и вина,
и нам, жадно глотавшим их,—
пить вовеки веков нам один только уксус.

Рай — не для нас.
Не молитвы, так законы нас задержат у ворот,
и, судимы по всей строгости,
на ярком свету, нагие,
будем мы стоять на холоду.

Мы начнем учиться азбуке глухонемых,
начнем осязать звуки
и решимся в себя заглянуть.
Мрак поглотит нас.

Так что, девушки, незлобивые мои сестрицы,
муки ада мы еще познаем,
так или иначе, нынче или завтра.

ЛИНА СПИС — LINA SPIES (род. в 1939 г.)

Южноафриканская поэтесса.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Почти что радость» («Digby Vergenoeg». Kaapstad, Human & Rousseau, 1971), «Зимняя гавань» («Winterhawe». Kaapstad. Human & Rousseau, 1973), «Дневной рейс» («Dagreis». Kaapstad, Human & Rousseau, 1976).

Дискриминация

Я удивляюсь, обнимая тебя,
какую дискриминацию воплощаю я, многогрешная,
поставив тебя выше всех живущих?

Я хочу, чтобы ты был при мне, со мной, во мне
и увидел, что у меня карие глаза,
если ты посмотришь в них изнутри;
хотя за долгое время
я почти потеряла веру в это —
ведь ты, не задумываясь, твердишь мне,
что они зелены, мои глаза.

Я хочу так любить тебя, мой самый белый человек,
чтобы все вокруг почернело
и длилась ночь, длилась без конца.

Этюд

Смехотворно: оказывается, розовый период Пикассо
теперь должен раздражать меня:
рука девчушки на голове собаки,
женщина с младенцем у груди.

Нет, я хочу кружиться там,
в лазурном безмолвии, стремительно,
как его нагая женщина, у которой
только по позвоночнику, мазок за мазком,
можно угадать, как она печальна и хороша.

И вот — грудь давит на приподнятое колено,
и понимаешь, что некогда
над едва выносимой пустотой живота
жили жадные детские руки и рот.

И остается через плечо
еще хотя бы раз оглянуться
на нашего ребенка, на то, как он уходит,
весь во власти розовой мглы.

Песня для детей

«Пустите детей приходить ко Мне»—
еврейского мальчика
с желтой звездой на рукаве
и круглыми от ужаса глазами,
что поспешно салютует,
завидя эсэсовца.

«Пустите детей приходить ко Мне» —
вьетнамскую девочку,
скрюченную в три погибели,
с мотающимся на шее
крестиком,
что мечется, обезумев на поле боя.

«Пустите детей приходить ко Мне» —
маленького ирландца,
забытого на тротуаре Белфаста
среди трупов и осколков бомб,
заново «освобождающих» его родину.

«Пустите детей приходить ко Мне» —
дрожащих зверенышей леса,
горящего под перекрестным огнем.
Пусть они придут, наследники королевского рода,
заколотые мечами римлян,
когда Я был вифлеемским ребенком
в хлеву, среди навоза и крови.

Никто не заступит дороги —
ни герои,
ни апостолы,
ни солдаты,
ни вожди.
Они принадлежат Моему царству:
они знают о ранах,
не спрашивают и не сомневаются.

Пустите их ко Мне—
детей из Дахау,
детей из Кореи,
детей из Сайгона.

Я прижму их к груди —
они благословенны.

■

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихотворения и поэмы Фр. Петрарки, Л. де Камоэнса, Ф. Пессоа, Дж. Китса, И. В. Гёте, Т. Крамера, Й. ван ден Вондела, В. Г. Фоккенброха, А. Роланда Холста, южноафриканских поэтов Э. Криге, И. Йонкер, Д. Й. Оппермана и др. Выступает также как историк художественного перевода.

ПИРС ПОЛ РИД

Женатый мужчина

РОМАН

Перевод с английского А. КЛЫШКО

Часть третья

Глава первая

Теперь уже трудно припомнить все политические страсти, бушевавшие в Англии зимой 1973 года. Для борьбы с инфляцией правительство консерваторов проводило политику снижения заработной платы и предлагало «третий этап» тарифной политики, а тред-юнионы ее не принимали. Шахтеры и энергетики бастовали, протестуя против сверхурочных; электроснабжение ухудшилось, и Электроэнергетическое управление обесточивало целые городские районы. Аристократическая привычка обедать при свечах по необходимости распространилась на все сословия, а тринадцатого ноября правительство объявило в стране чрезвычайное положение.

Четырнадцатого вечером Стрикленды обедали у Барклеев, которые жили в Белгрейвии[1]. В квартире царил полумрак, горели лишь свечи. Хозяин дома, издатель, предложил гостям напитки и сказал, что плита у них электрическая, поэтому с обедом придется подождать, пока не включат ток. Приехали Масколлы, еще несколько пар. Центральное отопление тоже было отключено. Усталые, голодные, озябшие, мужчины быстро захмелели. Разговор зашел о политике, а поскольку большинство присутствующих придерживались одних и тех же взглядов, беседа вскоре свелась к ругани в адрес лейбористов и тред-юнионистов.

Подобно апостолу Петру на судилище над Иисусом Христом, Джон хранил молчание — он сидел в углу подальше от политического диспута и беседовал с Мэри Масколл о путешествии в Венецию, которое обе пары намеревались предпринять весной. Казалось, никто не замечал его присутствия. В десять дали свет: Ева Барклей принесла бисквиты с паштетом, чтобы слегка перекусить, а через полчаса пригласила гостей к столу. Подали недожаренное мясо с полусырыми овощами.

В одном конце стола биржевой маклер по имени Тим Поттс заплетающимся языком развивал тему, о которой остальные и думать забыли.

— Какое может быть у них оправдание, черт бы их подрал, — прошу извинить, Ева, но иначе выразиться я не могу, — так вот, скажите мне, какое, черт бы их подрал, может быть у них оправдание, если нам всей страной приходится выкладывать денежки, чтобы поднять им зарплату, а они вдобавок саботируют политику правительст-

Окончание. Начало см. в № 10, 1986.

[1] Фешенебельный район Лондона недалеко от Гайд-Парка.

ва, которое, будь оно проклято, было все-таки избрано демократическим путем...

Последняя фраза вызвала паузу за столом, но не потому что довод был особенно силен, просто оратора потянуло вниз и всем было интересно, не ткнется ли он носом в тарелку.

— Ради бога, успокойся, Тимми, — раздался с другого конца стола голос его супруги.

— Интересная мысль, верно? — Язвительная реплика Генри Масколла, сидевшего напротив Джона, была достаточно громкой, и ее услышали все. — Кстати, — обратился он к Джону, — как ты собираешься справиться с этой проблемой в своей предвыборной кампании?

— Вы выставляете свою кандидатуру в парламент? — спросила черноглазая Ева Барклей, известная своим тщеславием.

— Возможно, — отвечал Джон.

— И конечно, от тори?

— Нет.

— Разве вы не слышали? — спросил Генри. — Из Джона делают чемпиона по борьбе за права бедняков. Его натаскивали Джо Гормли и Мик Макгэи...

— Ну уж, — сказал Джон.

Наступило неловкое молчание.

— Ну, что же вы, Джон, отвечайте, — не успокаивался Генри. — Какие у них могут быть оправдания?

— Оправдания чего?

— Того, что они пытаются сорвать «третий этап»!

— Оправдание, — произнес Джон, — состоит в том, что консервативное правительство нарушило свое обещание не увеличивать налогов...

— Возможно, — сказал Генри. — И возможно, поэтому рабочие считают себя обманутыми мистером Хитом. Но у вас-то кругозор пошире, чем у рабочих. Вы же знаете, что палата общин суверенна и имеет право менять свои решения.

— Хоть сейчас не надо о политике, — сказала Мэри Масколл.

— Нет, именно надо, — сказала Ева Барклей. — Я не встречала человека, который действительно защищал бы тред-юнионы.

— Просто я считаю, что по отношению к ним допущена несправедливость, — нехотя заметил Джон.

— Какая же? — поинтересовался Саймон Барклей.

— Несправедливо, когда одним позволено продавать свой труд тому, кто больше платит, а другим — нет.

На другом конце стола Мэри и Клэр завели свою беседу, и хозяин дома поневоле присоединился к ним.

— Дело не в том, что шахтеры не хотят продавать свой труд по более дорогой цене, — сказал Генри. — Они создают своего рода картель, а это запрещено законом — законом, который обязателен для всей сферы экономической деятельности. Но тред-юнионистам закон не писан...

— Вы слишком полагаетесь на законы, — сказал Джон.

— Странно это слышать от юриста. — В голосе Генри прозвучал металл. — Обычно принято считать, что закон прав и нарушать его никому не позволено.

— Разве кто-то думает иначе? — удивилась Ева Барклей. — Инфляция никому не нравится.

— Да, — произнес Джон задумчиво, — но попробуйте объяснить шахтерам или энергетикам, почему им всегда платят меньше, чем адвокатам или банковским служащим. За последнее столетие их материальное положение улучшилось. Почему бы ему не улучшаться и впредь?

— Когда же они поставят точку? — спросил Генри.

Джон засмеялся:

— Когда чумазый шахтер станет зарабатывать столько же, сколько и вы.

Генри даже не улыбнулся, а, наоборот, насупился, и лицо у него стало бордовым, как его бархатный пиджак.

— Любой шахтер волен пойти на службу в торговый банк, законом это не возбраняется, — сказал он.

— Да, такого закона нет, — сказал Джон, — только не представляю себе, как его туда возьмут.

— Его не возьмут потому, что ему с этой работой не справиться.

— Вот именно, — Джон повернулся к Еве Барклей, как бы призывая ее в арбитры. — Он считает, будто шахтеры глупее клерков, хотя доказательств тому нет никаких. Он считает, что финансовые махинации банковских служащих должны вознаграждаться лучше, нежели труд шахтеров, который требует мужества и долготерпения...

— Признаюсь, — произнесла хозяйка дома, — мне не хотелось бы поменяться местами с кем-нибудь из шахтеров...

— Неудивительно, — Джона явно забавлял разговор. — На верху любой иерархической пирамиды всегда склонны рассматривать иерархию как естественный порядок вещей, но естественно предположить, что те, кто составляет ее основание — будь то илоты, плебеи, крепостные, невольники или британские рабочие, — придерживаются иной точки зрения...

— В вашем уравнении, — сказал Генри своим низким, грудным, сочным голосом, — вызывает недоумение ваша собственная позиция. Чего ради вы, человек, идущий вверх по социальной лестнице и, собственно, уже достигший вершины, держите сторону тех, кто внизу?

Джон улыбнулся:

— Представлять чужие интересы — моя профессия...

— Не увиливайте от ответа.

— Почему я представляю их интересы, а не ваши?

— Именно.

— Потому что вы во мне не нуждаетесь.

— А они — да?

Джон помедлил.

— Да.

— И эти трудяги предложили вам баллотироваться в парламент?

— Нет.

— Вы сами выдвинули свою кандидатуру?

— Меня выдвинули.

— Друзья?

Джон снова помедлил.

— Друзья друзей.

— Которые знали, что вы хотите этого?

— Да.

— А вы сами их об этом и попросили?

— Да.

— То есть, в сущности, вы сами себя выдвигаете?

— Получается, так.

На другом конце стола наступило молчание: Клэр, Мэри и Саймон Барклей — все, прислушиваясь, повернулись к ним.

— А почему, интересно знать? — спросил Генри.

— А почему бы и нет?

— Вы недооцениваете себя, Джон. Скрываете лучшие свои качества — совестливость, идеализм...

— Это лишь здравый смысл, не более.

— Здравый смысл? Защищать в парламенте интересы лейбористов?! Подумайте о гонорарах, которые вы потеряете ради ничтож-

ного парламентского жалованья. Променять доходную практику адвоката, имеющего право выступать в высших судах, на обязанность отвечать на нудные письма старых вдов, потерявших пенсионную книжку, — и это вы называете здравым смыслом?..

— Возможно, я руководствуюсь эгоистическими соображениями.

— То есть?

— Нужно примирить богатых и бедных, пока страна не полетела в тартарары.

— Вы имеете в виду революцию?

— Да, или по меньшей мере бунт.

— Значит, вы бросаетесь в битву на белом коне не уничтожать буржуазию, а спасать ее?

Джон насупился.

— Так наверняка сказали бы про меня марксисты.

Генри театрально вздохнул.

— Ну вот, снова самоуничижение, — сказал он. — Будто стыдитесь своего идеализма...

— Вот уж чего я никак не стыжусь.

— А он есть?

— Ну есть.

— Так я и думал.

— Почему?

— Потому что величайшие ошибки всегда совершают те, в ком звучит голос совести.

— Это не голос совести, — бросил Джон раздраженно.

На лице Генри появилась ироническая улыбка.

— Возможно, я не так выразился, — сказал он. — Честолюбие — так будет точнее? Не оно ли движет вами, а? Честолюбие неврастеника? Вы считаете себя умнее всех остальных и, чтобы доказать это, идете наперекор нам, оригинальничаете, лезете в политику, проповедуете «здравый смысл», а ведь глупость заразительна.

Теперь замолчали все за столом, ибо, несмотря на шутливый тон, которым произносились обидные слова, по выражению лица Генри было ясно, что он говорит их всерьез.

— Вы еще не доказали, что это глупость, — вяло отмахнулся Джон, не желая продолжать разговор.

— А что же еще? — сказал Генри. — Испокон века сильный был богатым, а слабый — бедным. Бедные становились богаче, только если богатели богатые, потому что и куски с их стола падали жирнее. Ну, чего вы, лейбористы, добились? Чтобы все стали равно бедными. Серость, тупость, всеобщее оскудение, диктаторство и устарелые идеи...

Сидевшие за столом смущенно заерзали. Хозяйку дома беспокоило, что желчный спор двух старых приятелей, друживших к тому же домами, испортит весь вечер.

— Я не марксист, — возразил Джон, — а мазать всех социалистов одним марксистским миром — дешевый, знаете ли, прием.

— В том-то вся ирония и трагедия судьбы, — сказал Генри. — Интеллигенты, — он произнес это слово с величайшим отвращением, — считают себя слишком мудрыми, чтобы быть консерваторами, и слишком благородными, чтобы быть корыстолюбцами, поэтому для удовлетворения собственного честолюбия они предлагают свои услуги откровенным коммунистам вроде Мика Макгэи и тем самым помогают им в борьбе за власть.

— Как раз наоборот... — начал было Джон.

— А когда это произойдет, — прервал его Генри, — я, возможно, первым исчезну в какой-нибудь исправительной колонии — так ведь, кажется, социалисты именуют концентрационные лагеря, — но вторым будете вы, Джон. Вам этого тоже не избежать, а ваши дети будут сражаться с правительством, практикующим «позитивную дис-

криминацию», то есть не пускающим одаренных детей в приличные школы. Наши дети — при их буржуазном происхождении — вылетят из университетов и пойдут работать швейцарами или убирать общественные туалеты. Рабочий класс, которому вы помогаете «освободиться», станет новой буржуазией, а Том и Анна пополнят новый класс рабов.

За столом воцарилась тишина. Все ждали, что ответит Джон.

— Ваш пессимизм заходит слишком далеко, — сказал он.

— Не дальше вашего лицемерия, — процедил Генри, и фраза прошелестела как змея. — Видно, все дело в профессиональной привычке. Вы готовы защищать любого, не важно, прав он или виноват. А задайся вы таким вопросом, вы бы поняли, что прав-то я. Ведь вы не глупец, а просто закомплексованы, вот и приняли другую сторону. Это и есть лицемерие, верно? Сейчас это стало вашей специальностью.

И снова весь стол замер в ожидании, чем же сразит сейчас противника искушенный адвокат, но ничего не последовало. Джон набрал воздуха, чтобы ответить, сверкнул глазами, как бы предупреждая, что сейчас нанесет удар, но тут он перехватил взгляд Генри и при свете свечи увидел в его глазах затаенное злорадство, взгляд игрока в покер, которому выпал флешь-рояль. И в какую-то долю секунды, прежде чем раскрыть рот, Джон понял, что Генри выложил еще не все козыри, возможно, он оставил про запас письмо — его письмо к Джилли Масколл, поэтому он медленно выпустил из легких воздух и как бы после долгого вздоха произнес:

— Может быть Не знаю.— И допил вино.

Генри рассмеялся. Клэр залилась краской стыда. У Мэри был раздраженный вид, а у Евы Барклей — озадаченный. А потом все сразу, перебивая друг друга, заговорили о чем-то другом.

Глава вторая

Замешательство, вызванное этой стычкой двух друзей, продолжалось, впрочем, недолго. Обед, вино, заработавшее центральное отопление привели Генри в приемлемое расположение духа, и вскоре он уже дружески болтал с Джоном об отпуске в Венеции, словно пытался сгладить все, что наговорил за столом. Он ни намеком не обмолвился ни о Джилли Масколл, ни о письме, из чего Джон заключил, что если Генри и знает что-то, то не придает этому значения. Расстались они, как обычно, самым дружеским образом.

И все-таки, когда Джон проснулся среди ночи — как это часто случалось после званых ужинов, — из головы у него не шел их разговор о политике: обвинения в честолюбии, глупости и лицемерии; ему было особенно неприятно оттого, что обиду пришлось снести от друга, едва ли не самого близкого друга. Неужели Англия уподобилась Испании кануна гражданской войны, когда друг становился врагом только потому, что в его взглядах усматривали предательство по отношению к своему классу?

Он лежал с этой тревогой на душе, терзаясь бессонницей, прислушиваясь к реву автомобилей, время от времени проносившихся по ночной улице, к тиканью часов на тумбочке, к хриплому дыханию Клэр. Она не вдохновляла его, как прежде, потому что высмеивала его политические устремления, считая их лишенными воображения и пустыми, глупыми. Она была на стороне Генри. А Джон был один.

Мысль об этом героическом экзистенциалистском одиночестве придала ему сил — достаточных по крайней мере, чтобы подумать о Джилли Масколл, чей образ он вычеркнул было из памяти. Прошло больше месяца, как ему дали от ворот поворот на Уорик-сквер,

и за это время он сумел избавиться от противоречивых чувств, которые она в нем вызвала: любовь и желание сливались с ненавистью и гневом. Теперь он увидел ее такой, как она есть — бестактной семнадцатилетней особой.

Он содрогался при мысли о ней, вспоминая об унижении, которому он сам себя подверг. У него ничего не осталось после фиаско — даже желания вновь ощутить прикосновение ее губ, — ничего в оправдание его легкомысленного поведения; по этой причине он засомневался в прочности своих чувств и думал теперь, что, может, Генри и прав, считая его политические убеждения столь же непостоянными, как его страсти: ведь если наука, земледелие, банковское дело или предпринимательство имеют объективные ценности, равно всеми и приемлемые, то политика — подобно искусству и любви — зависит от субъективных суждений каждой отдельной личности, закоснелой в своем эгоизме. И за вчерашними нападками Генри Масколла на социализм стояли не отвлеченные умопостроения: его привилегии находятся под угрозой, по милости бастующих шахтеров запаздывает обед. Будь это не так, он мог бы и восхититься бескорыстным идеализмом Джона, так же как Джилли Масколл, будь она более уверенной в себе и менее наивной, могла бы увидеть в нем романтическую фигуру вроде Байрона, а не похотливого старца.

Джон перевернулся на другой бок. Он никак не мог найти ответа на вопрос: чем объясняется его собственная вылазка в политику? Если историю творят безликие силы и она не зависит от убеждений и поступков личности, он не только зря тратит время, но затрудняет естественный ход вещей, действуя против собственных интересов. А вот если события более подобны глине, из которой — в рамках возможного для данного материала — личности могут лепить свои творения, тогда он вправе выдвинуть свою кандидатуру в качестве ваятеля будущего родной страны. И разве немногие «избранные», как учит история, — большей частью образованные идеалисты из среднего сословия — в поисках идеала не выступали против собственных материальных интересов? Он подумал об имперских устремлениях Бонапарта, о вере в предназначение человека, вдохновлявшей Мадзини и Гарибальди...

Не казались ли начинания всех этих великих людей поначалу абсурдом? Нетрудно представить себе Генри Масколла этаким венецианским банкиром, выставляющим на посмешище идеи Мадзини, и тем не менее именно идеалы Мадзини в конечном счете объединили Италию. Венеция, некогда господствовавшая в мире благодаря своему торговому могуществу, превратилась после своего заката в часть большой нации. И что она сейчас? Музей, курорт, живущий в ожидании туристов вроде Стриклендов и Масколлов, которые едут восхищаться остатками былого величия. Если таково будущее Англии, вправе ли он тогда осуждать Генри, Мэри и Клэр, этих венецианских банкиров, за пренебрежение историей и донкихотское сражение против заката их цивилизации? Ужели чванство, снобизм, манерность речи, привилегированные частные школы, загородные дома, состязания в стрельбе и верховая охота на лис с гончими — все то, что он ненавидел в нравах английских высших классов, и есть подлинная Англия? А что останется, если это исчезнет? Лондонский Тауэр подобно мосту Ринальто да двухэтажные красные автобусы вместо гондол? Ужели социализм в своем стремлении к справедливости и равенству разрушит то уникальное, что существует в живой культуре, как в свое время Ататюрк во имя прогресса обязал турок носить пиджаки и брюки западного покроя вместо традиционных, свободно ниспадающих одежд и фесок, тем самым превратив величественную нацию, некогда грозу цивилизованного мира, в безликую массу бродяг?

С этими мыслями, бередившими сознание, Джон и заснул.

Глава третья

В помещении Центрального уголовного суда в Олд-Бейли есть большой зал, где адвокаты, поверенные, газетчики, инспекторы системы надзора и заключенные, освобожденные под залог или поручительство, находятся в ожидании, пока в суде вершится Правосудие. Здесь как-то в конце ноября Джона Стрикленда, совсем собравшегося было на обед, и остановила молодая особа, спросившая, не может ли он уделить ей минуту внимания. Она была элегантно одета, ее манеры и речь выдавали принадлежность не просто к образованному кругу, а к представителям «высшего класса», что успокоительно подействовало на Джона. Он согласился ее выслушать, и они вместе вышли на улицу.

— Чем могу быть полезен? — спросил он, поднимая воротник пальто: ветер дул немилосердно.

— Может быть, зайдем в бар? — предложила она.

Джон посмотрел на часы.

— В два я должен вернуться в суд, — сказал он, — а я еще собирался поесть.

— У вас назначена встреча?

— Нет.

— Так, может быть, за обедом и поговорим? Так будет проще, — предложила она непринужденно.

— Хорошо, — сказал Джон, и они пошли в сторону собора св. Павла.

— Вы из газеты? — спросил он.

Она покачала головой.

— Нет.

— А откуда?

— Подождите, — сказала она. — Я вам все расскажу, только по порядку. — Она посторонилась, пропуская встречного пешехода.

— Как вас зовут? — спросил Джон. — Или с этим тоже подождать?

Она улыбнулась, как бы извиняясь.

— Паула Джеррард.

Они дошли до «Паба Бенуа». Джон не выбрал бы его для обеда, но чтобы поговорить, лучше места не найти. Когда они вошли и девушка сняла пальто, под ним оказались юбка и жакет из того же голубого твида, что и пальто, для особы ее возраста она одевалась немодно и слишком дорого.

Их посадили за столик, и они сделали заказ. Джон попросил вина, его спутница — минеральной воды.

— Я хочу поговорить о Терри Пайке, — наконец объяснила она.

Джон пристально поглядел ей в глаза, как будто по их выражению можно понять, о ком идет речь. У нее было красиво очерченное лицо и темные волосы, на вид лет двадцать с небольшим.

— Вам ничего не говорит это имя?

— Не припомню.

— Я так и думала. — Она, казалось, была довольна услышанным.

— А что, я должен его помнить?

— Пожалуй, нет. Просто это ваш бывший подзащитный, только и всего.

— Очень может быть, — сказал Джон. — Половину моих клиентов, по-моему, зовут Терри.— Он был немного озадачен тем, что она держалась, словно уже немолодая женщина.

— Терри Пайк сидел в тюрьме Уондзуорт[1], а я там инспектор по надзору над несовершеннолетними преступниками...

---

[1] Так называется район Лондона и самая большая в Англии тюрьма, где содержат преимущественно рецидивистов.

— Вы — инспектор по надзору? — удивился Джон. — Вот уж никак не подумал бы.

Она покраснела.

— Ну, нештатный. Работаю на добровольных началах, среди моих подопечных оказался и Терри Пайк.

— Вы что же, сделали это своим жизненным поприщем? — спросил Джон.

Она снова покраснела.

— Нет, это скорее подготовка к жизненному поприщу. — Она нахмурилась. — Но это я обсуждать не намерена.

— Жаль, об этом было бы интереснее поговорить, чем о Терри Пайке, — сказал Джон.

Глаза ее, глядевшие прежде куда-то поверх Джона, вдруг остановились на нем, в них пылало негодование.

— А мне не жаль.

Джон скривился в иронической усмешке, как бы извиняясь за неуместные слова.

— Извините, — сказал он. — Я вас слушаю.

— Вы, очевидно, знаете, что мы делаем для заключенных...

— Ну, в общих чертах.

— Я выполняла поручения Терри, ездила к его матери. Помогала по мере сил. Пробовала подыскать ему работу, чтобы после тюрьмы он...

— Какую именно?

— Он хотел начать с «объездки», как говорят таксисты, то есть изучить улицы Лондона, чтобы стать шофером.

— На что же он жил бы в это время?

— Я добыла ему нечто вроде пособия.

— Разве теперь на курсах шоферов такси есть стипендии? — спросил Джон, от вина он пришел в игривое настроение.

— Нет, — сказала Паула, — просто я устроила ему кое-что через одну фирму.

— Похоже, вы свое дело знаете.

— Стараюсь. — Она посмотрела на него строго, в упор.

— Все стараются, — усмехнулся Джон.

Она смерила его взглядом.

— Терри, — сказала она, — или Пайк, как вам угодно его называть, был осужден всего на шесть месяцев. Недавно его взяли на поруки. И снова арестовали за кражу: сговор с целью ограбления и нанесение телесных повреждений охраннику.

Джон покачал головой и уставился в тарелку с луковым супом, которую официантка поставила перед ним.

— Не лучший способ отплатить вам за ваши заботы. — Он принялся за еду.

Девушка нахмурилась.

— Не об этом речь, — к креветкам в горшочке она даже не притронулась. — К тому же он говорит, что ни в чем не виноват.

— Еще бы, — Джон подцепил ложкой гренки и плавленный сыр.

— Однако его посадили, и он хочет, чтобы вы взяли на себя его защиту.

— Какая честь. Скажите ему, пусть обратится к своему поверенному... — Джон осекся под негодующим взглядом ее больших глаз. — Ешьте, пожалуйста, — проговорил он. — У нас совсем мало времени.

Она принялась за креветки.

— Так вы будете его защищать?

— Буду, если смогу, — отвечал Джон, — но все надо провести через поверенного и клерка в моей конторе.

— Главное — ваше согласие.

— А почему Терри Пайк хочет, чтобы защищал именно я?

— По его мнению, вы будете стараться больше других.

— В каком смысле?

— Он убежден, что обычно адвокаты заодно с прокурорами. Рука руку моет.

Джон рассмеялся:

— Полагаю, вы рассеяли его заблуждения.

— Я сказала ему, что надо быть оптимистом.

— Почему же он считает, что ради него я буду стараться больше других?

— Он считает, во всем виноваты вы.

С минуту Джон молчал, затем подобрал ложкой остатки супа.

— Почему же это я виноват?

— Прошлым августом его посадили за укрытие краденого. Вы защищали его. Он ничего не укрывал, но вы посоветовали ему признать вину. Вы сказали, что он получит условный срок.

— Да, я помню это дело,— сказал Джон, всю его игривость как рукой сняло.

— Понимаете ли, в тюрьме у него появились друзья — люди старше его. Настоящие преступники. И теперь его за компанию с ними обвинили в ограблении почтового фургона.

— А он в этом не участвовал?

— Говорит, что нет.

— Ну еще бы. Неужели он сам сознается. А вы как думаете?

Паула Джеррард ответила не сразу.

— Я думаю, — сказала она, — он, возможно, имел какое-то отношение к ограблению, но краденого он не брал, и если бы не попал в тюрьму, то никогда не оказался бы в одной компании с настоящими преступниками

Джон налил себе вина.

— Пожалуй, так, — согласился он.

Видимо, эта реплика смягчила Паулу.

— В тюрьме отвратительно, жутко, — сказала она. — И самое печальное то, что Терри хвастает, будто тюрьма сделала его настоящим мужчиной. Он познакомился там с профессиональными убийцами, способными за пять тысяч фунтов убить кого угодно. А эта компания, которая выкрала из вагона деньги, — опасные типы. — Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами.

— Вы их видели? — спросил Джон.

— Нет, но Терри мне о них рассказывал.

— Создается впечатление, что вы пользуетесь его доверием.

— В известной мере, но это ничего не меняет.

— Почему же?

Она только вздохнула и, пока официантка расставляла второе, молчала.

— Видите ли,— начала она, когда Джон занялся своей boef à la mode[1],— энтузиасту-любителю, занимающемуся социальными проблемами, не вытащить парня из преступной среды, сколько ни старайся. — На лице у нее появилось страдальческое выражение: она стиснула руки, пытаясь подобрать слова. — Понимаете, он ведь из бедной рабочей семьи. Отец бросил их, когда Терри был еще ребенком, и на ноги его поставили мать, тетушки и дядюшки. По крайней мере один из этих дядюшек — «деловой», как они выражаются, и раскатывает в серо-серебряном «мерседесе». Другой «попал в печать», то есть...

— Знаю, — сказал Джон с полным ртом. — Где?

— В «Таймс». А третий работает грузчиком на рынке. Какое-то время Терри работал механиком, но дядя, которого он обожает, оказался вором, и, знаете, я не берусь осуждать его.

---

[1] Говядиной по нынешней моде *(франц.)*.

— Ешьте, пожалуйста, — попросил Джон.

Она взяла вилку.

— Видите ли, с его точки зрения, против него вооружилась вся система. Помните, как Ромео говорит аптекарю:

> Ты так убог — и жизнью дорожишь?
> Провалы щек твоих — живая повесть
> О голоде, горящие глаза —
> Об униженьях. Нищета согнула
> Тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой.
> Его закон — не твой. Его обычай
> Не даст тебе богатства. Ну так что ж?
> Рассорься с миром, сделай беззаконье,
> Спрячь эти деньги и разбогатей[1].

Ну так вот, если честно, я бы сказала ему то же самое.

— Провалы щек его — живая повесть? — в тон ей спросил Джон и взглянул, много ли осталось вина в графине.

— В каком-то смысле да, — сказала она. — Вы даже не помните, как он выглядит?

— Вообще-то нет, — начал было Джон, но тут же умолк, потому что лицо механика всплыло вдруг перед глазами: осунувшееся, с недоумевающими злыми глазами, — а впрочем, — сказал он, — я его припоминаю, и у него действительно были «голодом горящие глаза».

— Не думаю, чтобы он голодал в буквальном смысле слова, хотя их обычную еду — жареную картошку, хрустящие хлебцы и пиво — здоровой пищей не назовешь, зато духовной пищей он явно недокормлен...

— Шекспира наизусть не цитирует?

Паула нахмурилась:

— Дело не в Шекспире. Дело в том — не знаю, как это выразить, — в ощущении, что ты вне общества и ненавидишь его... что ты вообще принадлежишь к совсем другому обществу.

— Ассоциации старожилов Уондзуорта.

— Вот именно. — Она улыбнулась. — Видите ли, до тюрьмы он был честным и не в пример своему дяде с серым «мерседесом», мог бы остаться честным, получи он работу, которая обеспечила бы ему нормальное существование. Но трех месяцев в Уондзуорте оказалось достаточно, чтобы чаша весов склонилась в другую сторону. Это страшное место. Они там жутко угнетены, морально подавлены. «Филины» — враги, «кореши» — хорошие ребята, и вот, выйдя из тюрьмы, они с той же меркой подходят к обществу в целом. «Старина Билл» — так они называют полицию — враг, и жить честно — значит сдаться, признать себя побежденным.

— Вы, несомненно, правы, — Джон взглянул на остывшую suprême de vollaile[2], до которой она едва дотронулась.— Но не знаю, что тут можно сделать.

— Вообще? — спросила она. — Или для Терри Пайка?

— И то и другое.

— Это разные вещи. Согласна, в одиночку многого не сделаешь. Когда Терри вышел из тюрьмы, я добилась для него пособия, чтобы он мог учиться, и... — Она осеклась и покраснела. — Вам это покажется смешным, но я устроила коктейль, чтобы представить его кое-кому из моих друзей.

Джон улыбнулся:

— И как это прошло?

— Ужасно, просто позорище. То есть я хочу сказать, все они глазели на него, как на зверя из зоопарка. Терри же от робости

---

[1] У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Перевод Б. Пастернака.

[2] Котлета де валяй из кур *(франц.)*.

почти рта не раскрывал, зато когда заговорил, они половину не поняли.

— Представляю.

— Пропасть слишком велика, и такие мосты, сколько их ни наводи, не помогут. И потом, глядя на моих друзей его глазами, я подумала: а захочется ли ему, собственно, менять свое общество на наше? В воровском мире сохранились своеобразное братство, живые чувства, а в высшем обществе одна фальшь и полное безразличие.

— Совершенно справедливо, — согласился Джон. — Вам пудинг или кофе?

— Чашку кофе, пожалуйста. — Она посмотрела на свою тарелку. — Извините, я так мало съела. Что-то нет аппетита.

Они вернулись к разговору о преступлении и наказании.

— Похоже, Терри Пайку трудно чем-то помочь, — сказал Джон.

— Мне кажется, если б вы взялись защищать его, он хотя бы почувствовал, что ему стараются помочь.

— Я возьмусь, — Джон перешел на несколько более официальный тон: — Но за предыдущее осуждение я не несу ни малейшей ответственности. Когда судят за укрытие краденого, то необязательно доказывать факт кражи, достаточно доказать, что обвиняемый знал, что вещь украдена. Помнится, сумма, которую, по свидетельству самого Терри Пайка, он заплатил за вещи, была так мизерна, что уже это доказывало его вину, и он был бы осужден в любом случае.

— Не сомневаюсь. Печальнее всего, что ребятам вроде Терри везде видится заговор. Потому-то он и хочет, чтобы вы его защищали. Он полагает — у вас получится.

— Надеюсь, вы-то верите, что у меня сговоров с судьями не бывает.

— Конечно, — она улыбнулась. — Я к преступному миру еще не принадлежу.

Им принесли кофе. Паула вынула пачку французских сигарет и зажала одну из них в губах, Джон чиркнул спичкой и перегнулся через столик.

— А в более широком смысле, — поинтересовался он, — можно что-то сделать?

— Я думаю, можно.

— Каким же образом?

— Вы читали «Сибиллу» Дизраэли?[1]

— Давно.

— Помните «две нации», богатые и бедные? Как они станут одной?

— Да.

— Не стали, так ведь? Несмотря на торжество «всеобщего благоденствия».

— Убежден, что дядя Терри Пайка, наборщик в «Таймс», зарабатывает больше иных законопослушных учителей или государственных служащих.

— Дело не только в деньгах, — сказала Паула, подавшись к Джону, в глазах у нее появился упрямый блеск. На сытый желудок Джон нашел даже, что это придавало ей бездну обаяния и одухотворяло ее лицо. — Видите ли, нас учат еще в школе, что нация — это естественно сложившееся сообщество людей, живущих в одном географическом районе, говорящих на одном языке, имеющих определенные права и обязанности друг перед другом, отличные от прав

---

[1] Английский государственный деятель и писатель Б. Дизраэли (1804—1881) в романах «Конигсби», «Танкред», «Сибилла, или Две нации» выдвигал программу консервативного толка с целью показать возможность примирения социальных противоречий и создания единой нации под эгидой «мудрой и гуманной аристократии». Народное движение изображается при этом как стихийный и бессмысленный бунт.

и обязанностей по отношению к гражданам другой нации. Иными словами, британская армия, действуя от имени британского правительства, считала себя вправе захватывать огромные территории, подчинять себе «туземцев», а чтобы те отдавали за бесценок свои шелка и пряности, создавали конъюнктуру рынка, выгодную для монополий... или даже брали туземцев в плен и продавали их рабами в Америку.

— Поразительно, — сказал Джон, — вы не только цитируете Шекспира, но и ориентируетесь в рыночном механизме.

— Ничего поразительного. Я изучала английскую литературу в Кембридже, а отец у меня банкир.

— Банкир?

— Да. Его зовут сэр Кристофер Джеррард. — Она назвала одного из богатейших людей в Англии совсем просто, явно не стремясь произвести впечатление или, наоборот, приглушить его. — Если поинтересоваться, как он делает деньги сейчас, то кое-что может показаться сомнительным, зато совершенно несомненны источники богатств семнадцатого и восемнадцатого веков: пиратство, работорговля, опиум... Вот так.

— Да. Времена изменились,— сказал Джон, все еще находясь под впечатлением того, что его собеседница оказалась дочерью сэра Кристофера Джеррарда.

— Это считалось в порядке вещей, потому что грабили чужеземцев. Англичанина, укравшего овцу в поместье моего предка, повесили, хотя овцу он украл скорее всего из-за голода.

— Парадокс, согласен, — произнес Джон с ноткой почтительности. — Но конечно же, следует скорее распространять нравственные законы на сферу международных отношений, нежели ослаблять их действие там, где ими уже руководствовались.

Она вздохнула:

— Да, наверное. Для нас с вами это теоретически ясно, но эмоционально я похожа на Терри Пайка. Я инстинктивно чувствую себя в безопасности только среди своих, при этом я не имею в виду англичан вроде Терри. Я имею в виду людей богатых. Высшие классы. Буржуазию. Думаю, что и вы — тоже.

— Я?..

— Для меня это осложняется еще и тем, что у меня мать — американка.

— И кого же вы предпочитаете — американцев или англичан?

— Я же и пытаюсь объяснить, — сказала она чуть раздраженно, — что верность — категория скорее классового, чем национального порядка. Итальянскому землевладельцу, к примеру, легче общаться с английским землевладельцем, чем с рабочим-автомобилестроителем завода «Фиат». Я знаю, что говорю. Я видела тех и других. Моему отцу куда ближе его коллеги из Франкфурта-на-Майне или из Нью-Йорка, чем люди вроде Терри Пайка.

— Похоже, вы с отцом не очень-то ладите.

Паула холодно посмотрела на Джона, как бы давая понять, что он переступил границы дозволенного.

— Мы отлично ладим.

— Он согласен с вами насчет двух наций?

— Я никогда с ним этого не обсуждала.

— И он одобряет вашу работу в сфере социального обеспечения?

— Он не возражает, лишь бы мне самой нравилось. — Она улыбнулась. — А вот мама в ужасе. Сама мысль, что я общаюсь с убийцами... Она спит и видит, чтобы я благополучно вышла замуж за какого-нибудь биржевого маклера.

— А вы?

— Что я?

— Вы хотите выйти замуж за биржевого маклера?
— Едва ли я найду такого в Уондзуортской тюрьме...
— Да уж.
— Я не желаю выходить замуж за биржевого маклера, но, пожалуй, замуж мне пора.
— Почему?
— Потому что засиделась.
— Сколько же вам лет?
— А как вы думаете?
— Двадцать четыре, ну, двадцать пять.
— Мне двадцать восемь.
— Ну, не так уж много.
— А вам сколько было, когда вы женились?
— Двадцать восемь.
— А вашей жене?
— Двадцать.
— Вот видите. А я засиделась.
— Думаю, Клэр сама теперь жалеет, что не подождала.
— Клэр — это ваша жена?
— Да.
Паула рассмеялась:
— Я, безусловно, рада, что не вышла замуж в двадцать.
— Почему?
— Выскочила бы за какое-нибудь чудовище.
— Например?
— Ну, не знаю. — Она снова рассмеялась. — За биржевого маклера.

Было без десяти два. Джон попросил счет, и мелькнула мысль, не вздумает ли Паула платить за себя — ведь это она его пригласила, к тому же она дочь сэра Кристофера Джеррарда. Но ей это в голову, видимо, не пришло: она сидела и спокойно смотрела, как он расплатился двумя пятифунтовыми банкнотами.

— Так могу я передать Терри, что вы согласны взять на себя его защиту? — спросила она, когда они вышли на улицу.

— Все это еще надо провести через поверенного и клерка,— повторил Джон. — Словом, я не отказываюсь.

— Хорошо, — сказала она и, даже не поблагодарив за обед, повернулась и пошла в сторону Ладгейт-серкус.

Глава четвертая

Есть разговоры, к которым снова и снова возвращаешься в мыслях — придумываешь новые аргументы или более остроумные реплики Джон приехал в Олд-Бейли, подготовился к защите очередного клиента зашел в контору за бумагами, нужными ему на завтра, и, наконец, часов в шесть вернулся домой — все это время он прокручивал в голове свою беседу с Паулой Джеррард.

В памяти остался ее голос, а не лицо — жесткий акцент, который он мог отнести теперь на счет ее американской крови Сама она не произвела на него никакого впечатления — ноги тонковаты, грудь плоская. Он вспомнил ее нервозность, блуждающий взгляд, который остановился на нем, как бы подчеркивая серьезность сказанного, большие глаза — светло-карие и ясные.

— Ты знаешь, кто такой сэр Кристофер Джеррард? — спросил он Клэр, когда они сидели в гостиной перед тем как идти в театр.

— Банкир или что-то в этом роде! — Клэр пришивала пуговицу к рубашке сына

— Вот-вот. Я имел сегодня честь познакомиться с его дочерью

— В суде?

— В Бейли. Она работает в социальном обеспечении, хочет, чтобы я защищал одного парня.

— Как она выглядит?

— Мила. Мы с ней пообедали.

— Надеюсь, она сама за себя платила? — поинтересовалась Клэр, откусывая нитку.

— Девушки из богатых семей никогда за себя не платят.

— Тогда держись лучше бедных.— Клэр поднялась со стула.— А еще лучше — оставь их всех в покое.

У Джона мелькнуло подозрение, не прослышала ли Клэр что-то про Джилли Масколл, но она как ни в чем не бывало продолжала:

— Велел мне готовить ужин, чтобы после театра не идти в ресторан, а сам распускал перья перед какой-то девицей. Не очень-то это справедливо.

— Надо же мне было где-то пообедать, — возразил Джон.

— Вполне мог бы обойтись закусочной.

— Я и собирался...

— Но решил, что там недостаточно шикарно для этой Джерарард, — фыркнула она. — Собирайся. Нам пора.

— А няня пришла?

— На кухне.

Они сели в «вольво» и поехали к театру «Ройял корт», где условились встретиться с Микки Нилом, Арабеллой Моррисон и Масколлами. По ходу пьесы — давали «Натурный класс» Дэвида Стори — на сцене появилась голая натурщица. Микки сказал потом, что это начисто испортило ему все впечатление. Генри что-то брюзжал насчет надоевшего ему «хнычущего пролетариата», но дамы в один голос заявили, что пьеса им понравилась.

— А вам, Джон? — спросил Генри, когда они рассаживались за столом в кухне у Стриклендов. — Как будто в вашем духе, а? Парень из рабочего класса, образован сверх меры.

— Ради бога, не начинай все сначала, — обратилась к мужу Мэри Масколл.

Генри съежился, изображая испуг. Джон принялся разливать вино.

— Мне больше понравилась другая пьеса,— сказал Джон,— о регбистах.

— И мне, — подхватил Микки.

— Это где раздевалку показывают? — спросил Генри.

— Ох, да заткнись же наконец, — прикрикнула Мэри. — Ну можешь ты хоть немного помолчать?

— А что я такое сказал? — спросил Генри.

— Без таких сцен, — сказала Клэр, — ни одна современная пьеса, по-моему, не обходится.

— Ты так думаешь? — засомневалась Арабелла.

— Разве Диана Ригг не устраивает стриптиз в «Прыгунах»? — ответила Клэр.

— Это называется «театр плоти», — сказал Генри.

— Не ради же самой пьесы семейные пары приезжают из пригородов в столицу, — заметил Микки.

— Вы считаете, это их возбуждает? — спросил Генри. — Вы считаете, что после сегодняшнего спектакля они вернутся домой и займутся любовью?

— Думаю, да, — сказал Джон.

— Надеюсь, старина, пьеса и вам пойдет на пользу, — сказал Генри. — То есть на пользу Клэр, конечно.

Клэр залилась краской и отвернулась.

— Ну знаешь ли, Генри... — одернула его Мэри.

— В этом вся беда современного театра, — заметила Арабел-

ла. — Публика ждет эффектов, и драматурги силятся оправдать их ожидания.

— Разумеется, дорогая, — сказал Микки. — Это же театр, верно? Даже старина Шекспир не забывал об эффектах.

— Зато Чехов — нет...

Дом задрожал от промчавшегося поезда подземки.

— Слава богу, — промолвил Генри, — хоть поезд одиннадцать семнадцать спас нас от зауми. — Заумью он называл интеллигентные разговоры.

Клэр натянуто улыбнулась: она предпочитала, чтобы гости не замечали шума поездов Центральной линии.

— Для Генри это слишком высокие материи,— заметила она Арабелле.— Спустимся на грешную землю.

— Спустимся на землю.— Джон повернулся к Генри: — Скажите, что вы знаете о сэре Кристофере Джеррарде?

Генри тут же посерьезнел, лицо его приняло выражение, с каким он обычно сидел у себя в банке.

— Чего ради вас вдруг заинтересовал сэр Кристофер Джеррард?

— Он обедал с его дочерью, — сообщила Клэр.

— Ого, — сказал Генри. — С неприступной Паулой?

— Вы знакомы?

— Вполне, дорогой мой, и если вы имеете в отношении ее какие-то намерения, рекомендую особую осторожность.

Джон засмеялся.

— Никаких намерений, но если б они и были... — Он взглянул на Клэр: та передавала салатницу Арабелле. — Почему «особая осторожность»?

— А потому, что она источает яд, вся — от кончика языка до...

— Понятно, — перебила его Мэри. — Можешь не уточнять.

— Словом, мне советовали с ней не связываться, — закончил Генри.

— А ты пытался? — поинтересовалась Мэри. — Будь я мужчиной, я бы из чистого любопытства попробовала.

— Я когда-нибудь возвращался домой с пальцами, искусанными в кровь? Приходил домой в царапинах? — Генри Масколл протянул жене руки, она оттолкнула их.

— Я могу кое-что рассказать вам о сэре Кристофере Джеррарде, — произнес Микки; как писатель, он был напичкан информацией о самых разных и неожиданных людях. — Он унаследовал около миллиона фунтов, женился на американке, стоящей вдвое больше, и, должно быть, утроил это состояние, занявшись банковским делом. Паула — их единственное дитя.

— Стоит рискнуть, — Генри подмигнул Джону.

— Лет шесть назад он ушел от жены, — продолжал Микки, — к некоей молодой особе по имени Сандра или что-то в этом роде. Заурядной, но достаточно привлекательной. Я видел ее. Он настаивал на разводе, однако леди Джеррард развода ему не дала. Она пригрозила забрать свои деньги из банка и отказалась съезжать из особняка в Приннет-Парке, которым вот уже три столетия владеет семья Джеррардов. Поставленный перед выбором между любовницей и родовым особняком, сэр Кристофер приполз назад и, насколько мне известно, с тех пор заметно полинял.

— Ну а дочь — она что? — поинтересовалась Клэр.

— Говорят, психопатка, но она может это себе позволить.

— Замужем?

— Нет, — ответил Микки. — И о какой-нибудь связи я тоже не слышал.

— Разве не ее видели с Джонни Теддингтоном? — поинтересовалась Арабелла.

— Всего неделю, — сказал Микки.

— Он-то и рассказывал мне о ее язычке, — заметил Генри.

— А теперь она занялась благотворительностью? — спросила Мэри.

— Она работает в сфере социального обеспечения,— сказал Джон. — На этой почве мы и познакомились.

— Я с ней училась в школе, — бросила Мэри.

— Этого не может быть,— отрезал Микки.

— Почему же?

— Она же совсем молоденькая.

— Вы хотите сказать, что я слишком старая?

— Пауле двадцать пять, никак не больше.

— Ей двадцать восемь, — сказал Джон.

— Вот видите, — улыбнулась Мэри. — Она поступила в школу в тот год, когда я перешла в выпускной класс.

— И вы ее помните? — спросил Джон.

— Прекрасно помню.

— Какой же она была?

— Обыкновенная гадюка.

Глава пятая

Суждение Мэри Масколл о Пауле Джеррард отнюдь не помешало Джону с удовольствием вспоминать об их обеде. На этот раз все было иначе, чем с Джилли, — он считал себя теперь надежно застрахованным от подобных безрассудств. Джон надеялся ввести Паулу в круг своих знакомых, чтобы ее убеждения, взгляды стали для него своего рода противоядием против филистерской косности остальных.

Их разговор тогда в «Пабе Бенуа» подтвердил для него правильность своего решения заняться политикой, и теперь он жалел, что не поговорил с ней об этом. Жаль, если он показался ей самодовольным педантом, человеком неглубоким, ведь, знай она о его чуть не еженедельных поездках на северную окраину Лондона, где он целыми вечерами просиживает в пабе с каким-нибудь нудным, но влиятельным лейбористом из избирательного округа Хакни-и-Харингей, она, возможно, отнеслась бы к нему с уважением.

Шли дни. Образ ее тускнел, его вытесняла не только ежедневная рутина на работе, политика, семейные дела, но и денежные проблемы. Несколько месяцев назад он подал лорду-канцлеру прошение о получении звания королевского адвоката. Речь шла не только о престиже, хотя для его лет получение этого звания было бы весьма почетным, и даже не о праве претендовать на высшие судейские должности, а о том, что клерк смог бы требовать для него более высокие гонорары.

Было, однако, известно, что за получением звания следует временное падение доходов: королевский адвокат должен содержать младшего адвоката. Клиенты предпочтут обращаться к услугам человека столь же способного, но менее дорогого, и лишь когда Джон Стрикленд, К. А., то есть королевский адвокат, упрочит свое положение в высших эшелонах, можно будет рассчитывать, что доходы его постепенно восстановятся, а затем и перерастут нынешний уровень.

В иных обстоятельствах буквы К. А., поставленные после фамилии, вполне могли соседствовать с Ч. П., ибо у члена парламента немного времени для юридической практики, но сейчас образ жизни Джона Стрикленда целиком зависел от адвокатского заработка. Если не будет гонораров, как кормить семью и погашать ссуды под два дома? Мелочная экономия вроде домашних, а не ресторанных ужинов положения дел не меняла; скорей всего, если его назначат королевским адвокатом, с коттеджем в Уилтшире придется расстаться.

Джону внушала тревогу и ухудшавшаяся политическая обстановка в стране. К шахтерам и энергетикам, отказавшимся от сверхурочных, присоединились железнодорожники, прекратилась доставка угля на электростанции, и ток отключали все чаще. Пассажирские поезда то и дело отменялись, и адвокатам из Суррея и Кента приходилось добираться до города в собственных автомобилях, но бензин по-прежнему был строго лимитирован из-за эмбарго, наложенного на продажу нефти арабскими странами. Знакомые Стриклендов поговаривали о коммунистическом заговоре.

К концу ноября бумаги на Терри Пайка поступили в контору, и клерк передал их Джону. Похоже, против Т. Пайка имелись серьезные улики. «На основании полученной информации» был произведен обыск квартиры в Балэме, которую Терри снимал с другим парнем — Джимми Стоттом. Полиция обнаружила два завязанных узлом дамских чулка-маски, дубинку, налитую свинцом, четыреста пятьдесят фунтов наличными в пятифунтовых банкнотах с номерами, соответствовавшими похищенным из почтового фургона. В ответ на предъявленное обвинение Стотт сказал: «Черт, надо было их обменять». А Пайк: «Кто слегавил?»

Линия защиты Пайка, как предлагал поверенный, должна состоять в том, что чулки, дубинка и деньги были подброшены полицией, а слов, занесенных в протокол, они вообще не говорили. Джон только вздохнул: он по опыту знал — как бы ни были правдоподобны доводы подсудимых, присяжные редко внимают им. По совокупности улик Пайк мог загреметь минимум на семь лет.

Джон решил позвонить Пауле Джеррард и сказать об этом, он уже начал искать ее номер в справочнике, когда раздался телефонный звонок и он услышал ее голос.

— Вы получили дело? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Только что его прочел.

— И что вы думаете?

— Надежд немного.

Молчание.

— Значит, ему конец?

Теперь Джон замялся.

— Этот Пайк... то есть Терри... отпущен под залог?

— Да. Мы взяли его под залог. А что?

— Можем мы об этом поговорить?

— Заезжайте.

— Когда?

— Когда угодно. Хоть сейчас.

— Прекрасно. Где вы живете?

— Пэрвз-Мьюз, двадцать три. Это недалеко от Виктория-роуд.

— Я знаю.

— Прекрасно. Через полчаса.

На улице стоял туман, было сыро. Пока Джон шел к станции метро Холборн, машины и автобусы, мчавшиеся потоком в оранжевом смоге, обдавали его грязью, измазав брюки чуть не до колен. Если он поедет на метро, а потом еще пройдет пешком от станции Глостер-роуд до Пэрвз-Мьюз, то промокнет до нитки. Само по себе это не смущало Джона, но мокрые волосы выглядят сальными; кроме того, на нем те же туфли, в которых он ездил в Бирмингем, а они промокают, и толстый старый костюм, когда намокнет, почему-то пахнет псиной. Джон повернулся и остановил такси. «Черт с ними, с деньгами, — подумал он, устраиваясь на заднем сиденье. — Много на такси не сэкономишь».

Паула Джеррард сама открыла ему дверь своего домика, а когда захлопывала ее, он еще слышал гул мотора машины, удалявшейся по булыжной мостовой. Снимая плащ, Джон огляделся и увидел, что они находятся в большой просторной кухне, из которой винто-

вая лестница вела наверх. Паула в джинсах и вязаной кофточке тут же подошла к холодильнику.

— Я только лед достану, — сказала она, — и пойдем наверх, в гостиную.

Джон бросил плащ и портфель на кухонный стул.

— Погода ужасная.

— Я еще не выходила.

— И в Уондзуорт не ездили?

— Нет. Собственно, я бросила это дело. — Она высыпала кубики льда в стоявшую на подносе чашу и поискала в шкафу высокие стаканы.

— Почему?

— Отец что-то занервничал. Он думает, меня могут похитить.

— А заключенным известно, кто вы?

— Пошли слухи.

Она поставила стаканы на поднос и подняла его.

— Идемте наверх.

— Разрешите, я понесу.

— Извольте.

Она передала поднос Джону, взяла из ящика кухонного стола пачку «Голуаз». Джон следовал за ней, так что на крутой винтовой лестнице глаза его невольно оказались на одном уровне с ее обтянутыми джинсами бедрами; с лестницы они словно вынырнули прямо в гостиную. Это было просторное помещение, занимавшее чуть не весь этаж. У камина, в котором за решеткой потрескивал огонь, стояли три низких, обитых бежевой тканью дивана. На полу — восточный ковер, по стенам несколько картин современных художников и полки с самыми разными книгами — тут были и фолианты в коже, и дешевые издания в бумажных обложках.

Паула подошла к столику и показала, куда поставить поднос; здесь уже стояла дюжина бутылок, но ни одной с потеками на этикетке или захватанной пальцами, как у них в доме в Холланд-Парке.

— Не церемоньтесь,— сказала Паула.

— Что вам налить?

— Я выпью виски с водой. Ах ты... — Она выругалась. — Воду забыла.

— Принести?

— Я сама.

Она вскочила с дивана, подошла к двери, за которой, как он подумал, была ее спальня, и тут же вернулась с расписным кувшинчиком.

— Спускаться, подыматься — лень.

Джон налил ей виски с водой, растерянно размышляя, чего бы выпить самому, наконец взял джин с тоником и уселся напротив Паулы.

— Ну, и чем вы теперь заняты? — спросил он.

— Ничем. — Она насупилась, явно не одобряя такое начало.

— Не скучаете? — осведомился он.

— Нет. — Она снова нахмурилась, и Джон решил, что не следует больше задавать личных вопросов.

— Я посмотрел бумаги по делу Терри, — сказал он, — и, конечно, готов взять на себя его защиту, хотя особых надежд на то, что его удастся вытащить, не возлагаю.

— Но вы же видите, как это все несправедливо. — В ее голосе звучало скорее раздражение, чем тревога. — Полиция ведь подбросила улики.

— Так говорит Терри.

— Он не стал бы мне лгать.

— Он отрицает свое участие?

Она ответила не сразу.

— Нет. Я уже вам говорила, он, видимо, имел какое-то отношение к грабежу, но самое косвенное. И уж конечно, не он оглоушил водителя. Он не из таких.— Она отпила виски, закурила.

— И каким же образом, по-вашему, его втянули? — спросил Джон.

— Он познакомился с Джимми в тюрьме, — сказала Паула.

— Это со Стоттом?

— Джимми был под следствием за какие-то пустяки, его, собственно, оправдали...

— За что именно, не помните?

— Кажется, за ограбление кондитерской.

— Продолжайте.

— Их освободили одновременно, и они вместе сняли квартиру. Джимми знал, что планируется ограбление почтового фургона, в котором повезут жалованье, ну оба и ввязались.

— Это Джимми втянул Терри?

— Да.

— А у Джимми уже были судимости?

— Не думаю. А что?

— Потом объясню.

— Кто-то определенно навел полицию, — сказала Паула, — причем кто-то из банды, иначе полиция ничего бы не узнала про Джимми и Терри.

— Выдал кто-нибудь из сообщников?

— Нет. Не осмелились бы.

— Терри говорит, будто полиция подбросила им дубинку, чулки и деньги, правильно?

— Да. И я ему верю. Не настолько же он глуп, чтобы оставлять такие улики.

— А Джимми?

— Не знаю. Я его в глаза не видела.

— Терри, значит, не устраивал вечеринку, чтобы познакомить вас со своими друзьями?

Она покраснела.

— Нет.

— Извините, но могу я вас спросить... а ваши чувства здесь не примешаны?

Она поднялась, чтобы налить себе еще.

— Что вы подразумеваете под чувствами?

— Вы не состоите с ним в интимных отношениях?

— Нет. Конечно нет. Он же на семь лет моложе меня. Но если вы хотите знать о моих чувствах, то я действительно не желаю, чтобы он зачах за решеткой.

— Даже если он ограбил этот фургон?

— Я не думаю, чтобы он действительно... грабил. — Она снова села на диван и подобрала под себя ноги.

Джон вздохнул:

— Не сомневаюсь, что полиция, особенно Летучие отряды [1], способна подбросить улики. Но Джимми и Терри — мелкая рыбешка, это во-первых.

— Понятно.

— А во-вторых, не представляю себе, откуда у полиции могли оказаться похищенные банкноты, чтобы их подбросить, — тогда ведь и банки должны участвовать в сговоре...

— Они же взяли не все деньги.

— Кто — они?

— Воры.

— Почему?

[1] Отделение департамента уголовной полиции; используется в особо важных и экстренных случаях.

— В спешке они что-то оставили.

— Но, согласно данным следствия, похищено все.

— Еще бы. Просто остальное прибрала к рукам полиция. Не думаете же вы, что они откажутся от нескольких тысяч наличными?

— Вот как... То есть, по-вашему, полиция украла то, что оставили воры, но подбросила четыреста пятьдесят фунтов в качестве улики против Джимми и Терри?

— И всех остальных.

— Многовато для улики, — сказал Джон. — Пятидесяти фунтов или даже десяти было бы вполне достаточно.

— Ясно. — Паула вдруг разрыдалась. — Извините, — сказала она, размазывая по щекам слезы, и тут же громко и зло выкрикнула: — Ненавижу себя такой.

Джон поднялся, но, будучи истым англичанином, не знал, как себя вести, Пауле следовало самой взять себя в руки. И хотя ему хотелось утешить ее, он не решался до нее дотронуться.

— Не отчаивайтесь, — сказал он.

— Ох, все так запуталось. Я так старалась помочь Терри; я ведь думала, он доверяет мне и говорит правду, а теперь просто не знаю... не знаю, чему верить, но все равно не хочу, чтобы его посадили в тюрьму.

— Выход один, — сказал Джон.

— Какой? — Она шмыгнула носом и перестала плакать, а Джон тем временем поднялся и пошел налить себе еще джина с тоником.

— В сложившейся ситуации любые присяжные поверят полиции, а не Джимми и Терри. Они будут осуждены, и лучшее, что им можно посоветовать,— это признать себя виновными.

— Как в прошлый раз, — сказала Паула.

Джон вспыхнул:

— Признание обычно смягчает наказание.

— Это и есть выход?

— Нет. Выход состоит в том, чтобы Терри убедил Джимми взять все на себя. Если Джимми признает вину сейчас или изменит свои показания на суде, а затем выступит в качестве свидетеля и признает в ходе моего допроса, что дубинка, чулки и деньги — все принадлежало ему, тогда, поскольку это его первая судимость, он получит меньший срок, чем получил бы Терри, а Терри, по всей вероятности, будет и вовсе оправдан.

Паула закусила нижнюю губу.

— Но как убедить Джимми сделать это?

— Это уж забота Терри. Пусть попытается усовестить своего дружка, который втянул его в эту безнадежную затею, либо подкупит, предложив свою долю из сорока тысяч.

— Я могу заплатить за него, — сказала Паула.

— Нет, на вашем месте я бы этого не делал.

— Почему?

— Нельзя заходить так далеко с этими людьми.

— Н-да, конечно.

— От вас требуется одно: убедить ваших приятелей, что в сложившейся ситуации они оба пойдут ко дну и Терри получит лет пять, а то и больше. Но если Джимми возьмет вину на себя, он может отделаться тремя годами, из них год тюрьмы.

— Хорошо, — сказала Паула. — По крайней мере хоть это ясно. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. — Она встала и пошла через гостиную к проигрывателю, поставила пластинку.

— О чем же? — спросил Джон. — О себе вы говорить не желаете.

— Просто потому, что это неинтересно. — Она села на свое прежнее место, напротив гостя. — Поговорим о вас.

— Вот уж тем более ничего интересного.

— Ну нет, не скажите.— Она улыбнулась, и улыбка, такая неожиданная, осветила ее лицо, как луч света в пасмурный день.

— То есть? — не понял Джон.

— А то, что вы совсем другой, чем кажетесь.

— Каким же я кажусь?

— Интересным мужчиной, но заурядным юристом.

— Это комплимент или оскорбление?

— Ни то, ни другое.

— А что же скрыто за моей внешностью?

— Ваши политические принципы.

— Где вы о них слышали?

— На одном обеде. Где — не скажу, но о вас там говорили.

— Ну и какое же общее мнение?

— Общего — никакого. Оттого-то вы и заинтересовали меня. Один из присутствующих сказал, что вы хитрая бестия, «из салонных левых», так он выразился. Другой весьма расхваливал вас. Сказал, что вы еще будете членом кабинета и демократия только выиграет, если в политику придут люди вашего калибра.

— А никто не сказал, что я предаю интересы своего класса?

Паула рассмеялась и поднялась, чтобы взять у него пустой стакан.

— О да,— сказала она.— И такое говорилось. Почему бы вам не быть тори или уж либералом, на худой конец...

— А вы защищали меня?

Она взяла у него стакан, и взгляды их встретились.

— А мне следовало? — спросила она.

Джон пожал плечами.

— Мне кажется, у нас с вами одинаковые взгляды.

— Не отрицаю,— сказала Паула, наполняя ему стакан.

— Тогда следовало бы замолвить за меня словечко.

— Я давно перестала болтать на обедах о политике,— сказала Паула.— Мужчины терпеть не могут женщин с радикальными взглядами. Они чувствуют себя импотентами. Такая тоска. Вы и представить себе не можете, сколько мужчин приставали ко мне, единственно чтобы изложить свои взгляды на свободное предпринимательство и национализацию.

Она подошла к дивану, подала Джону его стакан и села на прежнее место в уголке.

— Да и мне не легче помалкивать,— сказал Джон.— Если ты не герцог или не сын герцога, тебя считают выскочкой.

Паула засмеялась:

— Никак их не одолеть. Если ты беден, то выскочка, богат — лицемер. Поэтому я и помалкиваю. Людей, видимо, бесит, когда богачи вроде меня имеют левые взгляды.

— Пожалуй.

— А главное, я не спорю с такими людьми, потому что они просто этого не заслуживают. Приглядитесь — и увидите, насколько они пусты.

— Тогда чего ради вы ездите на званые обеды?

Она пожала плечами.

— Должна же я куда-то выбираться из дому, а это все-таки мой круг. Я попыталась внести разнообразие с помощью Терри, но сами видите, что из этого вышло.

— Но ведь существуют не только выродки из высших классов и пролетариата.

— Да,— произнесла она со своей необыкновенной улыбкой.— Надеюсь, вы познакомите меня с уймой новых, умных, передовых людей. Если вы, конечно, готовы видеть во мне друга, а не просто докучливую дамочку, занимающуюся социальным обеспечением. Вы и... как ее зовут, вашу жену? Клэр?

— Вы должны прийти к нам на ужин,— воскликнул Джон, подогретый джином.— Хотя интересных, умных людей, да еще в большом количестве, признаться, не обещаю.

— У вас нет друзей среди лейбористов?

— Есть один,— сказал он.

— И он не передовой, не умный?

Джон помялся.

— Нет, почему же, но...

— Но что? Не надо, знаю. Передовой, умный, алкоголик и неряха.

— Более или менее точно.

— Джентльменский набор лейбористских деятелей. У них у всех сальные волосы и перхоть, все как один ходят в нейлоновых сорочках и при галстуке, со значком своей бывшей школы.

— Неужели и я так скверно выгляжу? — спросил Джон.

— Не до такой степени. Пока еще — нет.— Она поднялась и села с ним рядом.—Можно будет над этим поработать,—сказала она и поглядела на ярлычок с обратной стороны его галстука.— «Либертиз»[1]? Это не годится.

Алкоголь прибавил ему смелости, и ее близость, как и запах ее духов, больше не смущала его. Ее юное лицо со вздернутым носиком вдруг оказалось совсем рядом, а широко раскрытые карие глаза смотрели на него в упор, в них были ирония и независимость.

— Ну-ка. И перхоти еще не набралось.

— Перед выборной конференцией посыплю голову «Редибреком».

— А что это такое?

— Детское питание. Овсяная мука.

Глаза ее на мгновение стали серьезными.

— Да, конечно, у вас же дети.

— И еще бриолином намажусь, вот и все дела,— продолжал Джон. Он едва ли заметил перемену в ее настроении.

Она поднялась и пересела на свое место напротив.

— Нет, не надо вам менять внешность. Вы же не реакционный адвокатишка или какой-нибудь жалкий политикан.

— Так кто же я? — Язык у него чуть-чуть заплетался.

— Вы можете стать государственным мужем.

— Разве это не одно и то же?

— О нет. Для политикана власть — это самоцель. Для государственного же мужа — лишь средство к достижению цели, средство для осуществления своего идеала. У вас ведь есть идеал, правда?

Он помолчал.

— Да.

— Расскажите.

Джон пожалел, что много выпил.

— Единая нация Дизраэли.

— Прекрасно,— сказала она. — Это и мой идеал.

— Я не утопист,— сказал Джон.— Известное неравенство и несправедливость, вероятно, неизбежны, но ни в какой другой стране мира, за исключением разве что Индии, нет такого переизбытка ненужных и бессмысленных кастовых разграничений, как в Англии. И что самое страшное...— Он вдруг почувствовал прилив красноречия: — Все это упрочилось в нашем сознании. Чем больше мы уравниваем людей посредством налогообложения, тем больше они цепляются за свои жалкие привилегии, единственный смысл которых — уязвить тех, кто ими не обладает: отдельные буфеты, где обедают только директора, персональные туалеты, частные школы. Все стало своего рода фетишем, который тянет нашу страну на дно.

— Согласна,— спокойно проговорила Паула.

---

[1] Большой лондонский универмаг готового платья.

— Не знаю, не знаю, что можно сделать в парламенте,— сказал Джон.

— Вы сделаете очень много, я уверена,— сказала она.— Там сидят такие посредственности.

— Ну...— начал было он смущенно.

— Господи, как бы я хотела быть мужчиной! — пылко воскликнула она.

— Почему?

— Потому что тогда я повела бы себя точно так же, как вы.

— А разве, будучи женщиной, вы не можете?..

— Нет.

— Как это... в наши-то дни?

— А я антифеминистка. Я ведь вам уже говорила. Мужчины боятся властных женщин, а другие женщины обижаются. Единственная моя надежда — это прилепиться...— Она замешкалась, покраснела, но все же договорила: — К какой-нибудь восходящей звезде.

— Какая жалость, что я женат,— произнес Джон с улыбкой.

— Верно. Какая жалость. — Она рассмеялась.

Джон посмотрел на часы.

— Кстати, раз уж мы об этом заговорили...— начал он.

— Да? — сказала она.

Они оба встали. Джон поставил стакан на маленький, со стеклянной столешницей столик и, слегка покачиваясь, направился к винтовой лестнице.

— Нам придется снова встретиться, когда вы повидаетесь с Терри,— выговорил он.

— Прекрасно,— сказала она.

— А я попытаюсь раздобыть умных, передовых друзей.— Он пошел вниз по лестнице, крепко держась за кованые перила, чтобы не потерять равновесия.

— Вы не хотите видеть Терри, я вас правильно поняла? — спросила она.

— Нет,— проговорил он.— Это было бы... неэтично.

— Безусловно.

— Так или иначе,— сказал он, миновав последнюю ступеньку и с улыбкой повернувшись к Пауле,— очень приятно иметь вас в качестве посредника.

Они обменялись дружескими поцелуями в щеку. Шагая по булыжной мостовой к Виктория-роуд, Джон прошел мимо белого «форда-эскорта», за рулем которого сидел парень и курил. Его худощавое лицо показалось Джону знакомым.

Глава шестая

Когда Джон вернулся домой, Клэр встретила его в отвратительном настроении.

— Где тебя черти носят?

— Задержался. А что?

— Я же пригласила Сэндерсона на коктейль.

— Извини, — буркнул Джон. — Совсем вылетело из головы.

Сэндерсон был секретарем местной ассоциации домовладельцев.

— И Анна, как назло, заболела, я с ног сбилась — то наливала херес Сэндерсону, то ее на горшок сажала...

— Мне ужасно неприятно.— Джон стянул с себя плащ.

— Где тебя все-таки носило? Клерк сказал, что ты в шесть часов ушел из конторы.

— Пришлось заглянуть к Пауле Джеррард по ее делу.

— И она тебя напоила джином. Явно не разбавленным, от тебя

просто разит.— Клэр повернулась и пошла к лестнице, ведущей вниз, в кухню.

— А Сэндерсон еще здесь? — поинтересовался Джон.

— Нет. Он ушел в восемь.— Она остановилась и поглядела на мужа.— Кстати, звонил Генри, спрашивал, не хотим ли мы пойти в кино. Я сказала, что хотим. Мне осточертело дома, я думала, что ты придешь вовремя, и попросила миссис Пауэлл посидеть с детьми. Теперь, конечно, уже поздно. Генри на всякий случай еще раз звонил, но я сказала, чтобы они шли одни.

— А мы возьмем и догоним их, а? Что они собираются смотреть?

— Понятия не имею, а потом я все равно уже отпустила миссис Пауэлл.

Клэр пошла вниз, в кухню, а Джон — наверх, посмотреть на дочь; Анна лежала в постели с выражением этакой терпеливой жалости к себе. В комнате пахло рвотой и дезодорантом, но, судя по всему, Анна не была опасно больна. Джон присел к ней на кровать и почитал ей сказку; она тоже сказала, что от него ужасно пахнет. Тогда он выключил свет, пожелал ей спокойной ночи и поцеловал, но оказалось, что она забыла помолиться на ночь, поэтому пришлось снова включить свет, пока она, стоя в постели на коленях, заученно и одновременно истово лепетала «Богородицу» и «Отче наш».

В соседней комнате Том наклеивал в альбом фотографии футболистов.

— Теперь у меня «Арсенал» в полном составе, па,— сообщил он,— и половина «Лидс юнайтед».

Электрическая железная дорога, которую Джон купил ему на рождество, лежала без дела, как и другие игрушки. Теперь Том не хотел знать ничего, кроме футбола: вот уже с полгода это напало на него как заразная болезнь, нормальный мальчик стал «фанатиком». Он мог без устали пересказывать отцу банальные подробности из жизни игроков «Арсенала», и как Джон ни стремился разделить увлечение сына, его не волновало, кто забил мяч в ворота — юноши в красных футболках или такие же юноши, но в синих. Вот и сейчас отец и сын, питавшие друг к другу горячую привязанность, не могли найти общий язык: Том сидел над своим альбомом, а Джон отправился читать вечернюю газету.

— В половине девятого — в постель, договорились? — прокричал он с середины лестницы.

— Да, папа,— отвечал Том тоном, в котором звучало: «Отстань ты».

— Тише. Я больна,— послышалось из комнаты Анны.

Все еще испытывая легкое головокружение от джина, которым напоила его Паула, Джон пошел в спальню переодеться. Он вернулся в гостиную и уселся было с вечерней газетой, как до него долетел приглушенный крик — это Клэр звала его ужинать. Он поднялся и пошел вниз, на кухню. Клэр ела суп.

— Все остыло,— бросила она агрессивно.

— Хочешь вина? — кротко спросил он.

— Мне не надо,— ответила она.— А ты, кажется, выпил больше чем достаточно.

Он сел и принялся за свой суп.

— Значит, выпивал с Паулой Джеррард, так я понимаю? Где же она живет? — спросила Клэр.

— В бывших конюшнях недалеко от Виктория-роуд.

— Надеюсь, это не войдет у тебя в привычку?

— Ты же не позволяешь мне пригласить ее.

— Это она тебя должна приглашать.

— Так не принято. Я, собственно, подумал, что мы могли бы пригласить ее как-нибудь к ужину.

— Что? Ее одну?
— Ну, почему же? Можем пригласить еще кого-нибудь.
— Ну и кого же мы еще позовем, кроме нее?
— Да мало ли. Масколлов...
— Мэри ее на дух не принимает.
— Они ж не виделись со школьных лет.
— Держу пари, она ничуть не изменилась.
— Не понимаю, почему ты так предубеждена против нее.
— У нас ничего общего.
— Это почему?
— Не люблю богачей.
— Масколлы тоже богатые люди.
— Сравнил!
— Она ведь не виновата в том, что богата.
— Понятно, но все равно богатство развращает...
Джону только этого и надо было.
— Рад, что ты так считаешь, потому что мы почти на мели.
— Ты всегда это твердишь.
— У нас на две тысячи фунтов превышен кредит в банке, а мне еще надо платить налоги за прошлый год.
— Все превышают кредиты.
— У других под обеспечение есть имущество, а у нас всего-то активов — этот дом коттедж да мои гонорары. А если я стану королевским адвокатом и потом еще буду баллотироваться в парламент, наши доходы сократятся...
Клэр презрительно фыркнула:
— Ну и что от меня требуется? Идти работать?
— Какая уж работа, у нас дети. Но возможно, нам придется продать коттедж.
— Ни за что! — вскинулась Клэр.
— Если меня изберут, я все равно вынужден буду работать по выходным в избирательном округе. И потом, продав коттедж, мы не только освободимся от выплат под вторую закладную, но и получим приличную сумму, чтобы покрыть наш дефицит в банке, выплатить часть ссуды за этот дом, ну и купить что-нибудь, скажем, новую машину...

Клэр встала, подошла к раковине и с грохотом поставила туда суповую миску. Затем в полном молчании подала ему чистую тарелку и вывалила из глубокой сковородки разогревавшиеся там консервированные пельмени.

— Что ты на это скажешь? — спросил Джон.

— Хочешь, положи себе зеленого горошка.

Джон встал, пошел к плите.

— Конечно, грустно,— сказал он,— мы ведь немало вложили в этот коттедж, но я действительно не вижу другого выхода...

— А где мы будем проводить каникулы, отпуск? — спросила Клэр.— В Хакни-Марш? — Она не выговорила это, а прошипела.

— Нет, зачем же? Но ведь есть же Бьюзи.

— Ты прекрасно знаешь, что больше недели я там не выдерживаю. Возвращаемся к тому, с чего начинали десять лет назад.

— В отпуск можно поехать за границу... снять дом в Тоскане или в Дордоне.

— Это ты сейчас так говоришь, а дойдет до дела, скажешь, что мы не можем позволить себе такой роскоши. Всегда так.— Ее нежное лицо, такое прелестное, когда она была спокойна и улыбалась, сейчас перекосилось от злобы.

— А что я должен говорить,— спросил Джон,— если неоткуда взять денег?

— Ой, говори что хочешь.— Она скосила глаза на повисшую прядь волос, словно решая, надо мыть голову или нет.

— Если б ты хоть на чем-то экономила...

— Ах, так это я во всем виновата? Это я расточительница? Это мои туалеты от Сен-Лорана и уик-энды в Сен-Морисе разорили нас... — Она перестала смотреть на свои волосы и перевела на Джона презрительный взгляд.— И конечно же, я уйму денег трачу на прислугу, верно? Я держу повара, и няню, и экономку...

— Да разве я об этом.

— А о чем же тогда? Где она — моя расточительность?

— А оставлять два дома, когда мы и один-то едва можем себе позволить...

— Мы могли бы позволить себе два дома, если бы ты не расхаживал по ресторанам и не тратился на клуб. Во что тебе обходится членство в «Гаррике»[1]. Сто пятьдесят фунтов в год? А ты туда даже дороги не знаешь.

— Я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе эту небольшую роскошь...

— Ах, ты называешь это небольшой роскошью, только-то? Так, может, поменяемся местами? Ты будешь целыми днями торчать в четырех стенах с больным ребенком и общаться разве что с секретарем этой чертовой ассоциации, который нудит про заповедные зоны, а я стану являться к тебе под хмельком после свиданий с каким-нибудь молодым человеком в его особнячке и учить тебя, как экономить на хозяйстве, потому что, видите ли, мне хочется быть королевским адвокатом и членом парламента, чтобы все знали, какая я замечательная...

Джон побледнел:

— Ты считаешь, что я хочу, чтобы все знали, какой я замечательный?

Клэр ответила, чуть, впрочем, помедлив:

— Да. Именно так я и думаю. Всю жизнь ты занят собственной персоной. Ты упиваешься собой, и, как закоренелому пьянице, тебе нужна все большая и большая доза. Вперед и выше — вот твой девиз. И всегда так было. Меня ты ни в грош не ставишь. Да и детей тоже. Мы нужны тебе для украшения жизни — гарантированная супружеская ласка, еда и дружеское участие,— а сам продолжаешь свое героическое шествие, вперед и выше во имя приумножения славы Джона Стрикленда...

Бледный как смерть, Джон отодвинул тарелку с остатками пельменей.

— Ты действительно думаешь,— спросил он ее,— что я стремлюсь домой ради, как ты выразилась, гарантированной супружеской ласки, еды и дружеского участия, какими меня здесь одаривают? — Он встал, взял из вазы на буфете яблоко.— А может быть, ради приятной беседы?

— Ах, иди ты к черту.

Он встал и направился по лестнице вверх. За его спиной раздались всхлипывания, но было уже половина десятого, а он как раз хотел посмотреть телепередачу. Клэр появилась позже — он даже не повернулся в ее сторону. Они сидели, уставившись на экран, как две усталые собаки — на затухающий костер. В половине одиннадцатого — раньше обычного — Клэр приняла ванну и отправилась спать. Джон посмотрел до конца программу, а когда вошел в спальню, свет у нее на тумбочке был выключен и она лежала, отвернувшись к стене. Он даже не попытался, по обыкновению, обнять ее: в крови оставалось достаточно джина, чтобы тут же заснуть.

Глава седьмая

Джон проснулся без вчерашнего раздражения, но не забыв обиды. Он не разговаривал с Клэр — просто не замечал ее, словно

[1] Лондонский клуб актеров, писателей и журналистов.

это был движущийся предмет. За завтраком он прочел газеты, как всегда поцеловал сына, когда тот собрался в школу, и как только за Томом закрылась дверь, снова уткнулся в «Таймс», а Клэр — в «Дейли мейл». Случись им встретиться взглядом, они бы обнаружили в глазах друг у друга абсолютно одинаковое выражение: не гнев и обиду, а скуку и неприязнь.

Газета, как и телевизор накануне, отвлекла Джона от мрачных мыслей, но когда он вошел в метро и поехал по Центральной линии в суд, то снова задумался и понял, что мысли Ивана Ильича, терзавшие его летней бессонной ночью, теперь не покидают его и днем. Он понимал, что половина жизни прошла почти впустую, но вот он достиг поворотного пункта, однако жена мешает ему исполнить задуманное. Женщина, ставшая его женой, губит его — она сначала сковала его по рукам и ногам, теперь набросила удавку на его душу.

В суде ничто в его поведении не выдавало душевных страданий, хотя он пришел к окончательному выводу, что его брак «потерпел крах». От самого слова «крах» ему стало не по себе: он обычно с ухмылкой читал о подобном в светской хронике «Гардиан». Он презирал тех, кто считает, будто брак бывает либо удачным, либо терпит крах — это же не химический опыт и не восхождение на пик Маттерхорн, тем более брак и не ломается, как автомобиль или стиральная машина,— будущие супруги, прежде чем связать себя семейными узами, могут выбирать, но когда узел завязан, он столь же крепок, как тот, что связывает мужчину с матерью или дочерью. Их можно любить или не любить, но разорвать эти узы нельзя.

И тем не менее Джону было совершенно ясно, что ему не стать политиком с такой женой, как Клэр. Она не разделяла его взглядов, не была готова на жертвы ради них, да и не верила в его способности. В избирательном округе Хакни-и-Харингей были мужчины и женщины, которых он едва знал, но они верили в него, в его будущее, а вот собственной жене важнее, чтобы он выплатил очередной взнос за загородный коттедж, чем посвятил себя общему благу. В то утро он представлял себя Прометеем, прикованным к скале своего брака, а Клэр — стервятницей, клюющей ему печень; если бы он мог предположить, как переменится вся его жизнь, он женился бы совсем на другой.

Когда в половине пятого он добрался до своей конторы, его ждала записка: просила позвонить Паула Джеррард. Он тут же набрал номер. Она сказала, что разговаривала с Терри Пайком и хотела бы снова повидаться с Джоном. Он обещал заглянуть к ней по дороге домой.

Он снова взял такси. Паула открыла ему дверь, как старому другу. Она вынула из холодильника лед, и Джон снова отнес наверх поднос, словно это уже вошло у них в обычай.

— Терри виделся утром с Джимми,— начала она, когда они опять сели перед камином.

— И что тот сказал?

— Сказал, что подумает.

— А как Терри ему это изложил?

— Не знаю.

— О деньгах шла речь?

— Насколько мне известно, Терри предложил ему «подмазку» или что-то в этом роде.

— Не за ваш счет, надеюсь.

Она улыбнулась.

— Нет. Не за мой.— И тут же пошла к проигрывателю поставить пластинку.— Они просили узнать, должны ли они говорить об этом со своими поверенными.

— Нет, лучше не надо.

Она поставила пластинку и вернулась, но не к своему месту на диване, а остановилась перед Джоном спиной к камину. Джон полулежал, запрокинув голову, и неторопливо рассматривал ее стройную фигуру — в этот вечер на ней была черная юбка и голубая блузка.

— Вы очень великодушны,— сказала Паула.— Мне немного не по себе оттого, что я уговорила вас поступить... как это вы выразились — «неэтично».

Джон покачал головой

— Пустое,— сказал он.— Возможно, немногие адвокаты заходят так далеко, но у всех этих «терри» и «стоттов» так мало шансов в нашем мире, что не беда, если чаша весов правосудия хоть раз склонится в их сторону. В конце концов, полиция же нарушает правила, изобретая свидетельства и подбрасывая вещественные доказательства...

— Конечно.

— При нашей системе правосудия, где состязаются стороны, цель судебного разбирательства — не добраться до истины, а разыграть, согласно определенным правилам, искусную и ловкую партию. Свидетельство — карта, которой вы располагаете с самого начала, а лжесвидетельство — своего рода мошенничество, дозволенное самой системой.

— Но большинство людей об этом понятия не имеют.

Джон рассмеялся:

— Конечно! И не надо, чтобы имели. Прочь сомнения! Это так же необходимо в юстиции, как в политике или, скажем, в театре. Если зрители будут думать, что Гамлет никакой не принц датский, а обычный актеришка, снимающий однокомнатную квартиру в Криглвуде,— да они больше в театр не пойдут.

— А политики — тоже актеры?

— Всякое бывает.

— Я думала, у вас есть твердые принципы.

— Принципы — да, но никаких иллюзий. Люди жаждут социальной справедливости постольку, поскольку она им что-то сулит.

— Так чего же ради мы с вами стараемся изменить общество, если это не сулит нам ничего хорошего?

— Клэр сказала бы — из тщеславия.

— Разве она не социалистка?

— Нет. Совсем наоборот.— Он допил джин.

— Забавно.— Паула подошла, взяла у него стакан. Ощутив ее близость, ее запах, Джон совершенно непроизвольно подался лицом вперед и коснулся губами ее губ. Она, как ему показалось, покраснела под прядями, упавшими ей на лицо, и вскинула голову, не отстраняясь, а как бы завершая движение от камина к столику с напитками.

— Значит, она из консерваторов? — продолжала она, как будто никакого поцелуя не было.

— Инстинктивно — да, но не по убеждению.

— А кто же будет устраивать приемы?

— Надеюсь, в Хакни-и-Харингее ей этого делать не придется.

— Это дела не меняет. Социалисты ведь поощряют женщин к независимости суждений.— Она вернулась к камину и протянула Джону его стакан.

— Все гораздо сложнее, — сказал он.

— А именно? — Она стала спиной к камину, глядя на Джона сверху вниз.

— Вопрос в деньгах,— сказал он,— но это вас не должно интересовать.

— Меня интересует все, что вас касается,— сказала Паула,— но я не хочу лезть в вашу личную жизнь.

— Лезть-то, собственно, не во что. Все дело в том, что, если я стану членом парламента, мои доходы сократятся и нам придется изменить образ жизни. А Клэр этого не хочет. Она считает, что игра не стоит свеч.

— Как странно,— тихо произнесла Паула, не поднимая глаз от стакана.— Другая бы на ее месте гордилась вами.

Она произнесла это с необычной для нее застенчивостью, и весь ее облик — резко очерченное, смуглое лицо и тоненькую стройную фигуру — словно затянуло дымкой несказанной нежности. Джон поставил на столик стакан, поднялся и шагнул к ней. Взяв ее за плечи, он спросил:

— А вы гордились бы мной?

Она продолжала смотреть в свой стакан. Затем подняла глаза на Джона; во взгляде ее были страсть и одновременно боязнь.

— Да,— сказала она.— Я бы вами гордилась.

Он взял ее за плечи, прижал к себе, поцеловал, а она осталась неподвижно покорной — лишь едва коснулась его губами.

— Паула,— выдохнул Джон, и наступило молчание; он просто не знал, что сказать.

— Забавно, правда? — еле слышно прошептала она.— Мы ведь и видимся-то всего второй раз в жизни.

— Я бы зацеловал вас в первый же раз,— сказал он.

— Я тоже.— Она состроила насмешливую гримасу.— Но вы бы подумали, что я ужасно легкомысленна.

Он снова поцеловал ее.

— А вы, что бы вы обо мне подумали?

— О, то же самое.— Она засмеялась.— В любом случае я уверена, что я у вас — одна из многих.

— Из каких многих?

Она покраснела и улыбнулась:

— Ну... женщин.

— Ничего подобного.

Она недоверчиво взглянула на него:

— Только не говорите, что не целовались ни с кем, кроме своей жены!

— Ну, конечно, я...

— Я так и думала.

— Но я и не... — Он запнулся, подыскивая другое слово вместо «сластолюбец».— Нельзя сказать, чтобы я был слишком ветрен.

— Но и не слишком верен, насколько я слышала.

— Что же вы такое могли слышать?

— Насчет Дженнифер Крили.

— Что?! — Он насупился.— У меня был роман с Дженнифер Крили?

— А разве нет? У кого только с ней не было романа.

— У меня не было.

— О, извините.— Она чмокнула его.

— Мне безразлично, что думают другие, — сказал Джон, — но небезразлично, что думаете вы, и я вовсе не желаю, чтобы меня принимали за молодящегося Казанову...

Она не дала ему договорить, закрыв рот поцелуем.

— Ни в коем случае,— сказала она.— И мне безразлично, что подумают люди, за исключением, пожалуй...— Она замялась.

— Кого?

— Ну, вашей жены.

— Ей незачем знать,— поспешил сказать он.— И потом, наш брак весьма неудачен.

Она смотрела отсутствующим взглядом.

— Нельзя чтобы я встала между вами и Клэр,— произнесла она.— Я не хочу разбивать вашу семью.

— Нет,— отвечал Джон.— Вы не можете разбить то, что уже разлетелось вдребезги.

Они сели рядом на диван, рука в руке, и заговорили пылко, торопливо — так бывает, когда люди вдруг обнаруживают близость взглядов. От неловкой позы у Джона затекла рука, потом нога и ему хотелось сесть поудобнее, но он боялся переменить позу, чтобы Паула не подумала, будто он хочет отодвинуться от нее. Но потом он все же поднялся и пошел в ванную комнату.

Там он с удовольствием оглядел сияющую чистотой ванну и экзотические шампуни, кремы и лосьоны, расставленные на фоне цветного кафеля. Все было совсем непохоже на то, к чему он привык у себя дома, где ванна была вечно в грязных разводах, на полочке валялись тюбики с выжатой зубной пастой, а сама полочка была вечно залита микстурой от кашля. На обратном пути он прошел мимо спальни Паулы и заметил, что широкая кровать разобрана, но вместо смятых простыней и одеял он увидел лишь вмятинки на краю, где она спала. Судя по этим вмятинкам, спала она одна.

— Вы сегодня куда-нибудь собираетесь? — спросил он ее, возвращаясь в гостиную.

Она помедлила.

— Нет.

— Может быть, поужинаем вместе?

— А разве вам не нужно домой?

— Я позвоню Клэр и скажу, что мне надо съездить в Хакни.

— Только не считайте себя обязанным мне.

— Нет,— сказал Джон. Он подошел к телефону и набрал номер. Трубку снял Том.— Позови, пожалуйста, маму,— попросил Джон.

— А она наверху, моет Анне голову.

— Значит, Анне лучше?

— Да. Завтра собирается в школу.

— Тогда передай маме, чтобы не ждала меня к ужину.

— Ладно.

— Передай ей, что мне надо заехать в Хакни.

— Ладно.

— Передай, пусть не ждет меня.

— О'кей, папа, я все передам.

Джон положил трубку и почувствовал угрызения совести, потому что обычно он сам мыл дочери голову, но тут же отогнал эти мысли и с улыбкой повернулся к Пауле.

— Куда вы предпочли бы поехать? — спросил он.

Она назвала русский ресторан в Сохо, и они отправились на ее «ланчии». Они ели блины с икрой, пили водку, потом — шашлык с рисом и салатом, который запивали вином. Затем последовали мороженое с черной смородиной, кофе и счет — чудовищный, однако Джон едва ли осознал сумму, выписывая чек; он был пьян — не столько от водки и вина, сколько от красоты и очарования Паулы Джеррард. Впрочем, он и пил-то меньше обычного из опасения, что пьяный может оказаться не на высоте, когда они вернутся на Пэрвз-Мьюз. Он почти не сомневался, что она предложит ему вторую, нетронутую половину своей разобранной постели — в конце-то концов, она ведь не девчонка, только что вышедшая из школьного возраста вроде Джилли Масколл. Весь их разговор за столом как бы исподволь подводил к тому, что они станут любовниками.

На ее «ланчии» они вернулись в Кенсингтон, и, когда добрались до конца Глостер-роуд, она спросила:

— Везти вас домой или...

— Нет, — сказал Джон.— Поедемте к вам.

— Хорошо,— сказала она и свернула на Виктория-роуд.

Он следом за ней вошел в дом и поднялся по винтовой лестнице. Огонь в камине погас, и Паула, подойдя к камину, наклонилась, подложила полено и кочергой поворошила угли. Ее поза возбудила Джона, и, когда она повернулась, отряхивая с пальцев золу, он крепко прижал ее к себе и впился поцелуем в губы, а она обвила его шею руками. Так, не разжимая объятий, они подошли к дивану и упали на подушки. Джон перенес руку с ее плеча на колено. Она отодвинулась.

— Не могу,— сказала она.

— Почему?

Она сидела, сжав колени, закусив костяшку большого пальца. Джон пододвинулся к ней, обнял за плечи, но она даже не повернулась к нему.

— Но я же... вам нравлюсь, нет? — спросил он.

— Да. Не в этом дело.

Он сидел, сбитый с толку. Оставалось предположить, что проблема в каких-нибудь чисто женских делах, по поводу которых Паула не хочет распространяться.

— Я не могу вам все объяснить,— выдохнула она с трудом.

— А вы попытайтесь!

— Нет. Не сейчас.

— Я так люблю вас,— произнес Джон,— что... сексуальная сторона для меня не главное, но если существует причина, по которой между нами никогда не может быть близости, то все-таки скажите.

Она повернулась и поглядела на него, в глазах у нее стояли слезы.

— Надеюсь, мы будем близки,— сказала она.— Если б я думала иначе... ну, что мы не будем вместе...— Она не закончила фразы.— Пожалуйста, не спрашивайте меня сейчас ни о чем.

Он улыбнулся и поцеловал ее в щеку, как поцеловал бы свою дочь Анну.

— Когда мы увидимся?

— Когда хотите.

— Тогда давайте пообедаем вместе в пятницу. Я рано освобожусь, и после обеда можно пойти погулять в парк.

— Отлично. С удовольствием. Давайте встретимся в «Пабе Бенуа», хорошо? Мне там понравилось.

На улице стояла тишина. Джон шагал по булыжникам, протрезвевший, со смешанным чувством досады и облегчения. Домой он добрался за полночь, и Клэр уже была в постели. Когда он лег, она шевельнулась. Он, по обыкновению, обнял ее, и она сквозь сон ответила объятием.

Глава восьмая

Терри Пайк, Джимми Стотт и еще трое обвиненных в ограблении почтового фургона и похищении сорока тысяч фунтов стерлингов предстали перед судом в Олд-Бейли в первых числах декабря. К тому времени Джон еще раза два-три встречался с Паулой Джеррард, они вместе обедали, или он заезжал к ней выпить, и если не говорили о своей — еще не утоленной — страсти, то обсуждали дело Терри Пайка.

Сначала Джимми Стотт не желал брать вину на себя и выгораживать приятеля. Его адвокат и Джон сходились во мнении, что улики совершенно очевидны и поэтому ему выгоднее признать себя виновным, однако Джимми Стотт вопреки всякой логике был настроен оптимистично; такое бывает у этой публики: видя, как их приятелей с помощью юридических тонкостей оправдывают, они надеются, что кривая вывезет и их.

Однако на восьмой день слушания этот маленький хитрый крепыш неожиданно изменил позицию и признал себя виновным. То ли он почувствовал, что дело поворачивается не так, как ему бы хотелось, то

ли Терри Пайк предложил ему более крупную сумму — о причинах можно было только догадываться, но Джону сообщили: Стотт готов выступить свидетелем в защиту своего друга. На десятый день процесса Джимми пересел на свидетельское место. Джон поднялся в своем парике и мантии, не забывая ни на секунду, что Паула наблюдает за ним с галереи для публики.

— Мистер Стотт,— начал он.— Я защищаю мистера Пайка.

— Угу... Знаю.

— Вы дружите с мистером Пайком, не так ли?

— Угу

— И давно?

— Не-а. Мы встретились с ним в одной...

— Меня интересует не где вы встретились, мистер Стотт, а как давно вы знакомы.

— Полгода. Ну да, шесть месяцев.

— Знаете ли вы еще кого-нибудь из обвиняемых по этому делу?

— Не-а. Никогда прежде не встречал.

— Ни одного?

— Не-а.

— Инспектор уголовной полиции Грин засвидетельствовал, что в ту субботу он нашел в вашей квартире дубинку, два завязанных узлом нейлоновых чулка и пачку пятифунтовых банкнотов той же серии, что и похищенные из фургона. Можете ли вы сказать, кому все это принадлежало?

— Угу. Мне.

— И дубинка?

— Угу.

— И чулки?

— Угу.

— Оба чулка?

— Угу.

— И все пятифунтовые банкноты?

— Угу.

— Они принадлежали вам, или, вернее, это вы принесли их в квартиру?

— Угу.

— А Терри Пайк видел все это?

— Не-а. Их же взяли под замок.

— Знал ли он что-нибудь об этих вещах?

— Не-а.

— Имел ли Терри Пайк какое-либо отношение к ограблению?

— Чего это?

— Знал ли он, что вы собираетесь грабить фургон?

— Не-а.

— Знал ли он после ограбления, что вы грабили фургон?

— Не-а. Я же сказал вам, ничего он не знал.

— Благодарю вас, мистер Стотт,— сказал Джон.— У меня больше нет вопросов.

Джон сел. Поднялся прокурор. Лицо его было бесстрастно. Джон пытался разглядеть, что за этим кроется — рад ли его коллега возможности подвергнуть перекрестному допросу свидетеля, который признал себя виновным в преступлении, или же раздражен тем, что один из обвиняемых может теперь выскользнуть у него из рук.

— Мистер Стотт,— начал прокурор.— Я восхищен тем, что вы сочли возможным — пусть даже в конце слушания — сберечь время суда признанием своей вины. Может быть, вы сбережете еще больше времени, рассказав, кто же, если не ваши друзья, помог вам ограбить фургон?

— Не знаю я, кто они. Первый раз их видел.

— Вы отправились грабить фургон с людьми, которых первый раз видели?

— Так я ведь только водитель. Встретил я того старика в закусочной, а он и говорит, что ему, мол, нужен водитель...

— В какой закусочной?

— Не помню.

— А поможете вы полиции опознать этого человека?

— Да я и не запомнил его личность, по-честному говорю, нет.

— Допустим. И тем не менее вы совершенно уверены — несмотря на наличие улик,— что в ограблении не участвовал никто из присутствующих здесь обвиняемых?

— Того старика из пивной тут нету, зря болтать не стану, не знаю, и все. Они ж за мной сидели, и все в масках.

— А вы вели машину?

— Ну да. Другими делами я не занимался.

— Эти дела не для вас?

— Нет.

— И тем не менее минуту назад вы признались моему уважаемому коллеге, что дубинка, обнаруженная у вас на квартире, принадлежит вам?

— Угу. Она мне нужна. А то как же — на всякий случай...

— На какой случай?

— На случай, если худо придется.

— Понятно. То есть если б что-то пошло не так, вы могли бы пустить в ход свою дубинку?

— Не-а. Не обязательно. Я не такой.

— Но все-таки это ваша дубинка?

— Угу.

— И деньги эти из того фургона?

— Угу, да только получил-то я всего пятьсот монет.

— Пятьсот фунтов стерлингов?

— Угу. Я ж был не в полной доле.

— А Терри Пайк? Он был в полной доле?

Джимми Стотт осклабился:

— Да им там и не пахло!

— Вот как,— произнес прокурор, и голос его поднялся на два тона.— Однако инспектор уголовного розыска Грин показал, что обнаружил у вас на квартире два завязанных узлом чулка.

— Чулки-то ведь продают парой, верно?

— Один — для вас, другой — для Терри?

— Другой про запас.

— Маска про запас?

— Конечно.

— А дубинки про запас у вас нет?

— Не-а.

— Не могли бы вы сказать, почему вы держали дома запасную маску и не держали запасной дубинки?

— Ну, а что делать с другим-то чулком? Подружка у меня ведь не одноногая.

Кто-то в зале засмеялся, и прокурор, исчерпав все вопросы, сел. На этом заседание суда в тот день окончилось.

Процесс затянулся еще на неделю. Свое заключительное слово Джон построил на признании Стотта. Улики, найденные в квартире, принадлежали ему; следовательно, улик против Терри Пайка нет. Судья в своей заключительной речи — как прокурор до него — довел до сведения присяжных, что, по его мнению, Стотт не заслуживает доверия и к его свидетельским показаниям следует отнестись скептически, тем не менее, когда за три дня до рождества присяжные вынесли свой вердикт, все подсудимые были признаны виновными, кроме Терри Пайка, которого оправдали по всем статьям.

Когда зачитывали приговор, Джон поискал глазами на галерее для публики Паулу. Она улыбнулась ему и тут же перевела взгляд своих широко раскрытых, горящих глаз на скамью подсудимых. Джон вовремя обернулся и успел заметить, как его клиент кивнул ей, затем медленно опустил голову и торжествующе, с презрительной ухмылкой посмотрел в упор на Джона.

Часть четвертая

Глава первая

На рождество Стрикленды неизменно ездили либо к родителям Клэр в Бьюзи, либо под Йорк, к матери Джона. Затем они перебирались на Новый год к тем родителям, с которыми не встречали рождество. Делалось это в строгой очередности, и рождество в 1973 году предстояло встречать у «бабушки Стрикленд». Двадцать третьего декабря они уселись в свой старенький «вольво» и покатили по трассе М-1.

Простой, выстроенный прямоугольной коробкой дом в деревне Стэйнтон принадлежал некогда местному доктору и был побольше коттеджа или фермы, поменьше помещичьего дома, ибо в графстве Йоркшир даже кирпич и известка знали свое место, поэтому «Сад», как маменька именовала свое жилище, стоял прочно и уверенно третьим после ратуши и дома приходского священника. Вдове такая роскошь вроде бы и ни к чему: Алиса Стрикленд жила одна и пользовалась всего тремя из десяти или одиннадцати помещений: маленькой гостиной, спальней да кухней, которые обогревались электрокамином. Остальные — большая гостиная, столовая и спальни — содержались в чистоте и порядке для гостей, для детей и внуков; к их приезду открывались ставни, протирался китайский фарфор и включалось центральное отопление.

Такой образ жизни вполне ее устраивал. После смерти мужа Алиса Стрикленд получила возможность жить по собственному вкусу, и с годами она возродила порядки родительского дома в Галифаксе, где большая гостиная считалась святилищем всякой аристократической семьи. Быть супругой главного судьи графства ей никогда особенно не нравилось, однако она не могла продать «Сад» и перебраться в пригородный особнячок вроде того, в каком сама выросла, так как это значило бы потерять все, ради чего она старалась всю жизнь; она продолжала принимать приглашения своих соседей и отдавать визиты не потому, что получала удовольствие от бесед с ними, а затем, чтобы время от времени напоминать себе о достигнутом положении в обществе.

Отвечать на гостеприимство соседей она предпочитала, дождавшись приезда сына или дочери. Клэр, дочь генерала, как нельзя лучше подходила, по мнению Алисы, для приема наиболее чванливых местных снобов. Вот и сейчас, едва они приехали на рождество, Алиса, не дав им даже отдохнуть с дороги, начала излагать подготовленную для них программу.

— Сегодня у нас обедают Тэйлоры и Фрэмптон-Дассеты. Знаю, Джон, ты сейчас скажешь, что не любишь Тэйлоров, но ведь он мировой судья и всегда так рад поговорить с тобой, а у Фрэмптон-Дассетов мальчик в Стоунхерсте, где учился ваш брат. Клэр, не так ли? Они просто жаждут побеседовать с вами. А на завтрашний вечер я пригласила кое-кого на твой глинтвейн из красного — не вздыхай так, Джон, дорогой, ты его превосходно готовишь, только следует брать итальянское вино, потому что французское непомерно вздорожало,— если, конечно, не выключат электричество, тогда придется пить херес. Сара и Грэм приедут завтра, так что и они смогут по-

мочь, но рассчитываю я на вас. Вы так ладите с моими старыми друзьями.

Джон поспешил сослаться на то, что надо взять багаж из машины и отнести наверх. Он ушел, Клэр последовала за ним, и они стали устраиваться в одной из пустовавших спален, где все еще чувствовалась сырость: центральное отопление опять отключили. Они принялись распаковывать чемоданы, и Клэр улыбнулась мужу.

— И здесь дела,— сказала она.

— Придется в десятый раз обсуждать законы с Джервасом Тэйлором,— буркнул Джон.

— А я третий год подряд буду беседовать об иезуитах в Стоунхерсте.

Клэр вышла из комнаты разобрать детские вещи, а Джон долго искал, куда бы пристроить свою щетку и расческу. Как всегда каждый свободный сантиметр был заставлен китайскими статуэтками. В конце концов (Клэр как раз появилась в дверях), он в сердцах сдвинул в сторону пастушка и семь овечек.

— Что они, плодятся, что ли? — бросил он.— Не овечки, а кролики какие-то.

— Ты бы в ванной посмотрел. Там просто китайская лавка.

В Стэйнтоне Джона многое раздражало, но больше всего коллекция китайских статуэток — они не только заполонили все столики и комоды в пустовавших спальнях, но еще и говорили о дурном вкусе маменьки и тем самым выдавали ее социальное происхождение: хорошее воспитание, как сказала бы Клэр, еще не гарантирует хорошего вкуса, тем не менее врожденная культура вам подскажет, является ли китайский пастушок произведением искусства или хламом. В Бьюзи например, многое пришло в упадок, но в самой атмосфере дома чувствовалась былая утонченность, тогда как в «Саду» все, от самого названия, которое мать дала дому, до чехлов с кисточками, натянутых на крышки унитазов,— все было претенциозно, вымыто-вылизано и по-мещански пошло.

Клэр забавляла эта жеманная пошлость, а Джон ее стыдился. Однако это настолько укоренилось в матери, что хотя он и его сестра Сара, случалось, поддразнивали ее, но им так и не удалось изменить ее вкус. Когда был жив отец, его строгий аскетизм еще сдерживал в каких-то рамках весь этот китч: китайским безделушкам была отведена гостиная, его кабинет был для них закрыт — даже для статуэтки английского драгуна, которую мать купила както ко дню его рождения. Он поставил ее на подоконнике в туалетной комнате на нижнем этаже. Но вскоре после его смерти Алиса занялась коллекционированием «всерьез», объявив это своим хобби, и почти из каждой поездки в Йорк, куда-нибудь на запад или в Озерный край, привозила целые коробки хрупких, дорогих безделушек самого низкого пошиба.

А стыдился Джон по многим причинам. Прежде всего потому, что дурной вкус матушки выдавал с головой не только ее происхождение, но и притязания, ибо она пребывала в уверенности, что ее коллекция, если уступает сокровищам Замка Говарда, то лишь немного, по этой причине ничто не доставляло ей большего удовольствия, чем демонстрировать свои безделушки тем, кто делал вид, будто восхищается ими. Но стыдно было и за свой снобизм: да, в характере матери было немало такого, за что он мог ее винить, однако как же можно осуждать человека за отсутствие вкуса? Если вкус воспитывают, то мать уже не перевоспитаешь, а если у человека нет врожденного эстетического чутья — к примеру, с совестью человек родится, а вкус воспитывают,— то какое у него право критиковать мать за дурной вкус? Он понимал, что дело не в уродстве вещиц и не в напрасной трате денег, которых у матери не так уж много, больше всего его раздражал социальный подтекст: точно так

же нельзя говорить с провинциальным акцентом или пахнуть потом... Его неприязнь к этим китайским безделушкам была снобизмом, и он это знал.

К счастью, Масколлы никогда не приезжали в Йоркшир, а местные землевладельцы, которые приняли в свою среду судью и его супругу, либо сами не отличались вкусом, либо давно смирились с Алисой Стрикленд и принимали ее такой, как она есть. Единственно, кого еще бесили китайские безделушки, так это его сестру, что диктовалось, однако, не социальными предрассудками, а приверженностью строгому функционализму стиля Bauhaus [1], который она исповедовала вместе со своим супругом Грэмом с истовым рвением и фанатизмом неофита.

Сара, унаследовавшая радикальные взгляды отца, порою злила брата не меньше, чем Алиса, а в это рождество она явно сплоховала, прибыв на другой день вместе с мужем и тремя детьми в новеньком, еще пахнущем заводской краской «ситроене-универсале». Досада Джона при виде сверкающей лаком машины объяснялась не завистью или возмущением оттого, что директор обычной средней школы в Ливерпуле может позволить себе новый автомобиль, а ему, преуспевающему лондонскому адвокату, такое недоступно. Он знал, например, что его сестра зарабатывает — и немало — частными уроками, давая их тем, кто не может посещать школу — беременным девчонкам или двенадцатилетним преступникам, а своего младшего водит в бесплатный детский сад. Он знал также, что Грэм и Сара редко ходят в ресторан и никогда не принимают гостей, при том, что за дом они почти расплатились; они не застраховали свою жизнь, не собираются посылать детей в частную школу, а отчисления в пенсионный фонд делает за них государство. Злило Джона не только их умение получить все, что можно, за счет местных властей и правительства и даже не то, что они могут позволить себе новый автомобиль, но прежде всего то, что, несмотря на свое относительное благополучие они вечно прибедняются, и Алиса, например, всегда оплачивала дочери бензин на поездку от Ливерпуля до Йорка.

И еще — он прекрасно помнил времена, когда Сара презирала всех, кто покупал импортные машины-«универсалы». На словах они по одежке протягивали ножки; когда они только поженились и снимали квартирку, Сара с Грэмом обливали презрением мещан, отказывавших себе во всем, чтобы купить дом в рассрочку. Затем, когда они сделали первый взнос за дом деньгами, которые ей дала мать, и все еще ездили городским автобусом,— они презирали владельцев личных автомобилей, которые забивают улицы и загрязняют окружающую среду. Год спустя они купили малолитражку и стали дружно поносить владельцев иностранных машин — Джон и Клэр как раз купили тогда «вольво».

Сара внешне походила на Джона. Такая же высокая, сухопарая, с густыми черными волосами, только лицом круглее и взглядом пронзительнее. Ее муж Грэм был чуть ниже ее ростом, с 1968 года он отпустил усы подковой, по моде. Одевались оба только в хлопчатобумажное: Грэм даже хвастал, что у него нет больше ни костюма, ни галстука. В уступку теще он надевал на ее коктейлях синюю шелковую тенниску к холщовой куртке и холщовым брюкам, однако, когда Клэр однажды пошутила над этим его «вечерним туалетом», он насупился, словно один из его учеников позволил себе дерзость.

Говорил он в нос и чуть нараспев, как говорят в том городе, где он преподавал, и это вкупе с его внешним видом и взглядами подтверждало худшие опасения соседей Алисы Стрикленд, бывав-

[1] Школа дизайна, искусства и архитектуры, основанная Вальтером Гропиусом в 1919 г. в Веймаре.

ших на ее коктейлях, о порче нравов в государственных школах. В глубине души, однако, Грэм был традиционалистом (учился он в той же классической школе в Ньюарке, что и Исаак Ньютон, окончил педагогический колледж Лондонского университета) и инстинктивно стал таким же консерватором, как и его отец, аптекарь, но при этом был честолюбив и рано понял, что новомодная внешность в сочетании со старомодными устоями теперь лучший залог успеха, почему и предпочитал хлопчатобумажную одежду и ливерпульский выговор; применившись к конъюнктуре в системе народного образования (борьба с текучестью и т. д.), он и впрямь преуспел, став к сорока годам директором единой средней школы.

В сочельник, когда гости разошлись, Клэр с матерью убрали лишние рюмки, малышей отправили спать, поужинали, отправили спать и остальных детей и до половины одиннадцатого смотрели телевизор, пока не выключили электричество. Тогда Алиса зажгла свечи, расставленные по дому во всех «ключевых» местах, и они с Клэр отправились в Йорк к полуночной мессе. Алиса принадлежала, конечно, к англиканской церкви и утром на следующий день все равно пошла бы на утреннюю службу в местный приход, но она любила эту полуночную церемонию и считала долгом вежливости проводить невестку. Джон, Грэм и Сара остались в маленькой гостиной.

— Клэр каждое воскресенье ходит в церковь? — поинтересовался Грэм нормальным голосом, забыв вдруг свой ливерпульский выговор.

— Да, — ответил Джон.

— И детей водит?

— Да.

— И вы не возражаете, что им затуманивают мозги религиозными предрассудками?

— В общем, нет.

— А Клэр действительно верующая? — спросила Сара.

— Думаю, да.

— Смешно верно? — сказала она.— Ведь в остальном она производит впечатление вполне разумного человека.

— Это у них фамильное,— сказал Джон.

— Но она же не обязана верить только потому, что верят в ее семье! — заметил Грэм.

— Нет конечно.— Джон поднялся налить себе портвейна, хотя чувствовал, что ему уже хватит; от непривычной праздничной еды началась изжога.

— Так она действительно верит?

— Должно быть Мы никогда с ней об этом не говорили.

— А тебя она не пыталась обратить в свою веру? — спросила Сара.

— Нет.

— А вы ее — в свою? — спросил Грэм.

— В какую?

— Ну, в ту, в которую вы сами верите.

— Мы больше спорим о политике.

— Вот уж никак не подумала бы,— сказала Сара.

— Почему?

— Разве вы оба не тори?

— Я — нет

— Кто же ты тогда?

— Лейборист. Всегда был лейбористом.

Грэм прыснул со смеху.

— Полно вам,— сказал он.

— Более того, возможно, меня выдвинут в парламент.

— От лейбористов? — недоверчиво спросила Сара.

— Конечно.
— Удивительно.
Некоторое время они сидели молча.
— И где, по какому округу? — допытывалась Сара.
— Хакни-и-Харингей.
— Вас уже выдвинули? — спросил Грэм.
— Нет еще. Конференция будет только в конце января.
— Ты правда социалист? — не унималась сестра.
— Не меньше твоего.
— Живешь ты иначе.
— А как живут социалисты?
— Во всяком случае, не в двух домах.
— У половины «теневого кабинета» по два дома.
— Они не социалисты.
— Ну, тогда я такой же социалист, как они. Годится?
И снова воцарилось недовольное молчание.
— Как хотите,— произнес Грэм, все еще не придя в себя от услышанной новости,— а парламент — напрасная трата времени.
— Может быть,— сказал Джон.— А что не напрасная трата времени?
— Ну, в общем-то, возможно, какая-то польза и будет,— сказал Грэм.— Я хочу сказать, законы-то ведь нужны, верно? Да только слишком это тупые инструменты...
— Так что же делать? Пусть все остается как есть?
— Нет, просто надо копнуть глубже.
— Как?
— Добираться до сознания людей. Хватать их, когда они еще молоды. А когда они вырастут, мозг их уже задубеет. У них будет полно предрассудков.
— Возможно, вы и правы,— саркастически заметил Джон,— но бывает же, что взгляды меняются, разве нет? Потому и правительства у нас время от времени бывают разные.
— Но на самом-то деле разницы между ними нет, верно? Я хочу сказать, насколько я понимаю, передние скамьи обеих партий в парламенте более или менее одинаковы. Единственный путь изменить общество — это изменить людей, а единственный путь изменить их — это школа.
— Промывать им мозги?
— Называйте это как угодно,— сказал Грэм.— Я лично считаю одной из своих обязанностей пытаться преодолеть предрассудки, которые мои питомцы приносят из своей среды, и внушить им более либеральные взгляды, в том числе и социалистические.
Джон зевнул.
— Прекрасно. Быть может, они проголосуют за меня в тысяча девятьсот девяностом году.
— Значит, я трудился впустую,— серьезно ответил Грэм, но тут же рассмеялся, делая вид, что это была просто шутка.
Джон только собрался ответить, как дали свет. Они задули свечи и вернулись к телевизору.
В половине первого Грэм и Сара отправились спать, а Джон остался ждать Клэр с матерью. Он задремал в кресле, однако в час ночи его разбудил стук входной двери и сквозняк. Он поднялся и, пошатываясь, побрел их встречать. Клэр стояла, не снимая пальто, и вся прямо-таки лучилась.
— Жаль, что ты не поехал с нами,— сказала она.— Это было прекрасно.
Джон не сдержал зевка.
— А вы что тут делали?
— О политике спорили...
— Это в сочельник-то...

Он пожал плечами.

— Я пошел наверх.

— Я сейчас. Твоя мама только приготовит попить чего-нибудь горячего.

Джон поднялся по лестнице и прошел в детскую. Дети спали — Том на спине, с лицом безмятежным как у статуи на надгробии крестоносца. Анна сбросила с себя простыню и одеяло и лежала вся перекрученная, точно горгулья, какими украшают водосточные трубы,— рот открыт, рука свесилась вниз. Он укрыл ее, затем взял с их кроватей большие шерстяные носки для рождественских подарков. У себя в комнате он принялся набивать носок Тома — сунул мандарин туда, где пальцы; книжечку, шоколадку и орехи уложил в ступню, а в пятку — красное яблоко. Вошла Клэр и набила носок Анны, потом они на цыпочках вернулись в детскую и положили разбухшие носки в изножье кроватей.

Они шепотом пожелали спокойной ночи Алисе, быстро приняли ванну, чтобы согреться, прошли к себе и закрыли дверь. Лежа в темноте, Джон рассказал об их диспуте с Грэмом. Клэр хихикнула.

— Вот он, твой социалист,— прошептала она, когда они поцеловались, желая друг другу спокойной ночи, прохладные губы ее долго не отрывались от его губ... Затем Клэр, вздохнув, уснула, а Джон еще долго лежал без сна, вызывая в воображении образ Паулы Джеррард.

Глава вторая

За ночь землю сковал мороз, и рождественским утром, открыв глаза, они увидели, что за окном спальни все белым-бело. В детской стоял радостный визг — там разбирали подарки, а из кухни доносился аромат кофе и жареной грудинки. Джон и Клэр спустились вниз в халатах и шлепанцах.

После завтрака Алиса и Клэр повели детей к утренней службе в деревенскую церковь. Грэм с Сарой вернулись в спальню досыпать. Джон побрился, оделся и решил прогуляться. Он надел пальто, прихватил отцовскую трость из терновника и пошел по деревенской улице.

Ребенком он знал здесь два прогулочных маршрута: «вокруг вéрхом» и «вокруг низом». Нижняя дорога была короче, и с нее открывался вид на Стэйнтонскую ратушу, но день стоял такой погожий, что он решил идти дальним путем, вышел за поселок и зашагал через поля.

Мороз разукрасил все крошечными кристалликами застывшей влаги — они блестели на паутине в кустарниках, на проволоке овечьих загонов, на каждой веточке и каждом листочке. Солнце высвечивало ломкие травинки, по которым он ступал, как по ковру, расшитому белыми и серебряными нитями, и Джону было жаль портить своими следами это совершенное творение природы. Он перелез через изгородь на вспаханное поле, землю уже крепко прихватило морозом, и Джон шел по борозде, точно по настилу из жердей. Следующее поле было снова невспаханное и тянулось до вершины холма, с которого на север открывалась прозрачная даль.

Здесь он остановился — долина внизу была затянута низким сумеречным туманом. Лишь верхушки бугров холмистой местности проглядывали островками в этом зыбком океане. На восток шла линия расставленных через равные промежутки столбов электропередачи, тянувших провода в туманное небытие, тут и там одинокие деревья-гиганты вырывались вдруг из окружающей белизны. Милях в девяти-десяти крутым откосом вставали Говардские холмы, подобно дальнему берегу Леты — реки забвения.

Невзирая на холод, Джон стоял неподвижно, замерев от открывшейся ему красоты. Окружающее безмолвие принесло умиротворение его смятенным чувствам, и на мгновение он возмечтал о вечном покое, подобном тому, в котором пребывал открывшийся его взору пейзаж. Он понял, что с лета, с того дня, как он раскрыл повесть Толстого, он раздвоился: одна половина его «я» вела привычную жизнь адвоката и женатого мужчины, вторая уже устремилась к другой женщине и к новой карьере. В Лондоне конфликты привычны, и он едва ли замечал возникшее в нем раздвоение — там, кажется, сама жизнь немыслима без трений. Но это затянутое туманом пространство как бы рождало надежду, человек может быть в мире с самим собой. Почему же тогда он не может обрести такую безмятежность? У него славные, любящие дети; здоровье в порядке; интересная работа; приличный заработок; веселые, интересные друзья. Он ведь переживал такие периоды и раньше, но не видел причин роптать на судьбу. Клэр могла не сочувствовать его политическим устремлениям, но она надежный спутник в жизни и даже ее скептическое отношение к его «социализму» отнюдь не станет, как ему однажды показалось, непреодолимым препятствием для его будущей карьеры, ибо, подобно своей матери, Клэр обладала большими запасами чувства долга и самопожертвования. Да и сам Джон не столь уж твердо знает, какой ему выбрать путь. Вчерашний разговор с Грэмом и Сарой заставил его усомниться в том, что он намеревался поставить себе целью жизни, ведь кто как не его сестра и ее муж, являющие собой образец новой буржуазии, вовсю эксплуатируют «государство всеобщего благоденствия». Вместо того чтобы накопить денег и послать своих детей в частные школы, они всячески изворачиваются, чтобы отправить их в хорошие государственные, которые — не они одни такие умные, таких хватает и среди элиты государственных служащих — заполнены потомством предприимчивых родителей, а дети рабочих, как и прежде, вынуждены ходить во второсортные школы.

Он прекрасно видел, как, захватив лучшие школы и обеспечив своим чадам высшие баллы на экзаменах и университетский диплом, они затем якобы во имя прогресса сделали так, что наиболее оплачиваемые посты в государстве доступны теперь лишь им, с их образовательным цензом. Поскольку каждая сфера приложения сил находится под контролем общества, человек должен показать не только умение справиться с делом, но и подтвердить свою квалификацию. Художнику недостаточно уметь рисовать при поступлении в школу изящных искусств — он должен еще иметь высшие оценки по биологии и математике за среднюю школу. Знание предмета и опыт ничего не стоят, если у человека, занимающегося социальным обеспечением, нет диплома, точно так же архитектор может построить кафедральный собор под стать Йоркскому, но без необходимого квалификационного свидетельства его не наймет на службу ни один муниципальный совет.

Многие из единомышленников Джона хотели национализировать землю, и в принципе он полагал правильным изъять ее у самодовольных снобов, вроде тех, которых мать приглашает на званые обеды; но потом он вспомнил о фермере, их стэйнтонском соседе, которому принадлежало здание местного муниципалитета; он едва умел писать и читать, однако поля его и скот были лучше ухожены и давали больший доход, чем у самых что ни на есть дипломированных агрономов. Так вот, если лейбористская партия национализирует землю, сын этого фермера не сможет больше возделывать свою пашню, потому что не в состоянии сдать два экзамена на аттестат об общем образовании? И что же, хозяйствование землей перейдет к сыну какого-то городского буржуа с дипломом агронома, полученным в Политехническом институте?

Его начал пробирать холод — он пошел дальше, размышляя о том, что вполне мог бы бросить политическую карьеру, если бы не боязнь разочаровать Паулу Джеррард, ибо даже здесь, среди полей, среди безмолвия природы, он чувствовал всепоглощающую, непреодолимую любовь к этой худенькой смуглой девушке, оставленной им в Лондоне. Она занимала теперь едва ли не все его мысли. Он шагал лесами и полями Северного Йоркшира, а душой был в трехстах милях отсюда, в Приннет-Парке, доме Джеррардов, и любовался улыбкой, которой в воображении его одаривали прелестные губы Паулы.

Она не снилась ему ночами, но каждое утро он пробуждался с сознанием, что нечто яркое и непостижимое ворвалось в его жизнь, как если б накануне вечером в дом пробралась тигрица и в бельевой корзине оказался потом целый выводок тигрят. И если в течение дня его порой занимала обычная, будничная жизнь — игры с детьми или чтение газет,— то другая половина его «я», преисполненная любви к Пауле Джеррард, в это время ждала своего часа. Он мог раскрыть «Таймс» и вдруг почувствовать, как заколотилось сердце, прежде чем сознание отреагировало на то, что среди объявлений в финансовой колонке глаз выхватил название банка ее отца. Или вот, накануне, в сочельник, он сидел и пил чай на кухне со своими и соседскими детьми, когда от случайной реплики одного из этих йоркширских ребят у него перехватило дыхание, словно от внезапного порыва ветра. Джон попытался вспомнить, что же он такое услышал. «Мы с Полом идем в воскресенье на феерию...» Настолько возбужден был его мозг, что одного схожего слова — Пол и Паула — оказалось достаточно, чтобы мозг передал сигнал в солнечное сплетение.

Несомненно, будь он с Паулой в Приннет-Парке, проводи он рождество у Джеррардов, вторая половина его «я» была бы здесь, в Йоркшире, с женой и детьми, и от звука голоса какого-нибудь мальчика или девочки, играющих на лужайке, у него вот так же ёкнуло бы внутри. Но поскольку сам он был в Стэйтоне, то и воспринимал все как должно, только уносился мыслями к Пауле и страдал от ее отсутствия. Он чаще всего рисовал в воображении, как она с ним разговаривает, улыбается или нежно целует его. Он перебирал в памяти мельчайшие подробности их встреч в лондонских ресторанах, припоминал обрывки разговоров и представлял себе, как они снова встретятся в Лондоне. Прошло всего пять дней с тех пор, как они расстались в зале Олд-Бейли, но пространство, разделившее их, словно бы удлинило время, а весь ее облик смягчился. Малоприятные черты, которые приметил бы всякий беспристрастный наблюдатель — скажем, ее манера командовать и гримасы капризного ребенка,— были забыты, и, шагая назад к дому в тот рождественский день Джон уже не мог представить себе, как он вынесет разлуку с нею — ведь они смогут увидеться только после Нового года.

Он вернулся в «Сад», откупорил четыре бутылки бургундского и уселся один в пустой гостиной. Заглянула Клэр, слизывая с пальцев ромовый крем.

— Грэм отправился в пивную,— сообщила она.— Просил передать: если надумаешь, присоединяйся.

— Да нет, я здесь посижу.

— Как ты себя чувствуешь, все в порядке?

— Да. А что?

— У тебя какой-то отрешенный вид.

Он улыбнулся:

— Рождество странно действует на людей.

— Что-нибудь не так?

— Все в порядке.

Она чмокнула его и вышла.

Глава третья

Двадцать восьмого декабря они отправились в Бьюзи, где Джон и вовсе замкнулся в себе. Это было единственным внешним проявлением того, что томило его. Чтобы добиться от него ответа, приходилось дважды переспрашивать, поэтому в семействе Лохов, где Юстас и Гай вообще говорили одновременно, не слыша друг друга, он, как правило, участия в беседе не принимал.

Дети почти не заметили, что отец ушел в себя: они радовались просторному дому, где могли бегать сколько душе угодно, не опасаясь разбить китайскую статуэтку. А вот Клэр это почувствовала, но уже привыкла к переменам в его настроении, сейчас по крайней мере это не самое худшее. Сидит себе, уставясь в одну точку пустыми глазами. В прострации человек. Элен Лох заключила, что отчужденность зятя вызвана их давней взаимной неприязнью, а генерал считал, что на Джона, как и на него, рождественские праздники нагоняют тоску.

Молчаливость Джона объяснялась не только тем, что его мысли витали далеко от предметов общего разговора за столом; человек менее осмотрительный — или менее опытный, чем Джон в выборе слов,— выдал бы себя с головой, так или иначе направив разговор на Паулу Джеррард или на что-то связанное с ней — например, на банковские операции или освобождение подсудимых на поруки, ибо ему страстно хотелось поговорить о ней или о чем-то ей близком, чтобы оживить ее образ, но двадцать лет юридической практики научили его не произносить ничего такого, что выдало бы его мысли. Он все-таки любил Клэр и не хотел причинять ей боли, унижать ее. Он понимал, что любовь — чувство собственническое и делить любимого человека с кем бы то ни было всегда больно — матери ли, видящей девушку, на которой сын намерен жениться, мальчику ли, у которого появился младший братец; понимал Джон и то, что в обоих этих случаях природа требует страданий как платы за выживание видов, тогда как в случае с любовницей этому нет такого оправдания. А кроме того, можно было предвидеть, что, чем дольше его любовь останется тайной, тем дольше он сможет ею наслаждаться без особых осложнений. Он не пытался найти выход из двусмысленного положения, связанного с тем, что он любил обеих женщин, и не обдумывал заранее, как поступить в случае кризисной ситуации,— ничего подобного; просто порою жалел, что он не мусульманин, а порою представлял себе, как Клэр, сама того не зная, угасает от лейкемии и скоро умрет.

Этот бред о смерти Клэр не диктовался ненавистью к ней — боже упаси: он любил ее, как должно, по его представлению, любить жену. Не винил он ее и в том, что она — единственное препятствие, мешающее ему жениться на Пауле Джеррард, хотя прекрасно сознавал: если Клэр умрет, он женится на Пауле и обретет не только желанную женщину, но и единомышленника, способного рассеять сомнения и поддержать материально. Тогда будет покончено с волнениями из-за страхового полиса или платы за обучение детей. Он мог бы плюнуть на свою адвокатскую практику — за исключением каких-нибудь престижных дел — и всецело сосредоточиться на общественной деятельности. Поэтому он представлял себе, как Клэр попадает в автомобильную катастрофу (в которой разбивается и «вольво»), а он с приличествующей случаю и неподдельно скорбной миной отправляется в Приннет-Парк просить руки Паулы. Тут была одна только закавыка: Клэр почти не ездила в «вольво» без детей, а даже в самых бредовых фантазиях Джон и мысли не допускал, чтобы при этом погибли Том и Анна.

Генри и Мэри Масколлов не было на этот раз в Норфолке: они поехали к каким-то друзьям в Шотландию. Джон и Клэр навестили

родителей Генри перед обедом в новогодний день, и, к великому облегчению Джона, Джилли там тоже не оказалось, а судя по радушию, с каким их встретила леди Масколл, в семье ничего не знали о злополучном письме. Гай был в Бьюзи, но ни разу не обмолвился, что он знает о любовных похождениях свояка. Словом, вторая половина праздников прошла столь же спокойно, как и первая: они ходили на прогулки, ели рождественского гуся, играли с детьми и смотрели телевизор.

Вечером первого января, когда уже стемнело, Джон сбежал в гостиную от детей, игравших с Гаем в библиотеке в «монополию». Он тихо уселся в кресло со старым боевиком Иэна Флеминга, попавшимся на глаза в спальне. На диване спал генерал с раскрытой книгой на груди — это было его обычным времяпрепровождением в темные зимние вечера. Внезапно он пробурчал:

— Что это вы читаете?

— Да вот, взял полистать.— Джон показал книгу.

— Что это?

— «Удар молнии».

— Флеминг?

— Да.

— Гм! Ну, это безопаснее Толстого.

Генерал взялся за свою книгу.

— А вы? — поинтересовался Джон.

— Юнг.

— А-а...

— Читали когда-нибудь?

— М-м... нет.

— Следует. Полезно для людей среднего возраста.

Джон засмеялся:

— Потому вы его и читаете?

— Я из этого возраста вышел. Я уже старик.

— Тогда, может, мне следует почитать?

— Вам, может, и следует.

— А что он говорит?

— О чем?

— О людях среднего возраста.

Тесть приподнялся и сел.

— По его теории, человек от рождения и до тридцати пяти — сорока лет — это Колумб, пустившийся в экспедицию. Он открывает для себя и завоевывает мир. Все возможно. А в среднем возрасте наступает такой момент, когда человек подходит к горизонту и видит, что за ним.

— Что же?

— Остаток жизни и в перспективе — смерть.

— Даже дети знают, что все мы смертны,— сказал Джон.

— Они могут это знать, но не воспринимать всерьез. Даже для двадцатилетних смерть — это бабушкины сказки. Я в армии насмотрелся на таких парней...

— Ну и как осознание своей смертности влияет на их жизнь по Юнгу? — В голосе Джона звучали пренебрежительные нотки, ибо он уже давно с подозрением относился к психоанализу.

— Заставляет смириться и принять это.

— Иначе говоря, тем, кто подобно вам верит в загробную жизнь, самое время позаботиться о местечке на небесах и начать складывать чемоданы, а тем, кто, подобно мне, не верит в загробную жизнь, надо продолжать жить как жил — есть, пить и веселиться?..

— Ничего подобного. Такие, как вы, именно и тревожат Юнга. Если существует загробная жизнь, то самому последнему капралу из верующих есть на что надеяться, ну, а если нет, тогда у вас есть всего лишь эта земная жизнь, и человек, мечтающий стать генера-

лом, вдруг осознает, что никогда ему не выслужиться выше ротного командира. Начальство обходит его чинами в пользу молодежи. Жена разочаровалась в нем и ни во что не ставит. Да и она потеряла для него былую привлекательность. Дети тратят его деньги и живут своей жизнью. С годами уходит здоровье. Нет уж былой сметки. Ничего удивительного, что именно в этом возрасте многие впадают в слабоумие.

— О вас-то ведь этого не скажешь.

Юстас скривился:

— Вы считаете, нет?

Джон покраснел:

— Нет. В самом деле. И в голову такое не приходило.

— А вы сами?

— Я? Разве я похож на слабоумного?

— Вы чертовски замкнуты эти дни.

— А, так... заботы. Вся эта затея с выдвижением в парламент...

— Слышал.

— Юнг одобрил бы?

— Сомневаюсь.

— А почему нет?

— У него времени не было мыслить такими абстракциями, как «человечество», «общество» или «рабочий класс».

— Или полк? — с улыбкой заметил Джон.

— Или полк,— согласился Юстас.

Джон поднялся с кресла, подошел к камину и стал спиной к огню, совсем как Паула тогда, у себя в гостиной.

— Я не продал душу лейбористской партии,— сказал он.— По крайней мере надеюсь, что не продал.

— Не сомневаюсь,— отвечал Юстас,— и я не говорю, что вам не следует заниматься политикой. Им нужны хорошие люди, особенно по нынешним временам.

— Так почему же вы... или почему Юнг тревожится о таких, как я?

Юстас с усилием приподнялся и спустил ноги на пол.

— Все дело в тактике,— сказал он.— Чтобы продвинуться, надо обеспечить себе тылы.

— Под этим подразумевается?..

— Вы сами. Ваше умение твердо стоять на ногах и счастье. Без этого вы уподобитесь слепцу в поводырях у слепцов.

— Я считаю, что достаточно твердо стою на ногах и в меру счастлив. Конечно, трудно сказать, что считать нормой.

— По Юнгу, человеческое счастье складывается из пяти или шести составляющих.

— А именно?

— Здоровье...

— Это у меня есть.

— Умение ценить красоту в искусстве и природе.

Вспомнив о своей рождественской прогулке, Джон сказал:

— В природе, во всяком случае, ценю.

— Разумный жизненный уровень.

— Мне мой кажется разумным.

— Удовлетворение работой.

— Да.

— Приверженность определенной философии или религии, которая способна помочь справиться с превратностями судьбы...

— Здесь я, похоже, пас,— сказал Джон и засмеялся.

— И счастливый брак.

Он поперхнулся смехом:

— Да, ну конечно, у меня счастливый брак.

Поздно вечером, когда они собирались ложиться спать, Джон обронил, что у ее отца какое-то странное настроение.

— То же самое он говорит о тебе.

— Заметил. Ему кажется, будто я повредился в уме.

— Это он сам с ума сходит.

— Он Юнга читает.

— Хуже не придумаешь. Все равно что читать медицинскую энциклопедию. Немедленно обнаруживаешь симптомы самых ужасных болезней.— Она легла и натянула на себя одеяло до подбородка. Лицо в раме каштановых волос смотрело на Джона приветливо и в то же время как бы с сомнением.— А ты сам как считаешь, ты не повредился в уме?

— Нет. Почему ты спрашиваешь? Тебе так кажется?

— Нет. Просто ты какой-то уж очень тихий — только и всего.

— Я знаю. Извини. Слишком многое надо обдумать, а на рождество я никогда не бываю в хорошей форме.— Джон лег рядом. Они потушили свет, обменялись поцелуем и мирно заснули.

Глава четвертая

Второго января 1974 года они возвращались в Лондон со скоростью пятьдесят миль в час. Для экономии бензина правительство установило с нового года такой предел скорости. Промышленности электричество давалось только три дня в неделю, телевизионные передачи заканчивались в половине одиннадцатого.

Домой, в Холланд-Парк, они добрались в четыре часа. Темнело, и, поскольку электричества не было, улицы погружались в серые сумерки. Джон вошел в дом первым и в темноте стал на ощупь искать свечи. Внизу на кухне нашел один или два огарка, оставшихся на блюдцах с их отъезда, но спички, которые всегда лежали на плите, словно испарились.

За ним вошли Клэр и дети, волоча сумки и чемоданы. У Клэр тем более не могло быть спичек, и Джон поспешил наверх, в гостиную. Там царил полный ералаш. Он ругнул жену за то, что она оставила дом в таком беспорядке, и, не найдя спичек, двинулся в спальню. Здесь он увидел, что все ящики выдвинуты из комода и содержимое их вывалено на пол. Нет, это не беспорядок — просто, пока их не было, здесь побывали воры.

Джон отыскал-таки спички — картонную коробочку с маркой русского ресторана, куда он водил Паулу. Это вызвало у него прилив тоски по ней. Он твердо решил увидеться с нею сегодня же вечером, и даже ограбление собственного дома не могло ему помешать.

Он спустился вниз, где в холодной прихожей его ждала Клэр с детьми.

— Нашел спички,— сообщил он и прибавил: — Похоже, нас обворовали.

— Ох,— вырвалось у Клэр.— Что унесли?

— Не знаю. Если б ты оставила спички на плите, я, возможно, уже знал бы...— И пошел вниз на кухню.

— А почему ты думаешь, что они и спички заодно не прихватили? — крикнула вслед ему Клэр; в голосе ее послышались слезы. Тут же в темноте тихонько зашмыгала носом Анна.

— Может, они еще здесь, в доме? — прошептал Том.

— Да нет, наверняка удрали,— сказала Клэр без особой уверенности.

Анна уже ревела во весь голос.

Джон вернулся с подносом, на котором стояли четыре свечи.

— Пошли вниз, на кухню,— позвал он.— Я затопил плиту и открыл духовку, так что скоро нагреется.

И пока его семейство пробиралось в темноте на кухню, он поставил две свечи на столике в прихожей, а с двумя пошел наверх, в гостиную. Их мерцание осветило беспорядок, оставленный ворами, которые зачем-то разбросали по полу содержимое всех шкафов. Джон опустился на колени перед камином и, смяв газету, стал разжигать огонь. В корзине были щепки и дрова (они жили в бездымной зоне, но, как и большинство представителей среднего сословия, Джон игнорировал кое-какие постановления, если они причиняли ему неудобства), и скоро огонь занялся.

Вошла Клэр.

— До чего же противно.

— Что именно?

— Да вот это.— Она указала на фотографии, игральные карты и содержимое своей корзинки для шитья, разбросанное на полу.

— Что делать,— заметил Джон.— В прошлом году лопнула труба.

Клэр бросила на него недоуменный взгляд: уж очень это непохоже на ее мужа — спокойно воспринимать подобные вещи.

— Ты хоть выяснил, что украдено? — спросила она.

— Серебро из кухни,— сказал Джон.

— И чайник для заварки тоже?!

— Да.

— А серебро застраховано?

— Кажется.

— А здесь?

— Безделушки... но, боюсь, наверное, твои драгоценности тоже.

Клэр бессильно опустилась на стул и зарыдала.

— Как несправедливо,— приговаривала она.— Ведь не в том дело, что они дорого стоят...

— Само собой,— бросил Джон, усмотревший в ее слезах лишь препятствие, которое может помешать ему ускользнуть к Пауле.

— Подлые негодяи,— пробормотала Клэр.— Господи, как я их ненавижу!

— А ты попытайся представить себе, насколько все было бы хуже, если бы мы попали в аварию по дороге.

Клэр смахнула слезы с лица.

— Знаю. Вещи — дело наживное, но все равно это омерзительно.— Она встала.— Я знаю, что мы сейчас сделаем,— сказала она с вымученной улыбкой.— Выпьем по чашке хорошего чаю.— Она подошла к мужу, он поцеловал ее, и они вместе пошли на кухню.

В пять включили электричество и центральное отопление. Дети ожили, а когда прибыл полицейский составить акт об ограблении, они хвостом ходили за ним по дому — на почтительном, правда, расстоянии,— притихшие от сознания серьезности и значительности события.

Убедившись, что жена и дети успокоились, Джон поспешил улизнуть в контору. Его ждала записка с просьбой как можно скорее позвонить Гордону Пратту, но сейчас ему было не до политики. Вместо этого он набрал номер Паулы Джеррард.

— Паула? — сказал он.

— Джон?

— Да.

— Вы вернулись — когда?

— Сегодня днем. А вы?

— Я уже целую вечность жду вас. Я не осталась у своих на Новый год.

Его ножом пронзила ревность.

— Где же вы его встречали?

— В Лондоне.

— Что вы делали?

— Ничего.

— И вам не было одиноко?

Воцарилось молчание.

— Я представляла себе, что вы со мной.

У него сел голос, он прокашлялся.

— Могу я сейчас приехать?

— Я бы очень этого хотела.

— У вас ничего не намечено?

— Нет.

— Я буду через полчаса.

Он положил трубку и, прихватив папку с делами на следующий день, собрался идти, но на глаза опять попалась эта записка от Гордона Пратта. Он нехотя посмотрел на черную трубку телефона, которую только что положил на рычаг, и со вздохом снова взял ее.

— Слава богу, вернулся-таки,— сказал Гордон.— Наши в Северном Лондоне зашевелились.

— То есть?

— Они передвинули выборную конференцию на середину февраля, на пятнадцатое.

— Что это меняет?

— Да ничего бы не меняло, но О'Грэйди объявил, что предвидит кризис и хочет остаться.

— Но ему же семьдесят пять!

— Знаю. Но если он будет упорствовать, то навредит нам больше, чем вся эта компания из «Трибюн». Надо встретиться потолковать. Вечером ты свободен?

— Увы, у меня тут есть одно дельце.

— А никак нельзя отменить?

— Никак.

— В таком случае придется встретиться на неделе. А жаль, потому что все остальные готовы собраться сегодня.

— Ничего не могу поделать,— сказал Джон.— У меня ужин с судьей, давняя договоренность.

— О'кей, что делать. А как насчет четверга? В четверг вечером ты свободен?

— Да.

— Отлично. Попытаюсь переиграть все на четверг.

Он положил трубку. И Джон тоже, но тут же снова ее поднял.

— Клэр? — спросил он, когда к телефону подошла жена.— Как там у вас, все в порядке?

— Да,— отвечала она.— Полицейский ушел. Сказал, что утром заедут из уголовного розыска.

— Отлично. Слушай, тут в Хакни разворачиваются события. Выборную конференцию перенесли на пятнадцатое февраля. Возможно, никого и выбирать не придется: старина О'Грэйди надумал остаться на следующий срок.

— Вот зануда! А у него это может получиться?

— Почему бы и нет. Я к тому, что мне придется съездить туда вечером.

— А... Ну, хорошо.

— Справишься одна?

— Да. Только не задерживайся. Мне эта кража немного взвинтила нервы.

— Постараюсь, но ты меня не жди.

— Ты ключ взял?

— Да.

— Ну ладно, пока.

Глава пятая

В тот день Джон ездил в контору на машине и теперь в считанные минуты добрался до Пэрвз-Мьюз. Он остановил «вольво» у дома Паулы и позвонил в дверь. Буквально через секунду Паула открыла и, посторонившись, пропустила его. Он взглянул на нее и прошел на кухню, по дороге сравнивая ее лицо с тем, которое помнил по своим мечтам. Обернувшись, он увидел, что она закрыла дверь и вошла на кухню за ним следом. Они поцеловались; ее запах, ее тело — все было иным по сравнению с тем, чем он наслаждался в воображении последние две недели, но мечты тут же отступили перед явью. Не было другой Паулы, была девушка, чьи сухие губы прижались к его губам и приоткрылись, оставляя привкус помады.

За все это время она ни слова не сказала, но то, как она вцепилась, точно ребенок, в его пальто, выдавало ее чувства. Когда они оторвались друг от друга, он увидел, что она плачет.

— Что такое? — спросил он.

Она улыбнулась, тряхнула головой:

— Ничего. Просто рада вас видеть.

Как всегда, она пошла доставать лед из холодильника, а он взял поднос и двинулся с ним наверх — в большой комнате в камине горел огонь. С глубоким вздохом он опустился на мягкий диван, а она подошла и клубочком свернулась рядом.

— Я очень скучал без вас,— сказал Джон.

Она обхватила его руками.

— А вы без меня скучали? — спросил он.

— Да.

— И дальше что?

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза.

— Знаете,— сказала она,— я по вас так скучала, что просто больше не могла — не могла быть с другими людьми. Я вернулась в Лондон после Дня подарков [1] — мама с папой ужасно на меня рассердились. Они пригласили на Новый год гостей, а я сказала, что обещала пойти на одну вечеринку... — слова так и сыпались.

— И здесь действительно была вечеринка?

Она улыбнулась:

— Небольшая. В самом интимном кругу.

Он отвернулся, чтобы она не видела, как у него от ревности исказилось лицо.

Она тронула его за щеку и заставила повернуться к ней лицом.

— Никого, кроме меня,— сказала она.— Я одна встречала Новый год.

— Если б я знал.

— Что тогда?

Он замешкался:

— Ну, позвонил бы.

— Да,— сказала она тоном, который можно было счесть ироническим, а можно — и нет.— Это было бы очень мило.— Она поднялась и налила в два стакана виски.— А знаете, как странно,— сказала она,— я за всю неделю ни с кем словом не перемолвилась. Вообще ни с кем кроме кассирши в супермаркете.— Она подала Джону его стакан и снова устроилась рядом.— Но я не чувствовала одиночества. Воображала, что вы здесь, со мной. Знаете, мы даже ссорились. Вы оказались неряхой. Разбросали одежду по полу... Кстати, а вы действительно неряха?

— Нет. Я довольно аккуратен.

— Ну, тогда будем ссориться из-за чего-нибудь другого.— Она улыбнулась.

[1] Второй день рождества, 26 декабря, когда принято дарить подарки прислуге, почтальону и т. п.

— И мы что же, только и ссорились?

— Признаюсь, я готовила нам, хотя хвалить себя неудобно, восхитительные ужины. Я, наверное, даже в весе прибавила.— Она опустила взгляд на свою фигуру, которую все равно было не разглядеть в свободном шелковом платье.

— Не знал, что вы умеете готовить.

— Вы обо мне еще многого не знаете,— сказала она.— А не приготовить вам чего-нибудь на ужин? Хотите? Или вам уже надо идти?

— Нет. Приготовьте что-нибудь, если вас не затруднит.

— Ведь дома приятней, чем в ресторане, правда?

— Гораздо приятнее.

Она потянулась к нему и поцеловала в щеку.

— Вы голодны?

— Изрядно.

— Вы сегодня приехали из Йоркшира?

— Да.

— Должно быть, ужасно устали.

— Нет. ничего.

— Хотите принять ванну? Я дам вам полотенце и заодно примерите мой рождественский подарок.

Она вскочила и унеслась, не заметив его растерянности при упоминании о ванне и о рождественском подарке, потому что мыться в ванной было бы странно в чужом доме и при нынешней неопределенности их отношений, а насчет подарка — ему и в голову не пришло покупать подарок Пауле.

Она вернулась со свертком и стояла, глядя, как он его раскрывает, рассматривает синюю шелковую сорочку.

— Вам нравится? — спросила она, ее карие глаза смотрели выжидающе.— Я не знала размера, пришлось взять на глазок. Я правильно выбрала?

— Абсолютно. Прекрасная рубашка.— Он поднялся с дивана и поцеловал ее.— Одно только никуда не годится.

— Что? — Она насторожилась и замерла, как испуганный ребенок.

— У меня нет подарка для вас.

У нее вырвался вздох облегчения, и он уловил аромат духов и губной помады.

— Мужчины не делают подарков. Папа никогда никому не делает — только мне. И потом, у вас забот хватало с детьми и вообще. А у меня только родители и вы.

— А что они вам подарили?

— О, кучу всего. Мама — прелестное колье, золотое, с такими синими камешками. Как они называются?

— Сапфиры.

— Нет. Какой-то ляпис.

— Ляпис-лазурь?

— Правильно.

— А отец?

Она показала на маленькую пастель на стене у камина. Джон подошел посмотреть.

— Это что — Ренуар?

— Да. Думаю, его сын, Жан.— Она направилась к дверям спальни.

— Очень мило со стороны вашего отца.

— Да,— сказала она не слишком уверенно.— Только это скорее перемещение капитала, чем рождественский подарок, ну, чтобы не платить налога на наследство.— И вышла.

Джон постоял, рассматривая картину и размышляя, сколько она

может стоить, потом снова сел на диван. Паула вернулась с махровой простыней.

— Вот,— сказала она.— Где ванная, помните?

— Да.

— Я уже пустила воду, так что поторопитесь, не то польется через край.— Она подошла к винтовой лестнице.— А я займусь ужином.

Джон залпом допил виски и пошел в ванную. От воды поднимался пар и вместе с ним аромат какой-то эссенции. Он закрыл дверь на защелку и принялся раздеваться. Тело жаждало окунуться в ванну; ногам не терпелось погрузиться в горячую душистую воду, однако то, что он стоял голый в ее ванной и она сама пустила ему воду, было актом настолько интимным, что его проняла дрожь от волнения, как будто путь в ее спальню ему наконец открылся.

Он медленно опустился в обжигающую воду, и нервы успокоились, дрожь унялась. Он вздохнул от наслаждения, расслабился и положил голову на край эмалированной ванны. Все вокруг было изысканным и дорогим — в зеленой мыльнице китайского фарфора с сидящей на краю лягушкой лежал большой овальный кусок такого же по цвету мыла. Капельки влаги на кафеле сверкали, точно драгоценные камни. И вода, в которой он нежился, чуть зеленоватая от эссенции, была прозрачная, горячая и чистая. Как давно не принимал он ванну без вечных волос и хлопьев серой пены на мутной воде!

Джон вымылся и полежал в ванне. Он внимательно оглядел свое тело, размышляя, каким оно покажется Пауле, если они все же станут любовниками. Он похудел с лета, регулярно делал зарядку, так что грудь была мускулистой, живот подтянулся. Вот только едва ли Паула воспламенится, глядя на его тощие и бледные ноги. Чтобы больше не думать о своем возрасте и ее юности, он вылез из воды и завернулся в белую купальную простыню, точно в римскую тогу. Он приоткрыл дверь, чтобы выпустить пар из ванной, и услышал звуки музыки, доносившиеся из гостиной. Выйдя в коридорчик, он увидел на диване у камина Паулу.

— Поторапливайтесь,— сказала она.— Вам еще открывать шампанское.

Он двинулся в своей тоге.

— Я готов.

Она показала на бутылку шампанского на подносе:

— Отпразднуем вашу победу в суде.

— Ах да,— сказал Джон.— Я и забыл.

— Надо было вам и там выступать в такой одежде. Прямо Цицерон.

Джон снял фольгу с пробки, отвинтил проволоку.

— Не уверен, что это пришлось бы судье по душе.— Пробка хлопнула, и он наполнил бокалы.— Итак, за...— Он помедлил.

— За что? — спросила она.

— За девушку, которая... прелестна душой и телом.

— Это вы обо мне?

— Именно.

— Тогда я пас — не могу же я пить за себя.

Джон поднял бокал и пригубил шипучее вино.

— А я тогда...— Она рассмеялась.— Ну, за будущего премьер-министра!..

— Это вы обо мне?

— А почему бы и нет?

— Тогда берите выше, где же ваше честолюбие?

— Прекрасно. За первого президента Европы.— Она отпила из бокала.

— А вместе мы не можем выпить? — спросил Джон.

— Можем. За любовь и политику.

Они оба выпили до дна, и Джон пошел в ванную надеть синюю шелковую рубашку.

Оставив по-домашнему открытым ворот рубашки, он сидел напротив Паулы и убеждался, что она действительно отлично готовит: бараньи отбивные, картофель и салат были превосходны. Паштет, поданный перед барашком, был из «Харродза» [1], а бордо, за которое они принялись после шампанского, из подвалов «Шато-Латур».

— Вы всегда так живете? — спросил ее Джон.

— Как — так?

Он обвел рукой стол:

— Не всегда, нет. Но я считаю, не следует отказывать себе в том, что можешь себе позволить.

— Я тоже так считаю.— Он взял полную ложку шоколадного мусса.

— Люди думают, если ты придерживаешься левых взглядов, значит, жаждешь довести жизненный уровень до самой низкой черты, а не поднять его до самой высокой.

— А это возможно?

— Почему бы и нет. Некогда автомобили считались предметом роскоши для супербогачей. Теперь они есть у каждого.

— И вкус pâté de foie gras[2] не изменится, если его будут запросто подавать на завтрак каждому рабочему?

Она пригубила вино.

— Не понимаю, почему он должен измениться.

— Если б пиво было по цене вдвое дороже вина, вы пили бы, наверное, простое «светлое», а не «Шато-Латур».

— Терпеть не могу пива.

Джон постучал себя по голове:

— Это вот здесь запрограммировано. К примеру, дамы прежде полагали, что загар непривлекателен. Барышни прятались под зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Почему? Потому, что смуглая кожа была у простолюдинов, работавших под солнцем. Она выдавала крестьянское происхождение. Только богатые были розово-белыми. А теперь в нашем урбанистическом обществе все наоборот: загар выдает принадлежность к праздному классу, к тем, кто зимой катается на лыжах в горах, а лето проводит на взморье, тогда как бледная кожа означает, что вы работаете в учреждении или на фабрике, а отпуск проводите в Блэкпуле или в Торки.

— Если так на это смотреть,— сказала Паула,— то наш социализм — химера.

— Почему?

— Потому что это означает: люди счастливы не тогда, когда все равны, а только когда у них чего-то больше, чем у других.

— Конечно, социализм — химера, если полагать, будто государственная собственность на все и вся положит конец человеческой неудовлетворенности. Однако преувеличенные надежды некоторых социалистов не должны дискредитировать разумных реформ.— Он произнес это медленно, сопровождая свою речь жестами, как будто выступал перед присяжными или на митинге.— Если не удастся создать рай земной в Рочдейле или Брэдфорде, это еще вовсе не означает, что не надо пытаться улучшать культурные и материальные условия жизни бедняков. Оглянитесь наконец и сравните сегодняшнюю жизнь большинства из нас с тем, что было сто или двести лет назад. Нет рабства, нет детского труда, приемлемые условия работы, бесплатное здравоохранение. Никто не должен преуменьшать этих достижений...

---

[1] Один из самых дорогих универсальных магазинов Лондона.

[2] Паштет из гусиной печенки *(франц.)*.

Паула зевнула.

— Я вам не говорил,— сказал Джон,— что нынешний член парламента от Хакни хочет снова баллотироваться?

Паула нахмурилась:

— Нет, не говорили. А что, возникает проблема?

— Просто это затруднит дело.

— В таком случае надо ему помешать.

— Мы собираемся в четверг обсудить, что можно сделать.

Она поднялась поставить воду для кофе.

— Я, кажется, сумею помочь,— сказала она с другого конца кухни.

— Как?

Она ответила не сразу, делая вид, будто никак не может закрыть кран.

— У меня есть кое-какие связи,— сказала она.

— В лейбористской партии?

Она повернулась и как-то странно посмотрела на него.

— Нет, не в лейбористской партии, а среди самых что ни на есть пролетариев.

— Случайно не друзья Терри Пайка?

— Скорее знакомые.— Она поставила чайник на огонь.— Но это, как он выражается, «личности». Они пользуются немалым влиянием.

— Я предпочел бы обойтись без их помощи.

— Почему?

— Потому что такие люди действуют по принципу «услуга за услугу».

— Только не тогда, когда им платят. А потом, они вам и так обязаны. Терри по крайней мере.

— Я бы предпочел сказать, что мы сочлись.

Паула вернулась к столу с тенью досады на лице, словно только что обнаружила, что барашек пережарен.

— Хорошо,— сказала она,— я ведь просто предложила. Но знаете, вы недалеко уйдете в политике, если будете так привередничать.

— Что значит — привередничать?

— Будете чересчур джентльменом. Вести игру по правилам.

— По крайней мере не кончу за решеткой.

— Ни Черчилль, ни Ллойд Джордж не кончили, а когда надо было, щепетильностью не отличались. Наша с вами беда в том, что видеть грубую правду жизни нам не позволяет воспитание. А вера в честную игру — это непозволительная роскошь, вроде яхты или «роллс-ройса».

— А как тогда понимать то, что называется «цивилизацией»?

Лицо у нее вдруг приняло жесткое выражение, щеки запылали.

— Цивилизация — это миф,— сказала она.— Во всяком случае, этому меня научила работа в Уондзуорте. Жизнь — это борьба за существование не только для зверей, но и для людей...

Джон отметил, что горячность делала ее еще привлекательней.

— ...и выживают наиболее приспособленные? — улыбнулся он.

— Да.— Ее разбирала досада оттого, что Джона, видимо, забавляли ее слова.

Закипел чайник, и она пошла к плите, чтобы приготовить кофе.

— Я знаю,— язвительно заметила она,— если человек богат, он, вполне естественно, считает, что таков порядок вещей, и его даже слегка раздражает, когда бедные этого не понимают. У моего папеньки именно такая точка зрения. Но если посмотреть на общество глазами Терри, то видишь, насколько все организовано, чтобы защитить интересы собственников от тех, у кого собственности нет.

— Пусть законы цивилизации зиждятся на несправедливости,— посерьезнел Джон.— И возможно, они — роскошь, но все-таки они предпочтительнее законов джунглей.

— Даже с этим я не могу согласиться,— сказала Паула, ставя кофе на поднос.— Идемте наверх! — внезапно объявила она и решительно пошла к винтовой лестнице.

— Почему не можете? — осведомился Джон, поднимаясь за ней следом.

— То, что вы зовете цивилизацией, ваша хорошо отлаженная система государственных субсидий делает людей вялыми и сонными, как в Швейцарии.— Она добралась до верха винтовой лестницы и прошла к камину.— Не станете же вы утверждать, что в вашем законопослушном обществе процветает искусство. В Италии эпохи Возрождения и в шекспировской Англии люди вовсю убивали друг друга.— Она села на диван и налила две чашки черного кофе.

— Вы оптимистка,— сказал Джон, садясь рядом,— если думаете, что Терри Пайк напишет «Гамлета».

— «Гамлета» ему не написать,— отвечала Паула,— потому что культура отравлена для него своей связью со средним сословием; что же до человеческих качеств Гамлета, то у Терри их определенно больше, чем у молодых людей, которых вы видите на званых обедах или на балах дебютанток. И если б он узнал, что дядя убил его отца, он не ограничился бы заявлением в местный полицейский участок.

— И вы одобряете это?

Она помедлила.

— Да, я восхищаюсь тем, как они решают свои дела и не бегут плакаться инспекторам соцобеспечения или советникам по матримониальным вопросам.

— То есть решают их, вы хотите сказать, с помощью дробовика?

Она засмеялась:

— А вы за то, чтобы они сражались на шпагах?

— Я за то, чтобы они вообще не прибегали к насилию.

— Это вы только так говорите. Мы все так говорим, хотя общепризнанные исторические и литературные герои больше напоминают лондонских гангстеров, чем адвокатов и бизнесменов. Вспомните осаду Трои. Парис похитил чужую жену, тогда Менелай собрал друзей и отправился забирать ее силой. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон — все они прибегали к насилию ради достижения своих целей, и мы восхищаемся ими. Отелло задушил Дездемону, заподозрив ее в неверности, и трагедия не в том, что он ее задушил, а в том, что она была невинна. Сила, кровь, любовь, дружба — все перемешано, и даже сейчас в нашем аккуратненьком бюрократическом раю полнокровной жизнью живут те, кто не боится опасности...

— Как Терри Пайк?

Она вспыхнула:

— Да. Как Терри Пайк, и Джимми, и некоторые их друзья. Они презирают благополучный мир, где ежегодно повышают жалованье и выплачивают пенсии из фонда отчислений. Они не хотят быть прирученными и выхолощенными законом. Дружба, честь, верность, любовь для них не просто слова, как для нас,— это часто вопрос жизни и смерти. Они живут страстями, известными нам лишь по книгам или кино; пусть эти люди оказываются вне общества и вне закона, полжизни проводят в тюрьме, но по крайней мере другую половину они живут настоящей жизнью, тогда как мы видим ее только по телевидению.

Озадаченный этим потоком слов, Джон только ухмыльнулся:

— Послушать вас, они просто неотразимы.

Паула, все еще разгоряченная полемикой, посмотрела ему в глаза:

— Вы любите меня?

— Да,— сказал он.— Люблю.

— Действительно любите?

— Да. Действительно люблю.

Она вздохнула и отвела глаза.

— А вы сомневаетесь? — спросил он.

— Нет, но было бы проще, если б не любили,— сказала она.

— Понимаю.

— И мне было бы легче, если б я не любила вас.

— Так вы, значит, меня любите?

Она взглянула на него:

— Да.

Он улыбнулся и взял в ладони ее руку:

— Не делайте из этого трагедии.

— Но это именно трагично по многим причинам, потому что я люблю вас и хочу быть вашей, а вы женаты...

— Теперь это уже не имеет никакого значения,— сказал он.

Она помедлила, словно осмысливая его слова, потом покачала головой:

— Не хочу разрушать чужую семью.

— Вы тут ни при чем. Все, что можно разрушить, уже разрушено.

— Вы уверены? Дайте мне слово?

— Да.

— А если с моей стороны тоже что-то было...— Она отвернулась, точно боялась, что он все прочтет в ее глазах.— Причина, по которой я не была близка с вами до сих пор... я могла бы это скрыть от вас, если б вас не любила, теперь же не смогу...

— Вы должны мне все рассказать.

— Но вы отвернетесь от меня.

— Не очень-то вы мне верите.

Она повернулась к нему, схватила за руку и лихорадочно прошептала:

— Я лгала вам.

— Когда?

— Я спала с ним.

— С кем? С Терри Пайком?

— Да.

Джон высвободил руку и отвел от Паулы взгляд.

— Это случилось после того коктейля, который я устроила в его честь. Помните, я вам рассказывала. Он был так этим унижен. И мне пришлось... чтобы доказать... сама не знаю... доказать, что я понимаю его.

— Только тогда, один раз? — спросил Джон холодным, бесстрастным тоном стряпчего, ведущего перекрестный допрос.

— Нет,— сказала она уныло.— Чего зря притворяться. У нас был роман.

— И долго?

— Я не любила его,— сказала она.

— И долго? — повторил он.

— До суда. После суда мы приехали сюда. Это была последняя наша встреча. Я должна была оставаться с ним до тех пор. Но теперь все кончено. Он знает. Больше мы не виделись.

— Но до рождества, до суда, когда мы уже встречались, вы продолжали видеться и с ним.

— Я не любила его. Я вас люблю. Но я была ему нужна. Я просто не могла взять и отшвырнуть его. Но быть близкой с вами и с ним я тоже не могла. Я думала об этом и поняла, что не могу, хотя дороги мне были вы.

— Понятно,— с сарказмом протянул Джон.— Я вам безмерно благодарен за вашу откровенность...

Она ответила не сразу. Тихо, удрученно сказала:

— Я знала, что это оттолкнет вас от меня, но просто не могла продолжать видеться с вами и молчать.

Они сидели рядом, как на парковой скамейке сидят совсем чужие люди, не глядя друг на друга, выжидая, пока уляжется чувство неловкости от урчания в животе.

— В конце-то концов,— произнес наконец Джон,— у меня ведь была Клэр... я хочу сказать, у нас обоих, когда мы встретились... были прежние обязательства.

Она повернулась к нему, судорожно вцепилась рукой в обивку дивана.

— Я никогда больше не увижусь с Терри,— сказала она.— У меня нет никого, кроме вас, и если вы не хотите меня, я буду одна.

— Хочу,— прошептал он.

Она вдохнула воздух полной грудью.

— Ну так вот я.

Он поцеловал ее — она прильнула к нему. Так они первый раз отдались своей любви.

Глава шестая

В последующие недели Джон редко возвращался домой до полуночи, и Клэр, казалось, смирилась с тем, что должна жертвовать обществом мужа ради его политической карьеры. Время от времени она предлагала поехать с ним в Хакни-и-Харингей и всякий раз с видимым облегчением встречала его отказ, а он говорил, что предпочитает держать ее в резерве на время самих выборов.

Поскольку каждый второй вечер, проводимый в Северном Лондоне, он бывал у Паулы, очень скоро у него почти вошло в привычку из конторы ехать прямо к ней, принимать ванну под неусыпным оком зеленой лягушки на мыльнице, переодеваться в джинсы, шелковую рубашку и пуловер; вместе обедать у Паулы или где-нибудь в другом месте — в зависимости от ее настроения, возвращаться, ложиться в постель, а около полуночи, снова надев белую бумажную сорочку и костюм, выходить на булыжную мостовую, брать такси и ехать домой.

Эта двойная жизнь не давала осечек. Политика была его алиби для семьи, а семья — для его сторонников в Хакни. Один Гордон Пратт, кажется, подозревал, что у Джона с Паулой что-то есть, ибо, заводя разговор на политические темы (а поговорить было о чем, поскольку шахтеры проголосовали за всеобщую забастовку), ловил на лице приятеля какую-то отсутствующую полублаженную улыбку.

— Ты будто в облаках витаешь,— заметил Гордон как-то вечером, когда они сидели в пивной.— Я толкую, что Хит пытается стать у нас новым Франко и установить корпоративное государство, а ты только улыбаешься.

Джон тряхнул головой, словно это могло прогнать образ любовницы, вечно теперь стоявший перед глазами.

— Извини,— сказал он.

— Ты что, потерял интерес к политике?

— Нет.

— Нервы сдают?

— Нет.

— Ну так вот, дела складываются преотвратительно.

— Знаю. Не волнуйся. Я тебя не брошу.

Гордон задумчиво помолчал.

— Какие-нибудь сложности с Клэр?

— Есть немного. Она считает все это пустой тратой времени.

Гордон подождал продолжения, но видя, что тот молчит, сказал:

— Ну ладно, не буду совать нос в чужие дела.— И вернулся к разговору о членах Главного административного комитета, которые колебались в выборе между Джоном и О'Грэйди.— Нелепо, что они до сих пор не могут решиться: ведь твои противники — троцкист-пакистанец да восьмидесятилетний фашист. Но некоторые относятся

к тебе с недоверием. Слишком складно говоришь. Оксфорд, частная школа. Чересчур высокие доходы и вообще без году неделю занимаешься политикой.

— Их нельзя за это упрекать,— сказал Джон.

— Упрекать-то нельзя,— сказал Гордон,— но им следовало бы понять, что они выбирают члена парламента, а не премию присуждают...— Он продолжал говорить со своим неизменным шотландским акцентом, а Джон вернулся к мысли о Пауле и на лице его снова застыла блаженная улыбка.

Ее тело, такое красивое в одежде, было менее привлекательным в постели. Свежая, налитая, цветущая красота молодости, некогда воспетая Ренуаром, вышла из моды, однако тощая долговязая девица вроде Паулы, мечта современных модельеров, без одежд явно проигрывала: выпирающий таз, обтянутые кожей ребра, недоразвитые, непропорционально маленькие груди.

Похоже, ей нравилась нынешняя свобода нравов — она не стеснялась ходить перед Джоном голой,— но в постели она просто терпела, пока все кончится.

Джон это чувствовал, но не огорчался. Хотя прежде он был недоволен женой, ее пассивностью и безразличием в постели и рисовал себе куда более бурные восторги — сейчас он наслаждался самим фактом обладания Паулой. Так, pâté de foie gras и шампанское тоже не очень-то нравились ему. Он просто наслаждался обладанием такой редкостной и дорогой женщиной, как Паула Джеррард: у Джона, как и у большинства мужчин, сексуальное влечение возникало под влиянием психологического побуждения, и поэтому скорее по велению разума, нежели чресел он утверждал свою власть над этой скелетоподобной наследницей звучного имени и огромного состояния.

Как-то вечером — это было в ресторане, когда они сидели за столиком при свечах,— Паула пожаловалась, что давно не видела его при свете дня. Он предложил завтра же пообедать где-нибудь вместе, но она спросила, не могли ли бы они встретиться в субботу утром.

Джон помрачнел:

— По субботам я обычно бываю занят с детьми...

— Вот и привези их. Пора мне их повидать.

Джон продолжал сидеть все с тем же мрачным видом.

— Клэр что, тоже бывает с вами? — спросила Паула.

— Не в этом дело. Она будет рада отдохнуть от них. Но если я привезу их сюда...

— Зачем же. Мало ли в жизни случайностей. Мы можем встретиться где угодно. В Найтсбридже, скажем, и потом где-нибудь вместе выпьем кофе.

В субботу утром Джон предложил свозить детей в город, чтобы Клэр могла спокойно походить по магазинам. Его предложение было с восторгом встречено всеми тремя членами семьи; в десять они отбыли и встретились с Паулой, как было условлено, возле универмага «Харродз». Джон познакомил Паулу с детьми, она крепко пожала им руки и одарила сияющей улыбкой, дотоле незнакомой Джону,— должно быть, это у нее от матери-американки, решил он.

Они вошли в огромный магазин и сели за столик в кафетерии. Дети потягивали через соломинку кока-колу, а взрослые пили кофе. Джон попытался было завести с Паулой окольный разговор, но она едва ему отвечала, занятая болтовней с детьми об их школьных делах, рождественских подарках, при этом она продемонстрировала (Тому) незаурядные познания в футболе и (Анне) основательное знакомство с современными популярными песнями.

Дети приняли ее сразу. Они всегда радовались поездке в Уэст-Энд, а эта элегантная женщина, которая была к ним так добра, казалась

просто сказочной феей, вышедшей из витрины, где нарядные манекены демонстрировали красивые дамские наряды. Такой же она показалась и Джону, а когда он расплатился и они вышли из кафетерия, Паула, как он и опасался, повела Тома и Анну в отдел игрушек. Они шли среди заставленных всякой всячиной полок, и он никак не мог решить, как намекнуть детям не говорить маме, что какая-то незнакомая дама купила им подарки, иначе придется объяснять Клэр, чего ради Пауле пришло в голову это делать, но тут Паула сама подсказала выход из положения. Она нагнулась к детям, обняла их за плечи и сказала:

— Теперь выбирайте, что вам нравится, а я попрошу вашего папу купить вам это.

Том и Анна пошли искать и выбирать, а Паула осталась с Джоном.

— Ты ведь не возражаешь? — спросила она.

— Они только что получили рождественские подарки, а сейчас это уже баловство.

— Я хочу им понравиться.

— Ты им и так понравилась.

— Просто ты жадничаешь,— сказала она и улыбнулась.

— Не в этом дело,— сказал он.— Как раз лучше заплатить мне...

— Я тоже так думаю,— сказала она,— но деньги я тебе верну.

— Совсем не обязательно.

— Верну, только не сию минуту. У меня нет с собой.

— Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала.— Он казался раздраженным. Паула собиралась что-то еще сказать, но тут подошла Анна с куклой, умевшей плакать и мочить пеленки, а за нею Том с новым вагончиком для своей электрической железной дороги.

— Что это за «прекрасная дама», которую вы встретили в универмаге? — поинтересовалась Клэр, когда они переодевались в субботу вечером, собираясь ехать на ужин.

— Паула Джеррард.

— Мне б хотелось как-нибудь познакомиться с ней,— сказала она.— По-моему, ты собирался пригласить ее к нам на ужин.

— Ты же сама сказала, что она будет раздражать наших друзей.

— А детям она понравилась, видимо, не так уж она и плоха.

— Значит, им ты доверяешь больше?

Она смущенно улыбнулась и скинула халат, в котором вышла из ванной, где мыла голову. Увидев ее нагую, Джон был потрясен: она же куда лучше Паулы Джеррард.

— Я просто влюбилась в твоих детей,— сказала Паула, лежа во вторник вечером рядом с Джоном.

— Ты им тоже понравилась.

— Мне было жаль их.

— Почему?

— Это так ужасно для детей, когда рушится семья.

Джон замер, точно краешком глаза увидел в углу над кроватью ядовитого паука.

— А они выглядели такими спокойными и жизнерадостными,— сказала она.

— Они такие и есть,— сказал он.

— Наверное, правильнее будет, если они постепенно привыкнут ко мне, мы подружимся, и они не будут видеть во мне соперницу их матери?

Джон сел в постели.

— Надеюсь, каждый раз, когда ты захочешь увидеть детей, их не придется водить в отдел игрушек «Харродза»?

— Нет,— сказала Паула очень серьезно.— Я не хочу покупать их любовь. Но славно было бы нам вчетвером отправиться куда-нибудь на уик-энд... в Приннет, например?

— Что подумают твои родители?

— Когда я привезу в дом женатого мужчину с двумя детьми?— Она засмеялась.— Год назад пришли бы в ужас, а сейчас, честно говоря, они вздохнули бы с облегчением.

— Почему?

— Они предпочли бы видеть меня второй женой известного адвоката, чем единственной супругой какого-то жалкого воришки.

— Они что, знают о Терри?

— Наслышаны.

— Могу себе представить, как они встревожены.

Глава седьмая

Вот уже больше двух месяцев Джону не давал покоя Иван Ильич. Политика, казалось, излечила его от приступов отчаяния и неуверенности в себе, накатывавших на него летом, но в тот вечер, когда он тихонько залег в постель, стараясь не разбудить Клэр, он обнаружил, что не может уснуть, и лежал без сна, терзаемый непонятной тревогой. Паула, Клэр и дети то появлялись, то исчезали перед его мысленным взором, произносили какие-то фразы, которые звучали порой осмысленно, а порою — нет, так что он перестал уже понимать, бодрствует он или спит и все это ему снится. Видения из недавнего прошлого высвечивались и гасли точно слайды, которые показывают в темной комнате: какое-то лихорадочное желание Паулы подружиться с его детьми и тут же лицо Клэр, говорящей, что надо бы пригласить ее на ужин; затем снова Паула, она спрашивает его: «Ты меня любишь? Правда, любишь?» И откуда ни возьмись Гордон Пратт, говорящий: «Ты что, потерял интерес? Нервы сдали?»

Он засыпал и снова просыпался, уже не понимая, где он и кто эта женщина, лежащая рядом. Когда до его сознания дошло, что это — Клэр, ему захотелось обнять ее и поплакать, уткнувшись лицом ей в бок, но как он мог себе это позволить — он, взрослый человек? И что он сказал бы, если б она проснулась? И почему она должна утешать его?

Он повернулся на спину и уставился в темноту широко открытыми глазами, вслушиваясь в тиканье часов. Снова и снова пытался понять, что же это, отчего он так несчастен. И вдруг у него перехватило дыхание: часы продолжали тикать, а он вспомнил, что Паула сказала в тот день о детях — как они будут страдать, если разрушится семья. Он вспомнил теперь все, до последнего слова, и вздрогнул, когда осознал, что она под этим подразумевала: она не сомневалась — он оставит Клэр и женится на ней.

Он часто и тяжело задышал, словно ему не хватало кислорода, чтобы понять, как Паула могла прийти к такому выводу, и сообразить, как же ему теперь выпутываться, этакое досадное недоразумение. Разве он говорил Пауле о разводе или о том, что собирается разъехаться с женой? Он не мог этого сказать, потому что ничего подобного ему и в голову не приходило. Он мог фантазировать о том, что было бы, если б Клэр вдруг умерла, но оставить ее одну, забрав детей, или оставить с детьми? О чем он говорил в тот вечер, когда вернулся в Лондон? Может, в порыве чувств брякнул, что оставляет Клэр? Он старался припомнить и не мог. Она сказала — это он точно помнил,— что не собирается разрушать его семью, а он ответил... Нет, не помнил. Что любовь к ней не разрушит его семью и их связь не влияет на его отношение к жене: он больше не испытывает к Клэр ни романтической, ни какой-либо иной любви. Она его жена. Он не собирался ни отрицать этого, ни утверждать, будто собирается ее оставить.

Выяснив причину своей тревоги, он немного успокоился и снова повернулся на бок. Когда они завтра встретятся, он объяснит Пауле, что хоть и любит ее и всегда будет любить, но никогда не бросит Клэр. С этой мыслью он глубоко вздохнул, как ребенок, только что горько плакавший, и уснул.

Решения, принятые ночью, утром не всегда легко выполнить. Открыв глаза, Джон тотчас вспомнил, что ему предстоит сегодня вечером, а глядя за завтраком на двух своих детей, весело набивавших рот овсянкой, точь-в-точь как в телевизионной рекламе, он только еще больше утвердился в своей решимости объявить Пауле, что никогда не оставит семью. Он видел все преимущества, которые обрел бы в качестве супруга Паулы Джеррард, и тем не менее был больше прежнего убежден, что не сможет заставить себя сказать Тому и Анне, что они с Клэр «будут теперь жить в разных домах» или какие там еще эвфемизмы употребляют, чтобы не произносить слова «развод»; ему не придется видеть, как они завтракают, он будет встречаться с ними лишь по субботам да во время школьных каникул и праздников. Будь Паула самой Еленой Прекрасной, он не пойдет на такое. Вспомнилась фраза из Библии, вычитанная еще в детстве: лучше повесить мельничный жернов на шею и броситься в море, нежели согрешить против одного из малых сих.

Клэр вошла на кухню, протирая глаза спросонья и чувствуя себя неловко оттого, что она все еще в халате. Лил дождь, поэтому она велела детям надеть резиновые сапоги и каждому дала полиэтиленовую сумку с туфлями — переобуться в школе. Проводив детей, она налила себе кофе и села за стол напротив Джона.

— Ты весь день занят? — спросила она.

— Думаю закончить одно дело в Олд-Бейли.

— А вечером будешь дома?

— Боюсь, что нет. Из суда придется поехать прямо в Хакни.

Она вздохнула.

— Я тебя почти не вижу.

Он показал глазами на газету.

— Скоро так или иначе все кончится.

— Надеюсь, тебя не выберут,— тихо произнесла она, словно упрямый ребенок, уткнув нос в чашку.

— Я тоже,— сказал Джон, глядя в газету.— Только теперь поздно давать задний ход. Придется терпеть до конца.

Глава восьмая

К этому времени Джон насмотрелся на Паулу в самом разном настроении. Случалось, она безо всякой видимой причины встречала его мрачная и молчаливая, и требовалось немало выдержки выносить ее такую целых три или четыре часа; а то вдруг она была так весела и жизнерадостна, что он, подобно Золушке, страшился наступления полуночи. В этой смене настроений и заключалось очарование Паулы: иногда она была «обыкновенной гадюкой», по выражению Мэри Масколл, и тогда на него веяло ледяным холодом йоркширского ветра, но тем приятнее было, когда тучи рассеивались и она сияла безоблачной улыбкой.

Ее непредсказуемость немного пугала Джона, и он обычно предоставлял ей возможность решать за них обоих, хотя был на двенадцать лет старше. Если вставал вопрос, где ужинать, дома или в ресторане, то Джон, конечно, предпочитал есть дома, так как рестораны, которые по кулинарии и выдержанности вин соответствовали ее привычкам, вводили его в непомерные расходы; хотя их отношения позволяли ему пользоваться ее зубной щеткой и болтать с Паулой, пока та

сидела в туалете, однако признаться ей, что одна мысль о счете не только отбивает ему аппетит, но и портит удовольствие от их встречи, он не мог.

Единственным преимуществом ресторана было то, что это поднимало настроение Паулы. Она не была гурманом: выбирала что-то из меню и потом лишь ковыряла вилкой дорогое блюдо, беззаботно болтая о том о сем. Ужины дома таили вечную угрозу: у Паулы могло что-то не получиться — мясо пережарится или свернется соус,— тогда у нее портилось настроение. И бесполезно было убеждать, что мясо он любит хорошо прожаренное; а прочие тонкости ему недоступны,— она только больше мрачнела; если ты безразличен к ее неудачам, значит, безразличен и к успехам.

Поэтому, когда он вошел к ней в тот вечер (теперь у него был собственный ключ) и увидел ее стоящей у плиты, он, с одной стороны, обрадовался, что они не идут в ресторан, а с другой — встревожился, как бы какая-нибудь кулинарная промашка не затруднила предстоящий разговор.

Паула обернулась на стук двери, улыбнулась и пошла ему навстречу, облизывая кончики пальцев.

— Ну и как? — спросила она, имея в виду дело, которое он сегодня вел в Олд-Бейли. — Одолел?

— Да. Еле-еле.

— Поздравляю.— Она поцеловала его и вернулась к плите.— Не задерживайся в ванной,— сказала она.— Я делаю кнели, они хороши только с плиты.

Он лежал, уставившись на зеленую лягушку, до подбородка погрузившись в горячую воду, и размышлял, какую избрать тактику: заговорить ли о Клэр до ужина, после ужина или потом в постели. Он решил не уходить сегодня, не объявив о своих намерениях; в то же время он твердо решил не порывать с Паулой, однако трудно провести разговор так, чтобы не создалось впечатления, будто он отказывается от Паулы и предпочитает ей Клэр.

Он вылез из ванны, вытерся белой простыней, переоделся как обычно и вышел в большую комнату. Окликнул Паулу и, услышав ее шаги на лестнице, решил, что лучше выложить все сразу, чем мучиться целый вечер. Он подал ей аперитив, и они стали, держась за руки, спиной к камину.

— Я сегодня обедала с отцом,— сказала она.— Он говорит, Хит собирается назначить выборы.

— Когда?

— Завтра объявит.

— Значит, голосование будет в феврале?

— Двадцать восьмого.

— Отцу об этом сказали?

— Не официально, но у него есть знакомый в кабинете министров.

Джон поджал губы.

— Я смотрю, тебя это не очень волнует,— сказала Паула.

— Я...— начал он и запнулся, полный самых противоречивых чувств.

— Как это может сказаться на делах в Хакни?

— Понятия не имею. Может упрочить позиции О'Грэйди, если он решит остаться еще на один срок.

— Поэтому ты такой озабоченный?

— Нисколько. Просто я предпочел бы баллотироваться не в такой накаленной обстановке. Единственным спорным вопросом будет сила тред-юнионов, но это феномен социальный, а не политический.— Он тяжело вздохнул и залпом выпил джин.

Паула взяла у него бокал и подошла к столику с бутылками.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, и все равно меня эта новость взволновала,— сказала она.— Я уверена, что твою кандидатуру

выдвинут, и уверена, что ты будешь избран. Не важно, победят лейбористы или нет, потому что можно сделать себе имя и в оппозиции... — Она вернулась к нему, подала бокал.

— Вероятно, ты права,— сказал он.

Она обняла его.

— Так в чем же дело? Ты сегодня мрачнее тучи.

— Не спал ночь. Глаз не сомкнул — заботы, заботы...

— Какие?

— Ну, я все думаю — а создан ли я вообще для политики...

— Если не ты,— сказала Паула,— то уж не знаю, кто тогда и создан.

— ...или что будет с нами?

— А что? Будем стариться, как все на свете мужья с женами!— Отвечала она быстро и не задумываясь, словно это был риторический вопрос.

— А Клэр?

— Снова выйдет замуж.

— Она не сможет.

— Почему это?

— Она католичка.

— Господи, да кто же на это обращает теперь внимание!

— Клэр обращает.

Они помолчали — молчание наступило внезапно, как холод или темнота.

— Ты хочешь бросить меня? — тихо проговорила Паула.

— Боже сохрани.— Он повернулся, поцеловал ее в губы и сжал в объятиях так, что она ойкнула. Не выпуская ее, он заговорил: — В моем возрасте понимаешь, что того что было, не предашь... Я люблю тебя и буду любить вечно. Не будь я женат, я просил бы тебя стать моей женой, и если б ты отказала, я бы умер от отчаяния. Даже будучи женат на другой, я чувствую, что создан для тебя, а ты — для меня и нам предопределено было встретиться, мы обречены любить друг друга. Но она существует, она живет в моем доме в Холланд-Парке, купает моих детей, гладит мне сорочки и потом смотрит телевизор в одиночестве. Если я ее оставлю, она вряд ли найдет себе другого. Ее считают непривлекательной, а порой она отпугивает своей холодностью. Я — все, что у нее есть. Она вышла за меня в двадцать лет. Перешла из одной семьи в другую. Если я уйду от нее, разведусь и женюсь на тебе, она либо снова выйдет замуж, что по ее религии — грех, смертный грех, либо я обреку ее на преждевременное вдовство — одинокая дама, которую приглашают на ужин, чтобы составить кому-нибудь пару; легкая пожива для мужа приятельницы, который напьется и снизойдет до нее. И даже если бы я мог так с ней поступить,— а ведь единственная ее вина в том, что она мне наскучила,— я не могу разрушать семью из-за Тома и Анны. Ты же сама сказала: страдают дети. Я насмотрелся на детей разведенных родителей: запихнут в школу-интернат, а по праздникам подбрасывают друг другу, как кошек бездомных. Если б я пошел на такое ради тебя, я, в конце концов, тебя же и возненавидел бы...

Она лихорадочно вцепилась в него:

— Нет, только не это. Ты не должен меня ненавидеть.

— Верю, что этого не случится.

— И ты женился бы на мне, правда, если б не было Клэр? Никого другого у тебя нет, верно? Я не просто одно из твоих увлечений?

Он улыбнулся.

— Другая? Кто?

— Мало ли — у тебя есть секретарша в конторе, а в Хакни — девушка, ведущая партийные дела...

— Нет. Никого у меня больше нет. И не будет. Если б Клэр умер-

ла или ушла к другому, я женился бы на тебе и никогда не взглянул бы на другую женщину. Но она жива и не уйдет.

— Да. — Она оторвалась от него и опустилась на диван. Сидела, расставив ноги, упершись в них локтями и глядя в пол, словно приходя в себя после обморока.— Понимаешь,— произнесла она,— все, что ты сказал о ней... о разведенной женщине... ты мог бы сказать и обо мне. Легкая пожива... Я к тому, что как бы сильно ты ни любил меня, ты просто не сможешь разорваться между двумя женщинами, ведь так?

— Если я пройду в парламент,— сказал Джон,— с этим будет проще. В любом случае вечерами дома сидеть я не буду.

— Да, конечно. Я могла бы купить дом на Лорд-Норт-стрит или на Смит-сквер, где слышен звонок в парламенте[1]. И можно иногда удирать за границу? Хорошо бы поехать вместе отдохнуть...

Она подняла на него грустные глаза.

— Конечно.— Он опустился перед ней на колени и взял ее руки в свои. Руки у нее были ледяные.

— А лет через двадцать люди будут показывать на меня и говорить: «Это Паула Джеррард. Любовница министра иностранных дел. Давний роман».— Уголки глаз у нее блестели, как будто из них готовы были пролиться слезы, но в то же время в выражении глаз появилось что-то озорное, а в голосе вдруг зазвучали жесткие нотки:— Я не буду уникумом, верно? Ведь по крайней мере у половины лейбористских лидеров есть любовницы, с успехом управляющие их делами. Уверена, что и тори не исключение, или этим отличаются только сынки провинциальных фрондеров из лейбористов? Во всяком случае, ты будешь следовать доброй старой традиции.

— Не понимаю!

— Разве твой отец не был провинциальным фрондером?

— Да. Кажется, да.

— Хорошо, что я богата,— сказала она,— и могу сама себя содержать, без всякого мужа. Может, дашь мне работу? Тебе ведь понадобится секретарша.

— Конечно,— сказал Джон.— Мы придумаем что-нибудь в этом роде, чтобы побольше быть вместе.

Она заулыбалась, потом вздохнула:

— Жаль, все равно жаль, что мы не можем пожениться. Из меня получилась бы прекрасная жена политического деятеля.

— Я бы тебя разочаровал, уверен. У меня явно не хватит честолюбия, чтобы преуспеть.

— Честолюбием я тебя начиню. Я уж не позволю тебе отступиться. Ты человек незаурядный,— по крайней мере я так нахожу...— Она произнесла все это пронзительным голосом, на грани истерики.— Я верю в тебя. Нет, как это все-таки несправедливо.— Она снова опустила глаза.— Вы с Клэр двенадцать лет назад сказали друг другу какие-то глупые слова, подписали какую-то глупую бумажку, и вот ты принадлежишь ей и не можешь быть моим, хотя в глубине души, как пишут поэты, я произнесла те же слова. Я не просто подписала клочок бумаги. Я ведь говорила тебе, да?— что никогда еще не любила. Так это правда. Я никогда еще никого не любила. Я ложилась в постель и все ждала, когда же то, что происходит здесь — и она провела рукой по телу,— отзовется чувством во мне. Потом я решила, что раз уж не способна полюбить одного мужчину, буду любить весь род людской, и кинулась заниматься благотворительностью в тюрьмах. Ты знаешь, куда это меня завело. В никуда. Абсолютно никуда. Мелкий жулик вообразил, что я жажду острых ощущений...— Она подняла на него глаза.— А потом появился ты. Известный, приличный че-

[1] В дома членов парламента, проживающих на близлежащих улицах, а также в некоторые местные рестораны проведен звонок, извещающий о начале голосования.

ловек, немножко напыщенный, но с высокими идеалами.— Она сжала ладонями его щеки.— Ты не можешь осуждать меня за то, что я тебя полюбила. Ты много, много лучше тех, кого я встречала до тебя — богатых и бедных. Может, потому, что ты ни то ни другое. Какая жалость, что есть Клэр. Ну, неважно. Не будем сейчас об этом думать. Давай ужинать, а то кнели совсем раскиснут. Если от них еще что-то осталось.

Она поднялась, и они пошли вниз, ужинать. Потом легли в постель. А потом Джон отправился домой — к Клэр. Но за весь вечер о ней больше не было произнесено ни слова, и дома он уснул, едва коснувшись подушки, довольный тем, что сумел так удачно выйти из трудного положения.

Глава девятая

Информация Паулы оказалась точной: 7 февраля премьер-министр объявил, что рекомендовал королеве распустить парламент. Тремя неделями позже должны состояться всеобщие выборы.

Новость эта вызвала панику у лейбористов Хакни-и-Харингея. Было созвано чрезвычайное заседание исполнительного комитета для решения вопроса о том, не следует ли ускорить проведение предвыборной конференции, и так уже перенесенной на середину февраля. Было единодушно решено немедленно выдвинуть кандидата, а конференцию провести в ближайшую субботу — возникли лишь некоторые разногласия: полномочен ли исполком решать этот вопрос или же необходимо созывать специальное заседание Главного административного комитета для переноса срока конференции. Сторонники О'Грэйди возражали, что поскольку Главный административный комитет это и есть Комитет по созыву конференции, абсурдно собирать его, чтобы он разрешил самому себе собраться вновь. Группа газеты «Трибюн» сочла довод вполне логичным, но поскольку он исходил от сторонников О'Грэйди и был поддержан сторонниками Джона, они заподозрили «фашистский сговор» и настояли на том, чтобы все было проведено в строгом соответствии с правилами процедуры.

После трех часов прений их предложение забаллотировали и было решено, что Главный административный комитет соберется для избрания кандидата через два дня, в субботу, 9 февраля 1974 года, в два часа дня. Джон, с помощью Гордона, занялся составлением своей речи. Это было нетрудно, поскольку его оценка создавшейся кризисной ситуации не только соответствовала тому, как ее понимали в Транспорт-Хаусе, но и могла быть изложена спокойным тоном, которого ему следовало держаться в предвыборной кампании, чтобы одолеть как левых, так и правых кандидатов. «Только фанатики-консерваторы,— писал он,— верят, будто нынешние беспорядки в экономике — плод коммунистического заговора с целью свержения существующего строя. Мы, социалисты, знаем из горького опыта истории, что забастовка — единственное оружие, с помощью которого трудящиеся могут улучшить свои материальные условия, относительное и абсолютное благосостояние. Конечно, мы против инфляции и за соблюдение закона. Но парламент не имеет права использовать заработную плату в качестве инструмента давления на трудящиеся массы, отказывая им в праве продавать свой труд как можно дороже. Это несправедливо — расширять свободу рынка для бизнесмена и отказывать в свободе рабочему». «Если вы изберете меня,— скажет он в заключение,— я приложу все свои способности для проведения в жизнь социальных, экономических и политических реформ, изложенных в нашей программе. Я прошу вас назвать меня своим кандидатом не за то, что сделал или старался сделать для лейбористской партии в прошлом, я предлагаю вам свои способности, которые хочу отдать продвижению Великобритании к социализму...»

Отстучав эту речь двумя пальцами на машинке в конторе, Джон проверил ее на Гордоне, получил одобрение и затем показал Клэр, которая, пробежав текст глазами, сказала: «Очень хорошо, дорогой»,— так она говорила Тому, проверяя его домашние задания. На следующий день Джон попросил Паулу сказать свое мнение. Она прочла текст трижды, а потом стала разбирать строчку за строчкой.

— Не надо так яростно защищать забастовки,— сказала она,— даже лейбористы обеспокоены силой профсоюзов.

— Знаю, но они все равно будут голосовать за О'Грэйди.

— А не попробовать ли перетянуть их на свою сторону?

— Гордон делит делегатов на четыре группы. Старые правые из Таммани-Холла[1], затем правые социал-демократы помоложе, умеренные левые и левые радикалы. Мои сторонники почти исключительно из второй группы, поэтому надо сагитировать одну из трех оставшихся групп. Пытаться переплюнуть О'Грейди было бы роковой ошибкой, а выступать вдруг с троцкистских позиций может показаться неубедительно. Надо ставить на умеренных левых...

— Тогда стоит сказать что-нибудь о Национальном управлении по предпринимательству[2]? Разве это не любимое их детище?

Так они провели весь вечер за кухонным столом, а не в постели, как обычно. Паула не была профаном в политике, но плохо представляла себе лейбористов. Джону пришлось объяснять иные нюансы в своей речи, против которых возражала Паула, ибо в своей новой роли его политического советника она не упускала ни единой мелочи. Однако к полуночи в речь были внесены кое-какие поправки, и Джон, вернувшись домой вконец измочаленным, подумал: предпочитает ли он безразличие Клэр горячей заинтересованности Паулы?

В торжественный день ничто не могло отвлечь Клэр от выполнения своего долга. Она собиралась съездить в коттедж на субботу и воскресенье, посмотреть, не лопнули ли от морозов трубы, но изменила свои планы и готовилась появиться с детьми и мужем.

— Как одеться?— спросила она за завтраком.— Получше или попроще?

— Что-нибудь среднее,— сказал Джон.— Я надену вельветовый костюм.

— Может, твидовый?

— Для Ист-Энда слишком аристократично.

— У меня есть простая юбка, которую я купила на распродаже. Надену ее с блузкой и трикотажной кофточкой. А дети могут надеть джинсы. Немного по-американски, все-таки — супруга кандидата с детьми.

Пообедав пораньше, они на своем «вольво» поехали в Хакни. Том сидел молча, недовольный, потому что тоже настроился ехать в коттедж испытать там авиамодель, но уже на Марилебон-роуд дети повеселели и принялись изображать, как отец репетирует перед зеркалом в ванной свою речь.

Видя их хорошее настроение, и Джон немного успокоился: всю истекшую неделю его грызли сомнения — зачем он ввязался в эту авантюру, но сейчас, когда отступать было некуда, он исполнился решимости победить. У него сосало под ложечкой от страха и волнения, но ему это нравилось; понравилось ему и то, что Гордон с небольшой группой единомышленников ждал его у ратуши.

[1] Термин, употребляемый для обозначения штаб-квартиры партии.

[2] Государственный орган, задачей которого является распределение бюджетных средств для промышленности и оказание содействия частным фирмам в целях расширения и модернизации производства.

Гордон подошел открыть дверцу.

— Здесь можно оставить машину?— спросил Джон.

— По-моему, вполне,— сказал Гордон.

— Надеюсь, из-за ржавчины не заметно, что она не английская.

— Не волнуйся,— сказал Гордон.— Кое-какие узлы «вольво» делают в Центральных графствах Англии.

Они вошли в здание и проследовали в конференц-зал. Все выглядело так, будто происходило в кино — в броском, политическом боевике. Джон слышал стук собственных каблуков, в ушах почти явственно зазвучал военный марш, и он представил себе, как кинокамера медленно и бесшумно едет перед ним на резиновых роликах. Рядом шла Клэр и дети, аккуратные, прелестные — мечта режиссера рекламных программ. Том с Анной притихли в незнакомой обстановке, Клэр двигалась с застывшей вежливой улыбкой. Гордон и остальные пошли в зал, а Клэр и дети сели рядом с Джоном, точно в приемной у зубного врача. Затем Гордон вернулся и повел Клэр с детьми на галерею для публики.

Джон произнес свою речь, и, насколько он мог судить, она понравилась. Он ни на кого не смотрел, так как лица всех делегатов казались ему неприятными — безобразными, недоброжелательными и тупыми. Он улыбнулся жене и детям, но тоже чуть заметно, боясь, что делегаты перехватят улыбку и расценят ее как предвыборный трюк. Кончив под аплодисменты, он прежде всего поискал глазами Гордона, стремясь угадать по его лицу: успех, провал? Но того не было на галерее рядом с Клэр, а когда он стал обшаривать глазами задние ряды зала, то вместо него увидел Паулу. Густые темные волосы и темные глаза выделяли ее среди окружающих мрачных физиономий. Он чуть улыбнулся и ей, показывая, что видит ее, и она ответила едва заметным движением руки. Тут Джон задумался: сначала о том, как ей удалось пробраться на конференцию — ведь это не открытый митинг, а затем — насколько здесь вообще уместно ее присутствие.

От этих размышлений его отвлек вопрос из зала. Поднялся какой-то замухрышка с бородкой клинышком.

— Вот вы предлагаете свои способности социалистическому движению,— сказал он не без издевки.— Мне интересно, что из себя представляют ваши способности и каковы ваши убеждения?

Джон поднялся.

— Я придерживаюсь социалистических убеждений,— начал он.

— Нет, вы конкретней!— крикнул со своего места человек с бородкой.

— Я не считаю,— сказал Джон,— что государству должно принадлежать все, как в Советском Союзе, но предметам первой необходимости нельзя зависеть от стихии рынка, и общество должно либо владеть основными предприятиями, либо контролировать их.

— Включая банки?— крикнула какая-то женщина из последних рядов.

— А почему нет? Французское правительство, в конце концов, ими владеет. Вопрос сводится к одному: служит ли национализация данного конкретного концерна интересам страны или нет. Я не фанатик. Я не считаю, что следует национализировать каждую бакалейную лавку и каждый лоток с жареной рыбой и хрустящим картофелем, но там, где национализация вполне оправдана, как это было с платными автострадами, электричеством, водоснабжением, затем со здравоохранением, потом с углем и сталью, частично — с моторостроением, а сейчас с авиационной промышленностью и, возможно, с некоторыми фармакологическими компаниями, здесь я — «за».

Джон сел. Раздались аплодисменты. Он посмотрел вверх, на Клэр — она улыбалась. Затем вниз — на Паулу. Она тоже улыбалась. Снова вопрос. Он ответил. Послышался раздраженный голос из задних рядов, человек с бородкой клинышком вскочил и прокричал:

— Вы так и не рассказали нам о том, что же вы можете!

Джон снова поднялся.

— Здесь все довольно просто: я адвокат. Имею опыт ведения дел в суде и мог бы защищать интересы лейбористов в палате общин. Я не переоцениваю своих талантов, как и вообще роли личности в нашем движении. Но именно с помощью законов мы улучшаем наше общество, и человек с опытом юридической работы лучше других способен сформулировать их и провести через палату общин.

В зале раздались одобрительные возгласы: «Правильно, правильно!»

Тот, с бородкой, снова вскочил.

— Вы же не станете отрицать, что члены лейбористской партии из буржуазии всегда сводили на нет социалистические начинания рабочего класса...

Со всех сторон раздался гул протеста.

— Не согласен.— Джон повысил голос, чтобы перекричать шум.— Чаще всего социалистические начинания лейбористов срывались потому, что наших людей в парламенте обводили вокруг пальца чиновники государственного аппарата. Позвольте вам напомнить, коллега, что Маркс, Энгельс, Ленин и Фидель Кастро — выходцы из средних слоев общества, тогда как Рамсей Макдональд был сыном мелкого арендатора. Более того, наше великое движение будет обречено, если оно превратится в рупор фанатиков классового шовинизма пролетариата; во всяком случае я не желаю иметь к этому отношения.

Аплодисменты, рев, стук председательского молотка.

— По-моему,— сказал председатель,— время оратора истекло. Будьте любезны, займите свое место и пусть кто-нибудь позовет Пателя.

Джон спустился с трибуны и вышел из зала. В коридоре его нагнал Гордон.

— Здорово,— сказал он.— Возможно, ты погладил против шерсти кое-кого из людей «Трибюн», но в общем произвел сильное впечатление. Лучшего трудно было ожидать.

Следом за ними вышла Паула — как раз, когда по лестнице с галереи спускалась Клэр с детьми. Паула, заметив их, непринужденно пожала Джону руку, точно одна из его сторонниц.

— Примите мои поздравления,— сказала она.— Теперь проголосуют за вас. И я, конечно, тоже.— Она улыбнулась и пошла по коридору к выходу.

Джон хотел было ответить, но тут его потянула за рукав Анна:

— Какие они невоспитанные, папа, разве можно так кричать?

Они вышли на улицу.

— Здесь рядом есть кафе,— сказал Гордон.— Не очень шикарное, но пока дети съедят мороженое, а вы выпьете чашечку кофе, думаю, все кончится и я сообщу вам результаты.

Так они и поступили. Оглядевшись по сторонам, он поискал глазами Паулу. Ее нигде не было. Они вошли в кафе и заказали кофе и мороженое. Клэр сидела за желтым столиком до нелепости прямо, на краешке стула, точно боялась испачкать одежду. Чашку с кофе она держала ручкой от себя, чтобы не притронуться к краю, которого касались до этого чужие губы. Том и Анна налетели на мороженое и уже не замечали ничего вокруг.

Индус или пакистанец за стойкой уныло смотрел на них. «Знает он,— подумалось Джону,— что я и есть тот самый соперник их со-

отечественника, Пателя? Или просто мы выглядим здесь, среди них, белыми воронами?»

— Нам часто придется приезжать сюда, если тебя изберут?— спросила Клэр.

— Вам — нет,— сказал Джон.

Она улыбнулась.

— А то я уж совсем приготовилась к своей роли,— сказала она.— Возможно, мне она даже понравится. Но я не собираюсь делать вид, что лучше Хакни места на свете нет.

— Я бы и сам его не выбрал.

— Странно, правда? В нищих районах Парижа или Рима есть все-таки свое очарование, а в Лондоне они просто убоги. И дело не только в грязи...— Она покосилась на ободок чашки.— Какое-то все уродливое. Удивительное отсутствие вкуса...— Она пригубила кофе.— И во Франции, по крайней мере кофе — это кофе, а не какая-то неописуемая бурда.— Ее передернуло от отвращения.

Джон промолчал.

— Даже у американцев приличный кофе, правда?

— Надо было заказать чай.

— Да, наверное.

Наступило молчание.

— Кто эта особа, которая подошла к тебе пожать руку?— спросила Клэр.

— Одна из делегаток.

— Почему же она не дождалась голосования?

— Не знаю. Возможно, она и не делегатка.

— Очень хорошенькая, ты не находишь?

— Не обратил внимания.

— И так хорошо одета.

— Я не заметил.

— Все от Сен-Лорана. В Хакни немногие женщины могут позволить себе такие туалеты.

— Как раз наоборот,— сказал Джон.— Большинство моих клиентов живут в Хакни, и их жены всегда одеваются в дорогих фирменных магазинах.

— Наверное, и эта из таких. Содержанка какого-нибудь гангстера. Каким она меня взглядом одарила.

Джон промолчал. Дети покончили с мороженым. Он подошел к стойке бара и заказал еще две порции, а себе еще чашку кофе; возвращаясь, он увидел в дверях сияющую физиономию Гордона.

— Одолел ты их, малый. Полная победа.— Он пожал ему руку.— Итак, Джон Стрикленд, вы официальный кандидат лейбористской партии от избирательного округа Хакни-и-Харингей. Идемте в зал. Нас ждут.

Глава десятая

Таково уж упоение властью и лестью — с той минуты, как Гордон принес Джону радостную новость, и до самого возвращения домой в семь часов вечера он и не вспомнил о Пауле, а когда вспомнил, то лишь как о невыполненной докучливой обязанности.

Накануне он обещал после конференции заскочить к ней, но теперь чувствовал себя таким разбитым, что единственным желанием его было плюхнуться дома на диван и смотреть телевизор. А кроме того, как это объяснить Клэр: из Хакни-и-Харингея он только что вернулся, и Гордона они подвезли до Бэйсуотер, так что придумать какое-то дело, связанное с выборами, было трудно. Поэтому он пробормотал, что должен заскочить к одному клиенту, для которого добывает лицензию на продажу виски, а очутившись на Холланд-Парк авеню, тут же из телефонной будки позвонил Пауле.

— Извини, что так получилось сегодня,— начал он.

— А что такое?

— Ну, встретились на ходу, как чужие...

— При чем тут ты? Я же знала, что она там будет. Ну, и чем все-таки кончилось?

— Победа. Меня выдвинули.

— Чудесно. Блестяще. Я так и знала. Заедешь? Я положила шампанское в холодильник.

— Знаешь, не смогу. Во-первых, я выжат, как лимон. А во-вторых, просто ума не приложу, под каким предлогом выбраться.

— Понимаю. В любом случае праздновать ты должен с ней. Она же твоя жена.

— Я не собираюсь ни с кем ничего праздновать. И уж, конечно, не с Клэр. Она бы предпочла, чтоб я провалился. Я собираюсь посмотреть телевизор и лечь спать.

— Ну, если ты так устал...— сказала она, и он уловил в ее тоне что-то двусмысленное.— Такого рода вещи очень утомительны. Это действует на нервную систему. А тебе еще многое предстоит.

— Значит, ничего, если я не приеду?

— Ничего. Я тоже посмотрю телевизор и лягу пораньше.

— Я тебе завтра позвоню, пока Клэр будет в церкви.

— Прекрасно.

— А в понедельник вечером увидимся.

— Хорошо. Я поберегу шампанское. И мы все-таки отпразднуем.

В тот вечер, перед тем как лечь спать, Клэр напомнила Джону, что со следующей пятницы у детей зимние каникулы.

— Я подумала,— сказала она,— а не отправить ли их с Гаем в Бьюзи?

— Он едет туда?

— Поедет, если я оплачу дорогу.

— А ты? Ты не хотела бы поехать?

— Разве я тебе здесь не понадоблюсь?

— Да нет, в общем нет. Пока ты свое сделала. В следующий раз ты понадобишься в день выборов.

Она отвела глаза.

— В таком случае я в субботу съезжу в коттедж, посмотрю, как там и что, а в воскресенье отправлюсь оттуда прямо в Норфолк.

— Одна?

— А что? Всего на одну ночь. Хочется к весне привести кое-что в порядок. Ничего со мной не случится.

В понедельник утром Джон сообщил своему старшему клерку, что избран кандидатом в члены парламента и хотел бы аннулировать как можно больше из намеченных к производству дел. На лице старика отразились противоречивые чувства: к гордости, что адвокат из их конторы станет членом парламента, примешивалась досада, поскольку этот адвокат не будет представлять интересы консерваторов. Так же отнеслись к новости и многие коллеги Джона. В прежние времена они посчитали бы социалистические взгляды Джона обычным вывертом интеллектуала, но в феврале 1974 года упорно ходили слухи, будто коммунисты используют лейбористскую партию для захвата власти в стране.

По дороге домой Джон заглянул в Пэрвз-Мьюз и рассказал Пауле, что жена уедет.

— Я не знала, что у вас есть дом за городом,— сказала она.— Где?

— В Уилтшире.

— Где же это там?

— Под Хангерфордом.
— Я хорошо знаю эти места. Я иногда там гощу.
— У кого?
— У Темплтонов.
— Это в полумиле от нас.
— Там очень мило...

Она достала из холодильника шампанское, и они выпили за его победу в Хакни, но ни у нее, ни у него радости не было: Джон маялся животом, а Паула была как-то необычно задумчива.

— Так, значит,— спросила она,— ты будешь свободен в субботу и воскресенье?

— И всю неделю.

— И сможешь оставаться здесь на ночь?

— Если хочешь, почему же нет. Сниму дома трубку — если кто позвонит, пусть думает, что телефон не работает.

— А еще лучше,— сказала Паула,— поехать в Приннет хотя бы на воскресенье.

— С удовольствием,— сказал Джон с несколько наигранной вежливостью.

— Мы могли бы поехать в субботу днем, а в воскресенье после обеда вернуться. Мне хотелось бы, чтобы ты увидел Приннет-Парк и познакомился с моими родителями, а то у меня такое чувство, будто ты не все обо мне знаешь.

Неделя пронеслась незаметно. Во вторник утром Джон выступал в суде в Харроу, добиваясь лицензии для букмекера; разрешение было дано, и, покончив с этим делом, он освободился до конца выборов. Оттуда он поехал через весь Лондон в комитет лейбористской партии в Хакни, пообедал в ближайшем пабе с человеком, который будет на выборах его личным представителем; с ним же и другими организаторами предвыборной кампании провел остаток дня, намечая план действий.

В Уэст-Энд он вернулся в девять, час пробыл у Паулы и поехал домой. В среду к девяти утра он уже снова был в Хакни, до вечера беседовал с избирателями, а вечером выступал перед аудиторией в двадцать три человека. В четверг он надеялся приехать домой вовремя, чтобы поужинать у Масколлов, но в пять позвонил Клэр и сказал, чтобы она ехала без него: назначено еще одно собрание, хотя вряд ли там соберется больше двух десятков избирателей, нельзя подводить организаторов предвыборной кампании, собрание важнее приятельского ужина.

В пятницу он приехал домой к чаю, чтобы увидеть Тома и Анну до их отъезда на каникулы. После того как дети отправились спать, он почувствовал укор совести, подумав о том, что Клэр заночует одна в нетопленом коттедже, в то время как он будет с Паулой наслаждаться роскошью Приннет-Парка. Поэтому он предложил Клэр сходить в кино, а потом пообедать в недорогом ресторане. Клэр это удивило, но она все же позвонила приходящей няне и пошла одеваться.

Вечер явно не удался. Посредине сеанса отключили электричество, а поскольку в ресторан из-за этого они явились на час раньше времени, на которое заказали столик, пришлось ждать, сидя на тесном диванчике в так называемом «баре» и потягивая от нечего делать аперитив. Когда их наконец посадили за столик, Джон заказал себе scampi a la provencale [1], тут же пожалел об этом и с почти нескрываемой завистью смотрел, как Клэр ест жаренную на решетке камбалу. Не клеился и разговор: у Джона голова была занята выборами, что не интересовало Клэр, а она думала о чем-то своем.

[1] Улитка по-прованскальски *(франц.)*.

Дома они отпустили приходящую няню, заглянули в детскую и пошли спать. Джон изъявил готовность к супружеским ласкам, но по тому, как Клэр чмокнула его, понял, что она к этому не склонна; они повернулись друг к другу спиной и заснули.

Глава одиннадцатая

Приннет-Парк не походил на загородное поместье, элегантное и комфортабельное, каким рисовалось в воображении Джона, а сэр Кристофер и леди Джеррард не оказались светскими и очаровательными людьми, какими он представлял себе родителей Паулы. Конечно, это был просторный особняк, и стоял он в конце длинной подъездной аллеи; дворецкий открыл дверцы и вынул чемоданы из багажника машины, но холл в неоготическом стиле и холодные коридоры напомнили Джону частную школу или провинциальную картинную галерею — скорее всего последнюю, поскольку стены здесь были увешаны картинами викторианской эпохи.

Он проследовал за Паулой по одному из коридоров в небольшую гостиную, где на диване сидел старик с куском поджаренного хлеба в руке. Он посмотрел на них, когда они вошли, потом глянул на хлеб и поспешно сунул его в рот. Из кресла в другом конце комнаты поднялась дама. Тотчас стало ясно, что это мать Паулы, ибо сходство было полное.

— Мамочка, это Джон Стрикленд,— сказала Паула.

Леди Джеррард поздоровалась с ним за руку, одарив подобием улыбки, но глядя куда-то поверх, словно перед ней было пустое место, а затем бросила через плечо Джона взгляд на старика, сидевшего на диване. Джон обернулся и успел заметить, как последний кусочек поджаренного хлеба исчез в морщинистом, тонкогубом рту. Старик тоже поднялся и поздоровался с приятелем дочери — при этом в глазах его даже появилось любопытство.

Леди Джеррард предложила Джону выпить чаю, и когда он согласился, была явно смущена. Она позвонила и, подождав, произнесла с легким американским акцентом:

— Он теперь наверху убирает комнаты.

— Я принесу чашки,— вызвалась Паула.

— Нет-нет,— сказала леди Джеррард.— Тебе не надо ходить сейчас на кухню.

— Но почему?

— Миссис Гривз спит...

— Ну, это уж совсем нелепо,— вспылила Паула и с мрачным лицом решительно вышла из комнаты.

— А вы... м-м... держите прислугу? — спросил Джона сэр Кристофер, вытирая пальцы о вельветовые штаны.

— Нет,— ответил Джон.

Сэр Кристофер оказался старше, чем предполагал Джон.

— И правильно делаете, от прислуги больше забот, чем пользы, ей-богу. Но в таком доме без них не обойтись.

В комнате было холодно. Она, видимо, отапливалась электрокамином с одной-единственной спиралью. Света тоже было маловато, а стены были увешаны такими же громоздкими, потемневшими викторианскими полотнами, как и в холле.

— Вы любите искусство? — спросил сэр Кристофер.

— Очень,— сказал Джон.— Паула показала мне восхитительного маленького Ренуара, которого вы подарили ей на рождество.

— Славная штучка, верно? В свое время у нас было несколько импрессионистов — Ренуар, Мане, Сезанн. Все продал в шестьдесят шестом. Решил тогда, что цены достигли высшей отметки. И конечно, просчитался, но раз уж платишь оценщикам за совет, так остается принять его, верно? Они и уговорили меня взяться за викто-

анцев. Года два или три я покупал почти все, что появлялось на рынке, но с тех пор они не слишком поднялись в цене. Всего одна или две картины подскочили в цене — вот этот Тиссо, например. Есть у меня Лейтон и Альберт Мур — эти держатся прочно, а в целом остался при своем.

— Все-таки все вместе складывается в приличную... коллекцию,— сказал Джон.

— Вы так считаете? Я в этих делах ничего не смыслю. Но надо же что-то повесить на стену.

Вернулась Паула с двумя чашками и серебряным чайником.

— Не понимаю, чего ради вы держите эту старую бабу,— бросила она матери.

— Надеюсь, ты ее не обидела, дорогая?..

— Обижать ее я не обижала. Просто растолкала, и все.

— Она имеет право поспать...

Паула села и налила чай. Передавая Джону чашку, она принужденно улыбнулась, чтобы скрыть дурное настроение.

— Чай некрепкий и, боюсь, недостаточно горячий,— сказала она,— но это лучшее, что мы можем предложить.

В шесть часов появился дворецкий убрать чайный поднос. А через минуту вернулся с другим, на котором стояли бокалы, бутылки и ведерко со льдом. Сэр Кристофер налил рюмочку хереса жене, виски Джону и Пауле, а себе — полстакана розового джина.

— Я слышал, вы баллотируетесь в парламент? — заметил он, обращаясь к Джону.

Джон покраснел.

— Да.

— От лейбористской партии?

— Да.

— Наверное, вы правы. Не можешь победить, присоединяйся к ним.— Он сел и уныло уставился в свой стакан.

— Кто-нибудь будет к ужину? — спросила Паула у матери.

— Нет, дорогая. Сегодня нет.

— Вы пойдете переодеться?

— Мы — да, но вам необязательно.

— Ну, почему же.— Паула повернулась к Джону.— Ты не против?

— Нисколько.

Паула показала Джону его комнату, где дворецкий успел распаковать чемодан и выложить вечерний костюм.

— Я в нескольких милях отсюда, на другом конце коридора,— сказала она.— Но не волнуйся. Прокрадусь, как только путь будет свободен.

Она ушла, чтобы он мог принять ванну и переодеться. Комната была безликая и холодная. Джон потрогал радиаторы отопления. Чуть теплые. Он включил маленький электрокамин. Его удивляло, что такие богачи, как Джеррарды, живут столь неуютно: он-то полагал, если уж Паула может позволить себе теплую, уютную квартиру, то ее родители тем более живут в роскоши, учитывая возраст и положение в обществе, но теперь он понял, что богачи бывают скупы, и с возрастом это обычно усугубляется, а образ жизни детей часто является реакцией на образ жизни родителей.

Он лег в ванну. Зачем все-таки понадобилось Пауле знакомить с родителями и показывать ему этот дом, когда и родители и дом на редкость унылы? Надеялась произвести на него впечатление этим заурядным поместьем? А может, наоборот, взывала к сочувствию своим одиночеством и неустроенностью жизни? Как все-таки порой разительно отличаются вещи от того, какими мы их себе представляем. Полтора месяца назад в йоркширском доме своей матери он продал бы душу дьяволу за один день с Паулой в особ-

няке ее родителей. А сейчас мечтал лишь о том, чтобы оказаться в Холланд-Парке, в своем доме, под которым грохочет подземка, а на кухне ссорятся-мирятся дети. Мысль о семье вызвала вдруг мучительную тоску по дому, точно у двенадцатилетнего мальчика, который провел первый день в школе-интернате, и подобно тому мальчику, мечтающему, чтобы поскорее наступили каникулы, Джон устремился мыслью к следующему воскресенью, когда он снова увидит жену и детей.

Он спустился вниз в вечернем костюме. Сэр Кристофер ждал его в зеленом, траченном молью смокинге. Позже вышла леди Джеррард в платье, которое показалось Джону творением, созданным Диором в 1947 году. Последней появилась Паула в длинной шерстяной юбке и синей шелковой блузе.

— Боже, какой холод,— сказала она, поеживаясь.

— В наше время только правительство может позволить себе жить в тепле,— пробормотал ее отец, кинув извиняющийся взгляд в сторону Джона.

— Да уж, отопить такую махину — сплошное разорение,— поддакнул Джон.

— Еще бы,— Паула наливала себе виски,— отец ненавидит тратить деньги, если это не приносит дохода. Правда, папа?

Сэр Кристофер вымученно улыбнулся и ничего не ответил.

На ужин подали что-то остывшее и невкусное. Возможно, повариха решила отомстить Пауле, чтобы неповадно было нарушать ее послеобеденный сон. Вино, однако, было хорошее, и всякий раз, когда в столовой не оказывалось дворецкого, сэр Кристофер вскакивал и ловко подливал всем в бокалы. На леди Джеррард, пившую наравне с супругом и дочерью, алкоголь не оказывал заметного действия. Она в соответствии с этикетом поддерживала беседу чопорно и скучно, и только когда Джон спросил ее о детстве, проведенном в Америке, она выпрямилась, точно он сказал что-то неуместное — как если бы она полагала неприличным упоминать о ее заокеанском происхождении и выдавала себя за дочь английского герцога.

Наконец дамы покинули столовую. Джон и сэр Кристофер остались за обеденным столом и выпили целый графин портвейна. Портвейн оказался превосходным, как и вообще вино в этом доме: сэр Кристофер, видимо, готов был тратить деньги на такого рода «топливо» и говорил о своем винном погребе с бóльшим вдохновением и знанием дела, чем до этого об искусстве. Ко времени, когда надлежало присоединиться к дамам в гостиной, оба были пьяны. Сэр Кристофер держался за косяки дверей на пути из столовой и преодолевал коридоры, точно брел по камням через горный поток. Джон обнаружил, что не в силах придать лицу подобающее выражение, язык заплетался.

Дамы смотрели по телевизору соревнования по прыжкам в воду и, когда вошли мужчины, не выказали ни малейшего желания выключить его. Поэтому сэр Кристофер с Джоном опустились в кресла у телевизора, и через две-три минуты один из них уже спал, а Джон из последних сил боролся со сном, веки у него слипались. В половине одиннадцатого родители поднялись и пожелали спокойной ночи; спустя полчаса Джон и Паула также отправились спать.

Величайшим напряжением воли Джон заставил себя вычистить зубы и, справившись с пуговицами, снял вечерний костюм и надел пижаму. Затем он залез в постель, но свет выключать не стал, ожидая Паулу. Голова у него кружилась от портвейна; он тщетно пытался лежать с открытыми глазами и уже сквозь сон слышал, как открылась и снова закрылась дверь. Он смутно видел, как рука Паулы выключила лампу. Попытался было приподняться, но та же рука надавила ему на плечо, и он остался лежать. Паула скользнула

к нему под одеяло. Нагая и холодная. Он почувствовал, как она расстегивает ему пуговицы на пижаме и аккуратно снимает ее, точно медсестра с больного. Он попытался все-таки приподняться, но рука снова придавила его. Паула прижалась к нему всем телом. В сумеречном свете луны он различил над собой ее лицо и темные, широко раскрытые глаза. Почувствовал на лице ее дыхание. Она застонала и укусила его в шею. Он уснул с таким ощущением, точно к нему присосалась пиявка.

Глава двенадцатая

В воскресенье после обеда они вернулись в Лондон. Джон завез Паулу на Пэрвз-Мьюз, затем на ее «ланчии» поехал к себе в Холланд-Парк. Так посоветовала Паула на случай, если Клэр будет звонить из Бьюзи. Поэтому он положил трубку на аппарат. Через некоторое время ему позвонила теща — Элен Лох.

— Это вы, Джон?

— Да.

— У вас телефон не в порядке. Все время занято.

— Дети неаккуратно положили трубку наверху.

— Я так и думала. А Клэр можно?

— Нет. Разве она не у вас?

— Она сказала, что машина может вам понадобиться, поэтому она приедет двенадцатичасовым, но не приехала ни этим, ни следующим.

— А вы звонили в коттедж?

— Да. Там не отвечают.

— И она вам не звонила?

— Нет. Юстас весь день был дома.

— Может быть, у вас что-нибудь с телефоном?

— Нет, все в порядке. Джойс Сьюэлл дважды звонила сегодня днем.

— Что-то непонятное. «Вольво» нет. Может, она решила все-таки ехать на машине?

— Она сказала, что машина нужна вам в Лондоне.

— Мы действительно договаривались, что машину она оставит мне.

— Господи, надеюсь, она не попала в аварию.

— Я попытаюсь проверить и перезвоню вам.

Джон тут же набрал номер полицейского участка, обслуживающего долину Темзы. Он спросил, не было ли дорожного происшествия с желтым «вольво». Узнав, что нет, он забеспокоился: Клэр могла в коттедже упасть в лестницы или ее ударило током. Стал соображать, кому из приятелей или соседей в Уилтшире позвонить, кто там может оказаться в февральское воскресенье, но затем решил, что гораздо проще поехать туда самому на «ланчии».

Выехал он в семь и через час был на месте. На площадке перед коттеджем стояли две машины — желтый «вольво» и синий «форд-кортина». Окна в гостиной и спальне наверху были освещены. Джон поставил «ланчию» рядом с «вольво» и пошел к черному ходу. Дверь оказалась незапертой, он вошел и окликнул Клэр. Молчание. Он прошел в общую комнату. Свет горел, но огонь в камине погас. Он снова окликнул ее, и снова молчание. Он уже собрался идти дальше, но тут заметил, что портьеры на двустворчатой двери в сад наполовину сорваны с карниза. Он направился к двери и тут увидел между портьерами нагую фигуру, грузно осевшую на пол и прильнувшую к стеклу, словно человек всматривался в сад. Над правой лопаткой зияла черная, величиной с грейпфрут, дыра, и черная полоска крови бежала вниз, к бедру. Это была Клэр, мертвая, груди расплющились о стекло. Руки свисали вниз.

Джон замер, не чувствуя ничего, кроме страха. Он прислушался и вдруг со стремительной легкостью балетного танцовщика метнулся к двери, но тут же понял, что кровь-то уже черная и запекшаяся. Значит, это случилось раньше. Поэтому он вернулся, решив осмотреть труп. Он не мог заставить себя дотронуться до Клэр, а поскольку она уткнулась лбом в стекло, ему не видно было ее лица. Он долго рассматривал рану под лопаткой — черные катыши и осколки белой кости среди багрового мяса. Ясно: выстрел из дробовика в упор.

Джон оставил все как есть, не притронувшись к телу Клэр, и пошел к лестнице. Из спальни сюда падал свет. Он двинулся наверх, чтобы уяснить происшедшее, и первое, что увидел,— сорванные с постели одеяла и смятые простыни, точно здесь боролись; потом заметил одежду, разбросанную по полу, мужскую и женскую вперемежку. Мужские вещи были не его, не узнал он и шелкового женского белья, отделанного дорогим кружевом,— такого у Клэр не было. На минуту у него возникла мысль об ошибке, что это не Клэр там внизу, но тут рядом с новой шелковой комбинацией увидел ее темно-синюю блузку и черную юбку. Он сделал шаг-другой, и обнаружил второй труп, тоже нагой, лежавший на полу между стеной и кроватью. Он подошел ближе. Мужчина с изуродованной выстрелом головой — Джон оглядел черную поросль волос на груди, серый сморщенный комок между ног, словно по этим признакам мог опознать труп. Сначала он решил, что не знает этого человека, и, только снова взглянув на откинутую голову и увидев растянутые в оскале губы, вдруг понял, что перед ним тело Генри Масколла.

Он огляделся. Все остальное было как в прошлый раз, когда они сюда приезжали. Он уставился на обои, которые много лет назад, наклеивая, не сумел ровно подогнать. Потом до него начал постепенно доходить смысл увиденного, и он зашатался. Спотыкаясь, добрел он до лестницы, терзаемый гневом, страхом, скорбью и ревностью, и опустился на первую ступеньку. Он не хотел больше видеть это тело, изменившее ему; при мысли, что эти окоченевшие бедра видел и ласкал другой мужчина, ревность вытеснила горе, и он со злорадством подумал о мертвом мужчине, лежавшем на полу.

Но тут же профессиональный рефлекс юриста подсказал, что если женщина обнаружена убитой вместе с любовником, в убийстве обычно подозревают мужа. Жажду мщения сменил страх, и Джон принялся обдумывать, сможет ли он обеспечить себе убедительное алиби на время, прошедшее между отъездом Клэр из Лондона и своим прибытием в коттедж, чтобы отвести от себя подозрения. Он мог положиться на Паулу и ее родителей, которые подтвердят, что он был в Приннет-Парке и уехал оттуда после обеда в воскресенье, а теща засвидетельствует, что вечером он находился в Холланд-Парке, когда она позвонила ему на квартиру; но ведь они могли умереть и днем — он вполне мог примчаться сюда и убить их! Или накануне вечером, до того как приехал в Приннет-Парк! Он столько раз видел, как суд отвергает алиби, что вдруг усомнился в надежности своего собственного. Надо ехать к Пауле. Она-то уж под присягой покажет, что они вообще не расставались и выходные, субботу и воскресенье, провели вместе. Он бросился вниз по лестнице и, оставив все как есть, погнал машину в Лондон.

На автостраде, проезжая мимо аэропорта Хитроу, он вспомнил, как они с Клэр последний раз летели отсюда во Францию, и вдруг разрыдался. Но тут же, поскольку всем его существом владел теперь страх, стал с ужасом думать, что, если Паула увидит, как он терзается по Клэр, она может и не подтвердить его алиби на те часы, пока они не были вместе. У дома Паулы он остановил машину за белым «фордом-эскортом» и еще посидел в темноте, чтобы окончательно прийти в себя.

Было уже начало одиннадцатого, но в гостиной наверху еще горел свет, поэтому Джон отпер кухонную дверь и прошел прямо к винтовой лестнице. Поднявшись, он даже зажмурился — так ярко горели все лампы. При виде Джона Паула встала, но еще кто-то — какой-то молодой человек — остался сидеть на диване.

— Извините,— начал Джон,— я не знал, что...

— Входите,— сказала она.— Это всего лишь Терри. Он ехал мимо и...

Потрясенный неверностью жены, убитой вместе со своим любовником, а теперь еще и тем, что любовница принимает бывшего возлюбленного, которого поклялась никогда больше не видеть, Джон пошатнулся, как скверный актер в мелодраме. Он оперся на знакомый сервировочный столик, чтобы удержаться на ногах и не упасть.

Терри Пайк поднялся. Лицо его не выражало ничего.

— Привет, хозяин,— первым поздоровался он.

— Я, пожалуй, пойду,— пробормотал Джон.

— Не валяйте дурака,— сказала Паула.

— Если уж кому сматывать удочки, так мне,— Терри скривился в ухмылке.

Джон почувствовал, что у него подгибаются ноги, и присел на подлокотник дивана.

— Где моя сумка? — сказал Терри.

— Вот. — Паула подала синюю парусиновую сумку.

— Бывайте,— сказал Терри.

Паула ничего не ответила. Джон заметил, что, прежде чем скрыться на лестнице, он ей подмигнул.

— Ты же обещала...— прохрипел он.

— У тебя жуткий вид. Иди сюда, садись к огню.

— Ты же обещала больше никогда не встречаться с ним.

— Ну, проезжал человек мимо. Только и всего.

— И случайно с вещами, да?

— С какими вещами?

— У него была сумка.

Она пожала плечами.

— Ну да, он наверняка надеялся переночевать. Переспать по старой привычке.— Она улыбнулась.— Но я бы все равно дала ему от ворот поворот, заглянешь ты или нет. Теперь выкладывай, что случилось, а я принесу тебе выпить.

Часть пятая

Глава первая

Проснувшись на следующее утро от аромата кофе, Джон прежде всего подумал, чего это ради Клэр поднялась раньше его; потом — где дети, почему они не прыгают у него на постели. Он поискал глазами будильник на тумбочке и, только увидев незнакомую лампу, вспомнил, где он и все обстоятельства вчерашнего вечера. Он снова закрыл глаза и уткнулся лицом в подушку, точно хотел уснуть, чтобы увидеть сон с другим концом, а не этот кошмар.

Но уснуть он не мог. Жуткое зрелище тела Клэр, прижатого к двери в сад, вызвало у него такое сердцебиение, что в ушах загудело; при мысли о том, что Генри Масколл лежал нагой в их постели, болезненно защемило под ложечкой. Тут он подумал о детях, о родителях Клэр, о Пауле и Терри Пайке, о лейбористах из Хакни-и-Харингея и глубже уткнулся в подушку: задохнуться, ничего не видеть и не слышать.

Он услышал рядом с постелью какой-то шорох. Мелькнула мысль о полиции, но он узнал голос Паулы, она тихо окликнула его. Повернулся, открыл глаза.

— Проснулся? — спросила она.

— Да, — сказал он, садясь в постели,— но лучше бы не просыпаться.

Она держала поднос. Кофе, молочник, тосты, мармелад, масло и вареное яйцо — все это было аккуратно расставлено на белоснежной салфетке.

— Я принесла завтрак, — сказала она.

— В горло ничего не лезет.

— Надо,— сказала она.— И я тебе дам еще валиум. Чтобы ты успокоился.

Он поставил поднос на колени, а она пошла к своему туалетному столику за пилюлей. Подождала, терпеливая, как сиделка, пока он принял лекарство, запил его кофе, и села в изножье кровати.

— Послушай,— сказала она,— вчера ты был в невменяемом состоянии, что ж, это естественно, но сейчас надо срочно решать...

— Понимаю,— сказал Джон.

— Прежде всего звони в полицию. Объясни, что произошло, скажи, где ты был вчера вечером, и условься встретиться с ними там сегодня.

— Ты сказала, что подтвердишь мое алиби.

— Да, если ты действительно хочешь, но, по-моему, лгать не стоит. Во-первых, Терри знает, что по крайней мере в течение часа мы не были вместе, и мне страшно подумать, как он может это использовать. А во-вторых, «ланчию» мог кто-нибудь видеть там, у коттеджа.

— Пожалуй, ты права.

— И потом, просто глупо врать — в этом нет необходимости.

— Но ведь полиция заподозрит меня...

— Ерунда. Ты же сказал, что кровь уже засохла. Значит, их убили задолго до того, как ты там оказался.

— Да.

— Итак, первую половину дня ты был в Приннете — мы уехали оттуда после обеда. Затем до четырех были здесь. Ты не мог оказаться в коттедже ни на час раньше, чем это было в действительности.

— Но они могут подумать, что мы с тобой в сговоре...

— Нет. Я думала об этом. Ты мог войти с любовницей в сговор, чтобы убить жену, но не жену с любовником. И потом, Гривзы живут над гаражом в Приннет-Парке. Они могли слышать, как ты заводил машину.

Джон вздохнул.

— Похоже, ты права.

— У тебя есть поверенный?

— Знаю нескольких, но своего у меня нет.

— Хорошо, я позвонила сэру Питеру Крэкстону, папиному адвокату, и он заедет по дороге в контору.

— Тогда надо одеться.

— Он будет через полчаса.

— А мне сейчас звонить в полицию?

— Нет. Подождем его.

Джон поставил поднос на тумбочку у кровати.

— Ты очень добра, что позаботилась обо всем. Вряд ли я бы сам со всем этим справился.

Она посмотрела на него любящим взглядом.

— Ты пережил жуткий шок. Люди месяц приходят в себя после такого, а у нас нет этого месяца — через две недели выборы и

нельзя допустить, чтобы этот ужасный... несчастный случай все испортил.

— Мне придется снять свою кандидатуру.

— Нет, ни в коем случае. Если ты это сделаешь, то не только дашь основания подозревать тебя в убийстве жены. Ты лишишь себя всякого шанса на будущее. А сейчас у тебя все так удачно складывается, ты наверняка получишь это место...

— Но кто станет голосовать за подозреваемого в убийстве?

— Никто тебя не подозревает и никогда не будет подозревать. Когда полиция узнает, где ты находился и кто подтверждает твое алиби, им и в голову не придет подозревать тебя; а раз так, то ты вызовешь не подозрение, а наоборот, тебе будут сочувствовать, вот что. Если это станет достоянием гласности до выборов.

— Но ведь выплывет же...

— Может быть, но сэр Питер мастер в таких делах.

— Каких?

— Не допускать в газеты что не надо.

— Но как я стану выступать на предвыборных собраниях...

— Станешь, должен,— с ударением произнесла Паула,— не только ради своей карьеры, но и просто чтобы не спятить. Иначе ты превратишься в ипохондрика. Подумай о детях. Ты должен сделать это ради них.

— Тебе не понять этого.

Она поднялась, подошла и снова села рядом. Взяла его руку в свои и стала гладить морщинистую кожу с набухшими венами.

— Я знаю, я молода,— сказала она,— и, кроме того, я, как ты это назвал бы, заинтересованная сторона, но я понимаю куда больше, чем ты думаешь. Я знаю, ты любил Клэр и тебя сразило не только то, что ее зверски убили, но еще и вместе с любовником... Не стану притворяться, будто я в восторге оттого, что ты ее любил, а теперь сгораешь от ревности и скорби, но это никогда не мешало мне любить тебя. А поскольку я тебя люблю, то полна решимости помогать тебе, пока ты не переживешь все это, по крайней мере настолько, что сможешь отвечать за свои поступки. А там как знаешь — захочешь, я уйду и живи один или женись на ком-нибудь еще, но сейчас я нужна тебе и могу помочь, так что, пожалуйста, позволь мне.

Он поднял взгляд и посмотрел в ее юное, прекрасное лицо, в исполненные решимости глаза.

— Конечно,— сказал он.— Конечно. Одному мне не справиться... сейчас... одному.

Глава вторая

Сэр Питер Крэкстон, поверенный семьи Джеррардов, отвез Джона в своем «даймлере» в коттедж, где человек пять или шесть уже трудились, словно группа энергичных мастеров-декораторов: снимали отпечатки пальцев с дверных ручек, фотографировали трупы. При дневном свете труп Клэр выглядел не так ужасно: опасаясь, как бы не показаться сексуальным маньяком, если он станет слишком пристально разглядывать труп, Джон лишь искоса взглянул на него. На ягодицах — там, где они опирались на пятки,— проступали темные пятна; волосы Клэр были перекинуты вперед, чтобы не закрывали маленькое черное отверстие на шее. Одна рука была покрыта запекшейся кровью, кровь была и на полу под рукой — маленькая липкая лужица, от которой под прямым углом протянулись два ручейка.

В другом конце комнаты поверенный Джона вкрадчиво разговаривал с двумя мужчинами. Они подошли к нему.

— Джон,— произнес сэр Питер (который, видимо, полагал, что знакомство с Джеррардами позволяет ему быть накоротке с их

друзьями),— это инспектор Томпсон из уголовной полиции, а это — сержант Симмс, оба они из Уилтширского отделения уголовного розыска.

Джон поздоровался с ними за руку.

— Я им сообщил,— продолжал сэр Питер,— что вы готовы ответить в моем присутствии на все их вопросы.

— Конечно,— сказал Джон.

— Должны предупредить вас, сэр,— сказал Томпсон, плотный, розовощекий мужчина, больше похожий на фермера, чем на полицейского,— что все сказанное вами может быть использовано в качестве улики...

— Мистер Стрикленд — адвокат,— сказал сэр Питер.— Нет нужды напоминать ему о правилах судопроизводства.

Все четверо прошли на кухню и сели за стол. На нем все еще стояли остатки ужина на двоих: два подсвечника, две тарелки с мандариновыми корками, два бокала для вина, один — наполовину недопитый; рюмка, а рядом — бутылка бренди и тут же окурок толстой сигары в пепельнице. Сержант немного отодвинул все это, чтобы положить блокнот, Томпсон задавал вопросы, а сержант и сэр Питер делали какие-то пометки — последний в своей записной книжке.

Вопросы были формальными и задавались, чтобы установить, что это — коттедж Джона, что Клэр — его жена, что она приехала сюда (насколько ему известно) одна, в то время как он отправился в Приннет-Парк с мисс Паулой Джеррард, что он провел в обществе мисс Джеррард все время с середины субботы до четырех часов пополудни в воскресенье, что ему звонила домой теща, что, встревоженный ее звонком, он позвонил в полицейский участок долины Темзы и справился об автомобильных катастрофах; приехал в коттедж на машине мисс Джеррард, нашел свою жену убитой и поехал обратно в Лондон.

— Скажите, сэр,— спросил инспектор,— а почему вы не позвонили нам вчера вечером?

Джон покраснел и взглянул на сэра Питера, тот кивнул, как бы показывая: «Говорите правду».

— Я был в шоковом состоянии, я... испугался.

— Убийцы?

— Нет. Я понимал, что его здесь уже нет, но подумал... подумал, вы можете решить, будто я их убил.

Сержант записал его ответ.

— Почему вы так подумали?

Джон пожал плечами.

— Не мог представить себе, у кого еще могли быть основания для такого преступления.

— Это вы их убили?

— Нет.

Томпсон сделал знак Симмсу не записывать и сказал:

— Ваша жена и этот джентльмен, что лежит наверху, были убиты в субботу вечером между десятью и двенадцатью часами — возможно, вас это несколько успокоит, сэр.

— Если вы можете найти подтверждение, а вы, конечно, можете,— сказал сэр Питер,— что вы были у Джеррардов в субботу вечером, вас едва ли можно подозревать.

— Так вы говорите, что были в Приннет-Парке? — спросил инспектор.

Сержант опять принялся записывать.

— Да.

Всю ночь?

— Да.

Когда вы легли спать?

— Около одиннадцати.

— Между этим временем, когда вы легли спать, и до утра вас кто-нибудь видел?

Джон почувствовал, что краснеет.

— Паула... то есть мисс Джеррард... мы провели ночь в одной постели.

Сэр Питер кивнул, довольный ответом, и инспектор Томпсон, видимо, решил на этом пока закончить. Он попросил Джона официально опознать личности убитых. Все четверо прошли сначала в спальню, где, накрытый одеялом, лежал Генри.

Томпсон приподнял одеяло.

— Это Генри Масколл, да?

— Да,— отвечал Джон.

— Вы уверены? Ведь от лица почти ничего не осталось.

— Совершенно уверен.

— А вы, случайно, не знаете домашний адрес и ближайших родственников?

— Его жену зовут Мэри Масколл.— Джон продиктовал их адрес в Болтонс и номер телефона.

Сержант записал все это в свой блокнот.

— Вы хорошо его знали? — спросил Томпсон.

— Да,— сказал Джон.— Он был одним из моих самых близких друзей.

— Вы сами сообщите о случившемся его супруге?

— Я не хотел бы.

Теперь все четверо спустились вниз.

— Осторожно, здесь кровь,— предупредил сержант Джона, показывая на пятна на ковровой дорожке, когда они спускались по лестнице.

— Похоже, в вашу супругу стреляли в спальне,— заметил Томпсон.— Я бы сказал, что сначала стреляли в джентльмена, а вашей супруге, видимо, удалось ускользнуть, и выстрел, второй, настиг ее уже здесь, на лестнице. Она, должно быть, попыталась выбежать в сад, но ее настигли и застрелили.

Они вошли в гостиную.

— А как преступник проник в дом? — спросил сэр Питер.

— Мы полагаем, через окно.— Томпсон указал на противоположную стену комнаты.— Там на газоне обнаружены следы.

— Сколько их было?

— Один, но он мог впустить сообщника через дверь черного хода.— Он повернулся к Джону.— Кстати, сэр, вы не можете сказать, ничего не украдено? Так сразу ничего не бросается в глаза?

— Нет, я ничего не заметил.

— Серебро, ценные картины? Ничего такого не было?

— Нет. Только проигрыватель, телевизор, но они на месте.

Томпсон кивнул и, подойдя к телу Клэр, снял покрывавшую ее простыню и осторожно потянул тело на себя. Казалось, он передвигал статую, и Джон впервые увидел, как закатились у Клэр глаза.

— Это ваша жена? — спросил Томпсон.

— Да.

Инспектор придал трупу прежнее положение.

— Кто мог это сделать? — спросил Джон.

Томпсон только плечами передернул.

— Скорей всего, воры, сэр. Ведь непохоже, чтобы это могла натворить миссис Масколл, а?

Джон отрицательно покачал головой.

— Нет. Она не ревнива.

— Мне представляется, забрались сюда воришки, думая, что никого нет, а потом запаниковали, когда наткнулись на вашу супругу с мистером Масколлом.

— Но мелкие воришки не вооружены дробовиками и револьверами,— сказал Джонс.

— Жулье тоже теперь не прежнее,— сказал Симмс.

— Тем более лондонское,— сказал Томпсон.

— Но ведь здесь...— сказал Джон.— Беззащитные мужчина и женщина. Воры могли просто убежать. А преследовать Клэр по лестнице и стрелять ей в спину...

— Я согласен с вами, сэр,— сказал Томпсон.— Немного странно. Мы поначалу подумали, что ваша супруга могла узнать убийцу.

— Почему вы так решили?

— А вы поглядите на ее палец и на этот знак на полу, выведенный кровью.— Он сделал шаг и показал на две черты засохшей крови, перекрещивавшиеся на натертом полу.— Такое впечатление, будто она пыталась что-то написать.

— Похоже на недописанную букву «Н», не находите? — сказал сэр Питер.

— Или на большое «Т»,— сказал Томпсон.

— Или «J»,— сказал Симмс.

— Если она знала, что умирает,— сказал Джон,— это мог быть просто знак креста. Она была...

Сержант за его спиной прыснул.

Глава третья

Около полудня Джон с сэром Питером Крэкстоном вернулся в Лондон и тут же сел в поезд, идущий в Норидж и Кромер. До Бьюзи он добрался на такси — к этому времени дети уже легли спать. Он прошел на кухню и рассказал Юстасу и Элен о смерти их дочери, не скрыв, что Генри нашли мертвым в ее постели и что он, Джон, был в это время в Приннет-Парке с Паулой Джеррард.

Верный своим адвокатским привычкам, он изложил им факты, не пытаясь оправдать себя или Клэр. Однако, рассказывая, он по лицу тещи увидел, что сообщение о супружеской неверности дочери потрясло Элен даже больше, чем известие о ее смерти. Выражение горя и смирения с судьбой, появившееся вначале на ее лице,— как у любой матери, которая страшится и одновременно чуть ли не ждет дурной вести,— сменилось подлинным ужасом и отчаянием. Она повернулась к Юстасу, и тот взял ее за руку, чтобы успокоить, а затем попросил Джона продолжать, и Джон, поняв вдруг, что́ имеет наибольшее значение для его тещи, рассказал о кресте, начертанном кровью на полу.

— И вы говорите, она была на коленях? — спросила Элен хриплым, торопливым шепотом.

— Да. На коленях возле начертанного креста.

Легче было на следующее утро рассказать Тому и Анне, что мама умерла: во-первых, Джон мог ограничиться словами, что ее убили «плохие люди», во-вторых, дети воспринимают серьезность и значение события в зависимости от настроения взрослого, который им об этом сообщает, а Джон, приняв валиум у Паулы, был внешне спокоен и держался ровно.

После завтрака — он собирался отбыть в Лондон — к нему явился Юстас, точно богач из Аримафеи по имени Иосиф к Пилату, и попросил похоронить Клэр здесь, на кладбище в Бьюзи.

— Я думаю, это будет приятно Элен,— сказал он,— что она тут, рядом.

— Конечно,— сказал Джон.— Конечно. Честно говоря, я был бы признателен, если б вы взяли на себя заботы о похоронах. Я должен мчаться. Выборы.

— Так вы все-таки баллотируетесь?

— Да. Думаю, что должен.

Юстас кивнул.

— Что ж, вы правы. Жизнь продолжается.— Он произнес это тоном, который можно истолковать как угодно; Джон поднял на него глаза, но тесть, шаркая ногами, уже удалялся к себе в спальню.

На станции в Норидже Джон купил в киоске все утренние газеты и по дороге в Лондон внимательно просмотрел их. Об убийстве ничего не было. С вокзала на Ливерпуль-стрит он позвонил Гордону. Через двадцать минут они встретились в холле отеля «Грейт-Истерн», и Джон рассказал своему другу о происшедшем. Было ясно — хотя об этом никогда не говорилось,— что Гордон не симпатизировал Клэр, поэтому он ограничился лишь лаконичным соболезнованием и если при этом он пригнулся и потер руками лицо, то это было скорее из желания сосредоточиться, чем из сочувствия или от горя.

— Мне снимать свою кандидатуру? — спросил Джон.

— Не знаю. Дай подумать.— Он помедлил.— Ты уверен, что вне подозрений?

— Более или менее. Я ведь был в Суссексе.

— Свидетели надежные?

— Да.

— В таком случае это — личная трагедия, что может принести несколько сочувствующих голосов.

— Слишком уж мерзко все это.

Гордон согласно кивнул:

— Да уж. Для «Ньюс оф уорлд»[1] просто именины сердца.

— Может быть, это не попадет в прессу.

— Каким образом?

— На меня взялся поработать поверенный Джеррардов. Он явно пользуется влиянием.

— Кто это?

— Питер Крэкстон.

Гордон расхохотался:

— Да. Только он работает еще на несколько газет.

— Так что ты все-таки думаешь? Снимать мне свою кандидатуру или нет?

— Думаю, что нет. Надо продолжать начатое. Плакаты отпечатаны. Разрекламировали встречи с тобой. Что скажут избиратели, если ты снимешь сейчас свою кандидатуру? Полный крах. Да. Я бы не отказывался. Ну случилось. Но это дело частное. Никого это не касается.

— Я ведь не очень в форме...

— Для человека, у которого третьего дня убили жену, ты держишься отлично, впрочем, я всегда знал, что под внешностью велеречивого адвоката скрывается не слабак. Поэтому-то и поддерживал тебя.

Из отеля «Грейт-Истерн» Джон помчался в Хакни, где сообщил своему представителю на выборах, что у него убили жену и он не хочет, чтобы это стало до выборов предметом гласности.

— Пусть голосуют за мою программу,— сказал он,— а не из сочувствия к трагедии в моей личной жизни.

В тот же вечер он выступил на митинге, где члены «Национального фронта»[2] буквально засыпали его каверзными вопросами. Паула заехала за ним и отвезла на своей «ланчии» к себе на Пэрвз-Мьюз.

В Холланд-Парк Джон выбрался только в среду, во второй половине дня, чтобы взять кое-какую одежду. В зеленоватом свете угасающего дня он вошел в дом и поспешно прошел наверх, в спальню, не

[1] Воскресная газета бульварного типа.

[2] Крайне правая организация фашистского толка; проповедует расистские и антикоммунистические взгляды.

глядя по сторонам, точно подгоняемый сонмом привидений. В спальне он остановился. Было непривычно тихо. Он шагнул к платяному шкафу взять чемодан, и в глаза бросилась гора одежды Клэр — юбка, две блузки, застиранное белье, скомканное вместе с колготками. Он достал чемодан, потом сел на кровать и разрыдался.

Теперь ему уже не хотелось сразу уходить из дома. Он спустился на кухню, включил отопление и приготовил себе чай. Ему захотелось есть. В хлебнице он нашел несколько ломтиков черствого хлеба, положил их в тостер. Масло в холодильнике чуть прогоркло, поэтому он намазал хлеб медом. Съел один ломтик и принялся было намазывать второй, но тут зазвонил телефон. Он взял трубку.

— Джон? — спросил женский голос.

— Да?

Молчание.

— Мне надо видеть вас.

— Кто это?

— Мэри.

Он помедлил.

— Хорошо. Когда?

— Сейчас.

— Приезжайте. Я буду здесь.

Она положила трубку, и Джон тоже повесил трубку — телефонный аппарат висел у них на стене. Он взял было чашку с чаем и ломтик поджаренного хлеба, но тут постучали в дверь черного хода. Он открыл дверь, увидел Гая.

— Я шел мимо,— сказал он.— Смотрю — вы дома.

— Входите. Чай будете пить?

Гай вошел и уселся за стол, Джон долил в чайник кипятку и положил в тостер оставшиеся ломтики хлеба.

— Примите мои соболезнования,— сказал Гай.

— Элен вам рассказала?

— Вообще-то — отец. Он вдруг позвонил. Я сразу понял, что стряслось нечто грандиозное. Он ведь обычно не пользуется телефоном.

Джон подошел к столу и налил шурину чаю.

— Кто это сделал? Убийц нашли? — спросил Гай.

Джон передернул плечами:

— Грабители, должно быть...

— Слишком мудрено для грабителей, не кажется?

— Вот и я так подумал.

— А что Мэри? Она, наверное, совсем рехнулась?

— Она здесь будет с минуты на минуту.

— Вот уж кому дробовик по руке, а?

Джон покачал головой.

— Coup de grâce[1] был сделан из револьвера. Не могу представить себе Мэри в этой роли... Мэри с револьвером?!

— Действительно.

Джон поглядел на него, так похожего лицом на Клэр.

— Мы были не настолько уж несчастливы, как может показаться.

— Знаю,— сказал Гай.— Догадываюсь, брак — штука нелегкая.

Хотя Гай произнес это «догадываюсь» с американским выговором и одет был в свои неизменные застиранные джинсы, он не раздражал сейчас Джона, даже наоборот — Джон чувствовал к нему необычайную симпатию.

— Единственно, о чем я сожалею во всей этой истории...— сказал он,— ну то есть я, конечно, сожалею, что вообще так случилось... что во многом я сам виноват. Вы знаете, я сам изменял Клэр, и вроде бы я не должен был расстраиваться из-за ее неверности... Не должен был

[1] Смертельный удар *(франц.)*.

расстраиваться из-за того, что это Генри: я хорошо знал его натуру — да он и не корчил из себя сверхпорядочного,— а я расстроился. Но самое ужасное во всем этом, что их убили вместе; Элен теперь уверена, что Клэр в аду.

— Нет,— сказал Гай,— благодаря этим сказкам с крестом, начертанным кровью, она так не думает.

— Это не сказки, это правда,— сказал Джон.

— А я решил, вы это выдумали.

— Возможно, это и не был крест. Полиция предполагает, что она пыталась написать чье-то имя...

— Ну, во всяком случае для мамы это явилось утешением.

— Пусть верит, что это так.

— Я бы тоже хотел этому верить.

Джон посмотрел на него с удивлением:

— Никогда не думал, что вы с Клэр серьезно относитесь к религии.

Гай передернул плечами:

— Все меняется. Она ведь ходила к мессе по воскресеньям, верно?

— Только после того, как родились дети...— Наверху раздался звонок в дверь.— Это, должно быть, Мэри.

— Мне уйти? — спросил Гай.

— Останьтесь, если можно.

Гай остался сидеть за кухонным столом, а Джон пошел открывать парадную дверь. Он потянул дверь на себя, и из тьмы выступила Мэри.

— Могли бы и сами сообщить мне,— сказала она, глядя в сторону.

— Недостало решимости.

— Можете себе представить, каково это было услышать от полицейского. Тот явно подозревал, что это сделала я.

— Ну, что вы.

Она повернулась, и он увидел по ее лицу, покрытому красными пятнами, и покрасневшим глазам, что она плакала.

— Извините,— сказал он.— Мне следовало прийти к вам.

Мэри шмыгнула носом:

— Не будем ссориться. Все и без того настолько гадко.— Она показала глазами на лестницу.— Может быть, поднимемся наверх?

— Идемте на кухню. Там Гай.

Она все шмыгала носом.

— Гай? Ах да. Он не помешает. Самое отвратительное в такого рода вещах — это чужое любопытство. Мама ни на шаг не выходит из дому. Она боится, что я покончу с собой.

Она прошла на кухню, поздоровалась с Гаем, улыбнулась ему и присела рядом за кухонный стол.

— Хотите чаю? — предложил Джон.

— Нет. Виски.

— Я принесу,— сказал Гай и вышел.

Джон стоял опершись о кухонную раковину.

— Вы знали, что у них роман? — спросил он.

Она ответила коротким нервным смешком.

— Я знала, он ею интересовался. Я думала, главным образом — вам в пику. Ваше выдвижение в парламент раздражало его...— Она махнула рукой: что, мол, теперь говорить.

— А мне даже в голову не приходило.

— Я знала, он с кем-то встречается. Когда он говорил в понедельник, что был во Франкфурте или Джидде, я понимала, просто закатывался на выходные с какой-нибудь девкой.— Она заметила, как передернуло Джона.— Извините. Я не имею в виду Клэр. Скорее всего, это у нее вообще было в первый раз, ведь правда?

— Не знаю. Никогда не подумал бы, что она может мне изменить.

Мэри только рассмеялась — тем же нервным смешком.

— А я никогда не подумала бы, что именно с Генри.

— Я тем более.

— Немного же стоит дружба в наши дни.

— Да.

Гай вернулся с бутылкой виски. Джон налил в три стакана по двойной порции и добавил воды из-под крана.

— Что вы сказали детям? — спросила Мэри.

— Просто: мама умерла.

— Я тоже, но рано или поздно они все равно узнают. Одного понять не могу — как это прошло мимо газет. Я все ждала заголовков: «Супруга лейбориста убита в любовном гнездышке с банковским клерком», коль скоро такое случилось.

— Надеюсь, это не попадет в газеты.

— А что мы друзьям скажем?

— Правду.

— Тогда-то уж все непременно выплывет наружу.

— Когда-нибудь, конечно.

— Лишь бы не до выборов, да?

— Да.

— Ну, в общем я вас не порицаю. Жизнь должна продолжаться. Но как мне жить дальше, как?..

— Ну-у...— Джон не знал, что сказать.

— Генри был свинья,— сказала Мэри,— но он был моей опорой в жизни.

— Я знаю.

— Слушайте, а вы не согласитесь время от времени куда-нибудь со мной ходить?

Он не сразу понял.

— Конечно.

— Только ведь у вас есть эта шлюха — Паула Джеррард.

Она залпом выпила виски и поднялась.

— Ну, всегда можно обратиться к Микки,— сказала она, поднимаясь.— Мне пора. Детей надо купать. Просто захотелось повидать вас. Что вы делаете вечером?

— Я...

— Конечно. Не пренебрегайте своим алиби.

— Я не убивал их.

— Знаю. Я тоже. А вы? — Она повернулась к Гаю.

— Что — я?

— Вечером вы свободны?

— Абсолютно.

— Давайте сходим в кино.

— О'кей.

— Заходите за мной... около восьми.

Она ушла успокоившись, даже повеселев. Джон проводил ее до парадной двери.

— Тоскливо быть обманутой женой, а? — сказала она.— Я еще понимаю, если б он погиб в авиационной катастрофе. А тут — сплошная гадость. Извините. Вам ведь не легче. С той разницей, что у вас есть эта потаскуха. Ну, так до встречи? Или нет. Это мы ведь с Гаем встречаемся. Не беспокойтесь, я его не съем.— Она подалась вперед и приложилась к щеке Джона.— Не забывайте меня, ладно?

— Ладно.

— Мы же можем остаться друзьями.— Она взялась за ручку двери.— Да, кстати, как нам быть на их похоронах? Как в таких случаях поступают? Я ведь должна дать объявление в газете. Чертов этикет.

— Не ездите на похороны Клэр.

— Хорошо. А где ее хоронят?

— В Бьюзи.

— Генри тоже хоронят в Норфолке. На семейном кладбище. Так что они будут почти рядышком. Милях в четырех-пяти друг от друга. Так близко и так далеко. Ха-ха. Вы видели его? Мне пришлось опознавать труп. Неважно. Червям все едино.— Она открыла дверь.— О господи, как бы мне хотелось, чтобы он сказал мне сейчас: заткнись. Пока.— Она вышла, не взглянув в его сторону, и закрыла за собой дверь.

Глава четвертая

На похороны Клэр в субботу были приглашены только ближайшие родственники, тем не менее прибыли многие из знакомых Лохов по Норфолку. Хоронили на англиканском кладбище, рядом с домом священника: служил католический священник, не преминувший упомянуть историю с начертанным кровью крестом на полу и умолчавший при этом об убитом любовнике.

Джон стоял у могилы с обоими детьми. Лицо его ничего не выражало по причине полного отсутствия мыслей. Том, по правую руку, стоял серьезный, видимо считая, что от него ждут серьезности; Анна же, по левую руку от Джона, изо всех сил старалась побороть волнение от непривычной обстановки. Обоим сказали, что в гробу лежит их мама, но, похоже, до них это не дошло.

— Вот это и будут хоронить? — шепотом спросила Анна у отца, не веря, чтобы в сырую землю могли зарыть нечто такое красивое, с такими блестящими серебряными ручками.

Юстас держался очень прямо, поддерживая Элен, опиравшуюся на его руку. Он был в темно-сером костюме старого покроя, тщательно сохраненном от моли и придававшем ему необыкновенно элегантный вид. Голову он держал как на параде, уставясь в одну точку, а может быть, просто смотрел поверх толпы на белые облака в небе.

Лица Элен было почти не видно под серой вуалью. Джон заметил, что она время от времени ободряюще улыбалась детям, но ни разу не взглянула на него: может быть, подумал он, она винит его в случившемся или боится, как бы он не отказался от своего рассказа о кресте, потому что, когда священник упомянул это в своем слове, она энергично закивала, словно Клэр, пусть нашедшая смерть в супружеской неверности, уже была причислена к сонму остальных Дэнси, погибших за свою веру.

Потом присутствующих пригласили на поминки. Соседей не приглашали, но их явно ждали здесь, потому что в гостиной с выцветшими обоями было наставлено множество бокалов и женщина в переднике, пришедшая помочь, наполняла их хересом. Входя, все эти люди обменивались рукопожатием с Юстасом и Элен, выражали соболезнование и сочувствие, но Джона обходили, точно не знали, как себя вести с ним. Одна лишь мать, приехавшая из Йоркшира, войдя, как-то очень уж театрально поцеловала его в щеку и с трагической миной прошествовала дальше, непринужденно переговариваясь с присутствующими, словно это были соседи ее, а не Лохов.

Джон, сначала не заметивший, что его избегают, держался с детьми, чинно прохаживавшимися среди гостей; когда же дети убежали на кухню за сандвичами и булочками с сосисками, он подошел к одной группе гостей, к другой и почувствовал (или так ему показалось), что его принимают сдержанно, неодобрительно. Это его возмутило и обозлило. Кто они такие? Зачем пришли? Как они смеют считать его непрошеным гостем — ведь это же похороны его жены?! Они что, знают о Пауле? Юстас и Элен перемывали ему косточки? Или это потому, что он баллотируется от лейбористов? А может, по их понятиям, адюльтер и его политические взгляды неотделимы?

Он вышел из гостиной в библиотеку — два полена тлели за каминной решеткой. Он присел на корточки и стал раздувать огонь. Когда заплясали язычки пламени, он поднялся, подошел к окну и долго

смотрел в сырой голый сад. Трудно поверить, что эти мертвые деревья и кусты оживут и снова покроются листьями и цветами. Поедет он в Бьюзи летом? Наверное, нет. Это дом Клэр, не его, и коль скоро Лохи склонны считать его виновным в смерти дочери — возможно, даже в ее неверности,— лучше ему с ними не встречаться. Дети пусть едут, одни или с няней. Придется нанять няню, но будь он проклят, если еще раз появится в Бьюзи, чтобы видеть эти укоряющие взгляды.

Он слышал по голосам в коридоре, что гости расходятся. Повернулся и снова подошел к камину. Посмотрел на часы: сославшись на выборы, он объявил, что должен будет сразу уехать в Лондон, но до ближайшего поезда из Кромера оставалось еще два часа. Он стоял спиной к камину, ощущая тепло в ногах от огня, и разглядывал корешки на книжных полках. Глаза выхватили вдруг «Смерть Ивана Ильича». Он подошел и взял книгу с полки, она была там, где он оставил ее летом — между «Скоттом в Антарктиде» и «Оксфордским словарем личных имен». Подумать только, всего несколько месяцев назад какая-то выдуманная история могла до такой степени перевернуть ему душу, хотя реальная жизнь... Он раскрыл книгу, пробежал глазами страницы и вспомнил, как лежал тогда без сна, ненавидя Клэр, убежденный, что он умирает, а она будет жить вечно. И вот теперь... Как там все кончается? Он открыл последнюю страницу... «Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти» и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймет тот, кому надо». Да, конечно, этот человек умер раскаявшись. Как и Клэр. Джон захлопнул книгу и поставил ее на место.

Глава пятая

Всеобщие выборы состоялись 28 февраля. К полуночи в избирательном округе Хакни-и-Харингей были подсчитаны голоса, и результаты объявлены в муниципалитете Хакни. Джон Стрикленд был избран большинством в 8 328 голосов. Сторонники Джона приветствовали его дружным «ура», и он произнес короткую речь. После этого состоялся прием в помещении избирательного комитета, на который Джон явился с Паулой, не объясняя, кто она и что.

Он победил почти таким же большинством, что и О'Грэйди на выборах 1970 года, но уже к моменту объявления результатов стало ясно, что консерваторы по всей стране не получили поддержки, на которую рассчитывали: кандидаты от лейбористов и либералов прошли всюду с небольшим перевесом. На грубо сколоченном столе был установлен телевизор, и счастливые товарищи Джона оглашали помещение воплями восторга всякий раз, как объявлялись победные результаты по другим округам и при каждом появлении на экране лидера лейбористов Гарольда Вильсона, но это был рев футбольных болельщиков, чья команда ведет в счете, а не леденящий душу крик революционеров, взывающих к мести; помимо восторженной приподнятости от одержанной победы Джон испытывал еще и чувство профессионального удовлетворения: его трезвый анализ общественного настроения оказался более точным, чем истерические прогнозы его друзей из среднего сословия.

Дети оставались в Бьюзи, и ночевать он поехал к Пауле на Пэрвз-Мьюз. Когда он проснулся в десять утра, он уже не гадал, где он: аромат кофе, доносившийся снизу, означал, что Паула встала; он спустился в халате на кухню, и там на столе его ждали утренние газеты.

— Мы не получили абсолютного большинства,— сказала ему Паула,— поэтому Хиту незачем слагать полномочия.

— И все-таки придется.

— Это зависит от либералов...— Она подала ему на тарелке яичницу с ветчиной.— Прими с поздравлениями,— сказала она, садясь за

стол рядом с ним.— Ты был вчера великолепен,— продолжала она.— Я действительно гордилась тобой. Многие считали, что присутствуют при зарождении чего-то важного. Рядом со мной в зале кто-то сказал: «Этот далеко пойдет».

Джон усмехнулся:

— Не жди от меня слишком многого.

— Я вообще ничего не жду. Оставайся таким, какой есть. Я говорила с твоим другом, лейбористом. Как его? Ну, журналист, у которого жена ирландка?

— Гордон?

— Вот-вот. Он сказал, что знает тебя еще по Оксфорду...

— Мы вместе снимали квартиру.

— Он в тебя верит, как и я. Он просто поражен твоей выдержкой и тем, что смерть Клэр не подкосила тебя.

— Если б не ты...

— При чем тут я? Он сказал — и, по-моему, это делает честь его проницательности,— что тебе не хватало веры в себя. По его мнению, английские частные школы внушили тебе, что главное в жизни — это внешние атрибуты: безупречная школа, безупречный университет, безупречное произношение, безупречная жена.— и это же внушают наши законы, основанные на судебном прецеденте и процессуальной казуистике; тебя-де отполировала так называемая «классовая культура», но сквозь этот слой полировки теперь стали проступать твои подлинные чувства, идеалы, и ты становишься самим собой. Понимаешь, что он имеет в виду?

— Да,— сказал Джон с полным ртом.

— А еще он сказал...— Она помедлила.— Трезвый, он не сказал бы этого, может, и не стоит повторять...

— Ну-ну? — сказал Джон, слушая ее вполуха и продолжая просматривать газеты.

— Он сказал, что тебя удерживала в этой скорлупе Клэр.— Она помолчала, словно желая проверить, способен ли он говорить о покойной жене.

— Как это?

— Он сказал, что она не разделяла твоих идеалов, не ценила тебя по достоинству.

— Она не была социалисткой...

— Он имел в виду не только твои достоинства политика, хотя и говорил на политическом жаргоне. Он сказал, что достаточно хорошо знал тебя, когда ты встретился с Клэр, и думает, что ты полюбил ее и женился, чтобы иметь свой дом и не быть чужаком среди «элиты буржуазной субкультуры»,— так он сказал.

Джон улыбнулся:

— Он явно выпил лишнего.

— Тем не менее сказал то, что думает. Он считает, что потом вы уже строили свою жизнь, приноравливаясь к интересам, диктуемым домом и детьми, а в глубине души играли в вопросы и ответы, и каждый подавлял личность другого. «Как если б Дантон женился на Марии-Антуанетте»,— так он сказал.

— Ему бы служить консультантом по матримониальным делам,— отвечал Джон, переворачивая газетную страницу.

— Там есть заметка об убийстве,— сказала Паула.

— Где?

— На третьей странице, внизу.

Краткое сообщение, что Генри Масколл, банковский служащий, найден убитым вместе с некой женщиной в загородном коттедже в Уилтшире.

— Ну что ж, рано или поздно это должно было выйти наружу,— сказал Джон.

— Тогда удачней дня не придумаешь. Все читают о выборах.

— Клэр не названа.

— В «Таймс» — нет. А в «Телеграф» — да. И еще более мерзостная статья напечатана в «Мейл». На твоем месте я даже не читала бы.

— А что там сказано?

— Важнее то, что не сказано.

— Называют Клэр по имени?

— Да.

— А в «Гардиан»? — поинтересовался он, думая о Юстасе и Элен.

— Нет, ни строчки.

— Уже хорошо.

— Между прочим, — сказала Паула,— я купила тебе подарок по случаю победы.

Джон оторвался от газеты, он не любил ни получать, ни делать подарки.

— Подарок? Какой?

— Надеюсь, ты не будешь возражать...

— Что ж теперь возражать?

— Ну, мало ли.— Она застенчиво улыбнулась.

— Неси, посмотрим.

— Нести?.. Вот это я, пожалуй, не смогу.

— Почему?

— Тяжеловато.

— Что же это?

— Идем, покажу.

Она поднялась и повела Джона к окну, выходившему во внутренний двор старых конюшен.

— Вот,— сказала она.

Он посмотрел в окно — там на мощеном булыжном дворе впритык к стене стоял автомобиль — новенький темно-синий «вольво-универсал».

— Это и есть подарок? — переспросил он.

— Да. Ты не возражаешь?

— Конечно, не возражаю. Это же чудо...

— Я подумала, что полиция так прицепилась к твоему старому, да и вообще он свое отслужил...

— Но это же целое состояние.

— Не преувеличивай. Но может, ты предпочел бы какой-нибудь другой? Я просто подумала, что с детьми...

— Идеально.

— Тебе нравится цвет? Можно ведь поменять...

Он оторвался от окна и поцеловал ее.

— Ты так добра ко мне,— произнес он.

— Какое ж это добро быть доброй, когда любишь.

— Добра? Да что я — ты щедра!

— И не щедра. Чем же я могу тебя одарить, когда все, что есть у меня, и так твое?

Хотя Паула уже освободила один из своих встроенных шкафов для вещей Джона, которые накапливались здесь, оба они имели достаточно четкое представление о приличиях и понимали, что открыто смогут жить вместе не ранее чем через несколько месяцев, поэтому, когда дети вернулись от тестя, Джон снова переехал в Холланд-Парк. Паула, однако, взяла на себя ведение дома. Она наняла детям няню — и не какую-нибудь, а норлендскую, и отыскала хорошую работницу, которая убирала, стирала и гладила. Паула следила за тем, чтобы Том не ушел в школу в понедельник без денег на обед, а по четвергам не забывал плавки, чтобы Анна ходила в балетную студию по вторникам во второй половине дня, а на занятия по классу фортепьяно — по субботам утром. Все это не только позволило Джону занять-

ся своей новой деятельностью в качестве члена парламента, но и вернуться к адвокатской практике.

Единственным минусом в этой идеально организованной жизни было настроение детей. Похоже, только вернувшись домой и увидев вместо матери двух незнакомых женщин, они впервые осознали, что Клэр умерла. Они ничего не сказали, но всю их веселость как рукой сняло. Они бродили бледные, унылые и какие-то смущенные. Джон, не привыкший видеть их такими ухоженными и неестественно вежливыми, держался с ними как со взрослыми, детей и его сковывало присутствие Паулы и няни. Всякий раз, когда удавалось выкроить время, он старался вырваться домой, но он сам и все остальные не понимали зачем, и это только прибавляло неловкости в отношениях. То же самое происходило и по воскресеньям. Джон положил себе за правило этот день целиком посвящать семье, но голова его была забита таким множеством дел, что вынужденное безделье и необходимость часами смотреть, как Том гоняет на велосипеде по Холланд-Парку или Анна качается на качелях, только раздражали.

Раздражало его — по другим причинам — и то, что он жил отдельно от Паулы. Они вместе обедали в палате общин или в ресторанах, расположенных неподалеку от Вестминстера, и два-три раза в неделю по дороге домой он заезжал к ней. Но теперь после тяжелого рабочего дня к делам в конторе прибавились ведь и парламентские обязанности, он зачастую бывал измотан, ему все труднее было отрываться в час ночи от нежной, теплой, душистой Паулы, опять натягивать надоевший костюм и мчаться в Холланд-Парк. Не нравилось ему и то, что утром за завтраком приходилось созерцать за столом няню, это длинное чучело. В итоге они решили с Паулой, что полгода — срок достаточный для соблюдения приличий и с субботы, 3 августа, они съедутся, а чтобы ничего не осложнять — зарегистрируют брак в Приннет-Парке.

Глава шестая

Вскоре после открытия парламентской сессии к Джону в палату общин зашли инспектор уголовной полиции Томпсон и сержант Симмс. С ними был еще третий в штатском, инспектор Блэкетт из «отряда розыска убийц» Скотланд-Ярда.

— Мы вынуждены были обратиться в Скотланд-Ярд, сэр,— объяснил Томпсон,— потому что, честно говоря, сами не далеко продвинулись.

С лондонскими детективами Джон был знаком: ему не раз случалось вызывать их для перекрестного допроса в качестве свидетелей. Если Томпсон походил на фермера, то Блэкетт, рябой, с тяжелым лицом, являл собой классический тип уголовника, и когда он заговорил, Джон тут же уловил знакомые нотки, этакий наигранно-почтительный тон, каким эти видавшие виды детективы говорят с членами коллегии адвокатов.

— Темное дельце, сэр,— сказал он Джону.

— Да,— отвечал Джон.— Определенно темное, если только здесь не случайное стечение обстоятельств.

— Случайное? — переспросил тот.— А что, точно сказано. «Любительская работа» — так бы мы это определили. Как вам, должно быть, известно, сэр, из вашей судебной практики, преступления обычно совершаются по шаблону: существует небольшая группа, которая занимается грабежами загородных домов или почтовых контор; иногда они идут на дело с огнестрельным оружием, иногда нет. Случалось, грабежами загородных домов занимались довольно опасные преступники, но обычно у них информация хорошо налажена. Они никогда не полезут, если нечего взять. Тогда почему же они полезли в ваш коттедж?

Джон покачал головой:

— Не знаю. Не вижу никакого резона.

— У вас зажиточные соседи,— сказал Томпсон.— Может, грабители перепутали адрес, а когда наткнулись на вашу супругу с мистером Масколлом, запаниковали и дали деру?

— Да... но неужели они не заметили машин?

— Остается одно,— сказал Блэкетт.

— А именно?

— Что оба убийства были преднамеренными.

— Но кому нужно было их убивать, кроме меня и Мэри?

— Согласен, сэр, и вас обоих мы исключили. А что, если некто хотел убить вас и мистер Масколл — жертва ошибки?

Джон судорожно глотнул:

— Кто и чего ради мог желать моей смерти?

— Вот и расскажите нам,— сказал Блэкетт.

— Просто ума не приложу...

— А вы подумайте. Из ваших клиентов никто не мог затаить на вас злобу?

Джон отрицательно покачал головой:

— Нет.

— Ну, кто-то из ваших подзащитных? Решил, что вы не сделали для него все, что могли?

«Терри Пайк?» — мелькнуло у Джона.

— Нет,— сказал он.— Не думаю. Видите ли, я редко веду уголовные дела. Все больше лицензионные.

— Знаю, сэр,— сказал Томпсон. —Это чисто предположительно. Просто мы хотим проработать все возможные версии.

— Может, пройдемся по делам, которые вы вели за последние год-два,— сказал Блэкетт,— и посмотрим, нет ли там какого-нибудь чокнутого, который мог что-то затаить против вас.

— Можно, конечно,— сказал Джон,— хотя думаю, это бесполезно.

— Ну, а есть кто-нибудь, кто хотел бы прикончить мистера Масколла? — спросил Блэкетт.

— Его самого?

— Да.

— Нет.

— Кажется, он не из однолюбов... Может, кто-либо из его дам — помимо жены, конечно?..

— Не думаю. Все-таки они не того круга, чтобы...

— Согласен, сэр,— сказал Блэкетт.— Эти птички-бабочки не способны на убийство из ревности. По крайней мере в моей практике такого не припомню.— Он поднялся.— Извините, что отняли у вас время, сэр.

Джон проводил их до дверей.

— Я готов помочь вам всем, чем могу,— сказал он.— Я очень хочу, чтобы вы нашли убийцу.

— Сделаем все, что в наших силах,— сказал Томпсон.

— Может, я и ошибаюсь,— сказал Блэкетт.— Может... как это вы сказали? Случайность? Выплывает эдак из тумана парочка ковбоев. Выбирают наугад — прелестный домик на отшибе. Но ведь это все равно как подхватить триппер с туалетного сиденья. Необычно, а случается. Очень даже необычно. Если бы моя жена привела мне такой довод в оправдание, сэр...— Он потряс головой и вышел.

В тот вечер, лежа рядом с Паулой в постели, Джон спросил, не приходила ли ей мысль, что Терри мог убить Генри и Клэр. Она лежала, уткнувшись лицом ему в плечо, потом подняла голову и сказала, не глядя на него:

— Но зачем, черт подери, ему убивать?
— Может, он хотел убить меня, а Генри подвернулся по ошибке.
— Зачем ему убивать?
— Из-за тебя.
Она засмеялась:
— Нет, ручаюсь, что он не убивал. Не так уж он меня любил. Он бы чувствовал себя униженным, если бы какая-то женщина так много значила для него.
— Думаешь, мне вообще не следует упоминать о нем в полиции?
— Думаю, нет.
— Может быть, ты и права.
— Ведь если не найдут настоящего убийцу, а ты скажешь про Терри, они свалят все на него — просто чтобы закрыть дело. Они вполне на это способны...
— Знаю.

Глава седьмая

Хотя теперь Паула взяла на себя практически все заботы по домашнему хозяйству, одного Джон не мог ей передоверить — собственно, она к этому и не стремилась — это распорядиться вещами Клэр. Джон просто сгреб тогда со стула ее одежду и бросил в ящик комода, а обувь и домашние туфли — на дно платяного шкафа. Затем, как-то в субботу утром, пока дети с няней были в церкви, прошелся по ящичкам ее туалетного столика — посмотреть, что из украшений оставить для Анны. Разглядывая и перебирая их, он так явственно вспомнил Клэр, точно она была рядом в комнате. Это было не просто ощущение ее присутствия, но зримое, как образ из сна — бывает, проснешься и как будто действительно видел человека; словом, долгие годы совместной жизни с Клэр запечатлелись в его памяти ярче событий последней недели. Не то чтобы память удержала какие-то отдельные случаи, но, казалось, он видит ее ходящей по комнате, чувствует ее запах в постели, слышит ее голос, кричащий из кухни, что обед готов. В доме стояла тишина, и Джон впал в необъяснимую тоску — в нем воскресли чувства, которые он питал к Клэр, когда она была жива, но поскольку он понимал, что она мертва, эти чувства, которые в свое время были где-то глубоко сокрыты в нем, теперь при полной ясности сознания пытались всплыть, но не могли пробить толщи навалившихся на него эмоций. Под этой толщей прошлое и настоящее переплелось, и со дна поднялся осадок: воспоминания о Клэр окрасились неприязнью — у Джона сузились глаза и сжались зубы, потому что жена, которую он сейчас чувствовал рядом и вспоминал, изменила ему с Генри Масколлом. Он повторял беззвучным шепотом небрежно произнесенную ею ложь: «...съезжу в коттедж, посмотрю... в саду хочется до весны привести кое-что в порядок»,— он отчетливо слышал интонации ее голоса, хотя тогда слушал ее вполуха. Он представил себе Клэр в объятиях Генри Масколла — сплетенные тела своей жены и своего лучшего друга — и не гнал от себя эту мысль, а напротив, с удовлетворением думал о том, что неведомая рука настигла их и отомстила. Тут ревность поутихла и вместо нее возникло могучее, не укладывающееся в слова чувство, такая тоска по Клэр, что, когда дети чуть позже вернулись из церкви, они нашли отца плачущим над ожерельем из мелкого жемчуга.

Клэр оживала в любой своей вещице, поэтому он откладывал решение вопроса о том, как распорядиться ее имуществом. Проблема тем не менее оставалась, потому что множество вполне приличных юбок и обуви он с успехом мог бы отнести в лавку подержанных вещей, смирись он с самой мыслью, что какая-то другая женщина будет носить ее одежду. Не мог он заставить себя и просто выбросить их. Он решил — лучше всего было бы сжечь их на костре, но как это сделаешь в маленьком дворике лондонского дома.

В конце мая Паула арендовала фешенебельный одноквартирный дом на Лорд-Норт-стрит, в пяти минутах ходьбы от палаты общин, из тех, что называют «полуотдельными». В субботу утром, первого июня, она предложила Джону заехать туда вместе с детьми и посмотреть их новое жилище. Прежние владельцы оставили его чистым и убранным, но без обстановки: голые полы и стены с прямоугольниками невыцветших обоев вместо картин.

Планировка почти повторяла их дом в Холланд-Парке: кухня в полуподвале, гостиная на втором этаже была обшита панелями, столовая, сообщавшаяся с кухней подъемником. Это хитрое устройство поразило детей, и пока Джон восхищался пропорциями столовой, дети забавлялись, поднимая и опуская лифт, ходивший с помощью тросов и шкивов.

На третьем этаже, над гостиной, была спальня, рядом ванная, а наверху, в мансарде, еще три спальни и ванная для детей и няни.

— Выбирайте, кому что больше нравится,— сказала Паула, показывая Тому и Анне их комнаты,— а няне придется довольствоваться тем, что останется.

— Няне обязательно жить с нами? — плаксиво спросила Анна.— Она не может просто приходить, как миссис Джайлс?

— Нет,— сказал Джон.— Лучше, чтобы няня жила с нами.

— Когда Том уедет в школу, мы от нее избавимся,— подбодрила Паула.

— В пансион? Разве я буду ходить не в дневную школу, па? — сказал Том, поворачиваясь к отцу.

— Это еще не решено,— ответил Джон.

Когда они спускались вниз, Анна спросила, где комната для игр.

— В доме сколько угодно места,— сказал Джон.— Например, чудесная комнатка напротив столовой. Там и играйте!

— А я думала, она больше подходит для кабинета,— сказала Паула.— Ведь тебе нужен кабинет.

— Н-да. Пожалуй. А как насчет задней комнаты на нижнем этаже? — сказал он, обращаясь к Анне.

— Я думала поселить там филиппинку,— сказала Паула.

Джон насупился:

— Какую еще филиппинку? Зачем она нам? Разве няни и приходящей прислуги недостаточно?

— Если ты хочешь, чтобы я была женой политического деятеля, то недостаточно. Придется многих принимать...

— Конечно-конечно.

— А эти филиппинки просто чудо. Их вообще едва замечаешь.

— Не сомневаюсь, но ребятам действительно нужна детская.

— Разве они не могут играть в своих комнатах?

— Пожалуй.

— А где нам смотреть телевизор? — спросил Том.

— Послушайте,— начала Паула наигранно-воодушевленным тоном, которым обычно разговаривала с детьми Джона,— а что, если каждому из вас поставить в спальню собственный маленький цветной телевизор! Как вы на это смотрите?

— У каждого свой? — спросил Том.

— У каждого свой.

— А как же няня? И у нее?

— У нее тоже будет свой.

— Не будет ли это чересчур,— заметил Джон.

— Почему же. И потом, это обойдется дешевле, чем выгораживать еще одну комнату.

— А кровать? — спросила Анна неуверенно.— Мне нужна кровать.

Джон улыбнулся, наклонился и поцеловал ее.

— Ну, а как же,— сказал он.— У тебя будет та кровать, на которой ты сейчас спишь. И твой стол. И твой комод.

— А что же тогда останется в моей комнате дома? Там тоже нужна кровать.

— Когда мы переедем сюда, мы уже не будем там жить. Тот дом мы продадим. Там будут жить другие.

— Значит, мы не будем больше жить дома? — спросила Анна.

— Здесь и будет наш дом,— сказал Джон.

Потом они все вместе пообедали в ресторане, что уже не доставляло детям прежнего удовольствия, так как не было особенным событием. В ожидании еды они вертелись и задирали друг друга, как дома. На лице Паулы появилось сдержанное раздражение, и Джон, разозлившись, шлепнул Анну; та разрыдалась, уткнувшись лицом в жесткую накрахмаленную салфетку.

Потом они подвезли Паулу до Найтсбриджа и поехали к себе в Холланд-Парк. Няню на конец недели отпускали, так что они были втроем, без посторонних. Том и Анна пошли смотреть фильм по старому черно-белому телевизору, стоявшему в детской, а Джон поднялся в гостиную полистать парламентские доклады. Настроение у него улучшилось. Он успокоился и даже заметил у себя прилив сил. В пять он спустился на кухню приготовить детям еду. Надел старый, заляпанный томатным соусом фартук (можно подумать, что весь в крови), в котором обычно возился на кухне, и поставил кипятить воду для спагетти, любимого блюда Тома.

Проголодавшись, поскольку они почти ничего не ели в ресторане, и услышав, что отец возится у плиты, дети тоже спустились на кухню. Анна забралась на табурет, чтобы достать с полки банку с соусом, а Том стал накрывать на стол. Они смеялись, прыгали, гонялись друг за другом вокруг стола. Когда наконец они уселись за стол и Джон подал спагетти с тертым сыром и томатным соусом, а себе налил чаю, Анна подняла на него глаза и спросила:

— А мы не можем жить в этом доме, папа?

— В этом — нет,— сказал Джон, уставясь в чашку.

— Там, конечно, шикарней,— сказал Том,— особенно когда все покрасят, поставят мебель и всякие вещи, но мне наш дом все равно больше нравится. А тебе?

Джон посмотрел на их выжидающие лица.

— Оттуда мне на работу гораздо ближе. Я смогу приходить домой к чаю.

— Понимаю,— сказал Том,— но здесь все наши вещи, и мы всегда жили, и мама здесь жила...

— Нам будет здесь тесно...

— Почему тесно? Вон сколько места.— Том возражал мягко, но настойчиво, Анна смотрела на отца широко раскрытыми глазами.

— Нам станет здесь тесно, когда я женюсь на Пауле.

Том уткнулся в тарелку.

— Да, тогда конечно,— пробормотал он.

— Ты собираешься жениться на Пауле? — спросила Анна.

— Да.

— Но разве ты не женат на маме?

— Теперь нет.

— Потому что она умерла?

— Да.

— Значит, когда умирают, то уже не считается?

— Да.

Она понимающе кивнула.

— Папа, а тебе обязательно жениться? — сказал Том.— А нельзя как сейчас — просто жить нам втроем — без Паулы, и няни, и этой филиппинки...

— Нет, так нельзя,— сказал Джон.— Я взял на себя важную работу в парламенте, и нужно, чтобы кто-то обо мне заботился.

— Мы будем заботиться о тебе,— сказала Анна.— Обещаю.

— И мы не будем ссориться и драться,— сказал Том.

— А на праздники можно ездить к бабушке Стрикленд и к бабушке Лох,— сказала Анна.— Они за нами присмотрят.

Джон покачал головой.

— Нет, мне придется жениться на Пауле,— сказал он.— Я обещал, и потом, мне нужен кто-то... Когда вырастете, вы поймете.

— Еще, пожалуйста,— сказала Анна и протянула пустую тарелку.

— Мне тоже,— сказал Том, протягивая свою.

Джон стал изображать официанта-итальянца, подающего спагетти, и дети снова засмеялись.

Утром Джон повел детей к мессе. Он сел, потом преклонил колена, потом снова сел, как это делали другие, но не следил за церемонией и не слышал проповеди. Мыслями он был далеко. Как быть с коттеджем? Агенты по недвижимости говорили, что на дом, где произошло убийство, практически не найдешь покупателя. И что делать со старым «вольво», возвращенным полицией? Так и будет стоять у дома рядом с новым? Маклер посмотрел и предложил купить по цене металлолома. Джон послал его подальше. И как поступить с мебелью, которую Паула не хочет видеть в доме на Лорд-Норт-стрит? До чего, оказывается, непросто освободиться от прошлого — из церкви он вернулся в растрепанных, отнюдь не благостных чувствах. В качестве первого шага он решил заняться вещами Клэр и сложил их в картонные коробки, оставшиеся от его винного «погреба». Затем он либо сожжет все это, либо отдаст кому-нибудь.

Из верхнего ящика комода он принялся вынимать чулки, колготки, нижнее белье; во втором лежали юбки и блузки; в третьем — вязаные вещи. Тут на самом дне он нашел три почтовых конверта, перетянутых резинкой. Он повертел их в руках — все были на имя Клэр, адрес выведен аккуратной рукой. И тут же защемило на душе. Это что же, от Генри? Или от другого возлюбленного? Может быть, она и раньше изменяла ему — часто, всегда, многие годы? Он разглядывал конверт, верхний в пачке, и увидел, что марка на нем итальянская. Это когда Генри был там по делам? Но почерк не его. Возможно, попросил кого-нибудь надписать конверт, чтобы отвести подозрения. Джон вынул из конверта письмо. «Моя дорогая Клэр»... Он перевернул листок и взглянул на подпись: «С неизменной любовью, Майкл». Майкл? Что за Майкл? Он снова перевернул конверт и увидел, что письмо отправлено из иезуитского колледжа в Риме. Тут он вспомнил, что в Стоунхерсте воспитателем у Гая был священник, который их венчал,— иезуит отец Майкл Пирс.

Джон опустился на кровать — ноги не держали его. Снова взял письмо. «Моя дорогая Клэр, я очень обрадовался, получив Ваше письмо, пусть даже написать его Вас побудила неспокойная совесть». Он стал читать дальше. Клэр написала священнику, что Генри ухаживает за нею и она не склонна его отвергать. Иезуит отвечал более сурово, чем можно было ожидать: «...супружеская неверность, безусловно, греховна... это рак души». Тут Джон увидел свое имя на бумаге: «Вы ничего не пишете о Джоне. Не могу поверить, чтобы Вам хотелось причинить ему боль и унизить его». Что она отвечала на это? Джон развернул следующее письмо. Здесь все было больше по части теологии. «Если Вы делите ложе с Генри Масколлом, вовсе не обязательно, чтобы Вас ждал ад...» Вот это уже звучало в духе иезуитов. «Меня немного сбивает с толку то, что, по Вашим словам, Вы любите Джона и вместе с тем порой презираете его...» Что это? «Прояви Вы больше интереса к жизни Джона, разделяй Вы его устремления, жизнь, возможно, не казалась бы Вам столь унылой». Джон согласно кивнул.

Письма вызывали раздражение, потому что каждое было ответом на письмо к духовнику. Прочитав третье письмо, Джон прошел через гостиную и, присев к столику Клэр, набросал письмо отцу Майклу Пирсу.

«Мне только что попались Ваши письма к Клэр. Теперь Вы, наверное, уже слышали, что ее и Генри Масколла нашли убитыми в нашем коттедже 17 февраля. Естественно, мне крайне важно знать, как относилась ко мне Клэр перед смертью. К сожалению, мой роман, на который Вы ссылаетесь в одном из Ваших писем, не домысел Генри Масколла. Действительно, я первым нарушил супружескую верность, так что не мне обижаться на Клэр. Тем не менее я любил ее, и если Вы не сочтете это нарушением тайны исповеди, я был бы признателен, если бы Вы позволили мне прочесть ее письма».

Три недели спустя иезуит ответил ему из Рима:

«Гай написал мне об убийстве Клэр. Никогда и ничем, даже смертью собственных родителей, я не был так потрясен, как этой вестью. Я тогда же чуть было не послал Вам ее письма, ибо, хотя Вы и найдете в них весьма резкие слова о Вас, там говорится и о том, как она Вас любила. Быть может, для Вас будет утешением узнать, сколь мало, в сущности, значил для нее Генри Масколл. Она ни разу не обмолвилась, что любила его, равно как и он ее. Увы, она чувствовала себя неприкаянной, и я скорблю, как, должно быть, скорбите и Вы, что мы не сумели ей помочь.

Любопытно, что я говорю Вам это так, будто речь идет о самоубийстве. Но в этих письмах есть указание на духовное самоубийство, и надо благодарить всемогущего господа нашего за то, что он явил нам знак, свидетельствующий о ее предсмертном раскаянии.

Строго говоря, она не исповедовалась мне, и я не нарушаю тайну исповеди, пересылая Вам ее письма. Тем не менее они дороги мне, и я был бы рад, если б Вы их вернули.

С наилучшими пожеланиями
Майкл Пирс, ОИ[1]»

Джон положил это письмо и письма Клэр в карман пиджака, чтобы прочесть их вечером, когда дети лягут спать, но потом сел на постель, которую делил с Клэр, достал письма и начал их читать.

Глава восьмая

Дорогой отец Майкл,

С Новым годом! Надеюсь, я не вызову Вашего неудовольствия тем, что пишу Вам. А пишу я Вам потому, что мне случалось говорить с Вами о боге и со времени Вашего отъезда у меня нет никого, к кому я могла бы обратиться. Я ходила к исповеди перед рождеством рассказать о своих заботах, но у священника оказался ужасный ирландский выговор — мне это всегда претило, и потом к нему была такая очередь, что я сжалилась над ним, сказала просто о «нечистых помыслах» и ушла после «Богородице, славься». Я почувствовала себя легче, но ненадолго. И вот я подумала: раз Вы нас венчали, Вам должно быть интересно знать, как у нас идут дела, а дела у нас такие: я очень боюсь, что несусь в пропасть супружеской неверности, и не могу остановить себя. Я подумала, что, если напишу Вам об искушении, возможно, Вы придумаете противоядие.

«Искуситель» же мой — старый друг Джона по имени Генри Масколл. Может быть, Вы слышали это имя. Абсурд полнейший,

[1] Общество Иисуса (иезуиты).

потому что Мэри, его жена,— моя самая близкая подруга; собственно, мы с мужем знаем их обоих с тех пор, как поженились, так что это не тот случай, когда ты вдруг увидела высокого красивого брюнета среди гостей в другом конце гостиной. Ах, если б так. Нет, все вульгарно и мерзко. Как раз перед рождеством Генри позвонил и пригласил меня пообедать в роскошном ресторане. Я согласилась просто потому, что он старый друг, а жизнь — такая тоска. Накануне вечером я вымыла голову, приготовила свое самое элегантное платье и, наконец, поймала себя на мысли, что не намерена рассказывать обо всем этом Джону.

Одно уже это — грех. Добропорядочной католичке, матери двоих детей, не пристало иметь тайны от своего мужа и лучшей подруги, но противиться было выше моих сил. Нет, не вино и даже не Генри послужили причиной, а опьянение тайной. Будет о чем помечтать, пока жаришь детям рыбу.

На рождество мы поехали к родителям Джона, а на Новый год — в Бьюзи. Я ходила к святому причастию и молилась, но это не была молитва от души, я не могла прогнать Генри из моих мыслей и, как школьница, мечтала очутиться в его объятиях. Вот уж поистине запретный плод сладок. Едва мы вернулись вчера, он тотчас позвонил и пригласил меня поужинать. Я понимала, что не следует этого делать (ужин — затея более рискованная, чем обед), но Джон был в Хакни — занимался своей политикой, дом наш, пока нас не было в Лондоне, ограбили, и я не стала противиться. Я сказала «да». Генри наговорил Мэри небылиц про каких-то арабов, которых он должен развлекать. Мы мило поужинали при свечах, и по дороге домой в автомобиле он поцеловал меня, и хотя я не позволила ему «заходить дальше», как принято говорить в таких случаях, этот поцелуй доставил мне наслаждение, какого я не испытывала многие, многие годы. И вот в совершенном отчаянии я пишу Вам, точно объявление в газету о пропаже. Ради бога, что же мне теперь делать?

С любовью
Клэр.

P. S. Дети послали бы Вам привет, знай они, что я пишу Вам, но я не смею им сказать, потому что они могут передать Джону и он заподозрит неладное. «О, что за сети мы плетем, когда впервые в жизни лжем»[1].

Дорогой отец Майкл,

Спасибо за Ваш ответ. Я читала Ваше письмо и думала, что, конечно же, последую Вашему совету и никогда больше не встречусь с Генри, но вот зазвонил телефон, и у меня замерло сердце. Я надеялась, что это он, и это был он. Завтра мы снова обедаем вместе. Вот и все мои благие намерения.

Умом я понимаю: все, что Вы говорите,— правда, однако есть одно-два обстоятельства, о которых Вы никак не можете знать и которые — нет, не извиняют меня, но несколько меняют положение вещей. Например, я люблю Джона, и он был бы оскорблен, обнаружив, что у меня роман — тем более с Генри, но Джон не был мне верен. Я всегда подозревала, что у него есть любовница, и Генри подтверждает это. Он говорит, что у Джона вообще такая слава, а сейчас он путается с некой Паулой Джеррард. Это не извиняет меня, я понимаю. Мужчины — ведь это совсем другое дело, и я не собираюсь ложиться в постель с Генри просто в отместку Джону. По крайней мере, сейчас мне так кажется. Я не

[1] В. Скотт. Мармион.

минуты не тешу себя надеждой, что Генри будет мне верен, стань я его любовницей. У него, по всей вероятности, и сейчас есть две-три другие приятельницы. Что же до Джона, то дело не в его непостоянстве — просто очень он скучный. Не думаю, что он такой со всеми. Нашла же в нем что-то Паула Джеррард. Но с любым заскучаешь, если знать его слишком хорошо, а Джон до такой степени предсказуем, что действует мне на нервы. Вы знали, что он собирается баллотироваться в парламент от лейбористской партии? Типично для него: если все идут вправо, значит, он идет влево. Это могло бы произвести впечатление, будь он искренен, но его социализм — поза, и только. Так было всегда. Он и меня в свое время пленил своей повышенной эмоциональностью. Пусть я поступаю не совсем честно, ведь я влюбилась в него именно потому, что он был таким идеалистом. В действительности он настоящий сноб. Самым великим огорчением было бы для него, если бы я стала ходить по дому в бигуди, говорить на уличном жаргоне, если бы у меня на ногах появились варикозные вены или я подавала бы ему жареный колбасный фарш к чаю. Только Джон не понимает, что он сноб. Какое-то время я думала, что он счастлив — званые ужины, отпуска за границей, покупка модных машин для сада. А он вдруг взялся за старое — видимо, наступил климактерический период! Он снова стал «политически активен». Сначала я решила — это предлог, чтобы встречаться с какой-то женщиной, но нет, он честно проводил вечера на собраниях местного отделения лейбористской партии. Однако это, увы, не вернуло моих былых восторгов от его радикальных устремлений, потому что теперь двигали им не идеалы. В лучшем случае — тщеславие. Политикой занимаются большей частью из желания быть в центре внимания, не так ли? Не беда ли нашей демократии, что народ представляют люди с комплексом неполноценности? Кто еще способен вынести такую скучищу? У Джона легкая форма folie de grandeur[1]. Думаю, это свойственно многим адвокатам. Он воображает, что, коль скоро он искушенный адвокат и способен одержать верх в споре за обеденным столом, значит, он умнее других, тогда как на самом деле скорей глупее, так мне кажется. А может, я ошибаюсь и он вовсе не глуп. Жене трудно судить. Но он педант, а когда человек одерживает верх в споре с помощью юридической казуистики, это только отталкивает людей. Да и его социализм, самодовольный и высокомерный, тоже вызывает скуку. Я понимаю Генри, это его раздражает. Вообще мне иногда приходит в голову, что его ухаживание за мною после стольких лет знакомства продиктовано желанием уязвить Джона. Не очень лестно, а? Это только усугубляет грех, но бездна есть бездна — какая разница, сколько лететь, тысячу или десять тысяч футов?

Но это не все о Генри — есть вещи и похуже. Стыжусь даже на бумаге признаться, потому что это может вызвать у Вас презрение ко мне, но ничего не поделаешь: на второй вечер он откровенно заявил, что скучающие замужние женщины — самая легкая в Лондоне добыча. Вот так-то — поскольку я скучающая замужняя женщина, то в конце концов сдамся. Я ответила, что не принадлежу к их числу, но даже если бы и скучала, все равно не стала бы с ним спать лишь потому, что у Джона любовница. Ведь Джон не католик и не ведает, что творит, а я католичка и знаю, что есть грех. Генри только посмеялся. Он сказал, что над католичками у него куда больше побед, чем над всеми другими, вместе взятыми. Он сказал, что если я откажусь, то исключительно из мещанского пуританства, а не из страха утратить божью милость. Он назвал множество католичек, у которых, как всем из-

[1] Мания величия *(франц.)*.

вестно, есть любовники, чем привел меня в замешательство. По его словам, католическая церковь отказалась от понятия «смертный грех», поскольку это понятие не поддается осмыслению. Это правда?

Я изъясняюсь не очень связно. Как видите, борьба продолжается. Согласна, природа привносит гармонию в мысли, но какой смысл ехать в деревню сейчас, когда там все голо.

Пожалуйста, пишите мне. Можете быть как угодно суровы.

С любовью
Клэр.
15 февр.

Дорогой отец Майкл,

Сегодня утром я получила Ваше последнее письмо, но боюсь, оно запоздало. Вчера я ужинала с Генри Масколлом. Там было еще несколько человек (Джон уехал в Хакни). Я сидела рядом с Генри и сумела шепнуть ему, что буду одна в нашем коттедже в субботу вечером. Он сказал, что приедет. Самое страшное: я молила Бога, чтобы Генри именно так ответил, и молюсь теперь, чтобы он приехал. Единственно, перед чем трепещу,— это то, что я ему вовсе не нравлюсь и все окажется просто шуткой. Лучше бы, не правда ли, уж вовсе не молиться?

Простите. Я чувствую себя виноватой, потому что знаю: Вы потратили столько своего драгоценного времени на эти письма ко мне и молитвы за меня, тогда как могли бы молиться за кого-то более достойного. Ваш совет был добрым советом. Согласна со всем, что Вы говорите, но боюсь, уже слишком поздно. Я слишком далеко зашла, и никакие доводы не помогут. Я, безусловно, согласна с тем, что не должна причинять боль детям и Джону, и, конечно же, я их всех люблю больше, чем Генри. Просто сейчас моя потребность в Генри настолько сильна, что я решилась, и будь что будет. В сущности, я больше чем уверена, что ничего такого не случится. Даже если Джон узнает, ему будет все равно. Оскорбленное самолюбие — да, возможно, но я не думаю, что он меня еще любит. Он предпочел мне свою новую карьеру и не захочет развода теперь, когда он член парламента (в его округе предостаточно ирландцев-католиков!), так что детям ничто не грозит. Вообще я чувствую, что могу сговориться с кем угодно, кроме Бога, а заставить себя расстаться с Генри ради чего-то, во что большинство людей не верит, право, не могу. Это же нелепо. Так что я просто оставила его в покое и обратилась к Пресвятой деве и св. Иосифу, чтобы они тоже отступились от меня, так что не вините никого из них за то, что они не пришли мне на помощь.

Надеюсь, Вы не осудите, но лучше не пишите мне больше. Я, может быть, теперь и распутная женщина, но все еще сохранила чувство стыда.

С любовью
Клэр.

Глава девятая

На следующий день — это было в субботу — Джон повез детей обедать к Пауле. У нее на Пэрвз-Мьюз к этому времени был уже полный шкаф игрушек и игр, а по случаю приезда детей каждому было куплено по маленькой panier [1] французских шоколадок в красивых

[1] Корзинка *(франц.)*.

цветных обертках. Дети пошли наверх играть, а Джон сидел на кухне с бокалом аперитива и утренней газетой, пока Паула готовила обед.

— У тебя есть идеи насчет дома? — спросила она, стоя у мойки спиной к Джону.

— То есть?

— Вчера закончили перестройку,— сказала она.— Мастера готовы с понедельника приступить к отделке.

— Прекрасно.

— С гостиной ясно, и с холлом я тоже все продумала, а как быть с твоим кабинетом?

— Меня вполне устраивают просто белые стены.

— Как у вас в гостиной? Забавно. Я-то всегда думала, что это из-за отсутствия воображения у Клэр.— Она засмеялась.— Во всяком случае не белые — это не для Лондона, потому что сразу видна грязь.

Джон промолчал.

— Я думаю, для кабинета лучше всего что-нибудь в густо-бордовых тонах или же в зеленом колере, под бильярдное сукно. Нет, это слишком ярко. Лучше цвета бутылочного стекла. Надо тебе посмотреть библиотеку во французском посольстве — я такой цвет имею в виду.

— Как хочешь,— сказал Джон.

Она повернулась к нему лицом:

— Твое дело, конечно. Речь идет ведь о твоем кабинете. Хочешь белые стены — пусть будут белые.

— Мне, право, все равно.

Она вытерла о фартук руки, подошла, села рядом.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего.

— Ты чем-то подавлен. Плохо спал?

— Нет. Все в порядке.

— Ты слишком много работаешь,— сказала она.— Перегружаешь себя адвокатурой. Следовало бы поберечь силы для парламента.

— Деньги приходится зарабатывать.

— Ну, это ненадолго.

— И потом, моя деятельность в палате общин представляется мне по большей части пустой тратой времени.

— Терпение. Скоро тебя посадят в какой-нибудь комитет или получишь пост в правительственном аппарате. Папа виделся на днях с Гарольдом Левером, и, как я поняла из разговора, там помнят о тебе.— Джон насупился, уткнулся в газету.— И все-таки что-то не так, да? — спросила Паула.

— Нет.

Она встала:

— Не хочешь — не говори, просто я тебя достаточно знаю, чтобы сразу понять, когда что-то не так.

За обедом Паула принялась описывать приготовления к свадьбе. Анна будет одной из четырех подружек невесты; шлейф понесут Том и кузен Паулы по имени Хеймиш Джеррард. Девочки будут в длинных платьях из зеленого муслина с высоким лифом, с венками из цветов в волосах; мальчиков оденут в гусарскую форму, с настоящими киверами и высокими лакированными сапогами до колен.

— Потом это пригодится для костюмированных балов,— заключила она, обращаясь к Тому.

— А шпага у меня будет? — поинтересовался Том.

— Зачем? — сказала Паула.— Еще зацепишься и упадешь в проходе.

— Не зацеплюсь,— сказал Том.

— Ну, посмотрим.— Она повернулась к Джону: — А ты что наденешь? — спросила она.

— У меня есть визитка.

— Какая?

— Обыкновенная.

— Черный сюртук и полосатые брюки?

— Да.

— Мне хотелось бы, чтобы ты заказал все новое.

— И это не старое. Я надевал всего раз шесть.

Она поджала губы:

— Возможно, но если ты выкроишь час-другой на неделе, мы съездим к папиному портному, он снимет мерку, и будет все новое — одноцветное, темно-серое.

Джон насупился:

— Мы не переборщим с этой свадьбой?

— Что ты имеешь в виду?

— Много будет приглашенных?

— Это зависит от тебя. По маминому списку набирается чуть больше двухсот, но вряд ли все приедут.

— А тебе не кажется бестактным, что ли, затевать пышную свадьбу, когда еще не забыто...— Он посмотрел на детей и осекся.

— Я вовсе не хотела пышной свадьбы,— сказала Паула.— Меня вполне устроила бы просто регистрация, но ведь я единственная дочь, и с нашей стороны было бы эгоистично отказать папе с мамой в том, чего они ждали столько лет.

— Пожалуй.

— Мы ведь выждали полгода, вполне пристойный срок.

— Да.

— Тем более всем известно, что мы давным-давно знакомы.

Хотя Джон и уклонился от объяснений насчет своего настроения, он чувствовал себя угнетенным, был замкнут и раздражен. Он смотрел на Паулу, сидевшую напротив,— она была такая же хорошенькая, как и всегда, да и в самом ее стремлении повелевать тоже не было ничего нового; а доводы ее при этом оставались неизменно разумны... Глядя на нее, он чувствовал ту же нежность и желание заботиться о ней, что и прежде... но к этим чувствам примешивалось что-то другое, неуловимое — так мешает слушать музыку чья-то чужая речь, врывающаяся в радиоприемник с соседнего диапазона.

После обеда они поехали еще раз посмотреть дом на Лорд-Нортстрит, но Джон не мог заставить себя даже сделать вид, что его интересует, какие ковры и портьеры нужны для какой комнаты. Паула досадливо бросила:

— Ты ведешь себя так, точно не хочешь здесь жить, хотя я искала этот чертов дом единственно ради тебя.

— Почему же не хочу,— не очень убедительно возразил Джон,— просто тебе не следует забывать, что я сыт по горло коврами и занавесками.

Паула помрачнела, но ничего не сказала. И почти тут же Джон собрался ехать: друзья пригласили детей на чай; они с Паулой поцеловались на прощание.

Дома, оставшись один, Джон приготовил себе чай и принялся просматривать «Хансард»[1], но тут почувствовал неудержимый приступ раздражения и меланхолии. С возрастающей тревогой он узнавал симптомы болезни Ивана Ильича, которая представлялась ему абсолютно несообразной,— ведь он же исцелился: политический деятель, лейборист, помогающий бедным, активно вникающий в нужды

[1] Официальный стенографический отчет о заседаниях обеих палат парламента; в период работы парламента выпускается ежедневно.

общества. Стал бы он иначе читать отчет о дебатах касательно каких-то химикалиев? И тут он вспомнил о письмах. Вот что вывело его из душевного равновесия. Он подошел к столику Клэр, выдвинул ящик, взял письма, словно в руках у него они лишались их зловредного влияния. Он снова их прочел — одни абзацы опуская, другие же читая и перечитывая, пытаясь понять, логично и трезво, что же в них так все в нем перевернуло.

Сначала это было как шок — слышать ее голос из могилы, так как, читая письма, он слышал ее голос, произносящий написанные слова. Больно было также читать между строк об ее влечении к Генри Масколлу. Конечно, неприятно было видеть, как мало она питала уважения к нему, хотя, оглядываясь назад, он понимал, что мог догадаться об этом по ее отношению к его политическим амбициям. Все-таки больше всего раздражало то, что, хоть она откровенно винила себя в адюльтере, он-то сознавал: ответственность за случившееся лежит на нем. Он чувствовал, она каким-то образом перехитрила его, ибо хоть и не оправдывала себя его неверностью, но, похоже, была убеждена, что он ее разлюбил. Тогда почему же — если он не любил ее — он сейчас так страдает? Какое она имела право говорить, будто он предпочел ей свою карьеру,— забросил спутницу жизни, мать своих детей ради маразматиков-пенсионеров из Хакни и дебатов о вреде химикалиев? Возможно, он тщеславен, напыщен, педант и зануда, но почему, видя в нем все это, она не удосужилась разглядеть, что его любовь и уважение к ней были настолько прочны, что составляли часть его личности?

Стало жарко. Он пошел открыть окно, поднял раму одного из высоких окон гостиной, выходивших на улицу. В комнату вместе со свежим воздухом хлынули и звуки города — автомобильные гудки у светофоров на Холланд-Парк авеню, детский гомон в садах за площадью и аромат ломоноса — Клэр посадила вьюнок десять лет назад.

Он вернулся к своему креслу и снова принялся перебирать письма. Да, конечно, его угнетенное состояние объяснялось и этим. За двенадцать с половиной лет они с Клэр срослись, как побеги плюща, и Джон знал — ему уже не выпрямиться, не вырасти стройным деревом. Конечно, была Паула — пробивающий себе путь в жизни молодой побег, цепляющийся, чтобы утвердиться, за каждую трещинку в коре старого дерева. Она вырастет рядом с ним и, несомненно, закроет его, так что те, кто остановится когда-нибудь полюбоваться буйно цветущим вьюнком, и понятия не будут иметь, что вырос он на старом шишковатом стволе.

Джон вздохнул, ибо он с грустью понял: его любовь к Пауле сродни любви Клэр к Генри Масколлу — он тоже искал способа «выпустить пар» и никогда не будет любить Паулу ровно, небрежно, по-братски, как любил Клэр. Потому что он для этого слишком стар. Джон понял: его ждут вечные заверения в страсти к Пауле, которыми он будет прикрывать легковесность своей любви.

Детей привезли родители их друзей. Джон проследил за тем, чтобы Том и Анна приняли ванну, почитал им перед сном и уложил спать. Пришла миссис Джайлс: Джон с Паулой должны были ужинать у Барклеев. Было приглашено еще шесть человек, включая Микки и Мэри Масколл. Три порции виски привели Джона в форму. Он поддразнивал хозяина и хозяйку дома, посмеиваясь над политической истерией, которую те устроили накануне выборов. Так где же комиссары? И что случилось с революцией, которую они предрекали?

— О, так ведь мы этого не говорили,— возразила Ева Барклей.— Все это Генри.

Тут Мэри Масколл залилась краской, и наступило неловкое молчание. Но вскоре все снова заговорили и держались прекрасно. Вечер явно удался.

Уже в дверях, прощаясь, Мэри и Паула решили, что надо будет как-нибудь сходить вчетвером в кино или посмотреть какую-нибудь пьесу.

— Разве вас в парламенте не загоняют в десять вечера в постельку, как пай-мальчиков? — поддел Микки Джона.

— Не еженощно,— отшутился Джон.

Женщины долго договаривались звонить друг другу, хотя было ясно, что никогда они этого не сделают. И обе пары разошлись. Джон с Паулой возвратились на Пэрвз-Мьюз и, слегка пьяные, предались необузданным ласкам.

В Холланд-Парк Джон вернулся только в час ночи, тем не менее утром поднялся вовремя, чтобы накормить детей завтраком и отвести в церковь. Они сели на скамью недалеко от алтаря. Над ними на деревянном пьедестале возвышался раскрашенный гипсовый Христос, перстом указующий на кровоточащее сердце в отверстой груди. Что, спрашивал себя Джон, что это давало Клэр? В самом деле — ну что ей давало это шаманство? Больше всего и поразило его в ее письмах, что она так серьезно воспринимала бога и религию. Ему всегда казалось, будто она ходит к мессе по привычке и воспитывает детей католиками в угоду матери. Он никогда не видел и не слышал ее молящейся, а она, оказывается, молилась всю жизнь. Как странно — прожить с женщиной двенадцать с лишним лет и не знать, что у нее в мыслях. Эти спокойные голубые глаза скрывали не только томление по Генри Масколлу, но еще жажду общения с богом.

И как странно, что в ее глазах он, оказывается, был совсем другим, чем в собственных. А на самом деле? — с любопытством подумал Джон. Милый педант и тоска смертная? Тщеславный и тупой лицемер, если по Генри? Сильный честолюбивый государственный муж, как считает Паула? Или просто обычный честный идеалист, каким он сам себе представляется? Зеркала дают точное отражение физического облика, но где то зеркало, в котором можно разглядеть свой характер? Ужели увидеть себя можно только со стороны? А если так, то не предпочитает ли человек тех, кто видит его в выгодном свете? Разве Гордон Пратт нравится ему главным образом не потому, что верит в его политическую карьеру? А взять Паулу — ведь его привлекло к ней не лицо или фигура и даже не молодость, не элегантная внешность и богатство, а то, что в ее красивых карих глазах он увидел восхищение собою!

Именно это — теперь он знал — больше всего и потрясло его, когда он читал письма Клэр: оказывается, он совсем не такой, каким себе представлялся, а — подобно гипсовому изваянию Христа с обнаженным святым сердцем — для разных людей разный, и его восприятие себя, окрашенное любовью к себе, пожалуй, самое неверное из всех.

В алтаре зазвенел колокольчик. Том и Анна опустились на колени, и Джон — тоже. Мысль, что люди знают всех, кроме себя самих, вызвала у него новый приступ философических размышлений, ибо это как бы подрывало основы, на которых человек строил свою жизнь. Других можно понять по их делам и словам, хотя одни и те же слова и действия могут быть продиктованы самыми разными мотивами. Клэр видела в Генри Масколле дьявола, потому что он предлагал ей переспать и настаивал, чтобы она сама назначила время и место. Отец Майкл поддерживал ее в таком мнении, и Джон считал Генри, безусловно, скверным, мерзким человеком. Но не могло ли

статься — такое вполне возможно,— что сам Генри видел себя порядочным малым, оказывающим дружескую услугу привлекательной женщине, чей муж крутит романы на стороне? Не могло ли также статься, что чувство приличия, а вовсе не желание унизить побуждало его настаивать, чтобы она, понимая, на что идет, сама выбрала время и место встречи?

Возможно также, что он, Джон Стрикленд,— ведь это как посмотреть,— выглядит не менее порочным, чем Генри Масколл. «Может быть, я жил не так, как должно?» — припомнилась ему мысль Ивана Ильича. И его же ответ: «Но как же не так, когда я делал все как следует?» Не мог ли и он сказать так же? Джилли Масколл? Мимолетное увлечение. Паула? Он перенес тяжесть тела с колен на спину и привалился к стенке заднего ряда. Любовницы — атрибут преуспевающих мужчин, да и в любом случае мужчина — это совсем другое дело; и потом, он по крайней мере никогда не посягал на жену друга.

Снова зазвенел колокольчик. Том и Анна подняли глаза к алтарю, когда священник воздел над головой руки со святыми дарами. А облатки? Неужели Клэр действительно верила, что это тело Христово, а Христос — сын божий? Неплохо было бы, конечно, если б бог и вправду существовал — тогда он смог бы увидеть истинного человека, заглянув за маску притворства, и сквозь предубежденность друзей и врагов. Бог по крайней мере мог бы отделить хорошее от дурного в любом человеческом поступке. «Даже я поверил бы в бога,— подумалось Джону,— покажи он мне, какой я на самом деле».

Глава десятая

В понедельник, 29 июля, за пять дней до свадьбы, сэр Питер Крэкстон позвонил Джону в палату общин и спросил, не может ли Джон выбрать время и наведаться к нему в контору до конца недели.

— Что-нибудь новое из полиции? — спросил Джон.

— Нет-нет. Дело не в этом. Надо уладить некоторые формальности по брачному контракту...

У Джона была тяжелая неделя; портной еще не доделал темно-серую визитку, тем не менее он назначил встречу в конторе сэра Питера в Линкольнзинн на пятницу утром. Приехав, Джон нашел сэра Питера в обществе еще одного джентльмена, мистера Мэйтленда, лысеющего человека в очках, которого сэр Питер представил как помощника управляющего филиалом банка «Куттс энд К°», где у Паулы был счет.

— Прошу садиться,— сказал сэр Питер, указывая Джону на стул, обитый красной кожей, у его письменного стола, а мистеру Мэйтленду на менее удобное место в углу.— Я только что говорил по телефону с инспектором уголовной полиции Томпсоном. Тот был откровенен, насколько этого можно ждать от полицейского. Они ни на шаг не продвинулись в розыске убийцы вашей супруги.

— Даже никаких подозрений?

— Он говорит, что они отработали несколько версий, но все впустую. Понимаете, никаких отпечатков. Как выразился Томпсон, убийца либо сверхсчастливчик, либо сверхпрофессионал.— Сэр Питер откинулся в своем кресле.— Но мы здесь собрались потолковать о более приятных вещах.

Мистер Мэйтленд у Джона за спиной кашлянул.

— Как вам, очевидно, известно,— вкрадчиво начал сэр Питер,— сэр Кристофер Джеррард очень богатый человек. А Паула — это вы едва ли столь же ясно себе представляете — после замужества становится тоже очень богатой женщиной.

— Допускаю, у нее есть деньги,— сказал Джон.

Сэр Питер нахмурился, недовольный, что его перебивают.

— Здесь есть маленькая сложность, так что позвольте мне закончить. До сих пор Паула не располагала собственными средствами. Она жила на назначенное отцом содержание. По вступлении же в брак она будет получать доходы из фонда, находившегося в доверительном управлении, согласно брачному соглашению. Фонда, учрежденного сэром Кристофером при ее рождении. Акт распоряжения доверительной собственностью был составлен со множеством оговорок, о которых сэр Кристофер сожалеет. До замужества Паула не могла распоряжаться ни основным капиталом, ни даже доходами с него, таким образом до сих пор она состоит на попечении отца, и фонд, сумма которого, свободная от налогового обложения, возрастала год от года, представляет собой на данный момент состояние...— Он заглянул в бумагу на столе.— Приблизительно в три с половиной миллиона фунтов стерлингов.

Мистер Мэйтленд снова кашлянул.

— Понятия не имел, что так много,— сказал Джон.

— Рад, что могу сделать вам приятный сюрприз,— сказал сэр Питер.— Однако не ради этого я отнимаю у вас драгоценные утренние часы. В акте — документе весьма своеобразном, но не я его составлял — содержится условие, согласно которому Пауле и ее будущему супругу выплачивается еще до брака по десять тысяч фунтов каждому, всего двадцать тысяч,— а вернее, дается взаймы и затем вычитается из фонда после брака. Видимо, составители этого документа предполагали, что Паула выйдет замуж за неимущего, которому могут понадобиться деньги на визитку. Словом, можете взять взаймы из фонда до десяти тысяч фунтов, и десять тысяч фунтов еще до брака может взять Паула.

Джон улыбнулся:

— Вряд ли я смогу истратить десять тысяч фунтов до завтрашнего дня.

Сэр Питер снова нахмурился:

— Я далек от такого рода предположений. Единственное о чем сэр Кристофер просил меня, это изъять из фонда все суммы выплаченные вам или Пауле до бракосочетания.

— Я не совсем понимаю.

— Сэр Кристофер считает, настало время получить из фонда деньги, потраченные на содержание Паулы.

— Но почему же тогда он дарит ей Ренуара...

— Картина Ренуара была приобретена у сэра Кристофера из средств фонда. Он, как видите, истинный финансист. У него не бывает свободной наличности — он все пускает в оборот.

— Паула не может просто вернуть ему долг когда мы поженимся?

Сэр Питер колебался:

— Может. По существу, может. Но сэр Кристофер не должен выступать сам в качестве бенефициара[1].

— Разумеется, нет.

— Она конечно, может вернуть ему после свадьбы сумму, которую получила в текущем финансовом году, но деньги за истекший финансовый год могут быть выплачены из «займов», выданных попечителями. В конечном итоге это составит уже сорок, а не двадцать тысяч фунтов стерлингов.

— Та-а-к.

— Нам хотелось бы сейчас установить, какие суммы вы получили от сэра Кристофера через посредство Паулы в течение двух лет, по пятое апреля сего года.

---

[1] Лицо, получающее деньги или доходы от имущества, находящегося в доверительном управлении.

— Но я вообще ничего не получал,— сказал Джон.

Теперь улыбнулся сэр Питер:

— Я имею в виду подарки от мисс Джеррард, которые могли бы рассматриваться как приобретения, сделанные на деньги, полученные взаймы из фонда.

— А, ну конечно. Автомобиль.

— Который стоит две тысячи пятьсот восемьдесят четыре фунта стерлингов,— проговорил Мэйтленд.

— Не припомните еще чего-нибудь? — спросил Джона сэр Питер.

Джон залился краской:

— Она покупала мне рубашки, ну, еще там...

— Именно. Итак, по графе — разное. Скажем, фунтов двести?

— Понятия не имею.

— Я понимаю, трудно подсчитать. Положим, двести фунтов.— Он пометил сумму.— Теперь вы, очевидно, поняли, почему я не пригласил сегодня и Паулу.

— Понял.

Сэр Питер посмотрел поверх плеча Джона на мистера Мэйтленда.

— Распоряжение относительно некой Т. Е. Кларк учтено?

— Да.

— Это няня при моих детях,— сказал Джон.

— И также относительно А. Е. Джайлс,— добавил Мэйтленд.

— Эта женщина убирает в доме.

— Что-нибудь еще? — спросил сэр Питер.

— Паула, случалось, покупала моим детям сладости,— сказал Джон саркастически.— Можете добавить пять или десять фунтов на эти расходы.

Сэр Питер с готовностью записал и эту сумму.

— Больше ничего?

— Нет.

Мистер Мэйтленд откашлялся:

— Полагаю, вы запамятовали о пяти тысячах фунтов стерлингов, которые мисс Джеррард дала вам в феврале,— сказал он.

Джон обернулся. Лицо м-ра Мэйтленда было в тени — он сидел спиной к окну.

— Какие пять тысяч фунтов?

Мистер Мэйтленд повел авторучкой по копии банковского счета Паулы.

— Пятнадцатого февраля,— сказал он,— она сняла со счета пять тысяч фунтов наличными.

— Чего ради, черт подери?

— Говорилось, что для вас, сэр.

— Но зачем мне пять тысяч фунтов наличными?

— Предполагаю, вы... немного превысили кредит в банке.

— Но превышение кредита не погашают наличными! — Джон не мог скрыть раздражения.

— Мне это тоже показалось странным,— произнес мистер Мэйтленд,— но мисс Джеррард объяснила мне, сэр, что... м-м-м... что вы были женаты и супруга видела ваши счета...

Джон расхохотался:

— Абсурд. Моя жена за милю обходила все, что хоть отдаленно напоминало банковский счет.

— Дело не в том,— произнес сэр Питер,— куда вы дели эти деньги, а в том, получали ли вы их, поскольку, если вы их получили, мы можем их востребовать...

— Ну конечно нет! — сказал Джон.

Сэр Питер тяжело вздохнул:

— Было бы удобней, если б получали.

Джон обернулся к представителю банка:

— Вы уверены, что она взяла пять тысяч фунтов? Наличными? Пятнадцатого февраля?

— Да, мистер Стрикленд. Я собственноручно выдал их ей. Я еще запомнил, как она сказала, что незачем ей было тащить с собой такую сумку.

— Какую сумку?

— Она полагала, что пять тысяч наличными — это куча денег, и пришла с синей парусиновой сумкой, чтобы забрать их.

Джон посмотрел на сэра Питера. На какой-то миг их глаза встретились. Но сэр Питер тут же отвел взгляд и сказал:

— Не наше дело гадать, на что потратила деньги Паула. Она могла, например, проиграть их на скачках. Но совершенно ясно, что мистер Стрикленд их не получал, посему они и не могут быть записаны в счет ассигнований, выданных ему в семьдесят третьем — семьдесят четвертом году...

Он продолжал говорить, но Джон не слушал и, как только подвернулся удобный момент, выскользнул из конторы сэра Питера и помчался на «вольво», стоившем 2 584 фунта стерлингов, в Пэрвз-Мьюз. Паулы не оказалось дома. Они должны были встретиться вечером, и Джон подумал, что она, возможно, пошла куда-нибудь обедать с матерью или отправилась в Приннет-Парк показывать подвенечное платье, которое, как и его визитку, принесли лишь накануне; но когда он поднялся наверх, то первое, что бросилось ему в глаза, было платье, аккуратно разложенное после примерки на диване. Непорочное белое одеяние в этот момент показалось ему саваном Клэр, а не свадебным платьем Паулы,— и пока Джон сидел в кресле гостиной, залитой ярким солнечным светом, воображение рисовало ему образы двух его невест — сначала первой, затем второй; обе — невинные, прелестные, ласковые; обе — теперь он это понимал — способные на коварный обман.

Он попытался вспомнить выражение лица Паулы, когда полгода тому назад его занесло сюда, через два дня после того, как она взяла из банка пять тысяч фунтов наличными и унесла их в синей парусиновой сумке. Это было на другой день после убийства Клэр, и он тогда застал ее вдвоем с Терри Пайком. Вина или страх были у нее в глазах? Он помнил только ее успокаивающий, утешающий голос и открытое лицо. Однако теперь он чувствовал бесконечное недоверие к Пауле и не сомневался, что сумка, с которой тогда ушел Терри Пайк, была той самой и лежали в ней не пижама и зубная щетка, а пять тысяч фунтов наличными. Но за что она заплатила пять тысяч фунтов? Прощальный подарок? Она наверняка уже одаривала его. Отступные? За что? Джон вспомнил, как в их первую встречу она цитировала отрывок из «Ромео и Джульетты». Он поднялся и подошел к книжным полкам, чтобы найти нужное место.

Ты так убог — и жизнью дорожишь?
Провалы щек твоих — живая повесть
О голоде, горящие глаза —
Об униженьях. Нищета согнула
Тебя в дугу. Свет не в ладах с тобой.
Его закон — не твой. Его обычай
Не даст тебе богатства. Ну так что ж?
Рассорься с миром, сделай беззаконье,
Спрячь эти деньги и разбогатей.

Ромео подкупает аптекаря, чтобы тот дал ему яда. Но за что же Паула платила Терри Пайку? Что ей нужно было от него? И какая услуга могла столько стоить?

Он вернулся к камину и опустился в кресло — от подозрения, вспыхнувшего в сознании, подкосились ноги, как если б сердце вдруг перестало питать мозг кровью. Он услышал, как внизу хлопнула дверь. И продолжал молча сидеть. Услышал, как возятся на кухне. И все равно не окликнул. Услышал шаги на лестнице. И не шевельнул-

ся. Паула вошла в гостиную, но не сразу заметила его, так что впервые он видел ее лицо, не предназначавшееся для чужих глаз. Оно было пусто. Оно не выражало ничего. Затем она увидела его, мышцы лица дрогнули и застыли в судорожной улыбке, но тут же она преобразилась, на лице была написана приветливость.

— Господи, как ты меня напугал,— сказала она.

— Извини.

— Что ты здесь делаешь?

— Хотел повидать тебя.

И манера поведения изменилась, теперь все источало отрепетированную сердечность и очарование.

— Так срочно?

— Я только что от Крэкстона,— сказал Джон.

— Что ему понадобилось?

— Он объяснил мне твои финансовые дела.

Она ухмыльнулась:

— Прелестно, правда? Мы будем ужасно богатые.

— Твой отец хочет, чтобы ему по возможности были возмещены все затраты.

— Знаю. Типично для моего папеньки.

— Крэкстон спрашивал, какие суммы я получил от тебя.

С ее лица исчезла улыбка.

— Старый дурак. Мог бы спросить меня. Я бы ему ответила.

— Похоже, он убежден, что я получил пять тысяч фунтов стерлингов наличными.

Она повернулась поправить цветы в вазе на каминной полке:

— Может быть, он имел в виду «вольво»?

— Нет. Это было учтено.

— Ну, тогда понятия не имею, о чем он. Я же не давала тебе пять тысяч фунтов.

— Нет,— сказал Джон,— но, судя по всему, ты сказала управляющему в твоем банке...

— И он там был? Мистер Мэйтленд?

— Да. По его словам, ты сняла со своего счета пять тысяч наличными пятнадцатого февраля, заявив, что это для меня.

Паула оставила цветы в покое и, вытирая руки о юбку, повернулась к Джону лицом:

— Я позвоню Питеру сегодня же и все выясню.

— Мэйтленд сказал, что ты положила деньги в синюю парусиновую сумку.

Она насупилась:

— Какое ему дело, где я ношу свои деньги?

— Судя по всему, это та самая сумка, с которой был Терри Пайк...

— Когда?

— В тот вечер, когда я застал его здесь.

Паула опустилась в кресло.

— Ну что ж, да, он меня шантажировал.— Она вздохнула и потерла лицо ладонями.

— Чем?

— Он говорил, что расскажет Клэр. Я испугалась.

— Чего?

Она подняла на него глаза:

— Я же знала, что ты никогда не бросишь Клэр. Знала, что, если тебе придется выбирать, ты выберешь ее.

— И ты откупилась?

— Да.

— В тот вечер?

— Да.

— Зная, что она мертва?

— Я не знала!

— Так почему ты не вернула его и не потребовала деньги назад?

Какое-то время они сидели молча, словно ждали, когда закипит варенье или когда высохнет клей. Наконец Джон сказал:

— В общем, я тебе не верю.

— Хотелось, чтоб ты поверил,— ровным тоном отозвалась она.

— Такой довод в суде не выдвинешь.

— Здесь же не суд.

— Знаю.

— Не думай об этом. Забудь про то, что было.

— Ты заплатила ему, чтобы он ее убил?

— Он не убивал ее. Он был совсем в другом месте.

— Не поручусь.

— Господи, ну, считай, что случилась автомобильная катастрофа... Или человек умер от лейкемии...

Джон качнул головой;

— Не могу.

— Ты же говорил, что, если б она умерла...

— Знаю.

— Так не все ли равно... теперь... как она умерла?

Джон посмотрел на нее:

— Нет, не все равно.

— Если я в чем и виновата,— сказала Паула,— так это в том, что люблю тебя.

— Знаю.

— Но за это нельзя разлюбить меня.

Она умоляюще глядела на него, это был взгляд человека, доведенного до крайности.

— Тогда я перестану любить себя. Всякий раз, когда я посмотрю на тебя, я буду видеть в твоих глазах свое отражение — жалкий, расчетливый эгоист...

— Но это же не ты, не ты это сделал,— сказала она.— Ты не знал.

— Не знал, но виноват я.— Он поднялся и сказал, будто просто зашел на минутку по дороге куда-то еще: — Мне пора.

— Разве ты не голоден? Ведь уже третий час.

— Нет.

Он пошел вниз по винтовой лестнице; Паула следовала за ним. В дверях она сказала:

— Значит, все отменяется, да? Ну... завтра?

— Да. Извини.

— А мы не могли бы совершить эту церемонию, а потом каждый пошел бы своей дорогой?

Он покачал головой:

— Нет. Я понимаю, как сложно все отменять, но я не смогу... не смогу через это пройти.

— Не беспокойся,— сказала Паула, прикусывая губу.— Я придумаю, что им сказать.

Они поцеловали друг друга в щеку, прощаясь как добрые друзья, и Джон зашагал по мощенной булыжником улице, оставив «вольво-универсал» у дверей Паулы.

Глава десятая

Вернувшись в тот день из школы, Том и Анна нашли отца на кухне.

— А где няня? — спросила Анна.

— Ушла,— сказал Джон.

— Но мне надо еще раз померить платье.

— Можешь больше не мерить, потому что я раздумал жениться.
— Вообще? — спросил Том.
— Вообще.
— Почему?
— Просто решил, что мы можем и сами справиться.
— И мы останемся в этом доме? — спросила Анна.
— Да.
— Вот здорово!
— А ты уверен, что это правильно, па? — по-взрослому спросил Том.— Ведь тот дом ближе к твоей работе.
— Да, но наш дом здесь.
— Мне этот больше нравится, потому что все мои вещи здесь. Не хотелось перетаскивать железную дорогу — мы ведь только что ее установили.
— Теперь она останется в твоей комнате.
— Значит, мы не едем вечером к родителям Паулы?
— Нет. Мы едем в Норфолк.
— К бабушке?
— Да.
— Когда?
— Ну, как соберемся.
— А почему мы едем к бабушке? — спросила Анна.
— Мы же всегда ездили к ней на август.
— А что, уже август?
— Конечно, август,— сказал Том.— В четверг начался

В Бьюзи они отправились в старом желтом «вольво» и приехали еще засветло. Элен тут же занялась внуками, покормила их ужином, а Джон пошел поздороваться с тестем на лужайку перед домом, где Юстас серебряной чайной ложечкой выковыривал сорняки. Увидев Джона, он поднялся на ноги, и они не спеша зашагали к калитке, через которую приходские священники, прежние владельцы дома, ходили из усадьбы на кладбище. Они прошли тем же путем и остановились у травяного холмика, могилы Клэр. Джон не знал, что на могиле уже поставили плиту.
— Как надпись, все правильно? — спросил Юстас.
— Да.
— «Возлюбленной супруге» — чуть старомодно, но что еще придумаешь.
— Иначе не скажешь.
Мужчины стояли молча, трава на глазах покрывалась росой.
— Значит, свадьба отменена? — сказал Юстас.
— Да.
— Пока или вообще?
— Вообще.
Юстас хмыкнул:
— В барышне разочаровались?
— Просто составил о ней неверное впечатление.
— Найдете еще кого-нибудь.
Джон покачал головой:
— Не думаю.
— Придется - ради детей.
— Сам справлюсь.
— Ну, а что нового в политике?
— Поговаривают, что осенью будут выборы. Если правда, я больше не стану баллотироваться.
— И о политике составили неверное впечатление?
Джон усмехнулся:

— Нет. Тут более-менее то, что я и ожидал. Я вернусь в политику позже, когда дети подрастут: сначала личное.

Они повернулись и пошли назад к дому.

— Вы не возражаете,— спросил Джон,— если я поживу у вас с детьми?

— Сколько хотите. Здесь всегда был ваш с Клэр дом.

— Странно все-таки,— сказал Джон,— когда женишься, даешь обеты любить и лелеять, пока смерть не разлучит, а вот теперь, когда Клэр умерла, у меня такое чувство, точно я все равно женат на ней.

— Быть может, браки и вправду заключаются на небесах,— сказал Юстас.

— И однако же, Христос сказал ведь, что на небесах нет супружества, верно?

— Нам не дано все понять до конца,— сказал Юстас, качая головой.— Примем же то, что даровано, и постараемся приумножить.

— И будем уповать на то,— сказал Джон,— что Он, чья мудрость беспредельна, поймет нас.

— Как понял Иван Ильич? Да. Это лучшее, на что остается уповать.

Они дошли до террасы дома. На кухне их ждал ужин.

Печальная семейная история?

С английским писателем Пирсом Полом Ридом мы познакомились в Москве летом 1974 г. через два месяца после того, как его роман «Дочь профессора» был опубликован на русском языке. Союз писателей предложил нашему гостю поездку в Киев и Сибирь. Мне довелось сопровождать Рида в его первом путешествии по нашей стране. Остались в памяти стремительный порыв моторной лодки по Днепру, и прохладный сумрак Печерской лавры, и полет в грозу из Усть-Илимска в Братск... Когда проводишь с кем-то хотя бы такой небольшой срок, как две недели, неминуемо узнаешь попутчика и невольно сближаешься с ним. Как-никак вас уже объединяют общие краткие мгновения безмятежной радости, когда разгоряченным лицом вместе ловили прохладные брызги днепровской воды, или моменты опасности, когда наш небольшой самолет болтало из стороны в сторону так, как будто его подкидывал какой-то неугомонный великан-шалун...

Потом было еще несколько встреч. В строго-величественном зимой Ленинграде и его царственных окрестностях — Петродворце и Павловске; в лондонском районе Холланд-Парк, в доме писателя; на ступенях Британского музея; в небольших итальянских и греческих ресторанчиках, которых много в переулках рядом с Тоттенхэмкорт-роуд... О чем только во время этих встреч не шел разговор — о литературе, политике, любви, воспитании детей. Так случилось, что наши отношения стали несколько менее официальными, нежели бывают между писателем и критиком, пишущем о его произведениях.

Сегодня Пирс Пол Рид (р. 1941)—автор дюжины романов и документальных книг. Он, пожалуй, один из самых читаемых и серьезных прозаиков своего поколения. Конечно, не все его произведения равноценны. Но любая его книга — это честная попытка пристально вглядеться в мир, обнажить его несовершенство и предложить персонажу, неудовлетворенному тем, как сложилась его жизнь в обществе, где несправедливость является фундаментальным социальным принципом, альтернативу — пусть не всегда приемлемую для нас.

Пирс Пол Рид не видит для себя р е а л ь н о г о, д е й с т в е н н о г о пути исправления пороков английского общества. Тонкий аналитик и незаурядный психолог, он и сам похож на свои книги, полные напряженных, иногда мучительных размышлений. Книги, в которых много вопросов, но нет ответа...

Увидевший свет в 1971 году роман «Дочь профессора» был посвящен так называемой «молодежной революции» в США. Испытывая симпатию к своим героям, студентам отделения политической теории Гарвардского университета, Рид трезво и беспощадно показал неотвратимость и закономерность их поражения. Понимания порочности капиталистической системы, крайне поверхностного знакомства с марксизмом и поклонения высокоромантической и трагической фигуре Че Гевары отнюдь не достаточно, чтобы оказаться на пути, ведущем к коренным общественным переменам.

Чем-то неуловимым напоминает молодых героев «Дочери профессора» вовсе не столь уж и молодой Джон Стрикленд. Наивной верой в свое призвание политического деятеля? Обреченностью на поражение? Чувством справедливости?

Интерес писателя к документальности, его стремление запечатлеть живой тревожный пульс мира объясняет точное указание времени действия. «Дочь профессора»

начиналась осенью 1967 и заканчивалась в январе 1968 года. Действие «Женатого мужчины» охватывает ровно год — с августа 1973 по август 1974 года. Социальным фоном первого романа были выступления молодежи, волной прокатившиеся по большинству развитых стран капиталистического Запада. В «Женатом мужчине» фоном становится забастовка шахтеров, приведшая к падению консервативного правительства Хита. Писатель ненавязчиво подчеркивает, сколь хрупко и непрочно на деле кажущееся «процветание» Великобритании: отсутствие энергии приводит к отмене сеансов в кинотеатрах, в домах на продолжительное время отключают свет — персонажи книги вынуждены пользоваться свечами и так далее.

Именно на таком, драматическом фоне и разворачивается рассказ о судьбе Джона Стрикленда, вполне преуспевающего адвоката, имеющего красивую и любящую жену, двоих очаровательных детишек. Рид «застигает» своего героя в момент, аналогичный тому, который известный американский писатель Джозеф Хеллер даже счел нужным вынести в название книги — «что-то случилось». Действительно, что-то непонятное произошло с благополучным хеллеровским Слокумом. Так и в жизни Стрикленда возник неожиданно некий перелом, глубоких причин и конкретных последствий которого он не может найти и осознать. Внешне все как будто идет по-прежнему: начинается обычный летний отдых, нужно думать о покупке новой машины, может быть, о ремонте дома. И вдруг Джон ощущает, что так дальше продолжаться не может...

По внешним признакам роман следует традиции «семейной хроники», которая стала характерной чертой литературы XX века. Конечно, Рид и не претендует на то, чтобы создать современную «Сагу о Форсайтах» или «Семью Тибо», но следует тому же принципу — показать жизнь семьи в строго конкретном контексте эпохи, отразив таким образом важнейшие приметы своего времени.

В характере Джона Стрикленда очевидно противоречие между убеждениями, существующими как бы сами по себе, в «теории», и жизненной практикой, самим стилем существования. Измену идеалам юности, когда он искренне считал себя социалистом и видел себя активистом лейбористской партии, он с готовностью и профессиональным умением адвоката объясняет тем, что женился на Клэр. Но, конечно же, Клэр если в чем-то и виновата, то лишь опосредствованно. И писатель не оставляет в этом никаких сомнений. Будучи еще в Оксфорде, Джон хотя и продолжал именовать себя социалистом, но уже искал общества молодых людей из состоятельных семей. На Джона подействовало то «очарование» богатых, о котором каждый по-своему, но одинаково иронично и горько писали Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Ивлин Во.

Рид во многом симпатизирует Стрикленду, особенно его попыткам обрести смысл существования. Но именно автор, как никто другой, знает возможные пределы самоосуществления своего героя. Стрикленд не глуп, профессионален, приятен в общении, чувствует ответственность за семью, любит детей. Но в этом наборе положительных качеств нелегко разглядеть индивидуальность Джона, его душу. Что отличает его от сотен других умелых адвокатов, так сказать, по роду своих занятий принадлежащих к классу буржуазии?

Желание более справедливого мироустройства? Пожалуй, что так.

Но в своих критических ламентациях, да и в положительной программе Джон не идет далее обычного британского реформизма. Его метания во многом инфантильны и порождены присущим ему эгоизмом. Ведь и вправду его интерес к лейбористской политике возрождается тогда, когда он испытывает острое разочарование в семейной жизни. Связь между человеческой психологией и политикой чрезвычайно сложна, но она существует, и, наверное, Рид прав, убеждая нас в том, что Джон обращается к политической деятельности, побуждаемый скорее эмоциями, нежели убеждениями.

Одним словом, Джон во всем двойствен и непоследователен. В его характере нет какого-то объединяющего, цементирующего стержня.

Собственно, обреченность всех благородных порывов Джона предсказана в самой первой главе. Его глубокое безразличие к судьбе Терри Пайка неопровержимо свидетельствует о том, что он принадлежит к когорте «глобалистов», которые переживают за страждущее человечество и безразличны к своему ближнему.

В Джоне хоть и скрыто, но тем не менее сильно гедонистическое начало: ему намного приятнее встречаться с Паулой, нежели с избирателями.

Среди женских образов книги образ Паулы Джеррард — наиболее яркий и парадоксальный. Дочь миллионера, рассуждающая о «двух нациях» в английском обществе, понимающая, что классовые различия в современной Британии измеряются не только материальным достатком, Паула — запоздалое порождение пошедшего на спад молодежного движения. Живая, ищущая натура, она задыхается в мертвенной атмосфере огромного родительского дома, где бесценные произведения живописи собраны только затем, чтобы стены не выглядели пустыми. Для сэра Кристофера Джеррарда деньги давно превратились в предмет единственной, всепоглощающей страсти — ему ненавистна сама идея их тратить, когда можно их выгодно пустить в оборот и получить прибыль на вложенный капитал. Поэтому-то и царит в доме Джеррардов убийственный холод, как в прямом, так и в переносном смысле. Нетрудно понять тягу к уголовному братству и его лжеромантике: ей так не хватает в жизни риска, игры страстей, ежеминутной борьбы за существование. Несмотря на то, что ее критика общества звучит порой более радикально и доказательно, нежели умеренно лейбористские построения Джона, у нее вообще нет никакой позитивной программы. Для нее, как и для Джона, игра в политику — одна из наиболее простых форм самоутверждения.

Пожалуй, она по-своему действительно любит Джона, но он нужен ей не в качестве революционера или народного заступника, а в качестве мужа, члена правительства. Радикализм Паулы — по природе своей «радикализм гостиной». Вовремя щегольнуть левой фразой, шокируя окружающих, привлекая к себе внимание неожиданным свободомыслием, было модным среди определенной и немалой части западной интеллигенции 70-х годов.

Естественно, что «революционеры гостиных» быстро остепенялись — обзаводились семьей, вступали в фамильное дело или становились законопослушными чиновниками. Не составляет исключения и Паула. Дочь своего класса, она не привыкла отказывать себе ни в каких желаниях. Закон животного мира — выживает сильнейший — действует в капиталистическом мире в несколько модифицированном виде: выживает тот, кто богаче. Так что, «покупая» себе Джона ценой жизни Клэр, Паула действует тем же путем, что и ее батюшка, судя по ее замечанию, не придерживающийся моральных норм в денежных вопросах.

Думается, что образ Клэр наименее интересный и выразительный среди образов романа. Клэр, по всей видимости, права, считая, что социалистические убеждения Джона не что иное, как поза. Ее судьба типична для многих женщин среднего класса, им тесно и душно в рамках семьи: вечно занятый служебными заботами муж, постепенно уделяющий все меньше и меньше внимания ей, домашние заботы, дети, но как им достичь необходимой самореализации в существующих условиях, они сами не знают.

Образ католички Клэр становится до некоторой степени рупором идей автора и в силу того, что сам Рид — верующий католик. Однако тема католицизма входит в роман не столько религиозной, сколько нравственной стороной. Для Рида, как и для его старших современников — Ивлина Во, Грэма Грина, Мюриэл Спарк,— в заветах католицизма заключен свод моральных правил и норм, необходимых в мире, устои которого рушатся на глазах.

По замыслу Рида своеобразным толчком к происходящей в герое переоценке ценностей становится повесть «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого, которую тот случайно снимает с полки в доме родителей жены. Произведение Толстого, опубликованное, кстати, ровно сто лет назад, становится важным лейтмотивом романа — в герое русского писателя Джон вдруг неожиданно видит свои собственные черты. На пороге смерти Ивану Ильичу открывается истина, к которой во многом под влиянием толстовского произведения приходит и герой Рида: вся прошлая «удачная», «правильная» жизнь — «все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть».

Нравственные страдания Ивана Ильича преображают Джона, делают другим человеком. Гибель Клэр, утрата иллюзий карьеры, разочарование в Пауле подводят Джона к мысли: отныне его моральный долг — посвятить себя воспитанию детей. В финале романа чувство ответственности за молодое поколение придает смысл его жизни. Эволюция Джона позволяет считать его в глазах автора героем положительным.

Важная роль в системе образов романа отведена двум эпизодическим персонажам — брату Клэр и Терри Пайку. Путь Гая от частной школы и университетского диплома к торговле мороженым в Гайд-Парке, еще один вариант «пути вниз», который сознательно проделали многие выходцы из состоятельных семей, выражая таким образом свой, личный протест против общественной структуры капитализма. Ясно, что Гай и ему подобные не борцы, но у многих из них неприятие буржуазных ценностей более последовательное, чем у Джона или Паулы.

На социальной лестнице продавец мороженого, к тому же часто бывающий безработным, должен стоять даже несколько ниже хотя и побывавшего в заключении, но все-таки квалифицированного автомеханика Терри Пайка.

Но парадокс современного британского демократического общества «равных возможностей» состоит, как известно, в том, что́ Гай, чем бы он в настоящий момент ни занимался, какие бы левые фразы ни произносил, всегда будет принят в «свете», ибо в Англии до сего дня существеннейшую роль играет происхождение, семейные связи и отношения. Терри же вход в этот круг заказан, в чем убедилась и увлекавшаяся им Паула.

Писатель сам остро ощущает глубокую пропасть, реально существующую между классами в Англии. Он однажды сказал мне фразу, по правде говоря, меня удивившую: «Если я и рискну зайти в какой-нибудь паб в Ист-Энде (рабочий район Лондона.— Г. А.), то меня там могут и не обслужить, потому что моя речь слишком правильная». Собственно, классовые конфликты и противостояния — одна из главных сквозных тем романа.

Думаю, вот это самое чувство принадлежности совсем к «другому обществу» слишком хорошо знакомо не только Терри Пайку, человеку, имеющему профессиональную квалификацию, но и тысячам выпускников школ, каждый год пополняющим армию безработных.

Тот, кто после школы не может найти работу, получает пособие 17 фунтов в неделю. Жить на эту сумму немыслимо: пачка сигарет стоит около фунта, билет в кино два-три фунта, одна поездка из того же Хакни в центр города и обратно обойдется в фунт с лишним. Быть может, именно потому изобилие товаров в магазинах на Оксфорд-стрит ему приходится видеть нечасто. Зато круглосуточно вещающее столичное радио каждые десять минут выстреливает в него хлесткую рекламную очередь: «завтра распродажа, отдают почти задаром, всего 160 фунтов». Слушая радио, смотря те-

левизор, заглядывая в нарядные витрины, молодой человек, лишенный обществом права на труд, ощущает себя не просто человеком второго сорта, но изгоем, отщепенцем. Ведь, если бы ему не внушали со всех сторон, что все товары так дешевы и доступны, у него оставалась бы еще надежда на то, что когда-нибудь он сможет, если ему повезет (?!), приобрести нечто, пока ему недоступное. Но в том-то и дело, что психологический эффект внушения идеи доступности, дешевизны вещей общего процветания несет для данного типа личности роковые последствия.

Изгой, неспособный сделать даже первый шаг по лестнице успеха — всего лишь устроиться на постоянную работу, видит, что перед ним и обществом глухая стена, преодолеть которую он не в силах. Отчуждение личности от общества достигает критической массы — человека охватывает смутная, но острая ненависть, и тогда он берет булыжник и разбивает им витрины, крушит киоски, переворачивает автомашины, бросает в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Так или примерно так начинались молодежные волнения во многих английских городах летом 1981 года. Нередко их прямо провоцировала полиция, не без основания видя в праздношатающихся молодых людях реальную угрозу общественному порядку.

Боюсь, большинство участников известных волнений не были ни отъявленными хулиганами, ни сознательными борцами. Несколько упрощая, можно выделить суть этих действий: это был бунт «недопотребившего потребителя». Общество с помощью образования и системы массовых коммуникаций готовило из них образцовых потребителей, но именно потреблять-то им как раз общество и не позволяет. Происходит разрыв между социально-психологической установкой и реальным ее воплощением. Разрыв драматичный, ибо все больше и больше людей на собственном опыте разочаровываются в мифе «равных возможностей» при капитализме.

Если внимательно прочитать роман, то откроется любопытная вещь: современное английское общество не устраивает ни одного персонажа книги. Не говоря уж о Джоне, Пауле, Терри или Гае, оно не нравится и всем остальным, включая наверняка сэра Кристофера Джеррарда, сэра Джорджа Масколла и тестя Джона, Юстаса. Последний, будучи человеком тонким и неглупым, остро ощущает завершение некой продолжительной эпохи в истории Англии. Развеялись дымом имперские идеалы — на смену им не пришло ничего. Правящий класс упорно цепляется за свои привилегии: смешон, но тем не менее живуч снобизм, с которым сойдут в могилу матушка Клэр и матушка Джона.

В книге Рида в тугой узел завязано немало животрепещущих для современной Англии политических и социальных вопросов, поданных с разных, часто противоположных точек зрения. Генри Масколл целиком и полностью поддерживает «монетаризм», ныне проповедуемый Тэтчер, и в глубине души предпочел бы еще более сильную власть, чтобы держать в повиновении рабочих. На другом полюсе стоит лейбористский журналист Гордон Пратт, трезво видящий все недостатки лейбористского движения и все же не пасующий в борьбе. Своего рода парадоксальной критикой хваленой британской демократии и парламентаризма можно воспринять и на удивление легкую победу Джона Стрикленда на выборах. Скорее всего, избиратели предпочли его только потому, что им не предложили никого более серьезного и значительного. Более того, так складывалась расстановка сил в избирательном округе, что скромный центрист-реформист Джон оказался приемлемой, компромиссной фигурой. Перед нами ситуация единичная, но типичная.

Впрочем, небезосновательно и разочарование Джона в парламентской деятельности — он ясно увидел невозможность добиться даже самых скромных результатов.

Одним словом, Рид поведал историю действительно невеселую, но, конечно, далеко выходящую за рамки, декларируемые заглавием книги. Рид, кстати, как и многие другие современные писатели Запада, сильнее в отрицании, в критике. Он пишет о том, что лучше всего знает, пишет честно, трезво, с горечью. А правда, как бы она ни была сурова и горька, всегда помогает людям лучше понять себя и окружающий мир, что в конечном итоге не может не вести к нравственному и социальному прогрессу человечества.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ

■

Из французской поэзии

В прошлом году в Москве по инициативе Союза писателей СССР был организован и проведен советско-французский «круглый стол» на тему «Советско-французские литературные связи и проблемы поэтического перевода». В дискуссии приняли участие пять французских поэтов и поэтов-переводчиков: хорошо известный нашему читателю Рубен Мелик, давний друг нашей страны, лауреат многих литературных премий, составитель «Антологии армянской поэзии»; Клод Фриу, ректор и профессор Университета Париж VIII — его мы знаем как переводчика русской поэзии, произведений Маяковского, Фета, Анненского, Иванова, Клюева, Волошина; Жан Л'Ансельм — представитель старшего поколения французских поэтов, лауреат многих литературных премий, член жюри «Гран-при поэтик»; Жан Оризе — поэт и издатель, генеральный секретарь Академии Малларме, президент объединения «Поэзия» Союза французских издателей; Ив Бержере — самый молодой из наших гостей, однако успевший издать более десяти поэтических сборников совместно с Кристин Живри он основал издание «Кайе дю Конфлюан», в котором публикуются произведения французских и зарубежных современных поэтов.

Эти люди разных убеждений, приверженцы различных поэтических направлений. Непохожи их судьбы, характеры, пути в литературу. Объединил их в этой поездке живой интерес к диалогу с советскими коллегами, желание больше узнать о литературе и жизни советских людей. Все они активно сотрудничают с Домом Поэзии, основанным несколько лет назад при поддержке парижской мэрии. Цель многочисленных поэтических вечеров, лекций, встреч, которые организует Дом Поэзии,— популяризация творчества современных поэтов многих стран.

«Вечер французской поэзии», состоявшийся после окончания заседаний «круглого стола», познакомил собравшихся в Большом зале ЦДЛ любителей поэзии с творчеством наших гостей. В этой подборке мы предлагаем вниманию читателей стихотворения французских поэтов, прозвучавшие на этом вечере; на русском языке стихи Жана Л'Ансельма, Ива Бержере и Жана Оризе публикуются впервые.

И. Ч.

ЖАН Л'АНСЕЛЬМ

Ящерица

В тот полдень в летний зной
я грезил в полусне
в полуденных лучах
в затишье под стеной
захвачен был мой взгляд
отвесной белизной

© Rougerie, 1977, 1981

ЖАН Л'АНСЕЛЬМ — JEAN L'ANSELME (род. в 1919 г.)

Французский поэт, автор более двадцати поэтических сборников, лауреат премии имени Аполлинера, премии Общества литераторов Франции и других литературных премий.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Урны» («Les poubelles», Paris, Rougerie, 1977), «Франция и ее окрестности» («La France et ses environs», Paris, Rougerie, 1981) и из журнала «Поэт д'ожурдюи» («Un poet d'aujourd'hui», 1977, № 86).

Стена была тепла
от солнечных лучей
стена была бела
от солнечных лучей
дремал в тепле лучей
безветренный покой

На грани той стены
взгляд неподвижный мой
безумный от жары
плененный белизной
какой-то образ ждал
какой-то знак живой

Без устали глаза
молили фон пустой
белеющей стены
о живности любой
средь полной тишины
под огненной волной

Все было как всегда
в корзинке световой
и чудилось вот-вот
над этой белизной
причудой колдовской
вдруг ящерка мелькнет

Мой взгляд готов был ждать
хотя б весь день-деньской

И т. д... и т. п...

Есть люди, которые кормят котов,
и такие, которые их ласкают.
А ведь это совсем не одно и то же.
Есть люди, которые ахают при виде цветов,
и такие, которые их поливают.
А ведь это совсем не одно и то же.
Есть люди, к добру зовущие нас,
и такие, которые делают благо без лишних фраз.
А ведь это совсем не одно и то же.

И т. д... и т. п...
Друг на друга люди совсем не похожи.

Перевод АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Ребенок

В тихом переулке
с утра приютился
солнечный осколок
в осколке стекла.

Занятый делами
мимо шел мужчина
и все сокрушила
грубая стопа.

© Institut Cooperatif de L'Ecole Moderne, 1977

А осколок солнца
распавшись на блестки
вспыхнул и проулок
занялся огнем.

Мимо плелся старый
человек усталый
и пожаром этим
был он ослеплен.

Пробежал ребенок
он полон был фантазий
и присел на корточки
собирать огонь.

Кто-то злой помешкал,
посмотрел с насмешкой,
пальцем ткнул в ребенка
и захохотал.

Нищий брел — в надежде
раздобыть копейку,
подумал: не клад ли
откопал глупыш.

Шел слепец, постукивая
своей палкой белой...
Ребенок слепому
солнце подарил.

Слепец пошел дальше,
а в глазах погасших
солнечный осколок
вспыхнул... запылал...

В тихом переулке,
покинутом солнцем,
мечтает ребенок
над белым посошком.

Сегодня рождество

Родившись на свет
младенец Иисус
распахнул объятия
раскинул руки
как ветви креста
он хотел прижать к груди
осла и быка
корову и собачку
и с ними свою мать
а также почтальона
с рождественскими подарками
потому что любил

одинаково всех и вся

так он и оставался
до самой смерти
с руками раскинутыми
как ветви креста

его растянули
на кольях
словно выстиранную рубаху
или пугало для птиц

Перевод ЭЛИСБАРА АНАНИАШВИЛИ

РУБЕН МЕЛИК

Лето

Лето течет среди нив и трав
Теплом приводя их в трепет
Так оживает рука узнав
Ласки ответной лепет

Близости миг с рожденьем — одной
Связаны нитью согласно
Так же как этот узел живой
Зрелость отметивший властно

Когда лишь каплей была вода
Реки ожидавшей начала
Эхо под темным сводом тогда
Голосом чьим-то звучало

Древо растило зеленый свод
Лесов открывая эру
И помнит каждый созревший плод
Как луч проникал в пещеру

© Temps Actuels et Rougerie, 1984

РУБЕН МЕЛИК — RUBEN MELIK (род. в 1921 г.)

Французский поэт и переводчик, лауреат многих литературных премий, в том числе премии Аполлинера. Автор подпольных изданий в период Сопротивления. Среди его поэтических сборников «Аккорды мира» («Accords du monde», 1946), «Уходящие за горизонт» («Passeurs d'horisons», 1948), «Мадам Лорелея» («Madame Lorelei», 1949), «Где проливается кровь» («Où le sang a coulé», 1955), «Время жизни» («Le temps de vie», 1957).

Публикуемые стихотворения взяты из книги «Процессия» («La Procession». Paris, Temps Actuels et Rougerie, 1984).

Где нечто освобождалось от
Тяжести мрака и чуда
Чтоб стать идеей великих вод
Земля началась откуда

Ибо в час нанесенья канвы
Желанье стать явью предметом
Испепеляло и тень травы
В борьбе с подавлявшим цветом

Перевод ЮЛИИ СУЛЬПОВАР

Любовники

Где солнце, опалявшее дыханьем
чертополох полуденных долин?..
А в сердце темный кратер: полыханьем
огонь не всколыхнет его глубин.

Где женщина, ресницами густыми
безумство прикрывавшая и пыл,
покуда ветер шевелил пустыню
и поцелуй неистовство гасил?

Она была в ночи, как сгусток света.
Глаза смежали ей песок и страсть —
незрячи, как у статуй... Тайна эта
со счастьем в плоть единую срослась.

Вокруг — песка сыпучие владенья.
Ладони в кровь он резал, как стекло.
Был праздник тел, их новое рожденье.
И все в Начало кануло — ушло.

Теперь лежит в тягучем пекле лета
возлюбленною женщиной земля —
безмолвна, неподвижна и прогрета,
ни тайн, ни чуда больше не суля.

Он с женщиною спит, она ресницы
не подымает... Где тот плотский пир?
Где те любовники и что им снится?
Где их любовь — одна на целый мир?

Где тел медовых жаркое веселье
в тот строгий час, когда колокола
сзывают ревностных монашек в келью?
Где та любовь — была ль она, была?

Армянская легенда

Армянская легенда ожила
в разбитом гуле западных ночей,
в убожестве сиротского угла
и в свете, исходящем из очей.

И в материнской речи. И в руках,
труда лишенных. В нищенской дыре.
В нелепых городах, в кричащих ртах
и в го́ре, что погребено в горе́.

В диаспоре последних тысяч лет.
В гостиничных грошовых номерах.
В глазах, перевидавших прах и крах,
и в паспортах, объездивших весь свет.

В поющих пальцах юных танцовщиц.
В дыханье аскетичных алтарей.
В оковах угодивших в плен царей.
В камнях и храмах брошенных столиц.

В горах Востока, в древних именах
и в зеркалах времен. И в букварях.
В крестах многострадальных на дверях.
В слезах и смехе, книгах, голосах.

Неизлечима горечь половин:
три миллиона там и столько ж тут.
Надежды там, надежды тут живут,
и сходство теплится на дне глубин.

Легенда дышит, обратив к горе —
к единственной горе — свой горький слух.
Но сгусток света есть в ее нутре:
разбег воды родит его и дух.

Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН

ИВ БЕРЖЕРЕ

Один день в саду

(Фрагмент поэмы «Двое»)

Так они поднимались,
ступень за ступенью,
год за годом, привыкнув к невзгодам, утратам,
и внезапно, из плена бежав, оказались
в самом сердце мечты, в сокровенном саду:

© Les Cahiers du Confluent, 1984

ИВ БЕРЖЕРЕ — YVES BERGERET (род. в 1948 г.)

Французский поэт. Автор поэтических книг «Стремительная вода» («L'Eau ruante», 1979), «Область открытого сердца» («Territoire Cœur Ouvert», 1980), «Жизнь мятежная» («La vie séditieuse», 1981), «Человек в искусстве» («L'Homme dans l'Art», 1983) и др. Предлагаемый читателю фрагмент взят из книги «Двое» («Deux personnages». Paris, Cahiers du Confluent, 1984).

ручеек золотится на солнце, а лес
и опушка —
спешат их скорее обнять,
и, как день этот летний, их кровь горяча,
и для них уже больше слова не нужны.

И просторно им в маленьком домике, где
окружает их только трава и вода,
и они, на траве растянувшись пластом,
забывают про шумный и суетный мир,
а вода остужает шипением брызг
их тела,

обрываясь за дальнею кромкою трав
громким, пенным каскадом,
который для них
только слышен...
но за ревом, за блещущим маревом дня
все страданья и беды им чудятся снова.

Радость их упирается в пропасть —
как берег,
постепенно сползающий, кровоточащий;
радость их — это сад, беззаконно цветущий
средь жестокого, неумолимого мира;
мир как страшная пропасть все ближе и ближе,
и сияющим нимбом он их обнимает,—
словно ненависть борется в нем
с восхищеньем.

Счастье их —
как прогалина в чаще,
а день —
как пробел между будущим и настоящим;
и они, утопая в цветущем саду,
в птичьем пенье,
в пахучих и ласковых травах,—
как лучи,
растворенные в солнечном свете.

Но склоняются двое к обрыву ручья,

блещет молния, и набежавшая туча
ею надвое рассечена,
и они

прикасаются к пропасти, не узнавая
ни ее, ни друг друга,
и тотчас вода

налетает на них, оглушая, и день
вытесняется в памяти, и они
погружаются, тонут...
их сад — это дно,
дно морское, а время сомкнулось над ними.

Их слова
повторяет ручей, но они
для двоих лишь понятны...

а там, в глубине,
там у самого дна,
еле теплится их
нерасцветшее и безнадежное счастье.

Но внезапно
у самого дна, в глубине,
пробегает какой-то отчаянный свет:
в нем дробятся их лица
и тела, но они
в нем рождаются снова;
все, что вокруг,—
эта дикая, мрачная красота,
перед которой немеет мир,
одеваясь в траур,
и эта ночь —
ждет — как моря мертвенная вода —
исполненья судьбы и прилива чувств.

Перевод ИЛЬИ КУТИКА

ЖАН ОРИЗЕ

Машина для переваривания прохожих

На стороне нечетных номеров бульвара Монпарнас функционирует машина для переваривания прохожих. Днем и ночью она бесперебойно поглощает индивидуумов, решивших покончить с беспросветностью своего существования.

Вот они приближаются к ней — нерешительно, все еще колеблясь перед роковым шагом, еще прокручивая в голове какой-то последний сомнительный довод.

Угнетенные своими ужасными мыслями, они незаметно переступают незримую черту, и вот уже передумывать поздно: машина внезапно хватает их и неудержимо затягивает в свою бездонную прорву. Несколько секунд они еще дергаются, как смешные марионетки, выписывая кренделя руками и ногами, а потом исчезают навсегда — или почти навсегда. И неоновые огни озаряют эту сцену жутким отблеском ярко-алой крови, насыщенной гемоглобином.

© Editions Saint-Germain-des-Près, 1975

ЖАН ОРИЗЕ — JEAN ORIZET (род в 1937 г.)

Французский поэт, автор многих поэтических сборников, в том числе «Уровни выживания» («Niveaux de survie», 1978), «Стихи, собранные на лугу» («Poèmes cueillis dans la prairie», 1979). Лауреат премии Макса Жакоба. Составитель шести антологий современной французской поэзии.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Внутри меня — хаос» («En soi le chaos». Paris, Editions Saint-Germain-des-Prés, 1975).

Люди бесшумно исчезают, проглоченные заживо. И только гигантские потроха города вздрагивают и дымятся.
Некоторое время спустя они вновь появляются, выплюнутые машиной — то ли из отвращения, то ли от несварения желудка. Жалкие отбросы, недопереваренные ошметки самих себя, они вливаются в прежнюю суету.
Но теперь, привыкнув за краткий срок к внутриутробному существованию, они растеряли последние крохи энергии и воли. И вот однажды, скользя кишками улиц, они по какому-то невероятному — или, наоборот, неизбежному — совпадению вновь оказываются перед машиной, переваривающей прохожих.
Но, увы, они уже не прохожие: они —«прошедшие».
И поэтому машина плюет им в лицо и, хохотнув, захлопывает пасть у них перед носом.

Снег и детство

Детство, снег; между ними вроде бы мало сходства,
и, однако,— та же окутывающая странная вата,
доброта и анестезия, та же загадочная мозаика,
порою прекрасная, всегда непрочная, хрупкая.

Детство, снег; тихое медленное погруженье
в явь, в обратную перспективу духа.
За бессчетными ступенями открывается вдруг
иное пространство. А не попытаться ли снова
ад укротить, расквитаться с разочарованьем?

Ибо снег и детство не были для меня никогда
ни вереницей стертых мелькающих лиц,
ни утренним бунтом слепым, ни вечерней
усталою смутой, не были никогда
ни распутьем, где выбором правит судьба,
ни ожиданием смерти.

Нет у меня ничего своего
кроме, может быть, этой
тайны; я — только копилка:
сыпься, сыпься...

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

КОБО АБЭ

Вошедшие в ковчег

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

11

Вход в штрек на первый взгляд кажется щелью в стене

Вход в штрек на первый взгляд кажется щелью или провалом между стенами. Его высота более пятнадцати метров, а ширина такая, что туда легко мог бы пройти небольшой трактор — наверное, поэтому по мере приближения к штреку человек как бы становится меньше ростом. Примерно в пяти метрах от входа штрек поворачивает резко вправо. Если до этого места еще можно видеть, что у тебя под ногами, благодаря свету, проникающему из первого туннеля, то после поворота попадаешь в полную тьму. Сказав спутникам, чтобы они были осторожнее, я остановился и начал всматриваться в непроглядную черноту. Если зазывала был там, я бы увидел мерцание его лампы. Какие-то неясные тени перемещались вслед за движением глаз — видимо, сохранившиеся в зрительной памяти очертания предметов. Кроме этого, ничего не было видно. Может быть, он услышал наши шаги и потушил лампу? Но для чего? Я нажал вторую кнопку на панели дистанционного устройства, висевшего у меня на ремне. Лампы дневного света, расположенные равномерно по обеим стенам, замигали и зажглись. Правая стена штрека переходит в южную стену машинного трюма. Таким образом, первый и центральный трюмы как бы охватывают штрек с двух сторон и расходятся в разных направлениях. Белые трубы, напоминающие фабричные, только во много раз меньше, выстроились вдоль западной стены — это воздухоочистительная установка.

— Все-таки нашел, подлюка, выключатель,— прошептал мне продавец насекомых.

Кажется, он не заметил, что я нажал кнопку панели дистанционного устройства. Говорить ему, что он ошибся, не стоило. Женщина сделала шаг вперед и, сложив ладони у рта, закричала:

— Выходи! Хватит играть в прятки!

— Осторожно.

Схватив за руку, я оттащил ее назад. Почему у нее такая нежная рука? Я изо всех сил сжимал ее пальцы. После шлепка по заду во мне что-то изменилось. Кто господствует над женщиной, тот господствует и над толпой. Я про себя хмыкнул, как злодей из кинофильма, и уставился на каменный пол под ногами.

Сбылись мои самые дурные предчувствия. Пластинчатая стальная пружина торчала прямо, наподобие шлагбаума. Во взведенном состоянии она прижата зажимом к стене, но стоит прикоснуться к леске, зигзагом натянутой над самым полом, как зажим тут же отпускает пружину, и капкан срабатывает. Что же произошло? То ли кто-то (возможно, сам зазывала) заметил это устройство и отключил, то ли ловушка все же захлопнулась.

Продолжение. Начало см. в № 10, 1986.

— Это и есть ловушка?

Женщина изо всех сил ухватилась за мою руку. Хороший симптом. Журчание... Шлепок по заду... Прикосновение к телу... Но тревожное чувство не оставляло меня: ловушка захлопнулась, а добычи не видно...

— Да, но почему-то пружина не взведена. Видите, леска не натянута и валяется на полу.

— Вон оно что, кажется, и правда леска... — Продавец насекомых склонился над стальной пружиной и снял очки.— Мощная штука... но вот что странно — пострадавшего не видно, а ведь, если сюда попадет нога, так просто не отделаешься.

— Да и крика тоже не было слышно.

— Может быть, в ловушку угодил не человек, а крыса?

— Был бы труп. А тут не то что трупа, и следов-то никаких нет. Ни крови, ни шерстинок.

— Значит, здесь побывал человек. С безопасного расстояния либо отпустил зажим палкой, либо бросил камнем в леску... Но в таком случае он должен был заранее знать о существовании ловушки, а это совершенно немыслимо.

— Мыслимо,— отрезала женщина. — Надуть партнера — в этом ему нет равных. Хоть в карты, хоть в маджан [1]...

— Да, попал он в положеньице... Здесь столько капканов понаставлено. Ступишь на ступеньку — в лицо тебе фейерверк. Послушайте, Капитан, а вдруг директор фирмы, то есть зазывала, здесь не один? Может, еще кто-то прячется? Тайно проник сюда и шпионит?..

— В любом случае исчезнуть он не мог. Это же не снеговик — растаял, и нет его. — Я переступил через пружину и пошел вперед.

— Ну что за человек, спрятался и молчит,— поддакнула женщина. Знать бы, что она и вправду злится, а не сговорилась с ним заранее.

Мы вошли в машинный трюм. По площади он такой же, как первый, но квадратный и поэтому выглядит не таким огромным. Зато потолок выше, и, когда смотришь вверх, дух захватывает. Опоры, которые, как бы продолжая правую стену штрека, уходят в глубь трюма, шириной метров семь. Видимо, такой толщины требует высота потолка. За колоннами ниша шириной метр и высотой два метра, но заметить ее трудно из-за сложенных штабелем старых велосипедов. Всего их двадцать восемь, и я предполагал, что, вращая педали, мы будем приводить в действие электрогенератор. По диагонали от опор, слева, если смотреть от входа,— второй штрек. Там ржавые рельсы, по которым ходили вагонетки,— можно предположить, что когда-то здесь пролегала главная магистраль каменоломни. Вход в третий штрек — слева, у самого потолка, и туда ведет подъемник — ленточный транспортер, который управляется с расположенного внизу пульта. Как правило, разработки ведутся сверху вниз, следовательно, вначале с помощью этого транспортера предполагалось вывозить добытый камень. Но в процессе работы выяснилось, что высококачественные скальные породы залегли значительно глубже. Чтобы добраться до них, и пришлось пробить главный штрек.

— Ну и размеры. Представляю, какую кучу денег огребли за добытый здесь камень. — Продавец насекомых безостановочно крутил огромной головой, будто у него разболтались шейные позвонки. — Ну ладно, куда же он запропастился? Как вы думаете, Капитан, где нам его искать?

Транспортер поднимался на тринадцать метров, и туда нелегко было забраться даже бывшему солдату сил самообороны. Нишу за опорами на первый взгляд можно принять за свалку старья. Мы трое, будто сговорившись, устремили взгляды на вход в левый штрек, где виднелись рельсы.

— Выходи, тебе говорят! — закричала женщина. Эхо растянуло ее возглас, как гармошку фотоаппарата. — Зачем заставляешь людей волноваться, да еще перед едой?

— Ему-то что, он один умял восемь порций рыбы. — Продавец насекомых задрал рубаху и начал чесать грязный живот.

— Все-таки проверим.

Я первым двинулся к штреку. За моей спиной слышался размеренный грохот их шагов.

---

[1] Игра в кости.

— Что это за штука похожая на качели? — спросила женщина, увидев установленный у стены неуклюжий насос старой конструкции.

— Это помпа, соединенная с воздухоочистительной установкой. Я подсчитал, что, если два человека будут качаться на ней ежедневно в течение четырех часов, этого достаточно, чтобы очистить воздух во всех трех трюмах.

— О-о, отлично придумано,— продавец насекомых вытер о брюки пальцы, которыми чесал живот, и нажал на то седло помпы, которое находилось сверху. Она плавно заработала, преодолевая сопротивление воздуха, поступающего по стальной трубе диаметром пятнадцать сантиметров. — Классная вещь, ловко вы ее соорудили.

— Почему она не электрическая? — недовольно спросила женщина.

— Когда потребуется воздухоочистительная установка, никакой подачи электроэнергии уже не будет, это точно.

— Зря вы ей объясняете, женщины слабо соображают.

Продавец насекомых повернулся к женщине и поднял правую руку, нацеливаясь на ее зад. Но она легко увернулась. Нажав на педаль велосипеда без колес — три таких стояло рядом с воздухоочистительной помпой,— гордо заявила:

— А что это — я знаю. С виду похоже на тренажер, а на самом деле — привод электрогенератора.

— Верно, а аккумуляторы автомобильные. Разумеется, эти велосипеды можно применять и как оздоровительный спортивный снаряд. Ведь нам так часто не хватает движения...

— Одна лампочка в двенадцать ватт — вот самое большее, на что способен этот генератор.

Продавец насекомых предпринял новую атаку на ее зад. Раздался звук, будто на пол упала мокрая тряпка. Женщина глухо вскрикнула.

— Велосипеды, которые лежат в той куче, я все до одного собираюсь реконструировать. И тогда, если вертеть педали двадцати восьми велосипедов, заряжая с их помощью автомобильные аккумуляторы, этого электричества хватит на наши повседневные нужды, я подсчитал.

Делая вид, что хочу продемонстрировать вращение педалей, я подошел к женщине и тоже шлепнул ее по заду. Но теперь это был не столько шлепок, сколько поглаживание. Я раз в пять дольше прикасался к ней, чем это необходимо при шлепке, но женщина не противилась. Опершись о руль велосипеда, она стояла ко мне спиной и хихикала. С противоположной стороны, развернув ладонь, ждал своей очереди продавец насекомых. Мы играли в какое-то подобие гандбола, используя вместо мяча зад женщины.

— Что касается экипажа, то нужно сделать так, чтобы он был достаточно многочисленным. — Продавец насекомых снова шлепнул ее.

— Если будут одни мужчины, мне это не подходит. — От удара женщина отлетела к электрогенератору.

— Женщин тоже будет сколько угодно...— Осмелев, я не только шлепнул ее, но и ущипнул за ягодицу.

— Надоело... — Женщина, прикрыв зад ладонями, опустилась на корточки. — Если мы с вами, Капитан, сядем на разные стороны этих качелей, помпа работать не будет. Ясно?

Я так и не мог сообразить, что она имела в виду. И все же слова сразу охладили мой пыл. Может быть, потому, что мне не понравился намек на разницу в весе. Продавец насекомых тоже, кажется, опомнился и, облизав длинным языком ладонь, которой только что шлепал женщину по заду, вздохнул и уставился в потолок.

— Однако не зря ли мы так расточительно расходуем электроэнергию?

Продавец насекомых как всегда смотрел на вещи с практической точки зрения. Только в этом трюме установлено девяносто шесть люминесцентных ламп и пять пятисотваттных галогенных. Из-за высокого потолка, а также слабой отражательной способности зеленовато-синих стен, изрезанных пилами камнерезов, машинный трюм требует большого количества источников света. Если бы взимали плату за электричество, сумма оказалась бы для меня непосильной. Правда, пока это вполне позволительная роскошь — ведь я ворую электроэнергию. Но открывать карты перед экипажем было еще рано.

Звук капающей воды. Женщина насторожилась:

— Что это?

С интервалом от тридцати минут до трех часов (это зависит от метеорологических условий и времени суток) в первом трюме с потолка срывается водяная капля и ударяет по металлической бочке. Звук сухой, непохожий на падение капель — кажется, будто кто-то опрокинул стул или просыпались горошины из порванного мешка. Причем невозможно определить, с какой стороны донесся шум, и это лишь распаляет воображение. Я не стал ничего объяснять своим спутникам и направился прямиком ко входу во второй штрек.

Свет, проникавший туда из машинного трюма, освещал метров восемь ржавых рельсов. Он был направлен вниз, поэтому стены штрека, начиная где-то с середины, постепенно растворялись в темноте. Возникало ощущение, что чуть ли не касаешься головой потолка.

— Здесь тоже установлены какие-нибудь ловушки? — шепотом спросил продавец насекомых.

— Разумеется.

— Он парень ловкий,— тоже шепотом сказала женщина.

— Ловушка иного типа, чем та, с леской.

Я прошел по рельсам во тьму три шага и стал плавно опускать руку, вытянутую на уровне плеча. Зазвенел предупредительный звонок, как я и ожидал. Тень следовавшего за мной по пятам продавца насекомых вдруг исчезла. Он упал, споткнувшись о шпалу. На него наткнулась женщина и испуганно вскрикнула.

— Прекратите вы этот звон, у меня плохо с сердцем. — Продавец насекомых, продолжая сидеть на земле, зажал уши.

Левая сторона седьмой шпалы. Я нащупал выключатель под рельсом. Нажал. Звонок умолк, но звон еще какое-то время шумел в ушах.

— Устройство работает нормально,— сказал я.

— Я правильно догадался? В банках часто используется такое устройство — обыкновенная инфракрасная система защиты от грабителей. Если быть внимательным, источник инфракрасного излучения можно заметить — нужно пониже пригнуться, и тогда все в порядке.

— Бесполезно. Источники установлены в три ряда, чем дальше, тем ниже. Самый нижний в тридцати сантиметрах от пола, так что наклоняться бесполезно.

— Куда ведет этот ход? — Женщина подалась вперед и приложила ладонь к уху. — Я что-то слышу...

— Дальше хода нет. Раньше этот штрек — он прорыт в западной части горы — проходил, кажется, недалеко от здания муниципалитета, но из-за обвала превратился в тупик. Зато он соединяет множество небольших помещений и вполне подходит, чтобы создать здесь целый жилой квартал.

— Вверху проходит улица?

— Да, жилые дома.

— Я что-то слышу...

— Вам это кажется. Здесь слышишь даже то, чего на самом деле нет. Шум движущихся с разной скоростью потоков воздуха, шорох ползающих насекомых, звон падающих капель и трескающихся камней,— отражаясь от потолка и стен, эти звуки усиливаются во много раз.

— Надо же было плюхнуться,— сказал продавец насекомых, подняв голову к потолку туннеля и отряхивая с зада мелкие камешки и пыль. — Парень он отчаянный и способен на что угодно, этого у него не отнимешь. Но все-таки странно, свет зажегся всего за двадцать — тридцать секунд до того, как мы пришли сюда. А может, и за пятнадцать — мы ведь только пружину осмотрели. Подъемник ненадежен, и добраться до верха непросто, тут ведь метров восемь?

— Тринадцать.

— Нет, туда он не мог залезть.

— Куда же он делся? Здесь негде спрятаться. — Женщина задрала голову и стала кружить на месте, прямо как радар. — Что такое, запахло еще сильнее. Точь-в-точь жареная каракатица.

— Я тоже слышу запах. — Продавец насекомых повернул голову и стал принюхиваться. — Что-то знакомое.

— Я думаю, его приносит ветер. Воздух поступает сюда сверху. Через вон то отверстие в потолке.

— А там недалеко, наверное, китайский ресторан.

— Не должен он там быть. — Я сразу догадался об источнике запаха, но не обязан был обо всем им докладывать. — Всего пятнадцать секунд, говорите, но это не так мало, как вы думаете. Даже женщина способна за такое время пробежать стометровку.

Наша спутница направилась прямо к подъемнику. Ее многократно размноженная темная тень веером лежала у ног. Женщина ухватилась за стойку и повисла на руках.

— Крепкая. Мог попробовать взобраться.

— Но ведь тринадцать метров.

— Он обучался в спасательном отряде.

— А когда отчислили, заболел боязнью высоты,— мрачно заявил продавец насекомых и, задрав рубаху, снова принялся чесать грудь и живот. — Капитан, скажите честно, с ним там ничего не может случиться?

— Да нет вроде бы... Только дальше этот штрек превращается в лабиринт, который я до сих пор не успел хорошенько обследовать. Однажды, правда, я дошел по нему до выхода к мандариновой роще на той стороне горы. Но у меня была с собой провизия, и этот поход занял полдня. Внутри горы, оказывается, есть еще одна гора, долина и даже речка протекает.

— Рыбку не половили? — Продавец насекомых нахмурился. Лицо его посерьезнело.

— Ну что вы! В ней обитают одни змеи, жуки-скоморохи и сороконожки.

— О-о, это плохо, если змеи, несдобровать ему. —. Женщина перевела взгляд с меня на продавца насекомых. Неужели она и в самом деле беспокоится о зазывале?

— Главная проблема — вернуться назад. Я тогда столкнулся с огромными трудностями. Хоть мне и потребовалось полдня, чтобы добраться до конца штрека, но это еще было ничего, а вот когда я решил возвратиться, растерялся, не зная, куда идти. В подземной пещере полагаться на компас нельзя. Дорога полна опасностей, я здорово проголодался, от усталости дрожали колени. В таком состоянии я провел ночь. Думал, мне конец — я ничуть не преувеличиваю. Часто ведь можно услышать рассказы о людях, которые заблудились в ущельях Фудзи и погибли.

— Что же вы предприняли?

— Заночевал прямо там. У меня оставалась одна-единственная плитка шоколада, пил воду, которая сочилась между камнями. Спального мешка я не взял, батарейки в фонаре сели. Надежды никакой. Но как только рассвело...

— Откуда вы узнали, что рассвело?

— Вы не поверите, но, оказывается, я устроился на ночь у самого конца штольни, где был уже выход — его называют «Северным» или «Выходом к мандариновой роще». Лучи утреннего солнца проникали в штольню.

— И так спокойно рассказываете. — В тоне женщины слышалась насмешка, но в глазах теплилось сочувствие. — Толстокожий вы человек.

— В темноте все чувства притупляются.

— Правда?..— Продавец насекомых, покачиваясь, сощурился.— В конце концов, пусть этот тип сам выпутывается как знает, какое вам, Капитан, до него дело? Так что волноваться нечего. Понервничали — и хватит.

— Верно,— поддакнула женщина. Происшедшая в ней перемена показалась мне вполне естественной. — Не стоит волноваться понапрасну. В конце прошлого года был такой случай: вертелись мы как-то в торговом квартале одного лыжного курорта, вдруг видим — на крутом склоне забуксовал и понесся вниз тяжелый грузовик. Скорость километров шестьдесят. Мы как раз стали переходить дорогу, а директор поскользнулся и упал. Что делать? Прямо на него мчится грузовик, смотрю — проносится над ним, а он встает целый и невредимый. Бессмертный какой-то.

— Даже такой бессмертный, как он... — «в течение полугода» хотел я прибавить, но вовремя прикусил язык. Женщина никак на это не отреагировала. Кажется, она в достаточной мере не осознавала всю иронию ситуации: человеку, которому осталось жить всего полгода, ниспослана острота реакции, делающая его почти бессмертным. Я почувствовал себя неуютно. И мысленно попросил прощения у зазывалы. Когда человеку уготована столь трагическая смерть, ему невозможно отказать в определенных привилегиях. Стараясь преодолеть свою враждебность к зазывале, я начал думать, что он достоин билета на корабль.

Продавец насекомых дважды шлепнул себя по животу.

— Может, поедим?

Женщина снова глянула на подъемник. Видимо, она все-таки беспокоилась. Даже если зазывала и в самом деле способен на головокружительные трюки, трудно поверить, что ему удалось взобраться к самому потолку. Меня больше занимало затененное пространство за самой правой из колонн. До того как мы приступим к еде, необходимо было убедиться, что зазывала не прячется там.

— Я не думаю, что он туда забрался, но на всякий случай проверю... За теми старыми велосипедами есть проход в помещение, где я складываю разные вещи. Много времени не потребуется.

Двадцать восемь велосипедов, стоявших пирамидой между опорой и стеной, были составлены парами, рули к колесам, и образовывали непреодолимую преграду. Не то чтобы пробраться через нее было невозможно, нет, просто мысли искать там ход вообще не возникало. И в первую очередь потому, что казалось, будто за велосипедами стена. Используя скудное освещение, создатель всего этого (то есть я) хотел отвлечь внимание от прохода. То был очередной трюк. Можно смело утверждать, что среди всех ловушек, расставленных на корабле, именно эту я замаскировал наиболее ловко. Высившиеся пирамидой старые велосипеды являлись прекрасной ширмой. Своеобразным ключом служило переднее колесо самого правого из них. Нужно было только сильно повернуть руль и освободить педаль, застрявшую в спицах соседнего велосипеда.

— Так, замóк открыт. Не поможете теперь повернуть колеса первого ряда в одну сторону?

Достаточно было чуть потянуть ряд на себя, чтобы вся пирамида повернулась и за опорой открылся конусообразный проход. В конце его виднелся грязноватый холст размером примерно в полтора квадратных метра. При слабом свете он казался обычным куском тряпки, наброшенным на один из велосипедов, но на самом деле был наклеен на толстую фанерную доску, являвшуюся дверью.

— Похоже на осиное гнездо, прикрытое листвой... — сказала женщина.

— Скорее на вход в какую-то нору.

— Нет, на осиное гнездо!

Внутренняя планировка под стать маскировке входа. Первое помещение — небольшая комнатка в шесть дзё. Потолок низкий, чуть выше двух метров. Оттуда идут три туннеля — верхний, средний и нижний. Они заканчиваются небольшими комнатами, связанными между собой узкими каменными лестницами,— все это напоминает утробу сказочного дракона из тех, что ставят на детской площадке.

— Я полагаю, что это скорее всего разведочный шурф. Отсюда пытались пробивать штреки в разных направлениях, но добытый камень оказался низкого качества, и работу прекратили. Выемки невелики, все делалось на скорую руку. Но такая пробная добыча чрезвычайно удобна, когда хотят систематизировать образцы пород,— объяснил я.

Несколько большее помещение, в которое можно было попасть, поднявшись по правой лестнице, служило продуктовым складом. Тридцать дюжин запечатанных коробок с сухарями. Семнадцать пятикилограммовых мешков риса. Двести порций лапши быстрого приготовления. Сухие овощи всех видов. Приправа из перебродивших бобов и сои, соль, сахар. По пять больших ящиков консервированного мяса, тунца, сардин в масле. Кроме того, там стояло приспособление для гидропонного выращивания овощей и набор всех необходимых семян...

Средний туннель вел в помещение, напоминавшее зал старинного замка, здесь хранились всевозможные предметы повседневного обихода. Используя неровности в стенах, я компактно разместил медикаменты — лекарства, бинты и тому подобное, мыло, зубную пасту, бритвенные лезвия, а среди этих необходимых предметов было в беспорядке навалено все что угодно, начиная с бакалейных товаров и кончая хозяйственными принадлежностями. Там можно было обнаружить никелево-кадмиевые батареи подзарядного типа, электрические лампочки, сухой спирт для спиртовок, кинопленку, точильный камень, припой и паяльник, клей, леску, огнетушители и многое другое... В общем, если я в ближайшее время не составлю список, то скоро сам перезабуду, что там.

Нижний туннель больше, чем остальные, походил на жилую комнату. Это не была обыкновенная кладовая — там стояло семь стульев, стол, проекционный аппа-

рат, висел экран, на стене красовался план каменоломни, начерченный на большом листе бумаги. Я сделал его всего полмесяца назад и еще не успел нанести результаты дополнительных изысканий, проведенных позже, но все равно план, выполненный в трех красках, производил впечатление. Там же хранилось двадцать восемь противогазов, а также гаечные ключи, молотки, ломы и другой инвентарь, который мог в случае чего послужить и оружием. У одной стены стояло тридцать пять двадцативольтных аккумуляторов. У противоположной — лежало семь игрушечных автоматов, переделанных мною в настоящие, пустые обоймы, ящик с патронами, сырье для изготовления взрывчатки, пять самострелов и сто две стрелы к ним. И еще — большой ящик, на котором крупными иероглифами написано: «Песок для тушения пожара». Но это была очередная хитрость, на самом деле в нем лежал динамит — сорок три шашки. Об этом я не собирался говорить своим спутникам. Если бы в карту еще воткнуть флажки, помещение можно было бы принять за оперативный штаб, расположенный в подземном бункере,— такие часто показывают в кино. Какие же флажки здесь уместны? Японские? Сомневаюсь. Я пока всерьез не задумывался над этим, но, по-моему, никакие.

— Вроде бы нет, нигде нет. — Женщиина стояла у плана и, наклонив набок голову, рассматривала его. Кажется, она не могла в нем сориентироваться. — Где ему здесь спрятаться? А вон тот вход...

— Все предусмотрели. все заготовили, я просто поражен. — Продавец насекомых провел пальцами по столу и, криво усмехнувшись, вытер пыль о брюки. — Но во всем этом чувствуется привкус детской игры...

Видимо, он намекал на игрушечное оружие. Неужели он считает, что автоматы не более чем муляж? Пусть остается в этом заблуждении...

— Если он залез в тот туннель под потолком,— женщина указала пальцем на план,— значит, он там, где нарисована эта черная линия, да?

— Все, что я обследовал сам, обозначено черными линиями. А красный цвет — план, который составлен на основе данных, представленных предпринимателями, и хранится в муниципалитете. Как ни странно, хотя красные и черные линии переплетаются, в действительности они нигде не совпадают. Каждый предприниматель, игнорируя соглашение, рыл как ему вздумается. Поэтому в шахтах так часто случались обвалы.

— А синие линии?..

— Сплошные обозначают каналы, а пунктирные — подземные водные артерии, не выходящие на поверхность.

— Когда понадобится такое оружие, будет уже поздно. — Продавец насекомых взял самострел и прицелился в план.— А вот эти черные линии выходят за пределы карты.

— Если нужно, продлю план дальше.

— Может, и он находится за пределами плана?

Повернувшись к продавцу, женщина крикнула:

— Прекратите, это же опасно!

— Успокойся, я ведь стрелу не вкладываю. — С этими словами продавец насекомых прицелился в лицо женщине. — Неприятная штука. Даже знаешь, что целишься в шутку, а все равно жутковато. Не лежит у меня душа к такому оружию. Не знаю случая, чтобы с его помощью что-то решалось.

— К чему вся эта речь? Автоматы-то игрушечные. А самострелы предназначены только для истребления крыс.

Женщина обошла стол и, протянув руку, потрогала тетиву самострела.

— Этой штукой можно убить крысу?

— Если попасть — наповал.— Продавец насекомых, наступив на лук, натянул тетиву. Привычным движением вложил стрелу и, установив прицел и дальность, протянул самострел женщине.— Стрельни попробуй. Смотри в это отверстие и, как только цель окажется в прорези, спускай крючок.

— Боюсь я чего-то.

— Это не огнестрельное оружие, отдачи не будет, не трусь. — На спинку стула метрах в четырех он поставил боком пустую коробку от сигарет. — Вот тебе и цель. Не думай о том, как бы покрепче прижать самострел, расслабься, затаи дыхание...

Раздался звон тетивы, и — случайно, конечно,— стрела попала в цель. Коробка

от сигарет разлетелась, а пробившая ее стрела, ударившись о стену, отскочила в сторону. Женщина издала победный клич.

— Здорово! Попала! Можно я возьму его себе?

— Конечно, можно. Иметь самострел законом не запрещается. — Мной овладело сложное чувство Значит, по мнению продавца насекомых, мой арсенал — детская игра. — Охотиться с помощью самострела не разрешается, но бить рыбу — пожалуйста.

— А где здесь рыба? — Приложив к плечу самострел, она целилась то в одну, то в другую сторону. — Тяжеловат, правда. Но зато стреляет лучше, чем духовое ружье.

— Для настоящего боя все равно не годится. — Продавец насекомых без колебаний выбрал из игрушечного оружия, стоявшего в пирамиде, автомат «узи» и начал со значением поглаживать ствол. — Для того чтобы зарядить самострел, то есть вложить стрелу, требуется слишком много времени. Если удастся выстрелить первым и попасть, тогда еще куда ни шло, но эффективность ведения боя значительно ниже, чем если ты вооружен пистолетом или винтовкой. Смертельно ранить стрела может на расстоянии не более тридцати метров, поэтому, если первый выстрел окажется неудачным, дальнейший бой придется вести уже голыми руками. А вот если у тебя такой «узи» — дело совсем другое.

— Поразительная осведомленность. Откуда вы знаете об этом автомате?

— Не зря же я служил в силах самообороны Но мне кажется, вы сами, Капитан, осведомлены больше, чем нужно. Без досконального знания дела вы бы не выбрали «узи» Это оружие предназначено не столько для регулярной армии, сколько для диверсионных отрядов.

— Да будет вам. Это же игрушка. Когда по телевизору показывали покушение на президента Рейгана, агенты секретной службы были вооружены такими автоматами. Мне они понравились своей компактностью и внешним видом.

— Неправда. Этот автомат переделан в боевой. — Он поскреб ржавчину на курке, понюхал отверстие ствола, осмотрел затвор, засунул палец внутрь. — Вы ведь стреляли из него, верно? Смелый человек. Все цело, значит пристрелка прошла успешно. Делали наверное, одиночные выстрелы, а может, вели полуавтоматическую стрельбу? Во всяком случае, не очередями.

— Выньте магазин и посмотрите — в нем игрушечные патроны.

— Напрасно стараетесь. Это для маскировки или чтобы попугать — вложено несколько холостых патронов. Осмотрительный человек всегда так поступит. Но, к вашему несчастью, наверху, в капитанской каюте, вокруг малогабаритного токарного станка насыпаны латунные опилки. Я люблю оружие — поэтому и записался в силы самообороны — и сразу догадался, что вы там изготовляли.

— Я понял, что отпираться бесполезно. Тем более что в магазине после третьего патрона действительно шли настоящие, хотя и самодельные.

— Вижу, вы обладаете изрядными познаниями в области оружия.

— Разрешите осмотреть его?

Может быть, мне следует ему довериться? Из автомата удалось сделать пять выстрелов подряд, но я не был уверен, что он выдержит большую нагрузку.

— Однако вам ведь не по душе такое оружие?..

— Я говорил только, что оно окажется бесполезным. А интерес к нему у меня есть. Поскольку игрушечный автомат сделан из плохой стали, нужно тщательнейшим образом согласовать его прочность с количеством пороха в патронах.

— Ничего не получается! — закричала женщина. Она сидела на двадцатикилограммовой бочке с активированным углем и пыталась натянуть тетиву самострела, упираясь ногами в лук, ей это никак не удавалось. — Силенок, наверное, не хватает.

— Голыми руками ничего не выйдет Дам вам потом автомобильные перчатки.

Я натянул ей лук. Захватив пяток стрел, она взбежала по лестнице в разведочный шурф.

— Сама она ни за что не справится.

— До чего же хороша Мне уже давно хочется ее сфотографировать.

— Оружие сразу же меняет человека. — Продавец насекомых взвел курок «узи» и взял автомат наизготовку. — Капитан, вы не человеконенавистник?.. Слишком уж замкнутый у вас характер...

Неожиданно из машинного трюма донесся крик. Голос женщины:

— Выходи, тебе говорят! Не выйдешь, стрелять буду.

Высокие тона, видимо, поглощались неровностями стен, и поэтому голос казался более низким, чем на самом деле. Возможно, поэтому в нем звучала нешуточная угроза. Послышался еще один голос, покорный, но слов было не разобрать.

Мы с продавцом насекомых стремглав сбежали по лестнице. Женщина как раз опускала самострел, который только что прижимала к плечу. Из отверстия у самого потолка по опоре подъемника спускался зазывала. Он действительно был ловок и бесстрашен. Повернувшись к нам, он изобразил на лице игривую улыбку.

12

У каждого свой «хвост»

Члены экипажа прекрасно понимали, что сейчас не время осторожно прощупывать друг друга. Первый раунд, когда пытаются выяснить намерения противника, закончился, начинался второй, когда на карту поставлен исход поединка. Сейчас нужно было успокоить дыхание и постараться сковать действия соперника. Наверное, это чувствовал каждый — пока не были открыты банки с пивом, все избегали касаться выходки зазывалы, доставившей нам столько беспокойства, и сохраняли перемирие.

На ужин я взял каждому по баночке рамэна [1], по два ломтика ветчины и по яйцу, нарезал репчатый лук и, как обещал, на закуску к пиву открыл сардины. Я, конечно, мог устроить стол и побогаче, но посчитал, что это будет излишним.

Я принес на мостик рамэн и по пять банок пива. Сел на стул у лестницы, продавец насекомых примостился на парапете, а зазывала с женщиной устроились на диване. Он, правда, оказался низковат, и их подбородки едва достигали стола, но зато им было, по-видимому, хорошо вместе, а это окупало неудобства.

Продавец насекомых залпом осушил первую банку. Зазывала через стол протянул ему новую. Корзину с пивом он держал около себя. И сразу же взял лежавший возле женщины заряженный самострел.

— Комоя-сан, прошу вас, поставьте пустую банку вон туда. Я хочу использовать ее в качестве мишени. Где здесь предохранитель? Никак не найду.

Женщина уперлась подбородком в его плечо и освободила защелку у спускового крючка. Даже если между ними такие близкие отношения, слишком уж откровенно демонстрирует она их перед посторонними. Кокетничает по привычке или слишком уж невинна? Собаку, которая ластится к первому встречному, любят только дети.

— Кончай дурить,— мрачно процедил продавец насекомых, по просьбе зазывалы устанавливая пустую банку на другом конце парапета.— Нужно быстрее поесть, а то лапша слипнется.

Зазывала спустил курок. Банка чуть дрогнула, но осталась на месте — он промахнулся. Донесся звук отскочившей от стены стрелы.

— Слабак.— Женщина засмеялась и тайком взглянула на меня.— А я попала в коробку от сигарет. Мазила.

Зазывала опустил голову к банке рамэна и, набив полный рот лапши, невнятно пробормотал:

— Эх, если бы у меня тогда была в руках такая штука, черта с два бы я его упустил.

Женщина ехидно спросила:

— Крысенка, что ли?

— Ну что ж, поели, выпили, теперь приступим к главному.— Зазывала вытер рот и исподлобья глянул на меня. Перемирие окончилось.— Капитан, кто же это был?

Пиво и лапша, смешавшись, тяжелым комом легли в желудке. Что он мог увидеть? Что он имеет в виду?

— Кто?.. Никого там не может быть.

— Не притворяйтесь.

— Это у вас была галлюцинация.

— Постойте.— Продавец насекомых, у которого рот был набит сардинами, глот-

[1] Китайская лапша с приправами, готовая к употреблению. Она расфасована в специальные банки, куда заливается кипяток.

нул пива.— Как советник Капитана я должен, конечно, держать его сторону, однако... в данный момент нужно посмотреть правде в глаза. Хотелось бы, чтобы и вы, директор, ответили прямо и честно. Лампа была припрятана вами заранее. Значит, вы с самого начала замышляли обследовать пещеру. Даже если вы будете отговариваться тем, что заметили что-то подозрительное, оправдаться не удастся.

— Вы как всегда наблюдательны, Комоя-сан.— Зазывала, приветливо улыбаясь, как ни в чем не бывало открыл вторую банку.— Справив нужду, я решил прогуляться, это верно. Но я не такой уж дурак, чтобы без всякой причины лезть в ту дыру.

— Чудно.— Женщина оторвала голову от банки. С молниеносной быстротой втянула свисавшую с губ лапшинку.— Почему же ты не позвал нас? Это было бы самое разумное, если бы, конечно, ты доверял Капитану.

— Не встревай. Не верю я никакому Капитану.— Зазывала пренебрежительно ткнул в мою сторону пальцем. Его распирало от возбуждения. Может, он и в самом деле говорит правду?

— Кто же там был? Что он делал, когда вы увидели его?

— Ага, признали! — Зазывала вызывающе топнул ногой.— Кто это такой? Зачем вы его спрятали?

— Не прятал я никого.

— Сами же спросили, кто там был. Значит, знаете, о ком идет речь.

— Не надо злиться.— Продавец насекомых протянул через стол руку, и женщина дала ему третью банку пива. На лбу и щеках у него выступили багровые пятна. Наверное, он плохо переносит алкоголь.— Вот бы иметь детектор лжи. Однако исходя из того положения, которое занимает каждый из нас, директор обязан говорить правду, в то время как Капитан — не обязан. Вас ведь никто не приглашал на корабль, вы, если можно так выразиться, непрошеные гости.

— Бросьте свои шуточки.— Зазывала сплюнул.— Я же говорил, что не на своей подушке ни за что не усну. А меня насильно здесь удерживают.

— Насильно — это уж слишком. Правда, фактом является и то, что Капитана никто официально не утверждал в этом звании.— Хлопнув себя по животу, продавец насекомых рыгнул пивом.— Конечно, вопрос стоит так: пока экипаж не признал его капитаном, он таковым считаться не может, как бы ему этого ни хотелось.

— Значит, этот вопрос должен решаться силой...— сказал я.

— Существуют еще и выборы. Насилие не в моем вкусе.

— Хорошо бы получать приличное жалованье.— Женщина сказала это с таким воодушевлением, будто сделала великое открытие.— Человек, получающий жалованье, подчиняется приказам того, кто платит,— так ведется испокон веку.

— В ее словах есть доля истины.— Продавец насекомых медленно, словно тщательно оценивая вещь, сдаваемую в заклад, осмотрел женщину.— Не исключено, что денежные дела нашего Капитана в достаточно хорошем состоянии. Здешнее оборудование стоит недешево. Фотографией он больше не занимается, никакого постоянного занятия тоже, кажется, не имеет... Возможно, ему удалось обогатиться, спекулируя землей? Может быть, рыбачий домик под скоростной автострадой тоже записан на его имя?

— Это уже совсем другой разговор.— Зазывала удобно расположился на диване, отложил самострел и уставился в пол.— Разумеется, тогда у нас возникнут определенные обязательства, а у Капитана — права. В таком случае я неверно оценил обстановку. Еще там, на крыше универмага, я говорил, что билеты и ключи — самый ходовой товар...

— Правильно,— поддакнула женщина торжествующе вскинув голову.

— Но вы же никаких денег не платили.— Продавец насекомых покрутил своей огромной головой и самодовольно ухмыльнулся.

— А Комоя-сан платил? — с сомнением взглянула на меня женщина.

— Конечно, платил, отдал ровнехонько шестьсот тысяч иен.

Слова продавца насекомых звучали так убедительно, что я не мог не кивнуть. Действительно, если считать, что один юпкетчер стоит двадцать тысяч, а в чемодане их тридцать, то как раз получалось шестьсот тысяч — он подсчитал точно.

— Все это звучит весьма странно,— не унимался зазывала.— Комоя-сан, вы, кажется, сказали, что вас наняли,— это же совсем другое дело. А теперь, оказывается, что вы здесь дорогой гость.

— Чепуха, каких-то несчастных шестьсот тысяч. Пустяковая сумма за то, чтобы стать членом экипажа этого корабля. Я испытываю глубокую благодарность. Вы же вообще за билеты не платили, вот и выходит, что вы просто огребли немалую сумму. В общем, вам не на что жаловаться.

Зазывала и женщина, казалось, были подавлены этим аргументом. Продавцу насекомых в самом деле нельзя было отказать в убедительности. Кажется, я понял, почему он потребовал от меня полной свободы действий в переговорах с зазывалой и его подругой. Через какое-то время, понадобившееся ему, чтобы осушить третью банку, он продолжил:

— Итак, пока мы ведем беседу, и среди нас нет ни победителей, ни побежденных. Значит, никого не назовешь преступником и никого не назовешь жертвой. Но необходимы гарантии, способные обеспечить взаимное доверие. Полагаться на устные обещания нельзя, а чтобы возникла душевная близость, потребуется определенное время. В прошлом в таких случаях люди обменивались заложниками. Может быть, нам пойти по тому же пути и открыть, что лежит на совести каждого? У любого из нас есть «хвост», и вряд ли кому охота, чтобы за него ухватились. Вот этот-то «хвост» и должен послужить залогом. Тогда ни у кого даже ненароком не возникнет грязной мысли побежать в полицию.

— А как проверить, правду ли говорит каждый из нас? Разве может быть абсолютно откровенным такой человек, как Комоя-сан? — возразил зазывала.

— Ничего вы не понимаете. Прихвастнуть каждый может, это нетрудно, а вот придумывать россказни о своих грешках не так-то просто.— Продавец насекомых самоуверенно сощурился и облизнул губы.— А если вы думаете, что способны на это,— начинайте.

— Может, он и прав.— Женщина открыла вторую банку.

— Когда мне нужно занять денег, такое навыдумываю...— Зазывала как бы нехотя открыл третью банку.

Притворно откашлявшись, продавец насекомых продолжал:

— Капитан, не включите магнитофон? Это может показаться странным, но когда на человека нацелен микрофон, ему почему-то становится труднее врать. Кроме того, запись послужит потом вещественным доказательством. Разумеется, Капитан от этой процедуры освобождается. Ведь сама заброшенная каменоломня и есть его уязвимое место. Очередность установим жеребьевкой, разыграем на пальцах, согласны?

Никто не возражал. В первый раз победила женщина, во второй — зазывала.

— Ну что ж, включайте магнитофон.— Продавец насекомых начал свое признание.— Главное, что привело меня в силы самообороны — это форма и оружие, к которым я всегда испытывал слабость. Но разочарование наступило очень скоро. Я с детства был не приспособлен к коллективным действиям и надеялся с помощью мундира избавиться от этого своего природного недостатка. Но мои надежды оказались слишком наивными, уж лучше было бы мне постричься в монахи. Я свалял дурака — стал красть казенное оружие и продавать его. А посредником был... Ну, это он нам сейчас сам расскажет.

Продавец насекомых исподлобья взглянул на зазывалу. Тот прикрыл рукой микрофон.

— Это против правил.— Язык у него заплетался. Хотя по лицу не было видно, что он пьян.— Каждый сам должен рассказать о своем «хвосте». К тому же дело это давнее.

— Хорошо, пусть давнее. Уберите руку. Он получил от меня три пистолета — это точно. На четвертом я завалился. У нас устроили выставку лучших в мире образцов оружия, там был выставлен бельгийский пистолет «M. W. Bon», вы должны знать о нем — это необычное оружие: по мощности не уступит пулемету, а размером с револьвер. Единственный недостаток — непомерная цена. Мог ли я безучастно пройти мимо? Я обладал обширными познаниями в области оружия, и мне удалось получить специальный пропуск якобы для изучения экспонатов. Там было выставлено около тысячи образцов. У входа установили компьютерное устройство, и контроль осуществлялся весьма деликатно. Посетитель вкладывал пропуск в компьютер, и тот помечал имя и вес. При выходе пропуск вкладывался снова, и если разница в весе была более трехсот граммов, дверь тут же захлопывалась и раздавался звонок. Что, вы думаете, я предпринял?

— Решил выносить по частям — в разобранном виде,— высказала более чем очевидное мнение женщина.

— Так я и поступил. Вынул из пистолета все мелкие детали. Но что было делать с корпусом — он один весил восемьсот граммов.

— Все понятно.— Это была моя любимая тема. И я мог ответить гораздо лучше, чем женщина.— Нужно было принести что-либо весом в пятьсот граммов и оставить вместо корпуса.

— Свеженькая мысль,— презрительно бросил он.— Там не такие простаки служили в охране. Уходя, нужно было включить сигнал, указывающий на окончание работы. Если после того, как отойдешь от стола на метр, там оставался какой-то посторонний предмет, загоралась красная лампочка. Можно было бы использовать стоящий неподалеку бачок для мусора, но стоило бросить в него вещь, весившую более пятидесяти граммов, как раздавался сигнал тревоги.

— Ловко...— Зазывала с насмешливым видом водил пальцем по колену, рисуя квадраты.

— Не задирайся.— Женщина сбросила туфли без задников, похожие на сандалии, и уселась, скрестив ноги.

— Во всей этой системе было лишь одно слабое место.— Продавец насекомых покивал головой и горделиво вытянул губы.— Какое бы вы думали? Фонтанчик для питья. Осуществлялся строжайший контроль за входом и выходом, но зато существовал фонтанчик для питья. Около него меня и озарила мысль... Открыть секрет?.. Я налил в полиэтиленовый пакет шестьсот кубических сантиметров воды и пронес с собой.

Молчание. Нужно было время, чтобы понять и оценить идею.

— Но вы же сказали, что в конце концов ваша затея окончилась провалом,— тихо произнесла женщина.

— Почему провалом? Все было проделано самым лучшим образом.

— И за это вас выгнали?

— Нет, никто ничего не заметил. Украденный пистолет я спрятал в казарме в подушку и сам был не свой от радости, что так ловко провернул дельце. Идиот, знал ведь, что есть прибор для обнаружения металла. Затеяли проверку в казарме... Ну, я и влип. Так всегда — стащить легче, чем спрятать.

— Ваш «хвост» липовый, вроде как у ящерицы.— Зазывала удобно примостился на подлокотнике дивана и допил остатки пива.— За это вас выгнали из сил самообороны, значит, теперь за вами уже никакой вины нет.

— Не болтайте зря, на меня до сих пор объявлен розыск. Просто я смылся, и меня не смогли упечь в тюрьму. Ну хватит, теперь ваша очередь. Только не забудьте — говорить одну правду.

Зазывала взглянул на меня, на продавца насекомых и надолго замолчал. Потом, шмыгнув носом, посмотрел на женщину. Наконец, махнув рукой,— ничего, мол, не поделаешь,— полез в задний карман брюк и достал пачку карточек.

— Вот, смотрите. Эти карточки все равно что живые деньги. Выдают их кредитные конторы, я открыл счета в двадцати шести из них. А всего таких контор больше тридцати, их общий капитал составляет семьдесят миллионов иен. Я когда-то сам занимался таким бизнесом и знаю, как втереться в доверие и получить карточку. Теперь почти во всех конторах висят мои фотографии.

— Потому-то вы и прибегли к маскировке? — Одно из моих подозрений растаяло, и я вздохнул с облегчением.

— Кажется, есть шпики, которые охотятся специально за мной,— обещано немалое вознаграждение... Так во всяком случае говорят. Я рассказал все. Выключайте магнитофон.

— Да, неплохо. У вас есть все основания стать членом экипажа.— Продавец насекомых нажал на кнопку «пауза».— Капитан, возьмите у него карточки в качестве вещественного доказательства.

— Так не пойдет.— Зазывала проделал пальцами немыслимые манипуляции, и в один миг пачка карточек таинственно исчезла из-под самых моих рук.— Магнитофонной записи, я думаю, вполне достаточно.

— Ладно, так и быть. Перейдем к следующему? — Продавец насекомых сцепил руки и взглянул на женщину.

— Не хочу, не буду ничего рассказывать.— Лицо ее буквально окаменело, словно его накрахмалили.

— Почему?

— Стыдно.

— Раз стыдно, значит, есть что дать в залог. Ну-ну, не ломайся.

Я неожиданно начал пьянеть. Во мне боролись два чувства — протест и надежда — я был не в силах взглянуть женщине в глаза. В висках стучало так, будто у самого уха работал насос.

— Не в том смысле. Мне стыдно потому, что нечего рассказывать.

— Прекрасно, освободим ее от этой обязанности,— пришел на помощь зазывала. Может быть, у них общая тайна, в которую нельзя посвящать посторонних? — Так или иначе девочке не следует выходить без провожатого.

— Почему?

— Потому что один из сборщиков по векселям, которые охотятся за мной, спит и видит взять ее в залог. Ну ладно, вернемся к тому, с чего начали. Мы рассказали о «хвостах», которые за нами тянутся, и таким образом обнажились друг перед другом... Капитан, скажите честно, что это за странный человек, который следовал за мной по пятам?..

Продавец насекомых устроился на парапете и сильно подался вперед. Алкоголь, видимо, притупил боязнь высоты. Женщина отвела руки за спину и оперлась на них — до этого она обнимала ими колени. И без того короткая юбка теперь вообще казалась обмотанной вокруг шеи. Взгляды всех троих скрестились на мне.

— Я и правда не знаю. Даже представить себе ничего подобного не мог, пока не услышал от тебя... Я буквально потрясен... Хотя кое-какие подозрения у меня были, что-то даже припоминается... Но я всегда думал, что это крысы... Расскажи-ка поподробнее, что ты видел.

— Сначала вы расскажите. Объяснить как следует я все равно не сумею.

— Чего ты упрямишься? — Продавец насекомых, до этого раскачивавшийся взад и вперед, теперь стал качаться из стороны в сторону.— Нужно доказать Капитану, что он не зря пустил нас на корабль.

— Комоя-сан, поосторожнее, не упадите,— предостерегла женщина. Продавец насекомых замер, точно его отключили от сети.

— Мой рассказ — короткий. Из дальнего прохода кто-то за мной подсматривал. Я погнался за ним, вот и все.

— Это на самом деле был человек?

— Кто же еще, если не человек? Таких огромных крыс не бывает.

— Честно говоря, я уже давно чувствую, что кому-то удалось тайком проникнуть сюда. Но для человека слишком уж проворен. Что-то мелькнет перед глазами, не успеешь приглядеться — исчезло. Видимо, центральное зрение у меня хорошее, а боковое — слабое. Может быть, поэтому мне бывает трудно разобрать — крыса пробежала или человек.

— Разве крысы бывают в туфлях и куртке? Но проворный — это верно. И в расположении ходов, кажется, здорово разбирается. Очень уж он уверенно носится по всему лабиринту, из любого тупика находит выход. Привык, наверное.

— Докуда ты добрался?

— Трудно объяснить. Я не уверен, что смог бы повторить маршрут. Два раза спускался по лестницам, а потом все время поднимался. В двух местах были каналы отвода воды, причем второй — широкий и глубокий, почти как река.

— Ты дошел до того места?

— Да, и там потерял этого типа. Думал, уже настигаю, но вдруг он исчез. Представить себе не могу, как ему удалось преодолеть этот широченный поток. Наверное, кроме этого входа здесь есть и другие, а, Капитан?

— Я не очень хорошо знаю дальний конец каменоломни.

— Вы не знаете, а те, что поселились в том конце, нашу часть изучили превосходно. Это никуда не годится.

— Неприятный запах, не чувствуете? — Женщина прикрыла ладонью нос и рот.

— Чувствую.

— Перед самым каналом штрек сильно сужается, там как раз конец каменоломни,— стал объяснять я.— Я все равно собирался заблокировать тот проход. Трудно поверить, что у них хватило духу проделать весь этот тяжелый путь, который даже

по прямой в оба конца не меньше шести километров, да к тому же на каждом шагу обрывы, котлованы, лестницы. Мне и в голову не могло прийти, что эти типы способны добраться до моего конца каменоломни.

— Типы, говорите? Кто же это?.. Мне кажется, вы догадываетесь.

— Во всяком случае, серьезного беспокойства они не доставят. Это небольшая группка стариков, которая называет себя «отрядом повстанцев».

— Против чего же они восстают? — Замерший в напряженной позе, продавец насекомых вскинул голову. У него с носа соскользнули очки. Правый глаз слезился.

— Против мусора. Им лет по семьдесят пять — обычные мусорщики.

— Неужели эти мусорщики поселились здесь, в заброшенной каменоломне?

— Да нет. Они работают на мусорной свалке. А до нее отсюда больше трех километров. Это та самая свалка, на которую вы обратили внимание, Комоя-сан,— сказал я, впервые называя продавца насекомых по имени и чувствуя некоторое замешательство оттого, что в наших отношениях произошли изменения.— Мы ее видели, когда ехали сюда кратчайшей дорогой. Помните, она высилась, как утес...

— Может, это свалкой и пахнет,— опять принялась за свое женщина.

— Что же приходят сюда вынюхивать эти подметалы? — не успокаивался зазывала.— Тому, кто сбежал от меня, вряд ли могло быть семьдесят пять лет.

— А вдруг это один из их руководителей. Вожаки у них, возможно, помоложе.

— И большой это отряд?

— Человек тридцать пять — сорок. Работают только глубокой ночью, и поэтому увидеть их почти невозможно. Выстроившись в ряд, они метут улицы, распевая хором военные марши.

— Мрачные, должно быть, типы.

— Но мне не приходилось слышать жалоб, что их песни мешают спать по ночам. Может быть, ветер и шарканье метел заглушают пение?

Мы все, кроме женщины, сильно опьянели от пива.

13

Об «отряде повстанцев» писала даже местная газета

Об «отряде повстанцев» писала даже местная газета, так что в наших краях все о них знают. Вначале это было просто движение за сбор пустых банок, инициаторами которого выступили несколько стариков. Вскоре у них появились единомышленники, и движение стало расцениваться как стремление к возрождению общества, в котором стоило бы жить. В дальнейшем старики объединились в организацию, ввели специальную форму, даже придумали значок в виде двух скрещенных метел. И вот группа стариков (средний возраст — семьдесят пять), затянутых в темно-синюю форму, напоминающую военно-полевую, глубокой ночью, когда все люди спят, стала мести улицы — до самого рассвета. Они работают по ночам скорее всего потому, что страдают бессонницей, ну и, кроме того, не хотят беспокоить горожан. Представляю себе, как, выстроившись в ряд и тихонько напевая старые военные марши, они медленно продвигаются вперед, размахивая в такт метлами, и их тень в свете фонарей выглядит огромной сороконожкой. Картина жутковатая. Кажется, эти военные марши обсуждались в муниципалитете. Но один из его членов все уладил, заявив, что в песне «Сколько сотен ри[1] до родной страны...» говорится только о тоске солдат по родине и отождествление ее с военным маршем — выдумка Союза учителей. Еще «повстанцев» обвиняли в том, что они собирают деньги в районах, где ведут уборку. Но это было опровергнуто справедливым доводом: идет сбор пожертвований на сооружение дома для престарелых, который старики построят собственными руками,— обычная практика, отвечающая здоровым чувствам граждан, которые стремятся таким образом восполнить недостаток внимания к пожилым людям. А город Китахама благодаря «повстанцам» сияет чистотой. По его улицам можно даже ходить босиком, не запачкав ног. Кроме того, он выделяется еще и тем, что потребление синтетических моющих средств сведено здесь до минимума. Городские власти даже приветствуют деятельность «отряда повстанцев».

— Мерзкие старики, психи чертовы. Сдвиг у них, это точно...— Продавец насе-

[1] 3,927 км.

комых сполз с парапета и, облокотившись о стол, подпер рукой щеку. Глаза его, прикрытые очками, бегали из стороны в сторону.— Среди чистюль стоящих людей не бывает... Я так не люблю заниматься уборкой... Все по полочкам, все по порядку — провались оно пропадом.

— Верно, мне тоже эти «повстанцы» противны. В городе все вычищают до блеска, а здесь подсматривают за каждым нашим шагом.— Зазывала натянул тетиву самострела и вложил стрелу.— Ума не приложу, куда подевался тот шпион? Там еще есть длинный каменный утес, похожий на платформу метро, который доходит до самой воды, шпион мог только броситься в канал, иначе бы ему не убежать.

— Может, переплыл.— Продавец насекомых, словно обессилев, опустился на пол. Этот маневр мне не понравился. Теперь ему ничего не стоило между ножками стола заглядывать под юбку женщины.

— Не смог бы.— Зазывала, будто тоже догадавшись о тайном умысле продавца, взял самострел наизготовку и положил палец на спусковой крючок.— Противоположная сторона канала — совершенно отвесная стена, доходящая до самого потолка.

— Перестань.— Продавец насекомых инстинктивно схватил «узи», прислоненный к парапету, и привстал, щелкнув затвором.

— Не балуй с оружием!

Зазывала, не обращая на него никакого внимания, ухмыльнулся и спустил курок. Стрела царапнула пустую банку, в которую он опять целился, и с сухим треском отскочила от дальней стены.

— А сам? Не мальчишка ведь, а балуешься со своей игрушкой... Ты настоящий оружейный маньяк. Хоть игрушечным автоматом побаловаться — и то удовольствие, да?

Продавец насекомых беззвучно опустил автомат. Но снова залезть под стол не спешил. Женщина, хотевшая было что-то сказать, тоже примолкла. Теребя тетиву самострела, зазывала продолжал:

— Капитан, как вы думаете? Может, покурим и сходим еще раз к каналу?

— Нет, уже поздно, отложим до утра.

— Под землей нет ни дня, ни ночи.— Зазывала проглотил остатки лапши и приложился к четвертой банке пива.— А я чем пьяней, тем ясней все вижу, правда... Но закусывать пиво лапшой плохо для организма — неполное сгорание.

— Специально идти к ним незачем.— Продавец насекомых, взяв последнюю сардину за хвост, отправил ее в рот.— Если им нужно, сами сюда пожалуют.

— Ненавижу сидеть сложа руки. Старики явно считают каменоломню продолжением своей свалки. Вот увидите, вычистив все улицы, они и сюда доберутся.

— Нет, это запах не простого мусора...— Женщина все стояла на своем.— Это пахнет какими-то вредными веществами. Уничтожение промышленных отходов приносит немалые деньги, верно?

— Конечно, это просто сказка для дураков, будто старики убирают мусор только для того, чтобы построить дом для престарелых.— Зазывала и женщина одновременно потянули носом.— Послушайте, нам не понадобится сертификат на право выжить. Мы и так скоро будем наполовину покойниками, надышавшись этой отравы.

Улитка, пожелавшая спрятаться в гигантской раковине из сверхсплава, но вместо этого натянувшая на себя рваную проволочную сетку. Ощущение, будто перед глазами с треском лопнул воздушный шарик. Взор затуманивается. Кажется, брызнули слезы. Это случалось со мною и прежде. Такие же слезы я проливал, когда Тупой Кабан посадил меня на цепь в этой заброшенной каменоломне. Я как-то читал, что существует три типа слезных желез, и каждая функционирует с разной периодичностью. Сейчас, наверное, слезы шли из той, которая работает реже всего, и с трудом находили выход наружу.

— Я уверен, что этот тип пришел проверить, не умер ли Капитан. А сейчас, когда он сообщил, что здесь происходит, у них большое волнение. Мало того, что Капитан жив, теперь здесь поселились уже четверо.

Женщина удивленно посмотрела на меня:

— Что с вами? Вы плачете?

— Да нет...— Мне было стыдно вытереть слезы, и они бежали по щекам.

— У вас, Капитан, нет причин плакать.— Продавец насекомых плотно прикрыл глаза и навалился на стол, широко расставив локти

— Существуют еще и слезы досады.— Зазывала подчеркивал каждое слово и

при этом брызгал слюной.— Оттого, что Капитану приходится сидеть сложа руки и ждать, пока эти старики отойдут в мир иной.

— Вот у него и возникла необходимость заблокировать все проходы.

— Мера явно недостаточная. Вон как они суют нос в наши дела! Что мы, с какими-то жалкими старикашками-мусорщиками не справимся?!

— Нужно объявить, что эта территория принадлежит только нам, пусть уж старички не обижаются.— Продавец насекомых, точно раненый трепанг, медленно заполз на стол и уселся там.— Для них заброшенная каменоломня — просто свалка, а мы найдем для нее применение получше. Япония — страна маленькая и с каждым днем все сильнее испытывает недостаток свободного пространства.

— Вы что, хотите вывесить японский флаг с восходящим солнцем? — Женщина продолжала удивленно смотреть на мои слезы.

— А что? Давайте вывесим.— Зазывала заговорил как по писаному: — Даже в аду деньги заплатишь — в рай попадешь. Надо решать — отгородиться от них или, может, брать плату за аренду помещения.

Было похоже, что все члены экипажа кроме меня полны желания вступить в переговоры с «отрядом повстанцев». Да я и сам сомневался, что удастся до бесконечности сохранять нынешнее положение. Надо же, послать сюда наблюдателя — я испытал двойной удар: унизительно само по себе находиться под наблюдением, и к тому же обнаружить шпиона удалось только благодаря зазывале. Теперь «повстанцы», поняв, что обнаружены, начнут вырабатывать ответные меры. Во всяком случае, если столкновение с ними неизбежно, надо воспользоваться тем, что у меня появилось сразу двое добровольных телохранителей.

Так или иначе, тонкому обонянию женщины надо было отдать должное.

— Сдаюсь, ты была права,— решился я.— Дело в том, что они собирают отработанный раствор шестивалентного хрома. В старину от шпионов требовалось острое обоняние. Даже в полной тьме они, подобно собакам (не самое удачное сравнение), должны были различать по запаху людей и предметы. Искусство шпионажа зависело от тренировки обоняния. Так вот, с твоим нюхом ты могла бы стать шпионом высокого класса.

На самом деле мои связи с «отрядом повстанцев» были гораздо теснее, чем предполагали продавец насекомых и зазывала. Первая наша сделка состоялась еще год назад, примерно в это же время. Она заключалась в незаконной ликвидации ядовитых отходов производства — женщина была абсолютно права (ошибалась она лишь в том, что инициатором выступили не «повстанцы», а я). Мерзкая работа — раз в неделю спускать в унитаз содержимое пяти пластмассовых контейнеров с отработанным раствором шестивалентного хрома, концентрация которого в пятьдесят восемь раз превышает норму. Была установлена весьма высокая плата — восемьдесят тысяч иен за контейнер. Четыреста тысяч в неделю, миллион шестьсот тысяч в месяц. Мне бы в жизни таких денег не заработать.

Разумеется, я не вступил в сделку непосредственно с «отрядом повстанцев». Между нами стоял заслуживающий доверия посредник. По вторникам, перед рассветом, он получал у «повстанцев» контейнеры, на небольшом грузовике привозил их сюда и оставлял на верхнем шоссе. Я забирал груз и всю остальную работу делал уже сам. С помощью блока опускал контейнеры на крышу разбитой «Субару-360», которая маскирует вход в каменоломню, и с заднего сиденья через окно, в котором нет стекла, втаскивал внутрь. А оттуда на тачке перевозил на корабль. Работа тяжелая, но если хочешь заработать, выбирать не приходится, к тому же я не мог допустить, чтобы кто-то еще узнал о существовании унитаза.

Перед тем как приступить к работе, пришлось провести необходимую подготовку. Я решил не успокаиваться до тех пор, пока не узнаю, куда поступает то, что сливается в унитаз. Здравый смысл подсказывал, что в море. Морское дно здесь продолжает рельеф суши и отмель тянется довольно далеко, поэтому установить, где выход подземных вод, затруднительно. А ведь если взяться за это дело, думал я, придется заниматься незаконным сбросом отравляющих веществ. Поэтому прежде всего необходимо было выяснить, до каких пределов безопасно то, чем я собирался промышлять. Если волны будут выбрасывать на берег трупы собак и кошек или отравляющие вещества, это в конце концов привлечет внимание властей.

Я выбрал безветренный день и время, когда не было ни сильного прилива, ни отлива, и вылил в унитаз пятьсот граммов пищевого красителя. Потом занял позицию на пешеходном мостике, построенном на вершине Холма Жаворонков, откуда откры-

вался широкий обзор, и стал наблюдать, но на морской поверхности красного пятна нигде не появилось. И, уже приступив к работе, я ни разу не слыхал, чтобы где-то поблизости плавала дохлая рыба. Видимо, грунтовые воды, с которыми соединен сток унитаза, выходят из-под земли далеко в открытом море. Или, возможно, очищаются стремительным морским течением. Никто пока шума не поднял — значит, все в порядке. И я мог спокойно продолжать свое дело. Какая разница — все равно приближается конец света...

Однако в начале этого месяца обстоятельства резко изменились. Однажды, вскоре после того как было объявлено, что сезон дождей окончился, я ждал на перекрестке, пока зажжется зеленый свет. Рядом оказался черный фургон, напоминающий не то полицейский автомобиль, не то агитмашину какой-то правой организации. На боку белой краской были изображены две скрещенные метлы. На концах бампера торчали флажки с той же эмблемой. Наверное, решил я, патрульная машина «отряда повстанцев», о которой мне уже приходилось слышать. О ней рассказывал посредник, но собственными глазами я увидел ее впервые. Особой радости я не испытал, но, поскольку «повстанцы» как-никак были моими клиентами, смотрел на автомобиль с некоторым (хотя и нейтральным) интересом. Неожиданно мы встретились глазами с человеком, сидевшим рядом с водителем. Огромный мужчина, упиравшийся головой чуть ли не в потолок фургона, неотрывно смотрел в окно моего джипа. Меня обожгло, словно я схватил голыми руками кусок сухого льда. Большие темные очки и борода сильно изменили внешность, но зеленую охотничью шляпу ни с чем не спутаешь.

Мой родной отец — Тупой Кабан!

Последний раз мы виделись пять лет назад. И сейчас мне не доставило никакой радости узнать, что он еще жив (хотя и похож на жалкого нищего или на человека, страдающего размягчением мозга). Точно желток в яйце, он удобно устроился в патрульной машине «отряда повстанцев», самых выгодных моих клиентов. Нас разделяло меньше двух метров, и я мог ясно различить эмблему на левом рукаве его темно-синей форменной тужурки. И три вышитых золотых уголка. Судя по знакам различия, обычным для любой организации, золото означало, что он находится в ранге генерала, а три уголка свидетельствовали о самом высоком положении. То есть он был либо полным генералом, либо маршалом, а может быть даже главнокомандующим. Я знать не знал, на кого работаю, и теперь подумал: нечего сказать, хорошего партнера нашел я для заключения сделки. Меня словно паралич разбил, и еще долго после того, как зажегся зеленый свет, я не мог заставить себя нажать на педаль.

Реакция последовала немедленно. Со следующей же недели я лишился работы. Сначала я заподозрил в этом посредника. Он был сыном владельца кондитерской «Сэнгокуя», находившейся в нашем квартале, и носил ту же фамилию — Сэнгоку. Если бы не он, откуда бы Тупой Кабан узнал, что я как-то связан с ликвидацией шестивалентного хрома. Скорее всего, Тупой Кабан, обожающий бравировать своими пороками (издеваясь над собой, он получает мазохистское удовлетворение), просто сказал попутчикам-«повстанцам», что повстречался на перекрестке со своим сыном. А находившийся с ним в машине Сэнгоку, чтобы придать себе веса, похвастался, что знает человека, о котором идет речь, мол, это как раз тот, кому поручена незаконная ликвидация отходов. Тупой Кабан, естественно, тут же решил прекратить поставку контейнеров. Пытается взять меня измором, лишив средств к существованию. И вынудить сдать свои позиции, чтобы самому без боя занять их,— такую он, скорее всего, задумал операцию. Ведь это он приковал меня когда-то к унитазу, и ему были прекрасно известны его возможности.

Разумеется, Сэнгоку решительно отверг мои подозрения. Начать с того, что он получал от меня двадцать процентов комиссионных за посредничество и пострадал от разрыва сделки не меньше, чем я. Может быть, он и прав. Какие бы выгодные условия ни сулили ему «повстанцы», найти столь же безопасное место для сброса шестивалентного хрома он все равно не сможет, значит, перестроиться ему не так просто. Так или иначе «повстанцы» будут вынуждены снова начать переговоры о возобновлении поставок, и я утвердился в решимости не поддаваться, выдержать осаду, сколько бы она ни продолжалась. Мне кажется, именно с этого времени я стал ощущать, что на корабле завелись «крысы».

— Я бы никогда не доверилась такому человеку, как Сэнгоку.— Женщина, рисуя пальцем круги на подлокотнике дивана, изменила положение ног, еще больше оголив колени. Податливые, нежные колени.

— Согласен.— В углах рта зазывалы пузырилась слюна.— Может быть, Сэнгоку и был тем типом, которого мне не удалось схватить.

— Наверное, хотел выведать мои планы.

— Последняя на сегодня.— Продавец насекомых, точно священнодействуя, прикурил сигарету.

Не могу сказать, что я полностью доверял Сэнгоку. Он и иероглифы для фамилии выбрал позначительней, чтобы скрыть свое низкое происхождение (хотя, возможно, его предки и в самом деле писали ее именно так), а был-то он всего лишь сыном владельца лавчонки сладостей у городского шоссе, который однажды ночью исчез неведомо куда. Сэнгоку года на четыре моложе меня. Лавчонка крохотная, с облупившейся вывеской и стеклянной раздвижной дверью. Он жил вместе с матерью, очень набожной, которая часто отлучалась из дому, и ему приходилось самому торговать конфетами, печеньем, молоком, сдобными булочками, не проданными в других, более крупных магазинах. Исключение составлял лишь сладкий картофель, который они приготовляли сами. Не жалели масла, использовали лучшие сорта батата, и лавка всегда утопала в специфическом сладковатом запахе. В пристанционных кафе и закусочных этот батат пользовался огромным спросом. Бежавший из дому отец Сэнгоку раньше работал на какой-то кондитерской фабрике и, видимо, был большим специалистом по сладкому картофелю. Это моя любимая еда, к тому же готовая к употреблению,— вот у меня и вошло в привычку каждое утро покупать свежеприготовленный сладкий картофель. Кроме того, по дороге к «Сэнгокуя» и обратно я обычно не встречал ни одного человека, если только не ехал автобусом.

Однажды, примерно через полгода, когда я уже стал постоянным клиентом этой кондитерской, к моему удивлению, за прилавком оказалась не хозяйка, а молодой Сэнгоку. Раньше я не раз наблюдал, как он чем-то занимается в глубине лавки, но в тот день впервые услышал его голос:

— Инокути-сан... я не ошибся?

— Ошиблись, так называется рыбачий домик там, на берегу. А меня зовите Кротом. Меня так прозвали, когда я работал фотографом. Я ведь похож на крота, не правда ли?

— Нет, у крота длинная шерсть... Знаете, если вы будете питаться одним сладким картофелем, это может плохо отразиться на вашем здоровье.

— Почему же, идеальная пища — много витамина «С» и клетчатки. Плохо будет только в том случае, если вы цену на него поднимете.

— Цена, к сожалению, будет повышаться,— и батат и масло обходятся все дороже. А в давние времена это была еда простого народа.

— Кто ваша матушка?

— Она очень занята, без конца произносит проповеди. В своей религиозной общине она достигла уже высокого положения... Мне, честно говоря, от этого мало радости. Приходится все делать самому, начиная с покупки батата и топки очага и кончая торговлей.

— Религиозная община, говорите? А какая?

— Как, неужели вы ни разу не получали приглашения вступить в нее?.. Не получали?.. Наверное, вас считают человеком, абсолютно безразличным к вере.

Мы вздохнули одновременно. И почувствовали, что нас объединяет общая тайна. Заводить с ним дружбу у меня особого желания не было, но возникло чувство близости. Укладывая картофелины в картонную коробку и рассчитываясь со мной, он болтал без умолку, но это не раздражало меня — наверное, потому, что манера говорить у него была спокойная и мягкая. Он не задал мне ни одного вопроса о том, как и где я живу (хотя слухи до него, безусловно, доходили), даже попытки такой не делал — как мне казалось, он сам был не прочь со мной подружиться.

...Вам, видимо, известно, что мой отец сбежал из дому? Готовить сладкий картофель — такое нудное дело. Нудное и к тому же хлопотное, вертишься как белка в колесе. Нудность и хлопотность, казалось бы, вещи несовместимые. От такой жизни человек превращается в импотента. Матушка, бывало, стаскивала с отца трусы и пыталась оживить нечто жалкое и сморщенное, даже молилась. Попробуй зажарь сто порций картофеля ежедневно — поневоле станешь импотентом. Я категорически заявил, что никогда не буду этим заниматься, а теперь вот мучаюсь. Возможно, нам с отцом недостает решительности. Таким слабакам, как мы, удача просто не к лицу. Вроде как корове седло. Года три назад один знакомый отца, букмекер на велогон-

ках, простудился и попросил подменить его. Предсказывать наобум, кто выиграет,— дело нехитрое и никаких особых знаний не требует. Поэтому предсказания, как правило, не сбываются, но нужно, чтобы, даже не сбываясь, они сохраняли некую достоверность. К счастью или несчастью, отец в течение трех дней только и делал, что предсказывал крупные выигрыши. Началось нечто вроде эпидемии — покупатели хлынули потоком за билетами. Человек рассудительный умчался бы на всех парусах, чтобы и след его простыл, а отец, одержимый единственной мыслью быть подальше от «нудных хлопот», и вправду поверил, что обладает даром предвидения. Он продавал билеты в течение трех дней, пока не начались соревнования. О результатах лучше не вспоминать. Букмекер заставил его полностью вернуть деньги всем, кто купил билеты, а когда выяснилось, что расплатиться он не в силах, отлупил как следует. Избитый, с окровавленным лицом, отец куда-то скрылся. Я тогда подумал, что наша фамилия Сэнгоку действительно древняя. Многим поколениям надо было потрудиться, чтобы создать таких выродков, как мы. Впрочем, для отца та история обернулась фантастическим счастьем. Избавившись от приготовления сладкого картофеля, он, наверное, излечился и от импотенции.— Ты, значит, тоже импотент? — Имею к этому предрасположение.— Я мог бы помочь излечиться, пока все не отсохло от молитв твоей матушки.— Бесполезно.— Не понимаю, так легко отказаться, даже не попытавшись. Попробуй хотя бы помогать мне в работе. Она, конечно, не так щекочет нервы, как букмекерство на велогонках, но может дать тебе прекрасный шанс пошевелить мозгами над своей родословной.— Все равно ничего не выйдет, я же говорил: торговать сладким картофелем — занятие смертельно нудное и смертельно хлопотное. Во-первых, не хватает времени, да и матушка не согласится. А когда она станет руководительницей своей общины, придется вносить туда еще больше денег.— Но если будешь хорошо зарабатывать, этот вопрос решится сам собой.— Боюсь, боюсь поддаться сладким речам и совершить ту же ошибку, что и отец.— Поддаться или не поддаться — решать будешь сам, я хочу лишь объяснить, в чем будет заключаться работа. Условия задачи: существует некое потайное отверстие, куда без всякого разрешения можно свободно сбрасывать все что угодно. Ты должен придумать, как его использовать повыгодней...

Мне не пришлось ждать и трех дней. Сэнгоку, как школьник, с головой погрузившийся в компьютерную игру, стал изыскивать способы использования бездонной ямы. Внешне мы совершенно непохожи друг на друга — ну точно свинья и крыса,— но на самом деле у нас много общего. В наших жилах течет дурная кровь никчемных отцов, и мы оба склонны увлекаться самыми странными идеями. Так он пришел к своей, можно сказать, грандиозной «идее бездонной ямы». Я думаю, ему пригодился опыт, который он приобрел несколько лет назад, когда купил участок земли на побережье и открыл там гостиницу «Домик у моря». Вам известно, во что нужно вложить больше всего денег, когда начинаешь такое дело? Застилать пол настоящими татами [1] или сойдет и виниловое покрытие, сколько понадобится душевых кабин, сколько литров горячей воды нужно подавать в минуту, какой она должна быть температуры, сколько кубиков льда должно быть в каждом номере, какое количество арбузов следует закупать?.. Оказывается, все это не имеет никакого значения. Постояльцы — народ ушлый, они выбирают гостиницу по запаху. Следовательно, главная проблема — сколько денег вложить в туалеты. Перво-наперво — чистота. И здесь мало установить сливные бачки. Решающим фактором является вместимость выгребной ямы. И если не осознавать этого в полной мере, если вложить все деньги в роскошную обстановку и всякие штучки, служащие для привлечения публики, постояльцы все равно сбегут, когда гостиницу окутает запах аммиака,— тем и закончится вся затея. Помните главу из учебника по истории Японии «Перенос столицы»? В древности в Японии существовал обычай через определенное время переносить столицу на новое место. Я думаю, причина была та же, которая привела к провалу с «Домиком у моря». Концентрация населения повышает коэффициент использования полезного пространства, и таким образом жить становится в некотором роде удобнее. Чем больше людей собирается в одном месте, тем больше собирается в нем предметов, чем больше предметов собирается в одном месте, тем больше собирается в нем людей. И возникает проблема ликвидации отбросов. Испражнения, мусор, ну и трупы. Когда я со своим классом ездил на экскурсию в Киото, слушая объяснение какой-то старинной песни, был потрясен, узнав, что в ней говорилось, будто люди того времени... забыл, правда.

[1] Соломенный мат, служащий для настилки полов.

какого,— изнемогали от вони, когда ветер дул в определенном направлении. Вы ведь знаете, тогда еще не существовало обычая кремировать покойников — их отвозили поблизости... Например, в ближайшую бамбуковую рощу прямо за городской чертой, и оставляли там. Почему-то именно в бамбуковую рощу. Может быть, поэтому Киото славится съедобными побегами молодого бамбука? В конце концов столицу пришлось перенести. Люди отступили перед отбросами. И отбросы победили людей. Можно нередко услышать о том, как в разных странах умирают города. Они построены из камня, перенести их в другое место невозможно, и города умирают, завалеиные экскрементами и трупами, пораженные эпидемиями. Деревянные постройки недолговечны, но зато они намного гигиеничнее. Если стремиться к тому, чтобы избежать переноса столиц и умирания городов, планирование нужно начинать со строительства огромных ям. Идеальная мусорная свалка — пуповина города будущего.

В качестве конкретного претворения в жизнь «идеи бездонной ямы» Сэнгоку придумал ликвидацию зародышей, поступающих из больниц после абортов. Выдумка была странной, но работа закипела. Раньше люди, промышлявшие этим бизнесом, тайно подмешивали зародышей в свежие рыбьи потроха и другие отбросы рыбных рынков — для них самих эта работа была малопривлекательной, и они охотно от нее отступились.

Мы сразу же учредили КУОО (это сокращение расшифровывалось так: «Компания по уничтожению особых отходов»).

— Как мы назовем главу компании? Можно президент, можно управляющий, можно директор. Выбери сам,— предложил я.

— А кем будете вы? Председателем правления?

— Нет, всего лишь ответственным за яму.

— В таком случае я — директор. У нас не будет ни президента, ни вице-президента... так демократичнее. А кто войдет в число членов правления?

— Сейчас их всего двое.

— Ну что ж, это еще лучше. Делиться ни с кем не придется.

— К тому же, чем меньше кранов, тем меньше воды вытекает.

— Совершенно верно.

— Мне бы хотелось, чтобы некоторое время кран был лишь один. Не подумай, что ты не внушаешь мне доверия. Но я считаю, тебе самому выгоднее ничего не знать о яме. Когда не знаешь, то и признаваться не в чем. Ты уж не обижайся.

— Ладно. Если засыплемся, того, кто ничего не знал, и накажут не так строго.

Идея с выкидышами была блестящей и оригинальной, но вскоре после того, как мы открыли дело, Сэнгоку пришлось столкнуться при добывании заказов с немалыми трудностями. Бросовые вещи имеют бросовую цену, если только речь не идет о трупах и вредных промышленных отходах. Наконец через три месяца начались переговоры о шестивалентном хроме. Работа эта сразу же приняла регулярный характер и стала главным источником наших доходов. Мать, полностью посвятившую себя религиозной общине, Сэнгоку удалось обманывать, снабжая ее деньгами на мелкие расходы. Свою лавку он фактически прикрыл. Только иногда вспоминал о своей гордости — сладком картофеле и ради удовольствия готовил его мне.

С тех пор минул год. До того как я встретился на перекрестке с Тупым Кабаном, все шло как по маслу. Наше сотрудничество с Сэнгоку тоже было надежным и дружеским. Раз в неделю, в четыре часа утра, мы встречались у табачного магазина, и он передавал мне контейнеры с шестивалентным хромом, а в свободное время я заходил к нему в лавку, на которой уже не красовалось прежней вывески, и мы, сидя в задней комнате, пили кофе, разговаривали обменивались журналами, иногда играли в шахматы. Бывало, даже выпивали «за яму». Сэнгоку часто говорил, что никогда еще не был так счастлив. И испытывал легкую грусть лишь оттого, что избавился от импотенции — она действовала возбуждающе, как дорогое косметическое мыло на кожу лица, смеялся он. У него оставалось слишком много свободного времени, и я часто прибегал к его помощи и в других делах, помимо работы в КУОО. Например, когда нужно было закупить и привезти материалы, необходимые для строительства ковчега — оборудование для вентиляционной системы, сырье для изготовления взрывчатки. Ссйчас я думаю, что должен был с самого начала посвятить Сэнгоку во все. Нельзя сказать, что я ему не доверял. Во всяком случае, я собирался вручить ему «сертификат на право выжить». И откладывал со дня на день только из-за свойственной мне нерешительности. Его, конечно, одолевали подозрения. Но он за все время не осмелил-

ся задать мне ни одного вопроса, скорее всего потому, что был опытен не по годам и прекрасно понимал меня. Его любимой присказкой было: «Что может быть лучше доброго согласия».

— Вы хотите сказать, что мы опередили Сэнгоку-сан и пролезли на корабль раньше него? Знай он об этом, разозлился бы, наверное.— Зазывала опрокинул банку и стал высасывать остатки пены.

— Потому-то я и испытываю угрызения совести. Мне следует сообщить своему директору о новых компаньонах, которые ничего не вложили в наше дело, и получить его одобрение.

— ...Что-то я не склонна доверять какому-то там Сэнгоку.— Женщина откинулась на спинку дивана и одернула юбку. Но лишенная эластичности искусственная кожа еще явственней стала облегать ее бедра.

— Не припомните, Капитан, когда вы впервые почувствовали, что сюда кто-то пробрался — до встречи с Тупым Кабаном или после? — не отставал зазывала, сдерживая зевоту.

— Не помню.

— Но это же самое главное — нужно знать, до какой степени следует доверять вашему директору.

— Почему?

— Что-то этот ваш Сэнгоку чересчур уж деликатен, а? — Женщина насмешливо улыбнулась, как бы заранее затыкая мне рот.— А может, он с самого начала был в сговоре с «повстанцами»?

Такая проблема действительно существовала. Я бы солгал, если бы стал утверждать, что меня совсем не волновало, с каких пор Сэнгоку узнал о связи Тупого Кабана с «отрядом повстанцев». Ему, разумеется, было известно, что шестивалентный хром поставляет «отряд повстанцев». Было ему известно и то, что Тупой Кабан — мой отец. И зная, что Тупой Кабан — руководитель «отряда повстанцев», он ни разу мне и словом об этом не обмолвился,— здесь чувствовался какой-то умысел. Может быть, Сэнгоку желал приберечь такой козырь до тех пор, пока я не посвящу его во все тайны заброшенной каменоломни?

Продавец насекомых с грохотом сполз со стола и плюхнулся на пол, и, хотя его узкие глазки были полуоткрыты, по тому, как голова упала на грудь, было ясно, что он спит глубоким сном. Он снова оказался на своем прежнем месте, откуда мог заглядывать под юбку женщины, да только теперь это было ему ни к чему. Хорошо бы и зазывала заснул. Он осушил ни много ни мало — целых пять банок пива.

— Давайте укладываться спать,— предложил я.

— Нет, сейчас не до этого.— Открывая новую банку, зазывала заглянул под стол.

— Правильно. Как вы думаете, который час? Еще только пять минут девятого.— Женщина, прижавшись щекой к дивану, тоже заглянула под стол.

Над столом теперь никто не возвышался, и, глядя прямо перед собой, я вдруг обнаружил, что остался как бы в одиночестве. В наступившей тишине меня охватило беспокойство.

— Мы — полуночники,— сказал зазывала.— Ну что, пошли?

— Куда?

— Как куда, обследовать штольню.— Зазывала по-прежнему заглядывал под стол.— Что это за мешок рядом с ящиком из пенопласта? Может быть, спальный?

— Может быть. Если на нем синие и красные полосы...

— Весь в пыли.

— Он из дакрона. Не та дешевка, которую продают в здешних спортивных магазинах.

— Почему не та? — спросила женщина.

— Пыль в такой не проникает. Тройной слой нейлона и пластика хорошо пружинит — в нем можно спать хоть на камнях, хоть на песке, и будет так же удобно, как на гостиничной кровати.

Зазывала повесил на руку самострел, засунул за пояс оставшиеся стрелы и встал. Обойдя стол, он вытащил спальный мешок и через парапет сбросил его вниз. Потом стал грубо трясти за плечо спавшего под столом продавца насекомых.

— Комоя-сан, пошли вниз, вы же не ребенок. Вставайте.

— Куда вы торопитесь, не делайте глупостей,— сказал я.— Подождем, пока Комоя-сан проспится. Сейчас все равно ничего не выйдет.

— Будет хуже, если мы дадим противнику время опомниться. Лучшая оборона — это наступление, так было испокон веку. Непреклонная решимость—основное оружие политика. Главное в драке — нанести удар первым и этим сломить дух противника. Если позволить такому человеку, как Сэнгоку, делать все, что ему заблагорассудится, ничего хорошего из этого не выйдет.

— Но нет ведь никаких доказательств, что Сэнгоку совершил предательство, существуют лишь косвенные улики...

— Чтобы проверить это, надо пойти туда и все выяснить.

— Что-то вы больно агрессивны.

— Просто я, когда выпью, соображаю лучше. И потом, чего нам бояться-то?

— Ладно. Попробую с ним связаться. В лавке у него установлена портативная рация. Если отзовется, это будет доказательством его алиби. И твое обвинение, что он сейчас у «повстанцев», окажется безосновательным.

— Я не считаю Сэнгоку нашим главным противником. Он просто один из подозреваемых. Давайте свяжемся с ним, раз вам хочется. Если он окажется на месте, мы, возможно, сможем получить новую информацию, а если нет, подозрения подтвердятся, и колебаниям Капитана придет конец.

— Попробую, однако... все равно он не такой подлец, как тебе кажется...

Рация в третьем шкафу. Номер кодового замка запомнить легко: три... три... три. Набрав номер, я включил рацию.

«Проверка канала, проверка канала, кто на связи?»

Ответа нет.

«Вызываю. Алло, алло, говорит Крот, говорит Крот, прошу ответить».

Ответа нет.

«Вызываю. Алло, алло, говорит Крот, говорит Крот, прошу ответить».

Ответа нет.

«Вызываю. Алло, алло, говорит Крот, говорит Крот, прошу ответить».

Ответа нет.

— Ну вот, все ясно,— зазывала хлопнул в ладоши.— Хватит, Капитан. Возьмете с собой фотоаппарат? Это же ваша главная профессия. Если удастся сделать снимок, у нас будет прекрасная улика. Комоя-сан, вставайте и вы. Мы торопимся, я помогу вам спуститься вниз...

Зазывала еще раз изо всех сил потряс продавца насекомых за плечо, и тот наконец окончательно проснулся и встал. В руках у него был «узи».

— По-моему, вы обмочились...

Продавец насекомых навалился на зазывалу, у того подогнулись колени. Продавец был выше зазывалы сантиметров на десять и намного тяжелее. Он чуть не упал, еле успел опереться на мою голову. Проходя сзади, едва не опрокинул стул. Пахло от него отвратительно. Угрожающий какой-то запах, да и вне зависимости от запаха я не способен испытывать симпатию к людям крупного телосложения (думаю, из-за ассоциации с Тупым Кабаном). Продавца насекомых бросало из стороны в сторону, зазывала удерживал его за пояс. Нестройно грохоча, они спустились по лестнице.

— А что мне делать?..— Женщина, свернувшись калачиком на диване, смотрела на меня сникнув, точно из нее выпустили воздух.

— Плавать умеешь? Думаю, придется окунуться.

— Не умею. И в отличие от него по части пива слаба...

— Ну что ж, ничего не поделаешь, женщина всегда обуза.

Проходя мимо, я слегка шлепнул ее по заду. Женщина, не меняя выражения лица, вздохнула.

— Не нужно. Если не станете скрывать своих чувств...

— Неужели они так заметны?

— Вы похожи на собачонку, ждущую ласки.

— Правда?

— Мне кажется, он хочет начать новую жизнь. А жить ему, не забывайте, осталось всего полгода.

Снизу слышался спор. Пронзительные голоса перемежались смехом. В сочетании с шумом спускаемой воды это напоминало звуки ночного метро.

— В сущности, он человек неплохой, хотя по внешности и не скажешь.

— Характер у него сложный. Это только перед другими он выставляется простачком.

— Тебя он не поколачивает?

Женщина лишь дотронулась рукой до того места, по которому я только что шлепнул ее, и промолчала. Снизу, из трюма, донесся требовательный голос зазывалы:

— Капитан, пошли!

14

С самострелом в руках зазывала пошел первым

С заряженным самострелом в руках зазывала пошел первым, за ним я, зажав в руке гранату со слезоточивым газом. Мы протопали по стальной пластине выключенной ловушки, пересекли машинный трюм, в котором гулко разносились наши шаги. Я по привычке старался не шуметь, а зазывала, думая лишь о том, чтобы выиграть время, шел быстро. Наш топот отдавался эхом. Сливаясь, шаги напоминали ритм падающего дождя.

— Зря мы так грохочем. Вдруг беглец вернулся и затаился тут где-нибудь,— сказал я.

— Ничего. Если противник не собирается нападать, безопаснее приближаться к нему быстро и решительно, будь это хоть дикий зверь.

Взобравшись по подъемнику машинного трюма, я совсем выдохся и, прислонившись к стене, с трудом переводил дыхание. Зазывала, посмотрев на часы, стал меня торопить. Пройдя несколько метров, мы оказались в штольне сравнительно небольшого размера (хотя на самом деле она была величиной со школьный актовый зал). Свет, падавший из машинного трюма, создавал эффект скрытого освещения, отчего стены выглядели обитыми мягким бархатом. В будущем я собирался установить здесь перископ, чтобы наблюдать за тем, что происходит наверху. А пока, поскольку в этой штольне хорошо поглощается звук, я использовал ее как полигон для испытаний оружия и боеприпасов.

— Ну и высотища, наверное, почти до самой поверхности доходит.— Зазывала включил лампу — он дышал спокойно. Его организм, наверное, моментально перерабатывает пиво в воду, просто бычье сердце. Даже не верится, что ему осталось жить всего полгода.

— Не до самой. Одной только скальной породы должны были оставить не менее четырех метров — таков порядок подземных разработок.

— Здесь вонь сильнее.

Кроме штрека, по которому мы сюда проникли, стену с противоположной стороны прорезали до самого потолка еще два прохода. Зазывала собирался, кажется, направиться к правому из них.

— Ты ходил туда и не встретил там никаких препятствий? — спросил я.

— Да нет... а что?

— Там тоже есть ловушка.

Если в каменоломню проникнет враг, ему обязательно придется воспользоваться этим ходом, поэтому пришлось установить здесь мощное устройство, не останавливаясь перед довольно обременительной необходимостью раз в месяц менять батареи. Это был аэрозольный баллон, наполненный средством против тараканов, который приводился в действие фотоэлементом.

— Не заметил никакого устройства.— Перед входом зазывала остановился.— Мне кажется, что с этим вашим приспособлением случилось то же, что со стальной пружиной... Вот посмотрите.

Зазывала прав. Здесь тоже предохранителя даже не касались — ловушка выведена из строя гораздо более хитроумным способом. Подвижные части баллона покрыты специальным отвердевающим составом. Сделано это очень умело, сразу даже невозможно заметить. Легко же им удалось обнаружить уязвимые места в системе защиты. Неужели они давно следили за моими действиями? Видимо Сэнгоку было достаточно одного взгляда на список предметов, которые я поручал ему купить, чтобы догадаться об их назначении.

— Может быть, и остальные устройства выведены из строя?

— Все может быть.— Зазывала, освещая дорогу лампой, снова двинулся вперед.— Но в таком случае нас должно беспокоить не то, что кто-то отсюда убежит,

а наоборот, что сюда могут проникнуть. Да, то, что мы теперь вчетвером, не так уж плохо, уверен в этом.

В нескольких метрах впереди потолок штрека круто шел вверх. Слева находилась отлогая лестница, которая заканчивалась множеством беспорядочно расположенных небольших помещений, напоминавших жилища пещерного человека. Видимо, здесь производили разведочные работы и, не получая нужных результатов, отказывались от дальнейшей разработки.

— Если убрать с пола обломки камня, здесь можно создать целый жилой квартал из однокомнатных квартир,— сказал я.

— Здорово.— Зазывала, повернувшись ко мне, засмеялся.— А если еще вставить решетки, в самый раз были бы изоляторы для буйнопомешанных.

— Я все думаю...

— О чем? — Он стал спускаться по лестнице.

— С самого начала нам следовало поговорить откровенно. Цель, для которой будет использована эта заброшенная каменоломня, уже давным-давно определена. «Сертификат на право выжить»... После чего выжить?... Одним словом, если разразится ядерная война, каменоломня станет убежищем...

— Чудной вы человек.— Зазывала, не замедляя шага, обернулся ко мне. На секунду его лампа ослепила меня.

— Беда уже у самого порога. А все живут себе, как ни в чем не бывало...

— Не нужно ничего объяснять, и так все понятно. «Сертификат на право выжить», «качества, необходимые, чтобы попасть на корабль», воздухоочистительные фильтры, которые работают на электроэнергии, вырабатываемой мускульными усилиями,— чем иным может быть каменоломня, если не убежищем?

— Так вы обо всем догадались?

— Естественно... Чудной человек, ей-богу.

— Тогда зачем было предлагать превратить корабль в овощехранилище или гостиницу для беглых преступников?

— Вы же не станете отрицать, Капитан, что тоже занимаетесь побочной работой? Ликвидировали зародыши, а теперь незаконно опускаете в унитаз шестивалентный хром...

— Это другое дело. Что касается меня, то в случае необходимости я могу выйти из игры в любое время, и это никак не повлияет на жизнь корабля. Беглые же преступники или сумасшедшие — люди, от этого никуда не уйдешь. И если они окажутся на корабле, избавиться от них будет не так-то просто.

— Так же, как и от нас.— Зазывала нервно проглотил слюну.— Я все же спрошу. Кого вы, Капитан, хотели бы взять на корабль? Я слышал, будто вам нужны только те люди, которые «заслуживают доверия», но что за интерес собирать такую публику? Начать с того, что сам Капитан тоже темная лошадка. Кого бы вы из себя ни корчили.

— Я никого из себя и не корчу. Просто хочу, чтобы в случае возникновения критической ситуации корабль превратился в банк генов. В этом я вижу свою миссию.

— Ладно, но учтите: пока девочка не покинет корабль, я тоже остаюсь здесь.

Вот и третья из больших штолен. Она не прямоугольная, форма ее довольно причудлива. Примерный план выглядел бы так: вдоль линии, идущей из угла в угол огромного короба, сверху и снизу громоздились маленькие коробки, углы которых поддерживались опорами. Зал подавлял своей величественностью, наводившей на мысль о древнем святилище. Точнее говоря, святилище должно было бы создавать именно такое ощущение. Зазывала заговорил шепотом:

— ...Честно говоря, я могу сообщить это только вам... девочка серьезно больна.

— Больна? Что с ней?

— Рак. Поражен спинной мозг. Врач предупредил — ей осталось жить не больше полугода.

Я с трудом сдержал смех. Кто из них врет? Скорее всего оба. Желая половить форель на живца, они, не договорившись заранее, забросили свои удочки одновременно. Но не исключено, хоть и маловероятно, что они оба говорят правду. Можно, например, предположить, что они случайно познакомились в приемной больницы... Это возможно. Но спросить его я не решался. Если каждый из них, не зная, что и сам болен, поддерживает другого... Нет, было бы непростительной жестокостью отнять у них «сертификаты на право выжить».

Прямо перед нами, в метре друг от друга, в ряд расположены три входа в штреки. Правый, где были проложены рельсы, шел под уклон, центральный сразу же кончался тупиком, а левый плавно поднимался вверх — сбоку были выдолблены ступени. Зазывала наклонил голову.

— Вот чудно́, не вспомню, по какому же я шел?..

— Если добрался до канала — по левому.

— Не обратил внимания. Мне казалось, все три идут параллельно... Наверное, потому, что тогда я совсем голову потерял... Где-то здесь я его, сволочугу, уже было совсем догнал.

— Правый тоже кончается тупиком — там был обвал.

— Все-то вы знаете.

— У меня ежедневный урок. Утренняя зарядка, а потом не менее двух часов топографические съемки. Я еще не пропустил ни одного дня.

Дорога стала ровной, а потом вдруг резко пошла вниз. Мы решили спускаться по лестнице. Подул ветер — видимо, из-за перепада температур. Пахну́ло водой и водорослями, чувствовался и еще какой-то острый металлический запах.

— Вода из того канала, внизу, попадает в море, да?

— Частично, думаю, питает источник в храме наверху. А над тем местом, где канал выпрямляется, находится несколько закусочных, где кормят лапшой и форелью...

— Спуск в унитаз шестивалентного хрома не повлиял еще на эту воду?

— Пока не слышно.

— Вы мне потом покажете свой топографический план. У вас ведь он есть?

— Краткая схема висит в зале заседаний (я еще не решался назвать это помещение «оперативным штабом»).

— Вы же делали промеры. Записи результатов у вас тоже есть?

Еще бы им не быть. Записи есть, причем довольно подробные. Шестнадцать листов планиметрических проекций, на съемки которых ушло полгода. А вот стереоскопические проекции у меня почему-то не получились. Когда я пытался представить себе проекцию в перспективе, в голове у меня начинались оползни да обвалы. Не все ладно было и с техникой топографических съемок, и с моими чертежными способностями. Но были, я думаю, и другие серьезные причины, по которым никак не удавалось сделать объемную схему, в первую очередь беспорядочная разработка каменоломни. Здесь нет ни одной прямой линии, ни одного прямого угла. Расхождения и нелепости нагромождаются одна на другую, точно на картинке-загадке,— в какой-то момент штольня, идущая в юго-западном направлении, поворачивает на юго-восток, другая, куда нужно спускаться по лестнице, вдруг начинает подниматься вверх. Но все равно, объяснять мои огрехи одной лишь бесплановостью и ошибками в прокладке штолен было бы неверно. Четверо конкурировавших предпринимателей, игнорируя существовавшее между ними соглашение, вгрызлись в одну и ту же гору и рыли четыре разные штольни. Предприниматель А. пролезал под брюхом предпринимателя В. и блокировал все проходы, предприниматель В. обгонял предпринимателя С. и не давал ему двигаться вперед, предприниматель С. копал яму для предпринимателя D., предприниматель D. залезал в самое нутро предпринимателя А. Что ни день, случались обвалы, кровавые столкновения, но все оставалось шито-крыто.

— Я сейчас как раз изготовляю измерительный прибор новой конструкции. Он будет соединять в себе термометр, гидрометр и ветромер, с его помощью я надеюсь получить нечто вроде изобар на карте прогноза погоды и горизонталей на топографическом плане...

— Значит, он никуда не годится?

— Что?

— Топографический план. Ну что вы колеблетесь? Думаете, если покажете, это вам повредит?

— Если ты его и увидишь, это тебе ничего не даст.

— Даст или не даст — решать мне.

Не нравился мне его тон. Он говорил со мной так, словно предъявлял претензии по поводу того, что у него болит кулак, которым он избил меня.

— О-о, вода шумит.

— Да, уже близко.

Начался спуск, ноги заскользили. Стены стали шершавыми. Повсюду валялись осколки камней. Я без всякого умысла обернулся и направил свет карманного фонаря

в то место, где рельеф начал меняться. Вместе с рельефом изменился и цвет камней. Породы шли пластами, переходя от густо-зеленого до цвета сухой полыни. Вдоль полос там и сям виднелись углубления. Шероховатость сменялась выбоинами. Второе углубление сверху... На первый взгляд оно ничем не отличалось от остальных, но для меня эта выбоина имела особый смысл — в ней заложена взрывчатка. В критическую минуту динамит может быть взорван простым нажатием кнопки. И тогда каменоломня разделится надвое — на внутреннюю часть корабля и внешнюю. Одновременно и план всего, что находится за пределами этой штольни, утратит смысл. Стоит мне вернуться на несколько шагов и нажать на выключатель, и зазывала окажется запертым в этом несуществующем пространстве — ни вперед, ни назад ему уже хода не будет.

Он слишком самонадеян, если рассчитывает, воспользовавшись одним лишь планом, захватить корабль. Явно меня недооценивает. Взрывчатка заложена не только здесь, но по всему кораблю, в девяти местах. Провода, ведущие к детонаторам, сходятся в определенном месте, и достаточно одного движения, чтобы все заряды взорвались (для страховки система сдублирована). Выключатель присоединен к тому же инфракрасному датчику, который используется для освещения капитанской каюты. Только провести взрыв с помощью панели дистанционного управления, которая всегда при мне, сложнее, чем просто включить свет. Взрыв должен послужить сигналом к отплытию ковчега. Корабль завибрирует, в мгновенье ока отгородится от внешнего мира, и раздастся сигнал: «По местам!» И в ковчеге сконцентрируется весь мир.

Вначале я долго колебался, в каких местах лучше всего заложить взрывчатку. Дело в том, что тоннаж корабля представлялся мне неограниченным. Когда восемь лет назад добычу камня прекратили, в соответствии с правилами все входы в штреки были плотно замурованы, и муниципалитет официально объявил, что в каменоломню попасть невозможно. Действительно, за исключением входа у мандариновой рощи и штрека, ведущего из котельной здания муниципалитета, проникнуть в каменоломню вроде бы неоткуда. Однако в случае ядерной войны все примет совершенно иной характер. Нельзя игнорировать даже самое крохотное отверстие. Обследование каменоломни привело меня к печальному выводу: она дырява как решето. В ней масса небольших входных отверстий, через которые когда-то проходили линии электропередач, трубопроводы, водостоки, вентиляция. И по мере продолжения своих исследований я обнаруживал все больше таких дыр. Пришлось искать новый подход к решению проблемы. Если каменоломню невозможно целиком изолировать от внешнего мира, зараженного радиацией, значит, существует только один путь — отказаться от большей ее части. И тогда я решил выбрать места, где легче устроить завалы, и заложить динамит там. Размельченная горная порода могла послужить хорошим фильтром. Правда, не будучи ни геологом, ни инженером-строителем, я не мог точно определить, к каким результатам приведет взрыв. И был способен лишь ответить на вопрос: в какой части каменоломни мне бы хотелось находиться в момент ядерной катастрофы. Участок от машинного до второго трюма я считал наиболее безопасным. Это, безусловно, были расчеты дилетанта, но все же они основывались не на одном оптимизме. «Водяной камень» любит соседство с водой — чем выше влажность, тем гуще его зеленый цвет. Исходя из густоты цвета породы, я решил сердцем ковчега сделать машинный трюм. И мне оставалось лишь верить в правильность такого выбора. Если взрыв динамита приведет к гибели всего корабля, я ничего ведь не потеряю — так или иначе пришлось бы погибнуть от ядерной катастрофы. Сохранять до самого последнего мгновения желание жить даже важнее, чем выжить. К тому же мне обеспечено грандиозное надгробие, не уступающее египетской пирамиде.

— Двигаться дальше будет трудно,— сказал я.

Путь преграждали груды щебенки. Камни, скорее всего, дробили на месте. Кое-где высились целые горы — кому нужен был этот сизифов труд. Вскоре туннель кончался. Дальше шла пропасть глубиной метров десять, не меньше. Именно здесь по замыслу проходила граница моих владений.

Мы вступали на территорию противника. Лампа почти ничего не освещала. Может быть потому, что со дна пропасти вдруг начал подниматься туман.

— Странно, никакого тумана вроде бы не было.— Зазывала поставил ногу на верхнюю ступеньку железной лестницы у края обрыва и заглянул вниз.

— Видимо, происходит выравнивание температуры подземного потока и воздуха снаружи.

— Этот тип добрался сюда, убедился, что я бегу за ним, и воспользовался лестницей. Когда я спустился, его уже давно и след простыл.

— К тому же он и в воду мог нырнуть. Под водой есть горизонтальные туннели.

— Каких-нибудь десять — пятнадцать секунд назад — просто не верится — никакого тумана не было.

— И все-таки попробуем спуститься.

— Хорошо, спустимся, а что дальше? Хотелось бы знать ваши истинные намерения, Капитан...

— Что дальше, говоришь? Доберемся до них, но лучше обойтись без насилия. Без толку задирать их не будем, это ни к чему... Я знаю, что наступление — лучший вид обороны, но все же, если удастся договориться... К примеру, уладить дело так: канал внизу будет считаться границей...

Зазывала осветил своей лампой часы на руке.

— Уже восемнадцать минут прошло...

— После чего?

— После нашего выхода.

— Как быстро время бежит.

— Вы как хотите, Капитан, а я возвращаюсь.

— Куда? — Я не понял, что он имеет в виду.

— Как куда? Откуда пришли. Больше тридцати минут будем отсутствовать, вполне достаточно.

— Да что с тобой? Ведь вот же канал, стоит только спуститься.

— Что мне канал. Это был только предлог!

— Но все-таки стоит проверить. Посмотрим внимательно, может быть, обнаружим следы на берегу.

— Лестница очень опасная. Зачем мне рисковать?

— Но ты же сам это предложил.

— Я ведь уже сказал — предлог.

— Предлог? Для чего?..

— Я не такой дурак, чтобы ввязываться в драку невесть с кем, не зная, враг он или друг.— Зазывала еще раз осветил лампой часы и топнул ногой, словно готовился стартовать в соревнованиях по бегу.— Но тому, кто меня заденет, не поздоровится...

Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Временами мне хотелось окликнуть зазывалу, но не хватало дыхания, и я покорно следовал за ним. Не понимаю. Не понимаю, кого он имел в виду, когда говорил, что кто-то его задел. Продавец насекомых напился и заснул, да я и не помню, чтобы они ссорились. А никого другого не было. Мне показалось, что зазывала болен не только раком.

Дойдя до стрельбища, мы наконец остановились. Я не собирался задавать ему вопросы, но он вдруг вложил в самострел стрелу и, обернувшись, стал целиться мне в ногу.

— Начиная с этого места, пойдем молча. А еще лучше разуться.

— По-моему, Комоя-сан пьян. Он спал по-настоящему, не притворялся.

— Я же сказал — тихо!

От него точно искры сыпались. Сняв ботинки, я засунул их за пояс. Мне хотелось остановить зазывалу, но нас разделял подъемник. А когда я спустился, он был уже на другом конце машинного трюма. Крадучись, я двинулся к последнему штреку. Чего ради мне так заботиться о продавце насекомых? Сам во всем виноват — что посеял, то и пожнет. Мне была невыносима его наглость и бесцеремонность, особенно по отношению к женщине. Стрелок из зазывалы, конечно, неважный, и целится он так неумело, что вместо продавца насекомых легко может угодить в женщину, если они лежат обнявшись. Но даже если и попадет в него, все равно неприятностей не оберешься. Хорошо еще, если дело ограничится «скорой помощью», а вдруг узнает полиция, тогда наш корабль пойдет ко дну еще до спуска на воду. Пусть уж лучше рана окажется смертельной. Тогда можно расчленить труп и по частям спустить в унитаз, и единственное, что останется,— неприятный осадок на душе. А через полгода (в худшем случае) появятся еще два трупа, пораженные раком, и я снова окажусь капитаном без экипажа, утратившим душевные силы для поисков новых кандидатов, достойных «сертификата на право выжить».

Зазывала с самострелом в руках застыл как вкопанный у выхода из штрека. Стрела по-прежнему торчала в самостреле, значит, он еще не выстрелил. Под капи-

танским мостиком лежал, как свернувшаяся гусеница, спальный мешок в синюю и красную полоску, оттуда доносилось сонное дыхание. Зазывала поставил самострел на предохранитель и гаденько хмыкнул.

— Чутье мне подсказывает, что старики из «отряда повстанцев» собираются этой ночью перейти к действиям.

— Почему?

— Так мне кажется, вот и все. А Комоя-сан совсем раскис, разве можно столько пить.

15

Члены «Союза противников Олимпийских игр» носят значок в виде свиньи

На диване ничком лежала женщина, натянув на голову одеяло (к сожалению, нижняя часть тела у нее тоже была закрыта), и посапывала не хуже продавца насекомых. Зазывала уселся на каменную ступеньку посередине лестницы и, отирая ладонью углы рта, забормотал:

— Я ведь и не собирался стрелять. Правду говорю. Даже если бы случилось самое худшее, я все равно не нажал бы на спусковой крючок, ни за что не нажал бы... Я не такой буйный, как это может показаться. Это обычная хитрость... Все равно — дерьмо я, никудышный я человек. Еще ревную, а осталось-то всего каких-то полгода, и станет она ничьей. Жалко ее. Какая женщина, а? Вы так не думаете?

— Думаю. С самого начала.

— Как-то, когда я еще был с «якудза»[1], мне в руки попала книжка об эволюционной теории Дарвина. Вроде комикса с картинками. Благодаря этой книжке у меня появился совсем другой взгляд на жизнь. Я не буду говорить, что «якудза» и прочие подонки ведут борьбу за существование, рискуя головой на каждом шагу, но так или иначе вся их жизнь — схватка, в которой выживает наиболее приспособленный. Подонку кажется, что весь мир населен одними подонками. Они стремятся лишь к одному — вырвать друг у друга кусок. И поэтому все подонки страшно завистливы и ревнивы.

— Что такое быть приспособленным?

— Все, кто живет на свете,— уже приспособленные. Например, если бы Комоя-сан ухитрился стащить с девочки трусы, его тоже можно было бы назвать приспособленным.

— Молодец, до всего-то ты дошел.

— При чем тут дошел — не дошел, это эволюционная теория.

— В таком случае юпкетчеру нужен совсем маленький кусок. Крохотный, величиной с него самого.

— А взять религию — она тоже не беспристрастна, существуют ведь ад и рай.

— Теперь я, кажется, понял твою мысль о том, что, если посадить на корабль только людей, заслуживающих доверия, ничего путного не выйдет.

— Чего тут не понять. Это не олимпийская деревня, и нет никакого смысла собирать здесь одних рекордсменов.

— Именно ради этого и существует «Союз противников Олимпийских игр».

Кофе закипал. Поставив на край унитаза чашки, я налил в них бурую жидкость, похожую на воду, в которой мыли кисти. Зазывала обнял продавца насекомых за плечи и, приподняв, поднес к его губам обжигающе горячую чашку.

— Комоя-сан, проснитесь, сейчас еще только половина десятого. Нужно посоветоваться, проснитесь.

Продавец насекомых, чуть приоткрыв один налитый кровью глаз, отхлебнул кофе, еще крепче сжал в руках автомат и, молча покачав головой, снова улегся. Мы с зазывалой вернулись к лестнице и чего-то ждали, медленно потягивая кофе. Зазывала, зевнув, сказал:

---

[1] Японский преступный синдикат.

— Неужели эти типы в самом деле перейдут к боевым действиям?.. Как вы думаете, Капитан, а?

— Попробуем еще раз вызвать Сэнгоку.

— Зачем?

— Косвенные улики делают его главным подозреваемым.

— Почему среди них одни старики? Неужели нет старух?

— По-моему, нет. Может быть, потому что старухи — реалистки.

От пустого кофе забурчало в животе. Я решил сварить яйца и направился к унитазу, но тут у входа в штрек промелькнула чья-то тень. Поставив чашку, я выхватил из спального мешка продавца «узи» и бросился вперед.

— Что случилось?

— Там кто-то есть!

Одним духом слетев с лестницы, зазывала обогнал меня и побежал первым. Его фигура с самострелом на изготовку олицетворяла саму надежность.

— Как будто никого. Подъемником, кажется, тоже не пользовались. Может быть, он бежал через ту дыру? — Зазывала указал на ход, ведущий во второй трюм (тот, где я предполагал устроить жилой отсек).

— Вряд ли. Там тупик...— Ну, конечно, зазывала же там еще не был. Ступив в проход, я вытянул вперед руку, в которой был зажат «узи», и помахал ею. Раздался звонок. Я выключил рубильник под рельсами.— Недавно проверял. Сигнал тревоги действует исправно.

— Странно.

— Может, обман зрения... Раньше уже такие случаи бывали. Помещение огромное, а освещение слабое, соринка в глазу может показаться бог знает чем.

— Неужели и тот, кого я видел, тоже обман зрения?

— Я этого не говорю.

— Собственно, я тоже не поручусь, что мне не примерещилось. В таком огромном закрытом помещении мне еще никогда не приходилось бывать, так что все возможно.

— Ты его несколько раз терял из виду, потом он опять оказывался перед тобой. Если бы это был простой обман зрения, ты бы не увидел его снова.

— Наверное... Может, в той груде поискать?

Зазывала прицелился из самострела в нагромождение старых велосипедов, прикрывавших вход в склады. Рули торчали в разные стороны, никаких следов, что кто-то проник в то помещение. Человек, знакомый с хитростями этой маскировки, должен был также знать, что там — тупик. Другое дело, если он собирался воспользоваться оружейным складом. Тогда возможна и контратака. Я взвел затвор «узи» и взял автомат на изготовку. Потом установил в нужном порядке рули велосипедов, сдвинул пирамиду в сторону и осветил вход. Поручив зазывале сторожить дверь, я стал внимательно осматривать помещения одно за другим. Там никого не было.

— Значит, показалось — нервы.

— Теперь мы квиты. Я тоже вел себя тогда как последний идиот.— Зазывала погладил ствол «узи».— Хороша штука, не скажешь, что игрушечный. Нашему любителю оружия он очень нравится.

— Я же его переделал в настоящий. Если положить в патроны поменьше пороха, вполне можно вести полуавтоматическую стрельбу.

— Прошу вас, держите его на предохранителе. А то неприятностей не оберетесь.

— По теории Комоя-сан, самострел как оружие однозарядное не годится, когда сталкиваешься с превосходящими силами противника.

— Неужели все оружие, которое находится здесь, реконструировано?

— Не все, конечно, но...

— Здорово... И того, что реконструировано, хватит, наверное, на целую армию, правда, небольшую...

Зазывала оперся о спинку стула и стал с видимым волнением осматриваться по сторонам. Неужели в нем взыграла кровь при виде лежавшего вокруг оружия? Ведь он утверждал, что ненавидит насилие. Огнестрельное оружие в самом деле может стать источником серьезных неприятностей. Я запасся им против крыс, змей и приблудных собак и уже уничтожил семь крыс и одну кошку. А в борьбе с внешним врагом я возлагал надежды лишь на динамит. В случае чего искусственный обвал защитит нас, как дверь неприступного сейфа.

— Принесу сверху спальные мешки.

— Сейчас мы находимся вот здесь, так?

Я увидел, что он глаз не отрывает от прикрепленного к стене плана. Когда я вернулся с двумя новенькими спальными мешками, зазывала, нарезав кружки из красной клейкой ленты, с видом заправского штабиста приклеивал их на карту.

— Здесь и здесь... Так, противник должен преодолеть по меньшей мере три заставы. Потом им придется спускаться по подъемнику поодиночке, повернувшись к нам спиной. Вот тут-то мы всех их запросто уничтожим.

— Если только они не нападут на нас, когда мы будем спать... Этот мешок с желтыми полосками поменьше. Для тебя.

— Лучше, может, не спать эту ночь, а покараулить.

Мы вернулись назад и расположились рядом с продавцом насекомых. Я — у самой лестницы, зазывала — между нами. Я совершенно выбился из сил, в голове будто месили тесто. Зазывала тут же вытащил из холодильника банку пива.

— По случаю посадки на корабль выпивка дармовая,— сказал я,— но знай меру.

— Зря вы это. Вы же с самого начала собирались обеспечить экипаж питьем и едой. Жить-то будем вместе.

— Я не хотел сказать ничего такого, просто меня беспокоит ночное дежурство. Ведь не спим только мы двое.

— Возмутительно.— Открыв банку, он стал тянуть из нее, едва касаясь края губами, будто отхлебывал горячий суп.— Этот головастик Комоян-сан спит без просыпу, как свинья.

— Свинью не упоминать! — Я непроизвольно повысил голос.

— Прошу прощения, я не хотел вас обидеть.— Зазывала виновато улыбнулся, но тут же посерьезнел.— Разве я стал бы произносить это слово, если бы считал, что вы...

— Не нужно издеваться над свиньей.— Я снял ботинки, содрал с нового мешка наклейку, расстегнул молнию и лег на бок, опершись на руку.— Говорят, свинья глупая. Уж во всяком случае не глупее человека. Считать ее хуже человека — вот самая большая глупость. Я и Комоя-сан прямо об этом сказал. Мне не по дороге с теми, кто уповает лишь на силу мускулов. Нашему кораблю предстоит долгое плаванье.

— Понятно.

— Знаете, какую эмблему избрал «Союз противников Олимпийских игр»?

— Не знаю.

— Свинью. Круглую, как мяч с ножками, зеленую свинью...

...Члены «Союза противников Олимпийских игр» носят на груди значок в виде свиньи. Неужели не видели? Круглый зеленый значок с серебряным ободком. А на демонстрациях свинья красуется на знаменах. Ее морда выражает достоинство, чтобы не спутали с рекламой свиных отбивных. Рот слегка приоткрыт, и торчат клыки. Численность членов Союза пока еще невелика, но они встречаются в самых разных уголках земного шара. Главное место среди них занимают толстяки. Неужели не помните того телерепортажа с одной из Олимпийских игр? Сцену, когда члены «Союза противников Олимпийских игр» с развевающимися флагами, на которых была изображена свинья, ворвались на стадион? С одной стороны, я разделял их чувства, с другой — смотреть на них было противно и стыдно. Через микрофон без конца выкрикивались лозунги:

Долой восхваление мускулов!

Долой витамины!

Долой подъем государственных флагов!

Целью демонстрантов было спустить флаги, поднятые на стадионе. Действительно, лес знамен над трибунами слишком назойливо рекламировал страны — участницы Олимпийских игр. Людям всегда хочется болеть за какую-нибудь команду. Подъем флага — умелый способ сыграть на этой слабости. Противоестественно, что столь могущественный организм, как государство, такое значение придает развитым мускулам. В этом чувствуется какой-то тайный умысел. К тому же подъем государственного флага, исполнение государственного гимна во славу здорового тела представляют собой явную дискриминацию определенной части народа этого же государства. И естественным ходом событий было то, что «свиньи» на стадионе, открыто превращенном в место соревнований во имя престижа государств, объектом нападения

избрали именно флаги, а устроители Олимпиады бросились их защищать. Обслуживающий персонал засвистел в свистки и заметался по стадиону. Соревнования были прерваны, возмущенные зрители стали бросать на поле самые разные предметы:

— Гамбургеры.

— Свертки с завтраками.

— Консервные банки.

— Очечники.

— Бумажные салфетки.

— Вставные челюсти.

— Жевательную резинку.

После чего спортсмены и охрана набросились на членов Союза.

Голос из динамиков захлебывался в отчаянном призыве:

«Уважаемые участники соревнований, не покидайте, пожалуйста, своих мест! Состязания продолжаются! Уважаемые зрители, ждите, пожалуйста, спокойно продолжения соревнований!»

Однако остановить поток предметов, низвергавшихся с трибун подобно лавине, было уже невозможно. Чаша стадиона превратилась в свалку, некоторые судьи заявили, что уходят. Спортсмены, озверев, набросились на «свиней» из Союза, готовые разорвать их на части, но, не удовлетворившись этим, смяли цепь служителей и стали избивать всех зрителей подряд. Спортивные обозреватели утверждали, что во всей этой истории больше всего жаль спортсменов. В конце концов весь стадион стал похож на огромный унитаз, переполненный дерьмом. Напоминал он и дирижабль с вмятиной посередине. Снявшись с якоря, он медленно взмыл вверх и наконец понесся по просторам воздушного океана туда, где господствуют тропические циклоны.

Надо бежать, пока не проверяют билеты!

Переодевшись торговцем свиными отбивными.

(Хэппи-энд)

— Капитан, у вас нет телевизора?

Голос зазывалы разбудил меня. Кажется, мы говорили о чем-то связанном со свиньей. Не могу вспомнить, когда именно я заснул и увидел этот сон.

— Нет конечно, какой еще телевизор?

— Жаль, сейчас как раз показывают «Банзай севен».

— Что это такое?

— Ну как же — «Банзай севен».

— Нету у меня никакого телевизора.

— И вам не скучно?

— Нет, я всегда могу отправиться в путешествие. Стереоскопическая карта, сделанная с помощью аэрофотосъемки, доставит меня, куда я только пожелаю. Показать?

— А, сейчас неохота.

Зазывала, широко зевнув, вытер выступившие на глазах слезы и залез в спальный мешок. Наконец воцарилась долгожданная тишина. Стены заброшенной каменоломни, казалось, почувствовали мое настроение и завздыхали. Шепот тишины — ти-ти-ти-ти-ти-ти...— словно лопаются семена травы. До сих пор эти стены ощущались мной как вторая кожа. Как мое собственное нутро, в котором я каким-то образом оказался. Но теперь нашей общности пришел конец. Начавшаяся сегодня коллективная жизнь требует, чтобы каждому из нас каменоломня виделась одинаково. Обычные стены, обычный пол, обычный потолок. Громко разговаривать с камнями, петь дурным голосом до седьмого пота, танцевать в голом виде — от всего этого придется отказаться. Да, ситуация изменилась. Даже если и удалось бы выгнать зазывалу и продавца насекомых, былой покой уже никогда больше не вернется ко мне. Кто-то следит за мной, не спуская глаз. Пусть виденная мной тень была обманом зрения, но человек, за которым погнался зазывала, почти наверняка существовал на самом деле. Иначе чем объяснить то, что произошло с ловушками. Если этот загадочный лазутчик — Сэнгоку, значит, он не только выведал тайну унитаза и расположение защитных устройств, но и воровски подслушивал мои разговоры с самим собой и даже песни. При одной мысли об этом я содрогнулся, будто мои внутренности попали в дубильную кислоту.

Пока не разработаны конкретные контрмеры, не остается ничего, кроме как выставлять на ночь часового. Не успел я об этом подумать, как зазывала неожиданно

захрапел. Он заснул, не оборачивая подушку пропахшей потом рубахой, даже вообще без всякой подушки. Итак, бодрствую только я один. Так что не с кем разыгрывать, кому спать, а кому дежурить. Я разозлился, но будить зазывалу или продавца насекомых не хотелось. Взяв самострел и «узи», я направился к мойке. Может, как я это делаю обычно, когда не спится, усесться на унитаз и пить пиво, заедая шоколадом? А сегодня еще понаблюдать за юпкетчером.

Однако мои мысли устремились наверх, за каменную лестницу, на мостик и приняли иное направление. Женщина, уютно устроившись на диване, пропитанном моим запахом, крепко спит. Она лежит, свернувшись калачиком, во вмятине, проделанной моим телом. И вдыхает мой запах. Вместо меня диван обнимает ее обнаженное тело. Она должна чувствовать во сне мои сигналы. Если бы она обладала совершенными средствами приема, позволяющими правильно понимать эти сигналы,— она бы сейчас поднялась... Но тут женщина и в самом деле встала, пересекла мостик и, выглянув из-за парапета, в волнении замахала мне рукой.

— Слышите, Капитан, из шкафа доносятся какие-то чудные звуки.

— Тише.

Женщина с головы до ног закутана в купальную простыню цвета вялой зелени, а под ней, похоже, ничего нет. Вполне возможно — ведь на ней была надета одна майка. Указав на зазывалу и продавца, сладко похрапывавших в своих спальных мешках, я изобразил на лице притворную заботу. Пантомима двух сообщников. Женщина тоже ответила мне жестом руки. Включилась в игру.

— Кажется, в третьем шкафу... Не слышите?

— Наверное, вызов по рации.

Хорошо еще, что я могу сам решать, как поступать в этой неожиданной ситуации. С самострелом в левой руке и «узи» в правой я на затекших ногах поднялся по лестнице. Шмыгая носом, подумал: интересно, что я почувствую, если хлопну ее по голому заду, не прикрытому юбкой.

16

«Крот слушает. Прием»

«Крот слушает. Прием».

«Говорит Сэнгоку. Чрезвычайное положение. Вы меня слышите? Вы свободны? Прием».

«Что значит «Вы свободны?» Это я тебя разыскиваю. Прием».

«Поговорим лучше при встрече. Прием».

«Не валяй дурака. Прием».

«Я как-никак представитель «отряда повстанцев». Если нас подслушают, неприятностей не оберешься. Прием».

«Канал проверен. Прием».

«Труп. Мне поручено избавиться от трупа. Если кто-нибудь узнает, плохо нам будет. Прием».

«Труп? Я знал этого человека? Преступник найден? Прием».

«Нужно встретиться. Согласны? Прием».

Женщина прошептала мне на ухо:

— Ни в коем случае, а то втянет вас в свои грязные дела, ни в коем случае. Может, это вообще ловушка.

Я сел на подлокотник дивана, а женщина оперлась коленом о тот же подлокотник и прижалась ко мне. Я обернулся, наши взгляды встретились. Голос из рации продолжал вызывать:

«Алло, ответственный за яму. Прием... У вас кто-то есть? Прием».

Женщина, улыбнувшись, показала язык.

«Откуда? Прием».

«Дело-то стоящее. Работа есть работа, и, судя по состоявшемуся разговору, цену можно заломить немалую. «Отряд повстанцев» хотел было вести переговоры непосредственно с вами. Вы, конечно, не захотите с ними встречаться. Я им это объяснил, и мы, в общем, договорились. Но если вы, Крот-сан, промедлите, представитель «отряда» прибудет к вам сам. Прием».

«Кто же этот представитель? Ну, конечно же, мой так называемый папаша. Прием».

«Тогда встретьтесь со мной. Должен, правда, сказать, что Тупой Кабан-сан не такой дурной человек, каким вы его считаете. Прием».

«Не трать попусту слов. Неужели этот тип и вправду дошел до того, что убил человека? Прием».

«Никто этого не говорит. Прием».

«Значит, и тебе нельзя верить, ты поддерживаешь Тупого Кабана. Прием».

«Как директор КУОО я — за реалистический подход к торговым операциям, только и всего. А в вашем конфликте я поддерживаю нейтралитет. Не доходите в своем «кротизме» до абсурда. Прием».

«Пока труп не протух, из него можно сделать жаркое и устроить славную вечеринку. Прием».

«Создавшееся положение не так безопасно, как вам кажется. Лучше, если вы сами поговорите с господином Тупым Кабаном. Он, мне кажется, все как следует продумал. Нужно забыть старые распри, что было, то быльем поросло,— после пятилетней разлуки снова встретятся отец и сын, что в этом плохого? Прошу вас, прислушайтесь к совету друга. Прием».

«Вижу, что я ошибся в тебе. Едва не вручил ключ. Возможно, ты о нем вообще ничего не знаешь... Нет, скорее всего знаешь... Ключ, позволяющий свободно входить сюда... Но теперь, сдается мне, этого делать не стоит. Скажи, не ты являлся сюда, не ты шнырял здесь, как крыса? Прием».

— Не раскрывайте карт.— Теперь женщина шлепнула меня по заду.

«Мне кажется, вы заблуждаетесь. Я нахожусь в безвыходном положении — и вы, и Тупой Кабан-сан одинаково не доверяете мне. Прием».

«Никакой встречи, никаких разговоров не будет. Все. Тонкетч».

«Подождите, от них так просто не отделаться. Я боюсь их. Кроме того, если мы договоримся, они, кажется, готовы возобновить поставку шестивалентного хрома... Прием».

«Разговор бесполезен. Тонкетч».

«Недавно Тупой Кабан-сан поймал одного упрямого школьника и кусачками отхватил ему палец. Сначала хотел только попугать, но не смог совладать с собой и откусил. Крику было. Прием».

«Тонкетч, тонкетч».

«Вы, я смотрю, тоже упрямый, Крот-сан. Если измените решение, свяжитесь со мной, и как можно скорее, буду ждать. Тонкетч».

Я положил рацию обратно в шкаф. Женщина спросила:

— А что значит «тонкетч»?

— Словечко, которым радиолюбители заканчивают связь.

— Интересно, тонкетч.

— Отвратительное состояние. Неприятный осадок от разговора.

— Ужас. Откусить кусачками палец! Неужели человек способен на такое?

— А Сэнгоку, каков Сэнгоку...

— Но и вы тоже хороши, разве можно быть таким откровенным. Комоя-сан, я думаю, провел бы разговор ловчее.

— Целый год каждое утро я покупал у него сладкий картофель. Был постоянным клиентом. А комиссионные за шестивалентный хром — я ему аккуратнейшим образом выплачивал двадцать процентов...

— Что вы собираетесь делать? Вам не кажется, что, если оставить все как есть, они и вправду заявятся сюда?

— Эти подонки хотят меня заманить к себе, а в качестве приманки использовали труп... чей, интересно... В общем, хотят втянуть меня в грязное дело и сделать своим сообщником.

— Не унывайте. Надо поговорить с теми двумя, внизу.

— А что проку?

— Есть прок или нет, вы решите после того, как посоветуетесь.

— Видно, не для меня такая работа — создавать коллектив.

— Какой там коллектив — всего-то четыре человека.

— Тебе известны три основных условия организации атомного убежища? Пер-

вое — обеспечение ликвидации экскрементов, второе — контроль за воздухом и температурой, третье — управление личным составом.

— Подождите, не будите их, я схожу в уборную... А когда спущу воду, они сразу же проснутся...

Неужели она собирается усесться на унитаз, завернувшись в свою купальную простыню? Немыслимо, это был бы уж верх непристойности, она, я думаю, все же оденется. Я представил себе, как перед самым моим носом, оставшись в одних трусах, она натянет юбку из красной искусственной кожи, а потом, оголившись по пояс, быстро наденет свою майку с пальмами. И я вблизи увижу следы сбритых волос под мышками, пупок. Наконец и мне удастся своими глазами наблюдать то, что дано видеть любому мужчине, живущему с женщиной. Если вдуматься, и этим счастьем я обязан тому, что построил корабль. Или просто тому, что я бесстыдная свинья?

Описав дугу, купальная простыня упала на диван. Жаль, на ней были и юбка и майка. Я такую возможность отчасти предвидел, но все же испытал разочарование ребенка, не получившего обещанной награды. После того как женщина ушла, купальная простыня осталась валяться разломанным бубликом. Экскременты юпкетчера имеют точно такую же форму. Став на колени, я зарылся в простыню лицом. Она пахла заплесневевшим хлебом. То был запах простыни, а не женщины.

Звук льющейся струи. Треск отрываемой бумаги. Потом шум потока, разом устремившегося вниз после борьбы между водой и воздухом. Жаль, что я не спросил женщину, как ее зовут. Интересно, кто из них в самом деле болен раком, он или она?

Мужской смех, еще немного сонный. Похоже, дразнят женщину. По-моему, без меня они чувствуют себя гораздо свободнее. Мне самому тошно от своего несчастного характера. Но зато в одиночестве я веселюсь как могу, делаю что хочу. Обращаясь к каменным стенам, я пою, смеюсь, разыгрываю разные сценки... танцую, взлетая вверх легким облаком... и никогда не чувствую скуки и одиночества.

— Капитан,— послышался все еще хриплый голос продавца насекомых.— Вы, кажется, связались с теми людьми?

— Спускайтесь вниз, я приготовлю кофе,— беззаботно позвала женщина, и я, наконец, оторвал лицо от купальной простыни.

— Нужно быть готовыми бодрствовать до утра.— Зевнув, зазывала вдруг завопил: — Негодяи, подлые негодяи!

Делать то, что хочешь, или не делать того, чего не хочется,— звучит похоже, а какая разница между первым и вторым. Вот мне не хотелось никого из них видеть. Взяв автомат, я уселся на третьей ступеньке. Женщина около мойки молола кофе. Зазывала, устроившись на унитазе, протирал глаза. Продавец насекомых, наполовину высунувшись из спального мешка, помахал над головой зажженной сигаретой.

— Последняя, я уже превысил свою дневную норму. Мне снился такой бесконечный сон.

— Все-таки я считаю, какой бы мощный напор здесь ни был, в эту дыру вряд ли можно спустить труп.— Зазывала между раздвинутых ног заглянул в унитаз.— Ведь, если речь идет о трупе — это, несомненно, труп человека.

— Конечно, если животного, так бы и сказали. Конечно же, труп человека.— Женщина включила кофеварку и вытерла руки о рубаху зазывалы.

— Спускать трупы кошек мне уже приходилось.— Я нарочно развел руки пошире.— Иногда вот таких, полосатых. Унитаз их прямо заглатывал.

— Человек не кошка. Голова у него слишком большая.— Продавец насекомых глубоко затянулся, подержал дым и как бы нехотя выпустил из ноздрей.— Если отверстие меньше, чем голова — не пролезет. Например, клетку всегда делают так, чтобы между прутьями не пролезала голова животного.

— Черепную коробку можно размозжить,— ответил я, решив показать характер.— Среди «повстанцев» обязательно найдется специалист, какой-нибудь бывший мясник, разоренный супермаркетом.

— Хватит, слушать вас противно.— Женщина разозлилась не на шутку.— Вы что, и вправду готовы взяться за это дело?

— И не подумаю. Связаться с такими подонками — ни за что.

— Если «ни за что», то почему сразу не отказались? А то вы не сказали им ни да ни нет, и у них теперь есть повод,— сказала женщина.

— Какой еще повод? — подозрительно спросил зазывала.

— Если Капитан не вступит с тем человеком в переговоры, они сами пожалуют сюда.

— В общем, берут за горло.— Продавец насекомых ботинком потушил сигарету.

— Категорически отказываюсь. Мне противно говорить с ним. Пока я капитан, Тупой Кабан на корабль не попадет, я ни за что на это не соглашусь. Если бы я был в состоянии взять на корабль все население Земли — его бы все равно оставил за бортом. Для меня выжить — означает пережить его.

— Ваши чувства мне понятны...— Продавец насекомых открыл футляр и вынул очки.— Но как вы собираетесь избавиться от него, если он действительно окажется на корабле?.. Будь он один, другое дело, а вдруг он намерен прихватить с собой товарищей?

— Хватит, видите, Капитан уже и так в полной панике.— Зазывала снял один ботинок и стал чесать ногу.— Вам не кажется, что теперь настала наша очередь? Мы вместо него должны сесть за стол переговоров.

— Верно.— Женщина разлила кофе.— Скорее всего, их представителем будет тот самый Сэнгоку. Капитану и не к лицу самому идти на переговоры... Берите кофе.

— Если с их стороны будет посредник, с нашей тоже должен быть посредник, это ясно без слов.— Зазывала, беря чашку, неожиданно сильно ударил ладонью женщину по левой щеке.

— Больно! — закричала она и схватилась за щеку, а потом, сделав рукой жест фокусницы, улыбнулась.— Вот и нет, совсем не больно.

— Жизнь учит маленьким хитростям,— кивнул зазывала, передавая чашку продавцу насекомых.— Надо бить, повторяя ладонью очертание надутой щеки, тогда из нее с шумом вырвется воздух. Звук сильный, а боли никакой. Мы должны сделать вид, что между нами произошел разлад, это собьет с толку тех, с кем будут вестись переговоры, и все выйдет по-нашему. У меня к таким штучкам особые способности.

— Действительно, особые. Благодаря им я окончательно проснулся.— Продавец насекомых надел очки и уселся на спальном мешке.— Если вы, Капитан, согласны, мы с директором готовы взять переговоры на себя. Мошенник и зазывала — вполне достойная пара.

— Правильно, обманщик и обманутый — они вполне подойдут друг другу.— Глянув исподлобья, женщина протянула мне чашку. Я сидел на ступеньке, а она стояла внизу, поэтому такой взгляд был вполне естествен, но мне хотелось увидеть в нем тайный смысл. Как только продавец насекомых и зазывала уйдут, мы с женщиной останемся в полном смысле слова наедине.

— Прекрасно, особых возражений у меня нет.— Спустившись с лестницы, я взял чашку. Коснулся кончиков пальцев женщины, нежных, как холодный соевый творог.— Но проявляйте твердость, никакими разумными доводами их не проймешь. К тому же, хотя это и называется переговорами, мы должны остаться непреклонными...

Женщина быстро переглянулась со мной. Сжала губы. Подула на кофе и сказала:

— Комоя-сан, я все хочу спросить вас. Вы говорите, что юпкетчер, поедая свои экскременты, все время поворачивается, обращая голову в сторону солнца. А когда становится темно и он засыпает, то оказывается повернутым к западу, так?

— Видимо, так,— недовольно ответил продавец насекомых.

— Вот это-то и странно. Что же он делает, проснувшись на следующее утро?

— Откуда мне знать, спроси у Капитана. Покупателю должно быть лучше известно.

— Я об этом даже и не подумал, но теперь вижу, что и в самом деле странно,— удивился я.

— Ничего странного.— Продавец насекомых наклонился над самой чашкой, отчего очки его запотели.— Пошевелите мозгами... мозгами. Циферблат не обязательно должен быть разделен на двенадцать часов, я собственными глазами видел циферблаты, на которых обозначено двадцать четыре часа.

— Но разве юпкетчер не обращен всегда головой к солнцу?

— Нужно нажать на него и, выдавив экскременты, заставить повернуться на полкруга. Тогда он окажется обращенным куда следует.

— Браво.— Женщина рассмеялась, не отрывая губ от чашки, по поверхности кофе заходили круги.— Вы кому угодно голову заморочите. Как это вам удается, не сходя с места, выдумывать такое, я потрясена.

— Не уверен, что вам удастся так же ловко выкручиваться на переговорах,— сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет в порядке.— Зазывала громко отхлебывал кофе.

— Главный принцип будущих переговоров — ни на шаг не отступать от позиций Капитана,— поддакнул продавец насекомых, очки которого все еще были затуманены.— Вы мне это поручили, и я оправдаю ваше доверие.

— А что, если само предложение переговоров не что иное, как предлог для начала боевых действий?

— Ну, а что думаете вы, Комоя-сан, как человек, служивший в силах самообороны? — Зазывала, глядя на мой «узи», делал движение пальцем, будто нажимал на спусковой крючок.— Сможем мы защититься в случае чего?

— Наши противники — старики и к тому же профаны в таком деле. А у нас прекрасно укрепленный опорный пункт. И боевая мощь немалая — пять самострелов, семь автоматов...

Прерывистый зуммер. Вызов по портативной рации.

Мы все четверо, словно сговорившись, вскочили и дружно бросились вверх по лестнице. Зазывала бежал впереди, продавец насекомых тащил женщину за руку, я — подталкивал ее сзади. Необходимости в этом не было, но это действовало на меня успокаивающе. Из рации донесся хриплый бас, точно говорил простуженный слон...

Это был голос не Сэнгоку, а Тупого Кабана.

17

Игра в выживание

«Привет, сколько лет, сколько зим. Это я, твой папочка. Прием».

«Я же тысячу раз повторял, не желаю с тобой говорить. Тонкетч».

«Постой, забудем прошлое, мы ведь взрослые люди. Прием».

«Не забывается. Тонкетч».

«Выслушай — тебя от этого не убудет. Прием».

«Тонкетч, тонкетч».

«Честно говоря, нам нужно кое к чему приделать ноги...»

Зазывала схватил меня за руку. Пальцы разжались, и переговорная трубка тут же оказалась у продавца насекомых. Тот плечом оттеснил меня, и я очутился сзади. Но зато теперь я тесно прижимался боком к животу женщины.

«Слушаю вас. Мне поручено вести переговоры. Прием».

«Кто вы такой? Прием».

«Я — Комоя. Ответственный за внешние связи. Сообщите, какое у вас к нам дело? Прием».

«Ответственный за внешние связи — ишь куда хватил. Скажите лучше, чем вы занимаетесь на самом деле. Прием».

«Торгую учебными пособиями. Главным образом, насекомыми. Перейдем к делу. Хочу спросить вас без обиняков: к чему нужно приделать ноги? Прием».

«Интересные дела. К трупу — к чему же еще? Прием».

«Вот оно что, значит, у вас неприятности с трупом. Откуда он взялся? Происхождение трупа ведь может быть самым разным — убитый, умерший, погибший от несчастного случая... Прием».

«Откуда мне знать, спросите у моего сына. Прием».

«Не морочьте голову, что вы имеете в виду? Прием».

«Ничего не имею. Это труп, от которого избавились вы сами, вот и все...»

— Что за чепуха! Не видел я никакого трупа, ничего не знаю о нем! — воскликнул я.

Портативная рация — одностороннего действия, и вести по ней одновременный разговор невозможно. Я закричал непроизвольно, хоть и знал, что Тупой Кабан меня не услышит, поскольку он не переключил рычажок на прием. Продавец насекомых успокаивающе похлопал меня по плечу, а женщина еще крепче прижалась к моему боку. Тупой Кабан продолжал:

«Разумеется, прямых доказательств того, что вы убили человека, у нас нет. Но косвенных улик более чем достаточно. Любая огласка — и вам не поздоровится. Мы служим обществу, и когда в мусоре, сбором которого мы занимаемся, оказываются

незаконно попавшие туда предметы, обязаны сообщать об этом властям. Но тем не менее мы готовы забыть о своем долге и замять дело. Мой сын, я думаю, с вами? Скажите ему, чтобы не упорствовал. Таков уж удел родителей — все сносить от своих детей. Я считаю, что вы заняты очень важным делом, и готов оказывать вам негласную поддержку. У меня и в мыслях нет загонять вас в угол, думаю, что и в дальнейшем мы сможем сотрудничать. Прием».

Зазывала закричал, наклонившись к переговорной трубке:

«Важным делом, говорите? Это вы об уничтожении отходов? Прием».

«Не прикидывайтесь. Мне все известно, я говорю об атомном убежище. Это дело имеет огромное будущее. Следует проявить дальновидность. Нам нужно все спокойно и обстоятельно обсудить, причем не по рации, а встретившись лично. Я здесь, у себя, уже веду активную вербовку членов. Все как на подбор, сила немалая...»

— По-моему, он угрожает,— шепнула мне на ухо женщина.

— А вся эта болтовня о трупе — хитрая уловка.

— Кажется, они нас опередили,— прикусил губу зазывала.

Снова раздался голос Тупого Кабана:

«Вы, я уверен, будете поражены. Заместитель мэра, директор кредитного банка, двое врачей городской больницы, глава компании «Складские помещения Хиситоми» уже подписали контракты. Дело перспективное и будет, несомненно, развиваться. Вряд ли вы захотите влипнуть в неприятную историю из-за какого-то трупа. Такие вот дела. Прием».

Оставив рычажок на приеме, продавец насекомых вскинул голову и стиснул зубы.

— Капитан, вы действительно ничего не знаете об этом трупе?

— Представления не имею.

Зазывала, не дожидаясь моего ответа, вырвал переговорную трубку у продавца насекомых и переключил рычажок на передачу.

«Вы не можете сообщить причину смерти и возраст покойного? Прием».

«Появилось новое лицо? Кто вы такой? Прием».

«Казначей, а также пассажирский помощник Капитана. Прием».

«Интересно. К сожалению, я не полицейский врач и поэтому ни причину смерти, ни возраст определить не в состоянии. Вам это должно быть известно лучше, чем мне. Прием».

«Оставьте ваши домыслы...»

Зазывала снова переключил рычажок и посмотрел на меня.

— Может, кто-то из стариков и впрямь угодил в ловушку? Или не заметил, что делается под ногами, и сорвался с кручи?..

— Но ведь ловушки были обезврежены.

— Наверное, произошел несчастный случай, и они приняли необходимые меры.

— Нет, для того, чтобы то вещество, которым смазали баллон с аэрозолем, затвердело, должно было пройти немало времени.

— Но труп может быть и давним,— вмешался продавец насекомых.

Раздался зуммер вызова.

— Может, это тот самый тип, за которым я тогда гнался? — Зазывала щелкнул пальцами.— Свалился в канал и утоп. А вдруг это труп продавца сладкого картофеля?

— Думаю, ты ошибаешься.— Дыхание женщины щекотало мне ухо.— Капитан же разговаривал с ним совсем недавно. Когда вы уже спали.

— Тогда, выходит, труп совсем свеженький.— Продавец насекомых, не давая зазывале раскрыть рта, отобрал у него трубку.— Не исключено, что его убили сразу после вашего разговора. Иначе и теперь бы вел переговоры именно продавец картофеля. Ведь отношение Капитана к Тупому Кабану им хорошо известно.

Зуммер вызова продолжал гудеть, действуя на нервы.

— Верно. Все это и в самом деле очень странно. Портативная рация установлена в кондитерской «Сэнгокуя». И выход на связь Тупого Кабана уже сам по себе подозрителен.

— Чудеса.— Зазывала облизнул губы и проглотил слюну.— Выходит, продавец картофеля предлагал отделаться от своего собственного трупа.

Продавец насекомых переключил рычажок на переговорной трубке.

«Подождите немного, мы обсуждаем ваше предложение».

И снова щелкнул рычажком.

— Если продавца картофеля убили в его собственной лавке, главное подозрение падет на Капитана, это неизбежно. Но каковы мотивы?

— Нет, немыслимо, да и скорее всего его вообще никто не убивал.

— Ошибаетесь. Мотивы есть, но у Тупого Кабана.

— Не будем выдумывать. Никто ведь еще не доказал, что жертва — продавец картофеля...— Рука женщины легко коснулась моего плеча. Ее слова показались мне справедливыми, и я тут же приказал продавцу насекомых:

— Давайте проверим. Попросите взять трубку Сэнгоку, и сразу же все станет ясно.

Кивнув, он переключил рычажок.

«Алло, извините, что заставили вас ждать. Дайте, пожалуйста, трубку Сэнгоку-сан. Прием».

«К сожалению, его здесь нет, но если хотите, я ему все передам... Прием».

«Но вы ведь находитесь в лавке. И при этом говорите, что его нет, как же так? Прием».

«Ошибаетесь. Я в нашей конторе у мандариновой рощи. Здесь тоже установлена портативная рация. Вы спрашиваете о продавце картофеля? Действительно, куда же он делся? (Слышен какой-то шепот.) Вот как? Он поехал на мотороллере за сигаретами. Должен вот-вот вернуться. Прием».

— Спросите, где находится труп,— сказал зазывала.

«Где находится труп? Прием».

«Не прикидывайтесь простачками. У мандариновой рощи, где же еще. И если вы не уничтожите его, нам придется отвезти труп в полицию. А стоит взяться за дело полиции, она всю каменоломню перевернет. Мне бы тоже хотелось избежать этого. Дайте мне сына, он, я думаю, стоит рядом и слушает. Сейчас самое время помириться. Не совершает ли он ошибку? Если злится за то, что я порол его в детстве, пусть так и скажет, но не нужно забывать и о родительском сердце. Приходилось вершить семейный суд, что поделаешь, у самого в душе осталась рана на всю жизнь. Отцовское сердце — никуда не денешься. Слышит он меня? Ты уж пойми, сынок. А разговоры о том, что я забил ногами до смерти жену — злобиая, беспочвенная клевета. В общем, нам нужно пожать друг другу руки, отец и сын все-таки. Мы должны быть вместе, да и я уже не тот. Характер стал мягким, как булочка со сладкой начинкой,— годы, никуда не денешься. Прием».

Протиснувшись между продавцом насекомых и зазывалой, я закричал в трубку:

«Хватит болтать об отце и сыне, меня трясет от этой чушн!»

«Тут уж ничего не поделаешь. Половина того, из чего ты произведен на свет,— моя. Прием».

«Тонкетч».

«Постой! Я хочу, чтобы последнее слово осталось за мной, твоим отцом. «Отряд повстанцев» завоевал хорошую славу, я бы хотел и дальше служить людям, хотел бы делать добрые дела. Я изменился... Прием».

— Теперь еще этот труп...— прошептал я еле слышно. Ужасный день. Немыслимое, идиотское происшествие вдруг выросло в огромную волну, готовую все смести на своем пути. Прямо хоть верь в тринадцатое число, пятницу, буцумэцу [1] и прочие иесчастливые дни. Продавец насекомых поднес ко рту переговорную трубку и тихо сказал примирительным тоном:

«Простите, нам нужно еще немного времени. Прием».

«Мне это уже надоело, но я очень хочу помириться с сыном, такова человеческая натура, никуда не денешься. Подожду. Прием».

— Что будем делать? — спросил со вздохом продавец насекомых, переключив рычажок.

— Они говорят, что хотят договориться с нами, но ведь у нас никакого выбора нет,— повернулся ко мне зазывала.— Верно? Чтобы не превращать «повстанцев» в наших врагов, придется заняться этим трупом. Если бы только узнать, кто настоящий преступник, тогда бы вообще нечего было волноваться... Мы должны подавить их своей выдержкой. Вы, Капитан, не убивали, значит, убийца кто-то из них.

— Все гораздо сложнее,— возразил продавец.— Я верю Капитану. Но где гаран-

[1] Один из дней шестидневки по лунному календарю.

тия, что они не состряпали каких-нибудь улик против него на месте преступления? Если они ловко все сварганили, отпереться будет трудно.

— В этой каменоломне действительно всего два входа? — Женщина переменила положение и оперлась коленом о подлокотник дивана. Ее живот уже не так плотно прижимался к моему боку.— Не может так быть, что кроме «повстанцев» в каменоломне могли обосноваться какие-то другие люди?..

— Трудно представить себе такое.— Я не решился бы с полной уверенностью заявить: нет, этого быть не может. Со скоростью ротационной машины я попытался провернуть в памяти свой топографический план. В каменоломне есть немало уголков, о которых я знал, но пока не успел обследовать. Особенно пещера, напоминающая буддийскую часовню, посреди крутого обрыва в восточной части каменоломни. Но ходов, ведущих туда изнутри, нет. Это пробная выработка, которую забросили из-за того, что камень здесь был слишком сухим и никуда не годился. Судя по моим обследованиям, до сих пор в каменоломню никто не проникал, кроме как через вход у мандариновой рощи.— Нет даже намека на это...

— Подозревать можно кого угодно. Если говорить о косвенных уликах, то главный подозреваемый — я.— Зазывала, прикрыв рот ладонью, прыснул. Поведение неуместное и весьма подозрительное.— Я сообщил, что от меня удрал какой-то странный тип, но доказательств у меня никаких нет. Может, я его пристукнул, а теперь хожу как ни в чем не бывало? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, нужно пойти к ним и во всем убедиться самому.

— Действительно, подозревать можно кого угодно. Переливаем из пустого в порожнее.— Продавец насекомых положил переговорную трубку на полку и, сжав руки, хрустнул пальцами.— Можно рассуждать до бесконечности, можно строить какие угодно предположения, все равно ни к чему не придем. Нужно проанализировать положение, исходя из известных нам фактов, и уже на этом основании выработать план операции. Как мне представляется, здесь возможны два решения. Первое — заняться трупом или тем, что они называют «трупом». Второе — в случае, если «повстанцы» или их босс Тупой Кабан предложат свое участие в наших делах...

— Что это вы раскомандовались? — Я приблизился к женщине на несколько миллиметров так, чтобы она не заметила. Но движение было настолько незначительным, что я не смог определить, коснулся ее или нет.

— Разумеется.— Очки продавца насекомых соскользнули вниз по потному носу.— Право решать, какую операцию проводить, принадлежит Капитану. Это ясно само собой. Я попытался лишь проанализировать обстановку. Во всяком случае, нужно отделить вопрос о том, заняться ли нам трупом, от вопроса о допущении Тупого Кабана в каменоломню. Вести переговоры, смешивая эти две проблемы, на руку противнику. Они стремятся к тому чтобы превратить труп в предмет торга. Мы ни в коем случае не должны идти на это.

Раздался зуммер вызова.

— Это верно,— закивала женщина. Я боком почувствовал ее движение.— В самом деле, совсем разные вопросы. Но, с другой стороны, зачем нам соглашаться на то, чтобы они притащили труп, если мы не собираемся принимать их в свою компанию?

— Правильно, с трупом у них не все ладно, и эту слабину нужно нащупать, иначе...— Я сделал отчаянную попытку приблизиться к женщине еще на несколько миллиметров.

— Здесь нужно проявить изворотливость.— Продавец насекомых вытер дужки очков подолом рубахи.— Если мы решили поторговаться с ними, я беру это на себя, не возражаете? Я кого хочешь обведу вокруг пальца, уверен.

Как-то само собой решилось, что либо продавец насекомых, либо зазывала, либо они вдвоем вступят в переговоры вместо меня. И хотя полностью доверять я им не мог, должен был радоваться такому ходу событий. Я не чувствовал в себе сил на равных вступить в единоборство с Тупым Кабаном, а кроме того, если они вдвоем отправятся на переговоры, я останусь с глазу на глаз с женщиной.

— Не нравится мне все это...— То, что не нравилось женщине, казалось, леденцом перекатывается на ее языке.— Если мы спустим труп в унитаз, я просто не смогу им пользоваться.

— Ничего страшного, крови никакой не будет...— Я лгал самым бессовестным образом. Спустив зародыш или даже труп кошки, я потом несколько дней не мог без содрогания приблизиться к унитазу. А когда нужда заставляла, меня буквально

выворачивало. Проходило несколько дней, прежде чем я снова бывал в состоянии готовить еду около унитаза. И мне сейчас удавалось сохранять спокойствие только потому, что я абсолютно не верил в существование трупа.

Зуммер продолжал гудеть.

— Ответим? — Продавец посмотрел по очереди на каждого из нас. Зазывала и женщина впились в меня глазами.

— Ответим. Но пусть переговоры ограничиваются только вопросом о трупе. Того типа я на корабль ни за что не пущу.

Продавец насекомых переключил рычажок.

«Алло, простите, что заставили ждать. Говорит ответственный за внешние связи Комоя. Слушаете? Прием».

«Пожалуйста, пожалуйста, я давно жду. Прием».

«Мы согласны на переговоры. Что касается оплаты и всего прочего, об этом мы договоримся после того, как вы покажете нам труп. Хотелось бы также получить подробные сведения о месте, где он был обнаружен, и обстоятельствах, при которых это произошло... Итак, где будем вести переговоры? Прием».

«Подождите, вы меня неправильно поняли. Мы хотим оказать вам услугу, не сообщая о трупе куда следует. Прием».

«Бросьте дурака валять. Наш разговор записывается на магнитофон. Вам самим нелегко будет оправдаться в том, что человек, обнаруживший труп, не только не сообщил об этом в полицию, но и замышляет незаконным способом избавиться от него. Прием».

— Ловкач, правильно говорит...— Зазывала втянул голову в плечи и облизал губы. Кажется, подействовало. Тупой Кабан рассмеялся, неизвестно чему.

«Понял, понял, сейчас не время ссориться. Где будем вести переговоры, спрашиваете? Где угодно, если хотите, можем у вас. Не беспокойтесь, мы приедем на своем грузовичке, так что долго нас ждать не придется. Прием».

— Не пойдет, они не должны даже близко подходить сюда.

— Почему? — Продавец насекомых прикрыл рукой переговорную трубку.— Мне кажется, ваши опасения излишни. Впрочем, решать вам, Капитан.

— Людей у них много, организация военизированная. Что мы будем делать, если они ворвутся сюда?

— Вас волнует их количество. Но в таком случае оказаться в лагере противника еще опаснее,— сказал зазывала и насмешливо продолжал:— Если они возьмут нас в качестве заложников, вы придете нам на выручку, Капитан?

Продавец насекомых прокричал в трубку:

«Вот так-то... Слышали? Не верим мы вам. Прием».

«Перепугались. Ну что ж, давайте выберем нейтральное место. Например, Смеющийся Склон. Там нас никто не увидит. Спросите у моего сынка. Прием».

— Какой склон? Я не понял...— Продавец насекомых, не переключая рычажка, обернулся ко мне.

— Пустынный склон, обращенный к морю.

— Странное название.

— От станции нужно ехать на юг и повернуть у складов рыболовецкого кооператива, а там рядом. В склоне — пещера, и когда ветер дует в определенном направлении, оттуда доносятся звуки. Это даже не смех, а скорее истерические взвизгивания простуженного ребенка, которого щекочут. Но кому-то эти звуки напоминают призывный женский смех. Старики импотенты, захватив еду, приходят к склону и дожидаются, пока поднимется ветер.

— Смешно, вы только рассказали, и я едва сама не расхохоталась.— Женщина, еле сдерживая смех, согнулась в три погибели. Ее живот, как мягкий мяч, крепко прижался к моему заду. Я тоже сделал попытку увеличить площадь соприкосновения (место, где ее тело касалось моего). Она не противилась. Кажется, я начинаю забывать, что именуюсь Свиньей. Какое мне дело, где будут вестись переговоры, если удастся не допустить Тупого Кабана на корабль.

— Мне бы хотелось воздержаться от участия в переговорах.— Зазывала, протянув руку, стал скрести переговорную трубку когтями.— Приеду я туда, а там никого нет, только труп — и тут как тут полиция, нет, благодарю покорно.

— Это верно, конечно...— Продавец насекомых переключил рычажок.

«Ничего не выйдет. Мы все трусы. Приедем в указанное место, а там никого нет, только труп и полиция, нет, нам это ни к чему. Прием».

«Я возмущен. Неужели вы думаете, что мы способны на такую подлость? Это немыслимо. Единственное, к чему мы стремимся,— чтобы город сверкал чистотой. Причем, речь идет не только о мусоре и пустых банках, но и о духовной чистоте,— вот наша цель. А в дальнейшем мы не оставим в стороне и чистку людей. Я говорю правду — всей душой сочувствуя вашему предприятию, мы хотим действовать с вами рука об руку... Хорошо, что я должен сделать, чтобы вы мне поверили? Прием».

«Вы говорили, что уже немало заработали на своих сделках. Прием».

«Я вам сказал, что собираю единомышленников. Вербую влиятельных людей. Я не возражаю против полной проверки, начиная со списков личного состава и кончая деятельностью созданной мной организации. Прием».

— Глупости. Когда ковчегу придет время отправляться в плаванье, будет уже все равно, кто какое занимал положение или каким состоянием владел. А экипаж подбираю я, и никто другой.

«Мы бы хотели ограничить переговоры вопросом о трупе. И все же нас беспокоит, можем ли мы до конца доверять вам? Нам нужны от вас гарантии. Прием».

«Почему я вам так противен? Не могу понять. Прием».

— Потому что ванну не принимаешь! — крикнул я в переговорную трубку.

«Не говори глупостей, принимать ванну это долг, естественная обязанность человека, занимающегося уборкой. Я не делаю этого, лишь когда бываю сильно пьян, у меня сердце больное. Прием».

Женщина рассмеялась, сотрясаясь всем телом. Ее движения меня буквально гипнотизировали. Честно говоря, я никогда не подвергался гипнозу, но, видимо, ощущение было бы именно таким. Движение времени исчезло, и надо мной витало лишь «сейчас».

«Противен там или не противен, но надо отдать вам должное. Объяснить? Существует обстоятельство, способное в какой-то мере успокоить нас. Хотите выслушать? Прием».

«Конечно, хочу. Прием».

«Попробуйте представить себя подлецом. Настоящий подлец не шел бы таким обходным путем. Он, не говоря ни слова, притащил бы сюда труп с верхней дороги и зарыл его в куче мусора у входа в каменоломню. И нам хочешь не хочешь пришлось бы заниматься им. Правильно? Прием».

«Да, совершенно верно. Имея своим другом такого проницательного человека, как вы, сынишка может быть спокоен. Он, я думаю, тоже согласен с вашими доводами? К тому же я не такой подлец, как вы думаете. Мой внешний облик сильно мне вредит. Ну так как, согласны встретиться на Смеющемся Склоне? Прием».

«Нет, сделаем это в вашей конторе. Там, я думаю, недалеко и до того места, где обнаружен труп. Прием».

«Ну что ж. Устроим вам теплую встречу. Есть у нас и выпивка и закуска. А если хотите, сбегаем к реке и притащим еще чего-нибудь, сейчас как раз возвращаются рыбаки... Наша встреча будет первой и последней, так что мы сможем поговорить совершенно откровенно. Прием».

«Увы, последней. Если труп будет уничтожен, мы друг другу станем не нужны. В котором часу вы хотели бы провести беседу? Прием».

«Кто из вас придет? Сколько человек? Прием».

«Двое. Я, ответственный за внешние связи, и пассажирский помощник капитана. Он с вами уже беседовал. Прием».

«А сынишка не придет? Прием».

«Капитану там делать нечего. Прием».

«Почему? Прием».

«Почему? Потому, что у нас есть специальные люди, занимающиеся внешними связями. Прием».

«Я сейчас один в комнате. Может быть, сынок согласился бы поговорить со мной? Уговорите его, всего пару минут. Очень прошу вас. Прием».

— Вы как? — спросил у меня продавец насекомых.

— Спросите лучше, где Сэнгоку.

«Он спрашивает, где продавец картофеля. Прием».

«Странно, я же сказал, пошел за сигаретами...»

— Если это труп Сэнгоку, я им ни за что не прощу. Он был хорошим парнем. С ним мы бы прекрасно ужились.

«Ну что вы, он здоровехонек. Мне самому Сэнгоку-сан очень нравится. Знаете, какая у него любимая присказка? «Перечеркивай прошлое и все начинай сначала, опять перечеркивай и опять сначала, а потом опять перечеркни и опять начни сначала — и смотри, что получится...» Понятно, что он имеет в виду? Сейчас такой век, когда нужно точно, как на счетах, подсчитать, кто достоин, а кто не достоин того, чтобы выжить. Ну как? Совпадает? Прием».

«Что совпадает? Прием».

«Моя точка зрения с вашей. Прием».

«Когда мы это устроим? Я имею в виду, в котором часу мы встретимся? Прием»

«Я бы хотел вот о чем спросить. Сейчас, когда в нашем мире нужно перечеркнуть прошлое и все начать сначала, важнейшей проблемой стало решить, кто достоин того, чтобы выжить, а кто может преспокойно умирать. Вы думаете именно так, верно? Но какую мерку вы для этого подобрали? Прием».

— Все шуточки. Любит он поучать.

«Я не собираюсь поучать. Это случилось совсем недавно на весенней школьной спартакиаде. Там проводились странные соревнования, которые назывались по-английски «сервайвл гейм» — «игра в выживание». Ученики и взрослые состязались, так сказать, в способности выжить. Это соревнование организовали участники совещания, проводившегося для выяснения того, как лучше использовать бомбоубежище в подвале нового здания муниципалитета. Ну как, продолжать рассказ? Прием».

Продавец насекомых следил за выражением моего лица. Я взял себя в руки, чтобы не возмутиться. Он хотел узнать, не имею ли я отношения к этому подвалу в здании муниципалитета.

«Прошу, только покороче. Прием».

«Остановлюсь лишь на самом главном. Соревнования на способность выжить проводились как одно из юбилейных мероприятий, посвященных сорокалетию городской средней школы. Еще с вечера над морем собрались тучи, и утром зарядил мелкий моросящий дождь, но синоптики дали хороший прогноз, и устроители не хотели бросать на ветер деньги и энтузиазм, потребовавшиеся для проведения юбилейных торжеств. На подготовку праздника и украшение спортивной площадки были затрачены немалые усилия, но с самого начала гвоздем программы считалась игра в выживание. В таком духе вас устраивает? Прием».

«Продолжайте, пожалуйста».

«Конечно, игра есть игра, но вначале участники никак не могли приноровиться — очень уж странными были правила. Хотя выявлялись победители и побежденные, состязание в обычном понимании этого слова не проводилось. Но такова и природа самого выживания. Спортивную площадку разделили вдоль на три полосы: красную, белую и синюю. С двух сторон были обозначены «старт» и «финиш». Понятно? Потом взмахом флажка подавался сигнал о начале состязания, и каждый из участников, выбрав цвет по своему вкусу, направлялся к финишу. Время не учитывалось, поэтому спешить было не нужно, к тому же цвет в последний момент можно было поменять, и соревнующиеся чувствовали себя совершенно свободно. Школьникам и учителям, родителям и приглашенным эти состязания напоминали приятную прогулку. Всех привлекала, конечно, и награда, тем более что устроители не поскупились на роскошный приз. Можно продолжать в том же духе? Прием».

Мы, все четверо, переглянулись. Я был готов еще немного потерпеть, лишь бы удалось избежать переговоров. Таким образом, мое молчание означало пассивное согласие.

«Продолжайте, пожалуйста. Прием».

«Итак, соревнующиеся бегут вперед. Когда все участники пересекают финишную линию своего цвета, судья бросает трехцветную кость. Взвивается флаг выигравшего цвета, и бьет барабан. Согласно правилам, барабанная дробь означает, что проигравшие должны ложиться на землю. Понятно? А те, кто выжил, возвращаются на старт. Так должно повторяться много раз, и победителем становится тот, кто останется до конца, то есть выживет. Есть вопросы? Прием».

«Какое же это соревнование, если победитель определяется бросанием кости — обыкновенная азартная игра. Прием».

«Везение — непременный спутник войны. Чем не подходит азартная игра? И напряжение сильнее. Ведь первым призом был красный мотороллер фирмы «Хонда» новейшей модели — его приготовил местный Союз торговцев. Честно говоря, я тоже участвовал в этих соревнованиях, но когда кость бросает другой, сколько ни бегай, все без толку. Прием».

«Не отвлекайтесь, говорите о главном. Прием».

«Если не хотите слушать, могу прекратить. Прием».

«Я говорю лишь о том, что вы отвлекаетесь. Прием».

«О погоде я, кажется, уже говорил. Вопреки прогнозу, она становилась все хуже. Шел беспросветный дождь, казалось, все вокруг расчерчено сплошными линиями...»

Женщина засмеялась. Ничего смешного вроде бы не было, и я, воспользовавшись ее смехом, высморкался. Она по-прежнему прижималась к моему боку. Это была, видимо, компенсация за неудобную позу, в которой я находился. Зазывала облизнулся, продавец насекомых покачал головой, и оба зажмурились.

«Шапочки школьников почернели, будто их облили маслом, весь песок со спортивной площадки смыло, всюду стояли лужи. Школьный врач несколько раз что-то говорил на ухо директору, да и сам директор, кажется, готов был отменить соревнования. Он то и дело опасливо посматривал на выражение лиц родителей и гостей, находившихся под тентом. Но прекратить соревнования не мог — победителя ждал новенький мотороллер «Хонда». Если бы он решился прервать игру, ссылаясь на дождь, мог бы произойти скандал. Правила должны соблюдаться. И соревнования продолжались... Чем все это кончилось, как вы думаете? Прием».

«Чем же все это кончилось? Прием».

«Большой заварухой. Поскольку директор не делал ограничений, считая, что шансы на выживание у всех должны быть равны, в первом забеге набралось столько желающих, что яблоку негде было упасть. Чтобы все поместились, стартовую линию пришлось подвинуть на пять метров вперед. Начало соревнований тоже задержалось на восемь минут. Тягостное зрелище — промокшая насквозь плотная толпа, разбрызгивая лужи, топала по земле. Мамаши, волочащие за руку ревущих детей, старики, помогающие себе палками, какой-то калека, цеплявшийся за сопровождающих, напористая молодежь из рыболовецкого кооператива — все сбились в кучу. Затратив немыслимо много сил и времени, они в конце концов добрались до избранного каждым финиша. Кость брошена, взмах флажка и барабанная дробь. Временами вспыхивали драки, когда кто-то пытался пробраться в зону, где были победители, но, в общем, в первый раз люди по трем зонам распределились довольно равномерно. Потерпевшие поражение легли на землю — это были погибшие, но вскоре они отказались соблюдать правила игры. Кому захочется не только проиграть, но еще и валяться в грязи под дождем! Из установленных повсюду динамиков неслись крики преподавателя физкультуры: «Проигравшие, оставайтесь лежать, вы погибли, все, кто проиграл, оставайтесь лежать!» Но проигравшие с сердитыми лицами уже поднимались с земли. Честно говоря, я тоже. Вдруг раздались выстрелы. Автоматные очереди. Разумеется, записанные на магнитофонную ленту. Но впечатление они произвели огромное. Ни в кого из присутствующих из автомата, наверное, никогда не стреляли, но всем, безусловно, были знакомы эти звуки по телевидению и кино. Проигравшие рухнули как подкошенные. Не упасть было просто нельзя. Все это походило на массовый расстрел. Можно я передохну? Прием».

Та часть моего тела, к которому прижалась женщина, зажила собственной жизнью и стала господствовать надо мной. Она начала самостоятельное движение, пытаясь оккупировать меня целиком. Однако ощущение нереальности происходящего возникало не только от этого. По мере того как доносившиеся из переговорной трубки слова пересекались, словно в кроссворде, все более отчетливые очертания стал приобретать еще один Тупой Кабан, совсем не тот, которого я знал. Они просто не могли быть одним и тем же человеком. Известный мне Тупой Кабан не должен был пользоваться такими отутюженными, будто только что из прачечной, словами. У меня было чувство, словно передо мной змея, сменившая кожу.

«Кончайте быстрее, прошу вас. Прием».

«Проигравшие ушли с площадки, и по знаку судьи начался второй забег. Тот больной — наверное, паралитик — все цеплялся за плечи соседей и мешал остальным. До четвертого забега все шло как следует — каждый раз оставалась треть участников.

Кое-кто стал собираться домой. Но после пятого все пошло как-то странно. Можно продолжать? Прием».

«Мы слушаем вас. Продолжайте. Прием».

«Благодарю вас. Наконец, осталось одиннадцать человек. Сначала, когда десять участников, не считая паралитика, взяли старт, все шло хорошо. Но чуточку не добежав до финиша, они разом остановились. Что же произошло дальше? Как вы думаете? Они стали дожидаться, пока их догонит еле передвигавшийся инвалид. Увидев, что он вошел в синий сектор, остальные устремились туда же. Странный психологический акт, не правда ли? — примета у них такая была, что ли, или сыграло роль стадное чувство — мол, погибать, так вместе. И, как ни странно, выпал синий цвет. Все одиннадцать человек выжили и вернулись на старт. Но вручать приз пока было некому. Поскольку в том, что происходило, нарушений правил не было, судья возражать не мог. В шестом забеге произошло то же самое. Немыслимо, но в седьмом забеге все повторилось вновь. Становилось жутковато. Дождь усиливался, зажглись фонари, хотя до вечера было еще далеко, и даже всегда неугомонные школьники притихли, став похожими на окружавшие спортивную площадку мешки с песком. Во время восьмого забега устроители решили посовещаться. И вот тут-то неожиданно снова раздались автоматные очереди. Не началась ли истерика у того, кто отвечал за магнитофон? У паралитика вдруг подогнулись колени, он ткнулся носом в землю и завалился набок. Кто-то засмеялся, не поняв, что произошло. Школьный врач с медицинской сумкой подбежал к упавшему, но было уже поздно. Игру, разумеется, прервали. Неужели в этом и состоит борьба за выживание, как вы считаете? Прием».

«Что же стало с мотороллером? Прием».

«А-а, с призом? Кажется, его решили разыграть по жребию между десятью выжившими. Однако родственники паралитика обратились с жалобой, утверждая, что, поскольку все выжившие каждый раз ждали, какой цвет выберет старик, а он умер, их тоже следует считать умершими. Логично, правда? В результате мотороллер, кажется, до сих пор хранится в школе. Странная история, верно? Прием».

«Что же вы хотели сказать своей историей? Прием».

«Сам не пойму. Просто представления не имею. И именно поэтому хочу встретиться и поговорить. А вы понимаете? Прием».

Мы все растерянно рассмеялись. Из переговорной трубки раздался звук, будто из воздушного шарика выпускают воздух. Это смеялся прежний Тупой Кабан.

(Окончание следует)

Публицистика

ВЛ. ГАКОВ

РАЗМЫШЛЯЯ О НЕМЫСЛИМОМ

Атомный контекст американской фантастики

6 августа 1985 года в сороковой раз скорбно поплыл колокольный звон над Хиросимой. Все эти сорок лет не гаснет огонь в лампадке, зажженной крестьянином Тацуно Ямамото от пламени атомного пожарища, в котором сгорел вместе с родными его дом. Это не только память о погибших тогда, сорок лет назад; ровный язычок пламени напоминает и о нынешних хибакуся — так называют в Японии тех, кто несет страшное атомное проклятье в своих костях, тканях, генах.

Жива память и в душах людских. Кто ни разу в жизни не ступал на японскую землю, и те хранят в сознании образы с фотографий, из книг и фильмов. Скелет «атомного дома» на холме. Изящную строгую арку монумента в память жертв атомных бомбардировок. Бумажных журавликов, которых посылали в Хиросиму дети всего мира в надежде спасти девочку, умиравшую от лучевой болезни.

Звонит колокол, и ровно, как память, горит свеча. Но не все, оказывается, слышат и видят.

В стране, руководство которой осуществило варварскую акцию сорок лет назад, юбилей Хиросимы был отмечен подчеркнутым молчанием. Никаких комплексов, не разбередила душу больная память и безмятежно дремала совесть. Ни одна ведущая американская газета словом не обмолвилась о Хиросиме. Никто из высших правительственных чинов не высказал даже приторно-официального сожаления по поводу случившегося давным-давно.

Зато с голливудским размахом отпраздновали другое сорокалетие — первого испытания атомного оружия на полигоне в пустыне Аламогордо, штат Нью-Мексико. Было множество юбилейных статей банкетов, к торжественной дате открыли музей и даже специальные экскурсии водили — школьников... В хоре славословия, в звоне фанфар лишь очень тонкий слух настроился бы на тревожную короткую ноту: газета «Нью-Йорк таймс» нехотя обмолвилась о том, что «спустя 24 дня после «Троицы» (кодовое название эксперимента в Аламогордо.— Вл. Г.) две небольшие и по нынешним временам примитивные атомные бомбы разрушили два японских города, унеся 106 тысяч человеческих жизней». И все.

Так «отписались» за Хиросиму, да и почти вдвое занизили число жертв. А о том, что накануне печального сорокалетия покончил с собой бывший штурман самолета B-29 Пол Брегман, принимавший участие в атомной бомбардировке Нагасаки, большинство газет не сочло нужным сообщить даже абзацем.

На этом фоне особенно заметной оказалась вспышка активности американских писателей-фантастов: за один только 1985 год опубликовано около двух десятков книг, в той или иной мере посвященных атомной войне, и еще около десятка — в предыдущем, 1984-м.

Правомерен вопрос: разве это так много — при том, что ежегодно на американские книжные прилавки выбрасывается около полутора тысяч отдельных названий фантастики? Да и тема, вспомнит читатель, не нова: «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, книги и рассказы других американских фантастов, переведенные на русский язык... Все так. Но не следует забывать: большая часть их написана почти три десятилетия назад. Тогда, действительно, американская фантастика была полна заботой о будущем человечества. И книги выходили яркие, страстные, бередящие душу.

То время ушло. В последние десятилетия о социальной ответственности применительно к американской научной фантастике говорить приходится в случаях исключительных. И политическая активность писателей-фантастов США, если и вспыхивает ненадолго, то скорее с креном вправо. Так называемые «постатомные сценарии» выходят и по сей день. Но в большинстве случаев как-то вяло, неинтересно, равнодушно пишут сегодня обо всем этом американские фантасты (да и столько уже

всего написано...) Так что всплеск 1984—85 годов оказался событием во всяком случае приметным.

Выходит, не миновал американскую литературу, как минимум ту ее часть, о которой речь, *хиросимский синдром*? Все говорит за это — и прежде всего поистине недюжинные усилия, которые предпринимаются, чтобы скрыть его симптомы (повторения «вьетнамского синдрома», как видно, нынешнее американское руководство решило ни в коем случае не допустить). Скрывают по-разному. Холодным резонерством, вызывающе злой агрессивной бравадой, развязным шутовством. Оправдывают ядерную войну, утешают перспективой выжить в ней, строят утопические прсекты, как ее избежать. Да просто превращают ее в фон для заурядного боевика, или мелодрамы, или фарса.

А проблема — острая, тревожная, болезненная — проступает сквозь все словесные ухищрения. Как неотвратимо проявляется на фотопленке, положенной в конверт со срезом спелого дерева, траурный (на темной пленке он получается как раз светлым) круг, соответствующий годовому кольцу 1945-го.

С книгами «хиросимской серии» я и хотел бы кратко познакомить читателя. Сразу же замечу: знакомство предстоит с феноменом в большей степени социальным, нежели эстетическим; это чистая политика, но, так сказать, в массовой упаковке. Разбирать подобную продукцию уместнее не литературному критику, а публицисту, социологу или историку (впрочем, и литературный уровень большинства книг не располагает к серьезному литературоведческому анализу). Малоинтересны они и тем, кто ищет в научной фантастике какие-либо откровения о дне завтрашнем. Зато диагноз нынешнему состоянию умов в стране, бомбившей Хиросиму и Нагасаки, эти произведения в совокупности дают ясный и точный.

Итак, о «хиросимской серии». Характерно, что и в ней почти не упоминается... Хиросима, вообще Япония — если не считать рассказа Кима Стэнли Робинсона «Лаки Страйк» (1984), да, может быть, романа Виктора Милана «Кибернетический самурай», вышедшего годом позже. В первом случае это еще одна альтернативная история [1], в которой снискавший печальную известность бомбардировщик B-29 «Энола Гэй» терпит аварию, и бомбардировку Хиросимы поручают другому экипажу. А во втором — история создания совершенного электронного мозга, не только названного «Токугава» (имя знакомо тем, кто хоть в малой степени интересовался японской историей), но и снабженного приметами «личности» самурая... Рассказ весьма «нейтральный», а вот роман подчеркнуто антияпонский. Милан пугает соотечественников «желтой угрозой»: сначала бытовая электроника, потом «тоёты» и «мазды» — а дальше что? Американцев начнут теснить роботы, в которых заложен кодекс бусидо? Тоже своего рода *оправдание* Хиросимы.

Но это примеры единичные. Зато нынешние политические ветры занесли в американскую научную фантастику ядовитые семена иной темы — речь идет снова об угрозе, но на этот раз «красной».

Когда-то, помнится, с криком «Русские идут!» выбросился из окна лечебницы военный министр США Форрестол, тронувшийся на почве антикоммунизма. Холодная война была в разгаре, о покорении Америки «красными ордами» в ту пору твердили все средства массовой информации, и научная фантастика не составляла исключения. В конце 40-х — начале 50-х годов о будущей атомной войне писали много и охотно. Понятное дело, ее еще рассматривали как войну обычную — с победителями и побежденными, с возможной оккупацией и логично следовавшим сопротивлением захватчикам. (Здесь я не имею в виду книги, подобные «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери или «На берегу» Невила Шюта; коммерческое политическое чтиво, о котором идет речь, сегодня, кроме специалистов мало кто вспомнит.) Тогда заблуждение было простительно, никто не думал о неизбежном всеобщем уничтожении, о «ядерной зиме».

Но как объяснить переписывание старых сюжетов сегодня?

Вспомним: подписывая приказ об атомной бомбардировке японских городов, Трумэн менее всего руководствовался конкретной обстановкой на дальневосточном театре военных действий. В момент проведения Потсдамской конференции американскому президенту нужна была «хорошая дубинка против русских» (история сохранила эти подлинные слова экс-галантерейщика из дремучей американской глубинки, по воле судьбы вознесенного в Белый дом).

Пожары Хиросимы и Нагасаки ознаменовали начало холодной войны.

«Нас, американцев, буквально утопили — постарались школа, средства массовой информации, фильмы, книги, церковь — в океане стереотипных образов. Советские люди, коммунисты вообще представали нашему воображенйю как злодеи, заговорщики, жестокие и фанатичные агрессоры, единственной целью которых было разрушить Америку и поработить ее. В течение трех лет, последовавших за периодом военного союза с СССР, каждый американец, чтобы подтвердить свою лояльность, вынужден был смотреть на Советский Союз как на врага».

Цитата из статьи, датированной 1981 годом, речь идет о событиях более чем тридцатипятилетней давности, но все сказанное вполне можно отнести и к нынешней ситуации. Свидетельство тем более ценное, что пришло оно, как ни странно, из мира американской научной фантастики!

В этом мире имя Говарда Брюса Франклина, профессора университета Ратжерса (штат Нью-Джерси), ведущего специалиста по американской фантастической литературе XIX—XX веков, заслуженно пользуется авторитетом. Однако уверен, что не столь широко были известны познания ученого-филолога (по крайней мере до выхода в свет его статьи «Америка — первой» в журнале «Нью Бостон ревью», от-

[1] См. об этом: Вл. Гаков. Ночь, которая не наступила («НЛ», 1985, № 9). *(Прим. ред.)*

куда приведены слова Франклина) в другой области: истории гонки вооружений.

«Я без тени сомнения верил в то,— пишет Франклин,— что Америке угрожает коммунистический заговор, что мы постоянно находимся под угрозой внезапной советской ядерной атаки. С этой уверенностью я приступил к несению военной службы в январе 1956 года... Так получилось, что процесс сползания моей страны к фатальной границе «ядерного балансирования», за которой могла начаться новая война, происходил при моем непосредственном участии. Первые два года я служил навигатором звена стратегической авиации, летал на самолетах-заправщиках в северных широтах; а в свободное от полетов время по совместительству выполнял обязанности офицера военной разведки в эскадрилье, получив доступ практически ко всей секретной документации. Из нее я и узнал, что главной нашей целью была как раз дестабилизация положения в мире. Мы должны были убедить рядового американца, что ему перманентно угрожает внезапная ядерная атака со стороны СССР. Хотя кто-кто, а мы-то прекрасно знали в то время, что никаких планов атомных бомбардировок городов США у Советского Союза не было».

Профессор Франклин — фигура в современной американской фантастике уникальная. Он не скрывает своих левых убеждений и в свое время демонстративно оставил кафедру в Кентском университете, когда ему там намекнули, что политические взгляды преподавателя литературы шокируют кое-кого из администрации. И сейчас он в разгар иной литературоведческой дискуссии по проблемам научной фантастики нередко может услышать в свой адрес: «коммунист» — слово в нынешней Америке, прямо скажем, бранное.

Между тем Франклин в отличие от многих коллег просто старается не забывать уроков прошлого и, разменяв шестой десяток, не отказывается дать бой тем, кто помнить ничего не желает. Полем битвы может быть книжная страница: как раз в Год Хиросимы — 1985-й — вышел составленный Франклином сборник «антиатомных» научно-фантастических рассказов «Счет идет до полуночи».

А порой схватка превращается в очную, как случилось в позапрошлом году на конгрессе Ассоциации исследователей научной фантастики, где идейные баталии между Франклином и наседавшими на него «правыми» (в частности, Джерри Пурнеллом, с которым мне довелось познакомить читателей «Иностранной литературы» [1]) менее всего напоминали академические литературные споры! «Словно пахнуло духом пятидесятых, холодной войной, призраком сенатора Маккарти»,— сообщал Франклин в письме автору этих строк о конгрессе...

Однако повторю: таких, как профессор Франклин, в сегодняшней американской фантастике можно сосчитать по пальцам. И хотя голос их слышен, не он, увы, определяет массовое сознание, а скорее те книги «хиросимской серии», о которых речь впереди.

Итак, опять «русские идут»!

Когда телекомпания Эн-би-си только приступила к съемкам 16-серийного фильма «Америка» (утверждают, что этот «колосс антисоветизма» побьет кассовые рекорды таких картин, как «Красный рассвет» или «Рэмбо»), леденящие кровь «ужасы коммунистической тирании» в оккупированных Соединенных Штатах уже весьма красочно описали в романе «Переворот» некие Дж. Эдмондсон и К. Котлан. Но интереснее остановиться не на этой во всех отношениях вторичной и второстепенной поделке, а на другой книге «урожая 1985 года» — романе «Луг» Пола Кука.

...Перед лицом неизбежного ядерного столкновения правительства СССР и США одинаково обеспокоены проблемой: как сохранить население своих стран? Русские строят гигантские подводные убежища, что касается американских ученых, то они нашли способ перебрасывать людей и технику в какое-то иное пространственное измерение (поселки и целые военные базы с персоналом как бы временно исчезают из нашей реальности, однако могут быть заново «материализованы», как только возникнет необходимость). После того как катастрофа все же произошла, в «инобытии» оказались два американских поселка-призрака: «Яблочное семечко» (он населен учеными) и «Улей» (база военных).

Все это читатель узнает как бы в ретроспективе, ибо время действия отнесено на 600 лет вперед. Америка разрушена, но не уничтожена (кстати, похожими словами заканчивался нашумевший телефильм «На следующий день», о котором у нас много писали), и ученые из «Яблочного семечка» приступают к планомерному обживанию земли Канзаса — она совсем не так заражена радиацией, как предполагали. Герой романа «материализуется» на территории бывшего Канзаса, чтобы разведать обстановку, и прежде всего обнаруживает, что мир этот... заселен здоровыми, крепкими советскими колхозниками! Они давно утвердились на некогда вражеской территории; ныне старые распри забыты, и новые «канзасцы» относятся к появившимся неведомо откуда американцам с теплотой и сочувствием (хотя уходить с захваченной земли, судя по всему, не собираются). Настроены миролюбиво и американские ученые. И если бы не одержимые жаждой мести милитаристы «Улья» — их вооруженная база тоже «материализовалась» неподалеку,— все, возможно, закончилось бы миром. Надо понимать, «тихой», «гуманной» оккупацией, без кровопролития и вооруженного сопротивления...

Почти идиллия на фоне ужасов, которыми регулярно пичкают американцев средства массовой информации. Если б не одна простенькая идейка, которую автор проводит ненавязчиво, но настойчиво: жестокая ли, мирная ли, но — оккупация неизбежна. А посему остается только теснее сплотиться вокруг сегодняшнего аме-

[1] См. об этом: Вл. Гаков. Фронтир («ИЛ». 1986. № 2). *(Прим. ред.)*

риканского правительства, радеющего о создании «сильной Америки».

Неприятностями для будущих поколений американцев сегодня пугают и тех, кто дает себя уговорить «безответственным либералам» и всячески противится реализации «стратегической оборонной инициативы» президента Рейгана. Об этой полемике в мире американской научной фантастики тоже подробно говорилось в упомянутом очерке «Фронтир». Что же нового принес Год Хиросимы?

Споры не утихают до сих пор и попрежнему мнения высказываются полярные. Известному фантасту и ученому-физику Грегори Бенфорду, автору рассказа «К заливу штормов», разумеется, не составит труда отделить пропагандистскую трескотню вокруг СОИ от реальных перспектив, коими грозит вывод в космос нового поколения «сверхоружия». И в романе Ричарда Эллиота (коллективный псевдоним двух молодых авторов — Элтона Эллиота и Ричарда Гейза) «Сожженные земли» природная катастрофа — гибель всей жизни на Земле в результате вспышки на Солнце — произошла вследствие неполадок в гигантском рентгеновском лазере, выведенном на орбиту по программе СОИ... Как видим, трезвый взгляд на вещи присутствует и в американской фантастике. Однако, повторяю, тон, к сожалению, задают другие произведения.

«Мы часто не отдаем себе отчета в том, насколько наша культура пропитана «идеями» крупнейших аэрокосмических корпораций, идеями, подсказанными насущными потребностями военно-космического бизнеса и его же параноическими опасениями. Так, аэрокосмическая промышленность играла главенствующую роль в становлении послевоенной американской научной фантастики, картины ближайшего будущего в сознании американцев в значительной степени формировались под влиянием видеоигр, телесериала «Звездный путь», других примеров милитаризации духовного мира (inner space) и, конечно, киноэпоса «Звездные войны».

Этот вывод профессора Франклина хорошо подтверждают два самых свежих примера «урожая 1985 года».

В романе «Частники» известный писатель Бен Бова рисует весьма безрадостное для Соединенных Штатов близкое будущее, наступившее после того, как практически без боя сдан Советскому Союзу космический плацдарм. Из-за нерешительности правительства и подрывной деятельности «либералов» все американские космические программы оказались свернуты. Межпланетные трассы безраздельно контролируются советскими военно-космическими силами. К счастью, находится патриот, бывший астронавт и мультимиллионер Рэндольф, который основывает частное космическое агентство и на манер корсаров прошлого вступает в неравную схватку с русскими звездными фрегатами.

Симптоматичен в данном случае не факт появления подобных книг — они и раньше были. Тревогу вызывает привлечение к их созданию писателей действительно ведущих, хорошо знакомых и нашему читателю. Известных, в частности, и своей сдержанностью в политике...

Еще дальше пошли Эрик Котани (однажды мелькнуло интригующее сообщение, что это псевдоним «космического специалиста с мировым именем») и Джон Мэддокс Робертс в романе «Божий промысл». Книга вышла накануне события, которого с нетерпением ждали во всем мире,— приближения к Земле кометы Галлея. Подыгрывая всеобщему интересу, авторы ничтоже сумняшеся расписывают ужасы недалекого будущего: русские разрабатывают план управляемого столкновения кометы с Землей и наводят космическую гостью, конечно же, прямехонько на территорию Соединенных Штатов. Да еще представляют дело как стихийную катастрофу, некое фатальное наказание свыше!

Вот так. Мир ожидает завершения проекта «Вега», к комете летит интернациональная автоматическая флотилия, а прибывший по этому случаю в Москву ведущий американский астроном и общественный деятель Карл Саган обращается к советскому руководству с призывом организовать совместную экспедицию на Марс... И в то же время соотечественников Сагана «накачивают» литературой в духе только что описанных сочинений.

Проголосуешь тут за спасительный «космический щит»! И проникнешься поистине нутряной ненавистью к «этим русским», к этой постоянной, смертельной угрозе родному дому, семье, государству.

Помнится, некто Джером Слейтер опубликовал в журнале «Диссент» статью, где возвращался к вопросу, «зачем нужно столько оружия массового уничтожения, чтобы двадцать раз убить одного русского?» (а накоплено как раз столько).

Сомнениями Джером Слейтер себя не изводит: «Риторический этот вопрос звучит довольно удачно, но в нем упущен важный момент. Наша цель, безусловно, не в том, чтобы по двадцать раз убивать каждого русского. Наша задача — быть в состоянии убить каждого русского один раз и реально гарантировать эту возможность». Подчеркнутые слова выделены не мной — автором статьи...

Написано, между прочим, в 1982 году, когда была обнародована и рейгановская программа «звездных войн». Два события, внешне никак не связанных,— национальная стратегия, предложенная главой американского государства, и частная статья никому не ведомого автора. Впрочем, так ли уж не связанных?

Но если американские писатели-фантасты и не опускаются до демагогии о «советской угрозе», то пути выхода из «атомного пата» ищут по меньшей мере странные.

Молодой фантаст Майкл Кьюб-Макдоуэлл, автор романа «Смелая затея», руководствуется истинно американской верой в технологическую «панацею». Сюжет романа заводится традиционным научно-фантастическим ключиком: группа ученых нашла способ мгновенно разрядить все источники ядерной энергии на планете. Долгожданный мир? Не торопитесь с выводами. Следуя странной логике нынешнего политического руководства США, автор хладно-

кровно констатирует, что спасительное открытие... ввергает мир в жесточайшую «обычную» войну. В результате цивилизация отброшена на уровень первобытно-общинного строя; она рассыпалась, распалась на изолированные аграрные коммуны, члены которых сгоряча сожгли всех «умников» на кострах. Только глубоко законспирированное интеллектуальное подполье продолжает уповать на помощь... внеземных цивилизаций!

Скрытое послание книги, хотел автор того или нет, разглядеть нетрудно, его не замаскирует даже показное сочувствие гонимым ученым. Состояние сегодняшнего «атомного пата» на планете оказывается не чем иным, как единственным надежным гарантом мира и прогресса! Убери эту важную карту, и все, конец, карточный домик цивилизации рассыплется...

Еще более зловещими представляются попытки подспудно примирить с мыслью о неизбежности, даже предпочтительности так называемой «ограниченной» ядерной войны. Обычно их тоже тщательно скрывают — хитро закрученной интригой, научно-фантастической «экзотикой».

Логика такого камуфляжа очевидна. Если после ядерного столкновения что-то еще происходит в мире, значит, это не конец. И даже, может статься, к лучшему. Стороны удовлетворят свои агрессивные инстинкты, и когда пар выйдет, начнется самое интересное — собственно сюжет, фоном коего отлично послужит (и даже оживит его!) «локальный» ядерный конфликт. Что до сюжета, то выбирать недосуг, хватают что под руку попадется, самое проверенное: политический или гангстерский боевик — «триллер», любовную мелодраму, семейную сагу...

Надеждами на «спасительный» характер ограниченного ведения военных действий в последнее время оснащают не только писатели, но и ученые — эксперты по проблемам вооружений. Назову, к примеру, публицистическую книгу Фримэна Дайсона «Оружие и надежда», вышедшую в конце 1984 года.

Автор знаменитой «сферы Дайсона», один из самых блестящих математиков и физиков-теоретиков, каких дал американской науке Принстон? Он самый. Бывший военный летчик, а впоследствии видный деятель пацифистского движения, Дайсон тоже захотел поделиться с читателем своими мыслями о немыслимом.

Недостатка в комплиментах рецензентов его новая книга не испытывает: «Написанное с гневом, мудростью и внутренней силой, эссе «Оружие и надежда» посвящено изучению того, что практически осуществимо, что благородно и что действительно необходимо для предотвращения ядерной катастрофы. В своих проектах Дайсон заметно отходит от позиции тех, кто считает фантазии на тему «звездных войн» дурацкой болтовней и только, но одновременно он полемизирует и с теми одурманенными предощущением трагедии либералами, которые защищают концепцию «взаимного гарантированного уничтожения».

Что же за оригинальные идеи предлагает автор многих воистину смелых, даже дерзких научных проектов? Увы, в области политики Фримэн Дайсон не пошел дальше вот такого оригинального предложения. Взаимно уничтожив все запасы ядерного оружия и распустив регулярные армии, обе «сверхдержавы» должны строго, на взаимной же основе создать специальные подразделения солдат-профессионалов, вооруженных единственно обычным оружием ограниченного радиуса действия,— им и будет вменено в обязанность вести «ограниченные» войны по приказу своих правительств... Комментировать этот не просто наивный, но и чрезвычайно в р е д н ы й проект, да еще рожденный в мозгу блестящего ученого, право же, как-то неудобно.

Если подобные перспективы всерьез и с пафосом обсуждают специалисты, то что говорить о писателях! Обратимся опять к книгам «хиросимской серии».

В остросюжетном политическом боевике Джанет и Криса Моррисов «40-минутная война» Вашингтон, в результате атаки загадочных «террористов», превращен в радиоактивные руины. Кто учинил варварский акт? В романе прямо не сказано, но почему бы читателю не предпринять минимальное умственное усилие! Мужественный американский дипломат, рискуя жизнью, доставляет уникальные медикаменты пострадавшим в Хьюстон, куда экстренно перебралось правительство. Лекарства доставлены из Израиля, это по-прежнему надежный союзник США, ну, а враги...

Норман Спинрэд, автор сатирического рассказа «Последняя мировая война», тоже пишет о террористах. Безумный арабский шейх грозит атомной бомбардировкой Израилю, в то время как банда торговцев наркотиками похищает президента США и выжигает ему мозг. Происходит еще множество таких же драматических событий, мир катится в пропасть, и все-таки мир... живет. Это ж и з н ь — бурная, сотрясаемая катаклизмами, но кто сказал, что нынешний, сегодняшний наш мир тих и смирен! Приспособились же, приучимся жить и в том, будущем, пережившем «ограниченную» ядерную войну. «Черный юмор», которым преимущественно потчует читателя Спинрэд,— как наркотик: боль притупляется, уходит, и на смену ей наступает даже некоторая эйфория, приятное «путешествие», как именуют свое бегство от реальности наркоманы...

Любопытно отметить, что по меньшей мере в четырех «постатомных сценариях» 1985 года действие закручивается вокруг событий на Ближнем Востоке. Событий, разумеется, вымышленных, однако представляющих собой следствие процессов сегодняшних, всем хорошо известных. То на Америку «шли» советские агрессоры, то, оказывается, с не меньшим успехом сегодня можно запугать американского читателя происками так называемых «арабских террористов». Заодно оправдывая гонку ядерных вооружений ссылками на то, что в их руки вот-вот попадет атомное оружие.

Мир недалекого будущего в романе У. Йейтса «Диаспора» пережил целых два «локальных» ядерных конфликта. Первый раз, когда фанатичные мусульмане-шииты

уничтожили Израиль, после чего весь район Ближнего Востока был превращен в безжизненную пустыню. И еще раз, когда Организация Объединенных Наций, по воле автора романа взявшая на себя функции мирового жандарма, одной атомной атакой сровняла с землей и Москву и Нью-Йорк, обеспечив полную и бесконтрольную власть над планетой. Для автора — это всего лишь удачная сюжетная завязка, предыстория описываемых событий. Их в романе хватает: орбитальная база-колония «Хазара Исроэл», где укрылись остатки израильтян, проникающий туда секретный агент ООН, внезапная карательная акция посланных ООН французских десантников. И, наконец, финал: отлет космической станции «Хазара Исроэл» к звезде Альфа Центавра — новой земле обетованной...

Примерно с середины романа некоторая абсурдность происходящего начинает серьезно раздражать (это отметили и рецензенты книги). Но главное, как мне кажется, в том, что цели достигает и этот полностью алогичный сюжет. Переварить брошенную вскользь информацию о двух ядерных войнах читателю просто недосуг — ну произошли и произошли, повышенный фон радиации не повлиял на ток жизни, она бурлит по-прежнему!

Я мог бы привести и другие примеры подобного рода. Страшен, заранее просчитан их суммарный, «кумулятивный» эффект. Одна-две книги — это всего лишь точки зрения; в данном же случае мы имеем дело с тенденцией. Читателя подготавливают к мысли, что все не страшно, все как-нибудь обойдется. Ведь живем же...

Когда вскоре после окончания второй мировой войны великий мизантроп Олдос Хаксли написал свой трагифарс «Обезьяна и сущность», он, вероятно, не знал, что дает жизнь целому полноводному потоку западной научной фантастики — «роману выживания» (survivalist novel). Позже этот поток пополнился рядом значительных произведений: «Куколки» Джона Уиндэма, «Уровень 7» Мордесаи Рошвалда и «Кантата на смерть Лейбовица» Уолтера Миллера, «Планета обезьян» Пьера Буля. В этих и многих других романах-предупреждениях человеку давался шанс выжить после ядерной катастрофы, потому что в ту пору надежду еще сохраняли и ученые и политики.

Но вот в наши дни выходят в свет две публицистические книги, самоуверенный оптимизм которых выглядит по меньшей мере неуместным. Полудокументальное эссе «Как мы выпутаемся» писателя-фантаста Дина Инга, одного из наиболее ярых защитников СОИ в американской фантастике, критика назвала «наиболее популярным руководством по выживанию в ядерной катастрофе, слегка закамуфлированным под научную фантастику». В другой книге, названной «День после начала третьей мировой войны», журналист Эдвард Цукерман деловито обсуждает энергичные меры по наведению порядка, которые предпримет правительство США после того, как закончится ядерное нападение... Словом, все не так безнадежно. Выпутаемся, перезимуем и «ядерную зиму»!

Теперь не удивят и замеченные в списках научно-фантастических книг 1985 года такие романы, как «Дети пыли» Луизы Лоуренс или «После бомбы» Глории Миклович. Чем они меня заинтересовали? Это также «руководства по выживанию», но на сей раз предназначены вполне определенной возрастной группе: подросткам 10—12 лет...

Есть что почитать и аудитории постарше. Автор романа «Закат» Джон Ширли предлагает свой вариант «Евросимы», причем весьма увлекательный (хотя третья мировая война превратила континент в радиоактивные руины, они не столь страшны, чтобы нельзя было развернуть здесь зубодробительный сюжет). Развалины того, что когда-то называлось Парижем или Амстердамом, служат прибежищем для новой молодежной «контркультуры». Юным бунтарям — бродягам и революционерам — приходится воевать на два фронта: против неофашистской группировки «Новый союз» и одновременно против внешне мирных «либералов», которые спят и видят, как бы захватить власть над агонизирующей Европой, над остатками правительств и промышленных корпораций и даже над сохранившимися, по слухам, орбитальными космическими поселениями. Юный дикарь с пальцем на курке автомата, анархия и кровавая драка всех против всех плюс неизбежно возникающие на радиоактивном пепелище культы сверхчеловека и нового мессии. Такова цена «выживания».

Но вот что хотелось бы отметить. Герои романа молоды, агрессивны и в меру беззаботны. Их сверстнику-читателю, к которому апеллирует автор, нарисованные кошмары вовсе не кажутся такими страшными! Ведь власть в «постатомном» мире принадлежит молодым (ибо они оказались более приспособлены к резко изменившейся обстановке), и молодежь не прочь вдосталь попользоваться этой властью... «Закат» — первый роман планируемой трилогии, и нет сомнений в том, что в двух последующих отголоски темы атомной угрозы окончательно затеряются в стремнине сюжета.

Ну, а если не Европа, а Америка? Эту ситуацию рассматривает в романе «Фискадеро» Денис Джонсон (и за два года до него — уже упоминавшийся Ким Стэнли Робинсон в романе «Молчащий берег»). На разрушенную, «истекающую радиацией» Америку наложен карантин другими странами, уцелевшими в атомной войне. Проходят десятилетия (у Джонсона — целый век), американцы отрезаны от остального мира и по сути обречены на медленную ужасную агонию. Но фокус в том, что жизнь-то продолжается!

У тех, кто читал знаменитый роман англо-австралийского писателя Невила Шюта «На берегу» или видел его еще более известную экранизацию, осуществленную Стэнли Креймером, название романа Робинсона вызывает вполне понятные ассо-

циации[1]. Но после чтения книги еще раз убеждаешься, как все изменилось в Америке. Фильм заканчивался скорбной сценой гибели последнего островка человеческой цивилизации — и последним предупреждением на плакате над обезлюдевшей площадью: «Еще не поздно, брат!» Плакат обращен к сидевшим в зрительном зале — для героев фильма надежды не оставалось... А современный роман молодого американского писателя, несмотря на общий мрачный фон, эту надежду, как ни странно, поддерживает.

Неосознанную надежду внушает и безошибочный — в других ситуациях — юмор. Раз можно шутить, значит, не все так мрачно и безысходно, как казалось.

Из всех авторов «хиросимской серии» Фредерик Пол, безусловно, самый знаменитый (у нас в стране хорошо знают творчество этого умного и порой беспощадного сатирика). В новом романе «Встает Черная звезда» язвительный Пол верен себе, но вот вопрос: уместны ли в наше время шутки, пусть даже злые, на тему а т о м н о й в о й н ы? Ведь тут-то не гневный сарказм, не смех сквозь слезы, а так — зубоскальство, саркастическая ухмылка. В романе США и СССР почти полностью уничтожили друг друга, а заодно и добрые три четверти мира. Только Китай и Индия сохранили остатки цивилизованности, остальные страны скатились в варварство. Окончательному упадку американской нации и превращению янки в существа второго сорта (под игом китайцев) помешала лишь спасательная экспедиция, посланная на Землю с орбитальной космической колонии, которой не коснулись земные катаклизмы...

Сатирический дар американского фантаста, как видно, не поблек со временем, в другой ситуации его стрелы несомненно достигли бы цели. Но беда в том, что за всей этой хлесткой эскападой как-то забываешь о ядерной «преамбуле», а в ней — все дело. Ведь не будет никакой п р е-амбулы; неужели не ясно, что в данной ситуации просто не до шуток?[2]

Закончим разговор о книгах 1985 года романом Дэвида Брина «Почтальон». Это одно из самых заметных произведений года и самое, на мой взгляд, противоречивое.

Сюжет, в общем, знакомый: Соединенные Штаты разрушены атомной войной и население фактически д о ж и в а е т. Привычны в американской фантастике и картины нравственного распада, анархии, отчаяния. Но и в этих нечеловеческих условиях люди все-таки остаются людьми. Герой романа, наткнувшись на полуистлевший труп почтальона, перебрасывает через плечо его сумку с никому теперь не нужной корреспонденцией и начинает свой индивидуальный «марш надежды». От развалин к развалинам, от убежища — к убежищу. Почтальон... Значит, кто-то пишет письма, значит, где-то еще теплится жизнь на Земле!

Это сильный художественный образ, в нем слышится отзвук фолкнеровской веры в человека, который не только выживет, но и победит. И все же ему — образу — никак не «совладать» с логикой ситуации. Потому, что надежду он внушает ложную: надеяться, в сущности, не на что.

Т а к ч т о ж е о с т а е т с я п и с а т е л ю - ф а н т а с т у? Если и просто х о р о ш а я литература (а роман Брина в художественном отношении стоит намного выше всех ранее разобранных) не выручает? А старые, веками формировавшиеся нравственные ценности не только не вписываются в «постатомную» логику, но, случается, внушают вредные иллюзии? Вообще — что делать в ситуации, когда может оказаться вредной надежда...

Может быть, к ответам на эти вопросы и вела нас кружным путем «хиросимская серия».

В канун Года Хиросимы два американских автора, Уитли Стрейбер и Джеймс Кьюнетка, выпустили роман «День войны», быстро ставший бестселлером (по сообщениям печати сейчас к экранизации его приступил известный французский режиссер Коста-Гаврас). Это вымышленный репортаж двух журналистов, совершающих в 1993 году поездку по Америке—по стране, какой она стала спустя пять лет после обмена всего лишь «небольшими» ядерными ударами с СССР. Мировую войну предотвратить удалось, однако картины, представшие взору путешественников, столь мрачны, что руки опустятся, пожалуй, и у самых непробиваемых оптимистов.

Книга удалась, в частности, и потому, что один из соавторов, Кьюнетка, прекрасно разбирается в вопросах, о которых пишет: он автор биографии Роберта Оппенгеймера и успел завоевать известность документальной книгой об истории испытаний первой атомной бомбы. «Нам казалось,— сказал он в интервью газете «Нью-Йорк таймс»,— что книга удастся, если по прочтении ее никто не сможет уйти от вопроса, обращенного к самому себе,— все ли мы сегодня делаем для того, чтобы ничего подобного не случилось?»

Вот по крайней мере вариант ответа: известно (и большинство книг «хиросимской серии» это подтвердили), чего ни в коем случае н е д о л ж н а делать литература! Аморально—даже и в форме научно-фантастического предположения — проводить, внедрять в сознание людей мысль о возможности пережить ядерную войну, в том числе и «ограниченную». Может быть, это последнее, что остается — всем сообща проникнуться мыслью о неизбежности перерастания ограниченного конфликта во всеобщий, глобальный. Мужественно сказать себе: если начнется, то ничего, никакого «следующего дня» не будет.

«На следующую ночь» — так обыграли

[1] Он, кстати, является как бы логическим продолжением романа Курта Воннегута «Малый Не Промах», с которым советский читатель только что начал знакомиться. Если у Воннегута карантином охвачен один американский город, возле которого случайно взорвалась нейтронная боеголовка, то в романе Робинсона на территории США взорвались сотни единиц такого оружия...

[2] В коротком рассказе «Ферми и Фрост» — тоже из «урожая 1985 года»! — Пол уже не с улыбкой, а достаточно трезво размышляет о том, что третья мировая война не пощадит никого (героям рассказа не удалось «отсидеться» даже в далекой Исландии). Но начинают войну в этом рассказе все-таки — в который раз — русские... *(Прим. авт.)*

название американского телефильма ведущие советские ученые, выпустившие в Год Хиросимы коллективный труд о климатических последствиях ядерной войны. Независимо вышедший аналогичный сборник статей их американских коллег назван еще образнее: «Холод и тьма». Кто тут кого «распропагандировал»? Наверное, был единственный пропагандист — человеческий разум!

«Для тех американцев,— дает свой вариант ответа на поставленные выше вопросы профессор Франклин,— кто верит, что мы живем в демократическом обществе, управляемом народом и во имя народа, задача относительно проста: всего-навсего проводить широкую образовательную кампанию среди сограждан, рассказывать им о прошлом, настоящем и вероятном будущем гонки ядерных вооружений; тогда люди смогут голосовать за то правительство, которое наилучшим образом выражало бы их стремление к миру. Тем же из нас, кто уверен, что мы живем в империи, управляемой классом, у которого в распоряжении банки и промышленные корпорации, задача выпала посложнее. Потребуется еще разрушить эту военно-промышленно-финансовую гегемонию и заменить ее действительно демократическим строем, выражающим чаяния и надежды народа. И в том и в другом случае существеннейший вопрос для тех американцев, кто хотел бы устранить ядерную угрозу человеческому существованию, должен формулироваться так: что м ы с а м и можем сделать?»

Мы сами... К осознанию этой простой истины человечество, художественная литература, в частности, шли долго и мучительно. На заре атомной эры, получая в Стокгольме Нобелевскую премию, Альбер Камю мрачно предрек: «До сих пор, худо ли, хорошо ли, всегда можно было уклониться от участия в истории. Тот, кто не одобрял, часто мог молчать или говорить о другом. Нынче все изменилось и само молчание приобрело страшный смысл».

В 1972 году его соотечественник Робер Мерль изобразил в романе «Мальвиль», к чему может привести коллективное «молчание»: в атомном пожаре «оборвалась за отсутствием объекта История; цивилизации, о которой она рассказывала, пришел конец». Камю лишь предвидел, а менее чем через два десятилетия Мерль уже знал наверное.

И вот, спустя еще десятилетие, в самый канун печального сорокалетия, к которому мысль все время возвращается, как новый нравственный императив нашей атомной эры прозвучали слова советского писателя Алеся Адамовича:

«Не спрашивай, если ты писатель, что литература может, а спрашивай, что ты — ты! — должен. Ведь литература — не что иное, как результат нашей самоотдачи. А она, самоотдача, сегодня не будет достаточна, если в нас самих не взорвется та проклятая бомба, заранее, в душе, в мозгу нашем — во имя того, чтобы реально никогда не вспучивался над планетой отвратительный гриб. Всю угрозу, всю опасность впусти в себя, не бойся додумать самую жестокую мысль до конца, и тогда не будешь спрашивать, что литература может и может ли».

Четыре десятилетия назад в японском городе в одночасье было уничтожено до ста тысяч человек и столько же умерло впоследствии от лучевой болезни. К сорокапятилетнему юбилею этого события бомб, по оценкам специалистов, могут заготовить с гарантией для д в у х с о т м и л л и а р д о в землян.

Только в горячечном воображении, когда забываются все нормальные человеческие понятия, способны родиться эти оценки численности «потенциального противника»: простой подсчет показывает, что накопленного к тому времени ядерного арсенала с избытком хватит на всех людей, когда-либо живших на Земле! Однако считают-то, выводят на дисплеи компьютеров, суммируют в бюджетных проектах «десять в энной степени мегатонн» не религиозные проповедники, пророчествующие о скором наступлении конца света, а самые что ни на есть материалисты-прагматики, стратеги, планирующие еще и победить в будущей войне. Да здоровы ли они?

О них, об этих буквально «помешавшихся на гонке вооружений» представителях правых, милитаристских сил в нынешнем американском руководстве говорил в заявлении по советскому телевидению в августе этого года Михаил Сергеевич Горбачев. Колоссальной ответственностью за судьбы народов планеты было проникнуто решение Советского правительства еще раз продлить односторонний мораторий на испытание ядерного оружия. Мы уже его продлевали— после того, как впервые объявили о нем 6 августа 1985 года, в день 40-летия бомбардировки Хиросимы. Ответом, как известно, были взрывы на полигоне в штате Невада...

И вот — еще один шанс всем народам, и американцам в том числе, поразмышлять о немыслимом. Предотвратить его. Используют ли этот шанс?

«...Созданное человеком оружие,— сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС,— никогда не должно быть применено... сегодня попросту самоубийственно строить межгосударственные отношения на иллюзии достижения превосходства в страшных орудиях истребления. Полностью ликвидировать их — вот единственный путь к подлинному миру. Встать на такой путь — значит сдать исторический экзамен на зрелость».

Представим себе на минуту. Если рванут все эти «десять в энной степени», начнется такое, что разом померкнут, потеряют былую значительность древние слова и понятия: гекатомба, страшный суд, апокалипсис. Конец света... Свет, впрочем, останется. Мертвый зеленовато-желтый свет, его долго еще будет излучать в космическую черноту радиоактивная планета, вымороженная стужей «ядерной зимы».

Останется маяк. Вечный огонь на братской могиле цивилизации, не выучившей заданный ей урок Хиросимы.

А пока этого не случилось — шанс есть. Горит огонь в лампадке японского крестьянина, и «школьным звонком» гудит колокол в Хиросиме, сообщая, что еще не поздно учиться.

Нельзя этого экзамена не сдать.

◆

ПРИЗНАНИЕ ИЛИ ЭПИТАФИЯ?

По поводу одной международной премии

Присуждение Нобелевской премии по литературе 1985 года французскому прозаику Клоду Симону явилось событием неординарным и неоднозначным. Состоялось признание не только его творчества, но целого художественного и идеологического явления — «нового романа», признание почти через пятьдесят лет: первый образец жанра — «Тропизмы» Натали Саррот — вышел еще в 1939 году. Громко заявив о себе в 1950-е годы, «новый роман» претендовал на роль литературного авангарда, сейчас он уже воспринимается скорее как факт истории литературы.

Чем же можно объяснить выбор Шведской академии? Ведь, как сказал Клод Симон в своей нобелевской речи 9 декабря 1985 года, и другие могли быть удостоены этой чести.

На этот раз спор за премию велся в первую очередь между писателями Франции (причем большинство кандидатур выставлялось не в первый раз) — Клодом Симоном, Натали Саррот, Маргерит Юрсенар, Рене Шаром, Мишелем Турнье (за него лично «болел» Франсуа Миттеран) — и Африки — членом Французской академии сенегальцем Леопольдом Седаром Сенгором, нигерийцем Воле Шойинкой, Надин Гордимер (Южная Африка). Если одним нужно было заставить 18 академиков забыть о том, как 21 год назад Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии еще до ее официального присуждения, то другим едва ли не впервые представились реальные шансы добиться успеха.

По-прежнему среди претендентов называли аргентинца Хорхе Луиса Борхеса, по мнению многих, лишь по недоразумению так и не ставшего лауреатом. Обсуждались также кандидатуры Гюнтера Грасса (ФРГ), мексиканского поэта и эссеиста Октавио Паса, Чингиза Айтматова, чьи шансы, судя по французской прессе, котировались весьма высоко.

Победа Клода Симона позволила Франции установить своеобразный рекорд по числу Нобелевских премий: 43 лауреата, из них 12 — по литературе (1901 — первый год присуждения премий — Сюлли Прюдом, 1904 — Фредерик Мистраль, 1915 — Ромен Роллан, 1921 — Анатоль Франс, 1927 — Анри Бергсон, 1937 — Роже Мартен дю Гар, 1947 — Андре Жид, 1952 — Франсуа Мориак, 1957 — Альбер Камю, 1960 — Сен-Жон Перс, 1964 — Жан-Поль Сартр).

Мотивируя свой выбор, Шведская академия отдавала дань уважения писателю,

«...который, соединяя в своих романах творческий дар поэта и художника с глубоким чувством времени, рассказывает об уделе человеческом».

Его искусство состоит в умении раскрыть

«...то, что живет в нас, хотим мы этого или нет, понимаем мы это или нет, верим мы в это или нет».

Эти общие слова мало что говорят о творческой индивидуальности Клода Симона — действительно крупного и значительного писателя, они вполне могли бы подойти и для характеристики большинства других претендентов. Представляя писателя перед вручением ему Нобелевской премии, непременный секретарь академии Ларс Юлленстен отметил, что Комитет руководствовался чисто литературными, а отнюдь не политическими или дипломатическими мотивами (перед вынесением решения ходили слухи, что нельзя в этом году отличать гражданина страны, виновной в гибели корабля борцов за мир «Рейнбоу Уорриер»). Далее он упомянул об одиннадцати предыдущих французских лауреатах, отметив, что

«Академия глубоко уважает те сугубо личные причины, которые заставили Ж.-П. Сартра отказаться от премии».

И именно эти вежливые заверения заставляют подозревать, что присуждение премии Клоду Симону во многом объясняется намерением после смерти Ж.-П. Сартра «простить» Францию, выбрав, однако, его литературного и идейного антипода.

На решение Нобелевского комитета французы отреагировали сдержанно, если не сказать прохладно. Официальные поздравления (президента республики и министра культуры) отмечали самобытность писателя, то, что

«благодаря ему и в его лице вся французская литература сегодня удостоена высокой чести».

Критики спешили напомнить читателям, что у Клода Симона вышло уже 16 книг (первая, «Плут»,— в 1945, последняя — «Волосы Береники» — в 1983), утешить их, что нет пророка в своем отечестве и что лауреата лучше знают за рубежом (его перевели на 18 языков, в том числе на русский — роман «Дороги Фландрии» был опубликован в 1983 году издательством «Художественная литература» вместе с произведениями М. Бютора, А. Роб-Грийе и Н. Саррот), нежели на родине.

Некоторые подчеркивали «пограничное» положение Клода Симона: родился он на Мадагаскаре (в 1913 году), большую часть времени живет в деревушке на юге Франции, необычайно скромен, не участвует ни в каких литературных интригах, не выступает по телевидению.

Как проницательно писал критик Д. Сальнев в опубликованной в «Монд» статье «Боязнь быть обманутым», пренебрежительная реакция, безразличие объясняются, во-первых, заниженной национальной самооценкой: утрата Францией позиций великой державы вызвала и несколько скептическое отношение к своей культуре. Вторая причина — падение престижа литературы в современной Франции. Сейчас нет писателей, которых можно было бы поставить вровень с Франсом, Ролланом, Прустом, Клоделем, Камю, Сартром, Арагоном.

Роль «властителей дум» перешла к философам, к историкам культуры (таким, как Мишель Фуко и Клод Леви-Стросс), критикам и литературоведам (Ролан Барт). Современный писатель нередко предстает как отшельник-экспериментатор, борющийся со словом наедине, вне «массовых коммуникаций». Третья причина: изменение литературной ситуации, участившиеся атаки «реалистов» на «формалистов», отрицание литературного переворота 1950—1960-х годов.

Наиболее ярко эта тенденция проявилась в разгромной статье Анджело Ринальди в «Экспрессе», отрекомендованного в редакционной врезке «знатным иконоборцем».

«Присуждение Нобелевской премии самому скучному и искусственному писателю после Казимира Делавиня (1793—1843),— писал критик,— это второй после дела „Рейнбоу Уорриер" удар по национальному престижу, одновременный подрыв французской армии и литературы, двух вековых опор страны, ее гордости».

«Не проникли ли советские агенты в Шведскую академию и пацифистские организации?»

— бьет тревогу А. Ринальди. Для него писания «крестьянина» —

«натужный труд, исключающий всякое изящество».

Он называет Клода Симона

«...эпигоном Фолкнера, прошедшим школу Роб-Грийе, гораздо более достойного представителя псевдосовременной литературы»,

эпигоном тех, кто создавал теории прежде романов.

«Премию получила голая форма, за которой нет ничего, кроме потуг автора скрыть пустоту».

После автора «Астреи» Оноре д'Юрфе (1568—1625) не было писателя,— утверждает он,— «столь погрязшего в условностях»... «Неужели шведские академики хотели подтвердить слух, что роман окончательно умер?»

На большую часть этих обвинений, или, вернее, оскорблений, отвечал сам Клод Симон в своей нобелевской речи. Но попробуем понять, что стоит за ними, нет ли в них, к сожалению, доли истины? Какое место занимает «новый роман» в современной французской культуре, как изменились его лозунги и он сам за 30 лет?

«Новый роман» возник как отрицание традиционного реалистического романа и претендовал на роль литературного (и даже литературоведческого) авангарда, выразителя главенствующей тенденции культуры XX века. Этот художественный переворот живопись, по мнению Клода Симона (в молодости серьезно ею увлекавшегося), осуществила еще на рубеже столетия, когда главным в картине стал не избранный сюжет, не сам предмет, а способ его изображения, взаимодействие цветовых масс. Поставив во главу угла сам процесс творчества (согласно знаменитой формуле Жана Рикарду, «роман — не описание приключений, а приключения письма»), «новый роман» отказался от линейного сюжета, неизменных персонажей и всезнающего автора, от прошедшего времени: существует лишь настоящее, тот миг, когда пишется (читается) фраза. Вначале, в 1950-е годы, это нарочито стертое, внешне бессвязное описание повторяющихся событий воспринималось читателями и критиками как крайняя степень натурализма, пошли в ход термины «вещизм», «школа взгляда».

Вскоре выяснилось, что в новом романе «наивного реализма» не больше, чем в театре абсурда, что у того и другого направления много общего (недаром С. Беккет был классиком их обоих). Но в романе использовались не драматические, а поэтические способы соединения материала (семантические и звуковые рифмы, лейтмотивы, реализация метафор), принципы музыкальной композиции (12-тоновая музыка А. Шёнберга), живописной (одновременное совмещение различных изображений предмета в кубизме).

Однако в тот период, когда «новороманисты» превратились в литературных мэтров, пытающихся диктовать свои законы не только современникам, но и предшественникам (Ж. Рикарду предложил любопытный опыт «новороманного» прочтения Флобера и Пруста[1]), когда их принялись активно издавать за рубежом, культурная ситуация во

[1] Идея, восходящая к рассказу Х. Л. Борхеса «Пьер Менар, автор «Дон Кихота».

Франции начала меняться. С одной стороны, игра чистыми повествовательными структурами стала заводить в тупик, да и просто приедаться — тем более что «структуралистские» романы Ф. Соллерса (критикующего «новый роман» с «ультралевых» позиций) пошли по этому пути еще дальше. И тогда превращение письма в производственный процесс со строгим соблюдением технологии сделало автора ненужным — его мог заменить компьютер. В поисках выхода «новый роман» ищет иной исходный материал, превращается на время в детектив, мемуары (вышли воспоминания Н. Саррот, А. Роб-Грийе). А Клод Симон изначально обратился к собственной жизни, судьбе предков, создавая в серии романов свою автобиографию и историю рода, множа варианты единого текста.

С другой стороны, произошло постепенное тиражирование приемов, они сделались достоянием всей литературы, проникли даже в массовую культуру, то, что было новаторством, стало восприниматься как канон.

Для нового поколения писателей «новый роман» предстает как система не возможностей, а пут и запретов. Так, прозаик Тони Картано, поздравляя в газете «Монд» Клода Симона с присуждением Нобелевской премии, определяет его творчество как «современное барокко». И ценность его видит в том, что сквозь раздражающие читателя формальные ухищрения восстанавливается единый логичный рассказ, встают вечные проблемы: война, любовь, воспитание, жилье, еда, работа... Сложность поэтики прочитывается как навязчивые, повторяющиеся приметы стиля: сверхдлинные, многостраничные фразы без знаков препинания,

«вечное настоящее время, разрушенная хронология, устойчивые мотивы: страх смерти, поражение, самоубийство, поиск своего «я», своих предков».

Творческие принципы Клода Симона мало изменились с 1957 года, когда в издательстве «Минюи», оплоте «новороманистов», вышла его книга «Ветер». Он меньше других своих коллег склонен к теоретическим построениям, его интервью во многом повторяют одни и те же мысли. Поэтому, дабы точнее определить его позиции, место среди «новороманистов», мы позволим себе суммировать его последние выступления в газетах, беседы с репортером журнала «Нувель обсерватёр» и прочитанный осенью 1984 года в Москве, в Государственной библиотеке иностранной литературы, доклад, который автору этих строк довелось слышать.

«Меня всегда поражало,— говорил Клод Симон,— то бесчисленное количество воспоминаний, представлений, образов, которые, как пишет Толстой в «Войне и мире», являются человеку в одно мгновение». Это фрагментарное восприятие мира романист преодолевает,

«доверившись языку, который сам устанавливает отношения между элементами, пусть даже разъединенными в историческом времени и географическом пространстве, раскрывает порядок, скрывающийся за видимым хаосом образов... Вся проблема в том, как перенести в вынужденно линейное письмо возникающие одновременно картины подсознания».

Поэтому свои книги он стремится строить на периодическом повторении взаимосвязанных тем, опорных слов, вбирающих в себя всю совокупность предыдущих социальных и культурных контекстов. У Клода Симона нет простых, нейтральных описаний. Слово он как бы «заряжает Историей».

Сюжеты отдельных романов, движение истории в трактовке Клода Симона (повторение событий во всех поколениях его семьи, ярко описанное в «Дорогах Фландрии» и «Георгиках»), совокупность книг, подчиненных двум темам (судьба и творчество), образуют своеобразную спираль.

«Я создал свой мирок, где встречаешь одних и тех же персонажей. И каждый следующий роман приносит дополнительную информацию. Так и называется моя новая книга — «Дополнительная информация» (уже написано 200 страниц). Но конечно, заглавие иронично — информация не может быть исчерпывающей, нельзя сказать все, как мечтал Бальзак».

Клод Симон никогда не был поклонником Стендаля, Бальзака, даже Флобера, он не выносит романы «нравов» или «характеров», порицает их за «утилитарность и дидактичность». Подлинный мир прозы, по его словам, ему открыли Толстой, Чехов и в первую очередь Достоевский.

«Любой, даже второстепенный персонаж Достоевского — бездна вопросов по сравнению с Жюльеном Сорелем, Цезарем Бирото, Эммой Бовари».

Его привлекает сильная биографическая традиция французской литературы: Руссо, Шатобриан, Пруст. Из зарубежных писателей он перечитывает («В моем возрасте, как сказал Андре Жид, уже не читают, а перечитывают») Конрада, Джойса, Пруста.

Тридцать лет назад лозунги «новороманистов» воспринимались как бунтарские, сейчас они выглядят устаревшими. Ниспровержение реалистической условности обернулось диктатом еще более условных литературных правил. Поэтому чем полемичней (в нарушение канонов) старался сделать свою сорокаминутную нобелевскую речь Клод Симон, тем традиционней она прозвучала:

«Как всякий писатель, я испытываю от признания почти детскую радость, к которой примешивается чувство гордости за то, что я привлек внимание к моей стране — моей стране в горе и в радости, где как вечный протест сохраняется осмеиваемая, презираемая, преследуемая духовная жизнь. Лишь благодаря ей выживают, преодолевая небрежение или даже враждебность властей, вечные человеческие ценности, находящиеся ныне под угрозой».

Клод Симон решил дать бой критикам, называвшим его трудным, скучным писателем, нарочито удивлявшимся выбору Шведской академии, и в первую очередь А. Ринальди. Ему лестно, что они квалифициро-

вали его произведения как «революционные, подрывающие устои».

Но при этом он, конечно, не литературный анархист, как Рикарду и Соллерс (в какой-то степени — Роб-Грийе), считающие производство текстов «террористическим актом против буржуазной культуры и идеологии».

Клод Симон считает себя «революционером романной формы», он

«менее всего следовал приемам и установленным правилам; тех, кто идет по этому пути, всегда ждут упреки».

Он приводит свой излюбленный пример: живопись импрессионистов казалась «бесформенной», а «восхищенные внуки выстаивают бесконечные очереди в музеи».

«Как объяснить, — вопрошает он,— *что для современных критиков обесценилось понятие литературного труда? Что им кажется убийственной насмешкой сказать о писателе, что он «пишет с трудом»?*

А Клод Симон действительно «пишет с трудом». Для него чрезвычайно важен этот процесс борьбы со словом, проверки его звучания, вызываемых им ассоциаций. Само письмо порождает все новые и новые смыслы, гораздо более глубокие, чем первоначально предполагал автор. Поэтому и определение «искусственный» Клод Симон воспринимает как положительное — то есть «искусно сделанный продукт человеческого труда, а не природы». Новый роман требует от читателя активного сотворчества, даже соавторства, а отнюдь не пассивного восприятия.

Нет, роман продолжает существовать, утверждает нобелевский лауреат, отжила свое лишь литературная модель, созданная в XIX веке.

В полемическом задоре Клод Симон сознательно идет на упрощения:

«Ну, конечно же, старый роман умер, несмотря на то что в привокзальных киосках продают и еще долго будут тысячами продавать и покупать развлекательные или устрашающие приключенческие истории со счастливым или грустным концом, с заглавиями, обещающими открыть абсолютную истину: «Удел человеческий», «Надежда» или «Дороги свободы»[1].

Напомним, что именно «рассказ об уделе человеческом» сочла Шведская академия главным достоинством Клода Симона — и, думается, не без оснований. За внешне бесстрастными описаниями в его книгах встают определенная философия истории, раздумья о предназначении каждого человека.

Далее писатель изложил уже известную нам теорию «фрагментарного романа». Цель его — «не доказать, а показать, не объяснить, а открыть».

Современный роман, полагает он, защищает свое право на существование, уже не обращаясь к «значительным сюжетам», но стремясь, как музыка и живопись, передать гармонию.

И, вновь декларируя антидидактичность литературы, Клод Симон хочет опереться на свой жизненный опыт (вспомним об автобиографичности его творчества):

«Я уже стар, и, как у многих обитателей нашей старушки Европы, первая половина моей жизни прошла довольно бурно... Я был свидетелем революций, я воевал в убийственных условиях (я попал в один из тех полков, которыми штаб заранее хладнокровно пожертвовал и от которых через неделю практически ничего не осталось).

Клод Симон сражался в Испании на стороне республиканцев, в начале второй мировой войны служил в кавалерийском, шестом драгунском полку.

«Я был в плену, узнал голод, изнурительный лагерный труд, бежал, тяжело болел, много раз был на грани смерти. Я общался с самыми разными людьми — со священниками (у них он воспитывался.— А. С.) и поджигателями церквей, с мирными буржуа и анархистами, с философами и неграмотными. Я делил свой хлеб с бродягами, я объездил весь мир, и все же за эти 72 года я не увидел в нем никакого смысла: смысл его в том, что он существует.

Как видите, мне нечего сказать людям, как этого требовал Сартр. Кроме того, если бы мне открылась какая-то важная истина — социальная, историческая, религиозная, мне показалось бы по меньшей мере смехотворным прибегать для ее изложения к вымышленному повествованию...»

Читатель может (и не без оснований) обнаружить здесь противоречие: ведь, как правило, богатый жизненный опыт помогает писателю сказать что-то свое, новое, пользуясь, естественно, языком искусства. Но Клоду Симону важно в первую очередь отстоять тезис об «абсолютной свободе творчества».

Полемику с экзистенциализмом «новороманисты» начали еще тридцать лет назад, создавая и утверждая свою идеологическую и эстетическую программу. Потому-то так уверенно задал Клоду Симону вопрос репортер из «Нувель обсерватёр» накануне его отъезда в Стокгольм:

«А у вас есть и нелюбимый писатель, Сартр?» — «Если только его можно назвать писателем... Я не против «ангажированной» литературы, но я не несу послания людям, не указываю им «дороги свободы». Если писатель своей книгой сумеет немного изменить мир — это и будет настоящая «ангажированность».

Конечно, эта прокламируемая аполитичность — во многом следствие установки на самоценность и самодостаточность художественного произведения. Сам же Клод Симон любит напомнить, что он выступал против расизма и милитаризма и его даже привлекали к суду «за оскорбление французской армии». Но отсутствие ясной политической позиции может обернуться консервативностью взглядов, привести к безответственным высказываниям.

Выступая в январе 1986 года в Нью-Йорке на скандально известном 48-м международном конгрессе ПЕН-клуба, посвященном теме «Воображение писателя и воображение государства», новый нобелевский лауреат не смог преодолеть инерцию заданного

[1] Названия романов А. Мальро и Ж.-П. Сартра.

тезиса о враждебности власти и подлинного художественного творчества, отдав дань поветрию культуранархизма. Для Клода Симона любое государство, отстаивающее политические взгляды и художественные вкусы большинства населения, способствует производству массовой псевдолитературы. Главную задачу писателя он видит не в противоборстве с официальной идеологией и культурой (антибуржуазные произведения Сартра, по его мнению, сыграли роль предохранительного клапана, способствовали в конечном счете «укреплению атакованной социальной системы»), а в разрушении традиционного языка искусства, тех форм, которые отражают и закрепляют иерархическую структуру общества.

«Что может быть безобиднее описания одного дня банального дублинца или совсем уж банальной светской жизни завсегдатая салонов сен-жерменского предместья?.. Но стоило Джойсу написать шестьдесят страниц без знаков препинания, стоило Прусту утвердить, вопреки правилам «хорошего стиля», длинную фразу с многочисленными вводными предложениями, как общество увидело в этом (и вполне справедливо) угрозу своим основам, порядку, иерархии...»

Утверждая свою незыблемость, общество стремится представить новаторские произведения как плохо написанные, непонятные и — тягчайший грех — скучные (здесь, конечно, Клод Симон защищает не столько Джойса и Пруста, не удостоившихся, кстати сказать, Нобелевской премии, а самого себя), но помешать им занять подобающее место в истории культуры оно — не в состоянии. Ведь подлинные новаторы, продолжает писатель, творили отнюдь не на пустом месте — они опирались на мощный фундамент, наследуя и продолжая традицию обновления искусства, которое,

«по определению Р. Барта, всегда вопрос и никогда — ответ».

Итак, присуждение Нобелевской премии «новороманисту» утвердило литературную репутацию уже исторического феномена. Претензии «нового романа» на то, чтобы стать универсальным жанром XX века, «отменить» предшествующие романные разновидности, оказались несостоятельными.

Очевидно, что сосредоточенность на процессе «порождения текстов» может привести либо к «зауми», либо к «компьютеризации» литературы. Потому-то в 1980-е годы «новороманисты» (особенно молодое поколение) все энергичней стали искать новые формы и художественные приемы, усиливать занимательность (или даже ироничность) повествования, вводя детективную интригу, фантастику, сказку, документ, разрабатывать лирические и драматические жанры. «Новый роман» начал сближаться с основным потоком развития литературы, на который он действительно оказал существенное влияние. Таким образом, границы романа как жанра расширились и в то же время обозначились четче: роман может стать «практической поэтикой», строиться на игре приемов, «порождающих тем», но не сводиться к ним.

Выбрав Клода Симона, Шведская академия формально поставила его в один ряд с великими писателями XX века: Т. Манном, У. Фолкнером. Но только формально... Нобелевская премия не возвышает ее обладателя над многими из тех, кто так и не удостоился ее.

А. СТРОЕВ

◆

Критика

Н. ФЕДОРЕНКО

ЛИЦОМ К ПРАВДЕ

Заметки о китайской прозе 80-х годов

Жизнь писателя и литературное творчество движутся в одной стихии действительности. Они неотделимы друг от друга, составляя неразрывное единство, как темные и светлые круги созревания и роста на срезе дерева. И в этом смысле современный литературный процесс в Китае привлекает к себе пристальное внимание. В свет выходят все новые книги, в которых затрагиваются острые социальные и идеологические проблемы. Впечатляюще заявила о себе плеяда молодых писателей. Приток свежих творческих сил в искусство слова вызван самим развитием материальной и духовной реальности в стране.

В последние десятилетия китайская литература прошла трудный путь. Каковы же корни этой литературы? На какие традиции она опирается?

Внешний мир никогда не был достаточно посвящен в действительное положение дел за Великой китайской стеной. А то немногое, что было известно, являлось скорее превратным суждением, искаженным представлением о жизни Китая. Между тем в стране искони существовала и развивалась литература — проза, поэзия и драматургия, их отличает искренность, достоверность. Возникали они нередко на основе опыта, испытанного и пережитого, и потому не оставляют нас безразличными, тревожат и волнуют наши чувства и воображение.

Старая китайская литература по большей части создавалась на вэньяне, который считался единственной языковой нормой литературных произведений вплоть до начала XX века. Вэньянь, будучи письменным языком в отличие от разговорного — байхуа, — предназначался главным образом для зрительного восприятия и рассчитан на хорошо подготовленного, грамотного китайца. Отсюда рождение битань — беззвучных бесед писчими кисточками, когда общение собеседников происходит без произнесения слов вслух. Как правило, литературное произведение в старинном жанре может понять лишь тот, кто видит его иероглифический текст, идеографическую картину.

Вэньянь — язык, отточенный бесчисленными мастерами слова на протяжении нескольких тысячелетий, язык образов и символов, старинной мудрости и фантазии. В древнем каноне «Ицзин» («Книга перемен») читаем: «Волнующее мир уважение заключено в письменном слове, и ясно, что причина этого — вэнь как выражение морального пути». Литература (вэнь) с древнейших времен рассматривалась в Китае как высшее достижение разума и просвещения, благодаря чему она наилучшим образом связывает современника с прошлым. Крупнейшие художники слова всегда считали,

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. в 1912 г.)

Советский литератор, филолог-востоковед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Флорентийской академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Долгие годы находился на дипломатической работе. Автор многих книг, посвященных истории литературы Китая, литературе и искусству Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства.

В последние годы изданы «Литературные записи» (1980), «Китайское литературное наследие и современность» (1981), «Морские записи (1984), «Мысли и образ» (1985), «Славянские записи» (1985). «Цюй Юань» (1986), «Токийские диалоги» (1986).

что литература — не забава и увлечение, а великое служение слова человеку и человечеству. Слово живет как носитель правды и справедливости. В литературном мире нет смерти, и мертвые так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые. Недаром в Китае существует выражение: пусть в пользу людям прозвучит твой стих. Подлинное искусство слова — как весть из недр народной жизни. Оно — способ извлечь правду из глубин человеческой души.

В XX веке наряду с литературой книжной, существовавшей на письменном языке вэньянь — и даже в борьбе против нее,— создается литература демократическая, на народном разговорном языке байхуа. В наиболее ярких своих образцах новая литература, обращенная против собственного феодализма и иноземного империалистического закабаления, была проникнута идеями гуманизма, социального и национального раскрепощения. В реалистическом художественном творчестве этого времени нашли отражение типические черты жизни китайского народа в исторически переломный период.

Интерес к китайскому искусству слова в нашей стране восходит к отдаленным временам. Первые книги китайских авторов проникали в Россию неведомыми путями и находили доступ к сердцам читателей. С тех пор минула бесконечная «череда весен и осеней», если употребить слова знаменитой китайской летописи. Многое изменилось. Неизменным остался интерес к творчеству китайских писателей. Для нашей страны, самой читающей в современном мире державы, он столь же закономерен, сколь и естествен. Наш читатель хочет «из первых рук» знать правду о действительной жизни великого соседа, о судьбах народа, о доле современного китайца.

Создаваемая в КНР литература помогает нам понять многое из того, что происходит в стране после установления народной власти. Здесь же отметим, что развитие литературного процесса сочеталось с преемственностью традиций и поисками нового, бурно возникающего на раскрепощенной земле. Творчество крупнейших революционных художников слова во главе с основоположником реалистической литературы Лу Синем, которые стояли у истоков литературы КНР, — тому свидетельство.

Однако обратимся к практике последних лет, в частности к повести и рассказу, — именно этот жанр, по признанию самих китайских критиков, заявил о себе наиболее интересно в социальном, а порой и в художественном отношении. Об этом может судить и советский читатель, который имеет возможность познакомиться с целым рядом произведений, вышедших в нашей стране в самое недавнее время [1]. Читая их, мы видим, как усложняется в литературе Китая концепция человека и реальности, становится более богатым по краскам спектр характеров и конфликтов. Писатели пытаются с разных сторон исследовать «строительство социализма с китайской спецификой». Причем морально-этическая проблематика, связанная с преодолением последствий «культурной революции» и претворением в жизнь экономической реформы в промышленности и сельском хозяйстве, все более выходит на передний план.

Многие китайские писатели стремятся быть верными жизненной правде и в осмыслении ведущих тенденций социального развития, и в деталях, которые нередко оказываются весьма существенными и впечатляющими, когда речь идет о тех явлениях действительности, которые ранее не освещались в литературе. Это приводит читателя к широким социальным, культурно-философским и психологическим обобщениям.

Одна из главных тем многочисленных произведений современной китайской прозы — участь обыкновенного человека. Вот, к примеру, «История преступника Ли Тунчжуна» (1980) Чжан Игуна. Это повесть-откровение, разоблачающая бесчеловечные последствия политики волюнтаризма, когда в период «большого скачка» и создания народных коммун грубо игнорировались объективные закономерности социально-экономического развития. В повести остро обличаются такие постыдные явления, как бюрократизм, демагогия, нарушения, допускавшиеся партийным аппаратом уездного и окружного масштаба, характерные и для более высоких партийных инстанций того времени, хотя об этом в повести не говорится.

В изображенных Чжан Игуном партийных инстанциях проходят нескончаемые заседания, там яростно спорят и судят, но менее всего знают положение дел на местах. Там руководствуются приписками о сверхурожаях и сверхблагополучии. А в это время в одной из коммун начался свирепый голод. Тогда секретарь партийной организации сельскохозяйственной бригады Ли Тунчжун, человек принципиальных взглядов, коммунист, решается на крайний шаг — соглашается на раздачу крестьянам зерна из государственного фонда. Спасая коммунаров от голодной смерти, сам он умирает от хронического недоедания.

Непростая, увы, тут хроника жизни и заката человека. Произошло это в 1960 году, но девятнадцать лет лежало на Ли Тунчжуне позорное пятно: государственный изменник, который осмелился раздать голодающим зерно из общественного склада. Сохранить зерно, оказывается, было важнее, чем спасти людей. Но тогдашние повелители «глядели на все вокруг через стекло автомобиля» и «во исполнение решений свыше» выжимали последние соки из сельских тружеников, под барабанный шум гонгов широко вещали о мнимых достижениях и победах. Спеша на митинг, посвященный реабилитации Ли Тунчжуна, секретарь окружного комитета партии Тянь Чжэньшань размышляет: «Пора издавать еще один закон... который предусматривал бы наказания для закоренело неисправимых — тех,

[1] «Люди и оборотни» (М., 1982), «Трудны сычуаньские тропы» (М., 1983), «Человек и его тень» (М., 1983), «Современная китайская проза» (М., 1984, «Библиотека журнала «Иностранная литература»), «Современная китайская повесть» (М., 1985), Гу Хуа «Долина лотосов» (М., 1986).

кто бахвалится ради карьеры, заставляет людей лгать, занимается очковтирательством в отчетах и сводках, завышает контрольные цифры заготовок сельскохозяйственных продуктов...»

Верно замечено: чтобы увидеть правду и поведать о ней, необходимо не только дарование, но и большое мужество. Рискованно? Но разве литератору не позволительно иметь хотя бы «вкус к риску»? Герой повести вызывает у читателей симпатию и сострадание. Писателю удалось показать то, что, быть может, невидимо для других. Это — качество «дополнительного зрения». Им наделен лишь истинный художник. Своим творчеством он помогает нам прозреть, увидеть многое. То, что другие не замечают. И главное — художник раскрывает перед нами правду об окружающем его мире, правду, которая часто далеко не прекрасна.

Еще одна повесть, давшая название вышедшему по-русски сборнику,— «Средний возраст» (в оригинале — «Вступление в средний возраст»). Речь идет о талантливой, исполненной «стихии художественности» повести писательницы Шэнь Жун, получившей в 1983 году первую всекитайскую премию. Она посвящена той части китайской интеллигенции среднего возраста, которая в пятидесятые годы активно включилась в созидательную деятельность, полная горячего стремления создавать новый Китай, которого еще не знала долгая летопись существования Поднебесной. Прискорбно, однако, что вскоре на честных этих энтузиастов навесили ярлыки «правых» и «контрреволюционеров». Они оказались жертвами произвола и насилия. Между тем именно в годы активной трудовой деятельности среднего поколения, то есть в первое десятилетие после провозглашения народной власти, Китай стремительно поднимался, и основное это поколение всего лучше известно нам, хорошо помнящим о наиболее плодотворном периоде сотрудничества Советского Союза и нового Китая.

Трудно без волнения наблюдать за участью героини повести, хирурга Лу Вэньтин, трудно не сочувствовать ее поступкам, самозабвенной верности долгу. Повествование представляет собой развернутый монолог человека, неудовлетворенного судьбой, страдающего оттого, что он не в состоянии выявить полноценно свою индивидуальность, оказавшись в тисках однообразной и бездуховной повседневности. Всегда скромная и даже застенчивая, эта китаянка обнаруживает в себе незаурядную силу воли, мужество, чтобы обуздать зарвавшуюся орду цзаофаней и выставить их за дверь, когда они ворвались в операционную и потребовали не исцелять зрения «ренегату». Нет, не надуманная это ситуация, не стремление добиться нагнетания напряженности сюжета.

Самоотверженная труженица, Лу Вэньтин тяжело заболевает от переутомления, но администрация больницы даже не считает нужным доставить захворавшую в клинику. Это не просто бездушие. Речь о другом. Лу Вэньтин — «интеллигентка», и с ней можно поступить без лишних церемоний. Один из персонажей повести, представитель среднего поколения, говорит: «Средний возраст, средний возраст, теперь все в один голос твердят, что на нем держится государство, что какую линию ни проводи, без него не обойтись!». И читатель понимает, что разговор идет не просто о «физическом» среднем возрасте, а о том поколении, которое после победы революции в Китае связало свою судьбу с идеалами социализма и тем народом, что первым протянул китайскому народу руку братской дружбы. Не просто провозгласил пролетарский интернационализм во взаимоотношениях с борющимся и созидающим народом Китая, но практически материализовал этот ленинский принцип.

Задачи повести «Средний возраст» — снова осмыслить простую истину: без людей среднего поколения нелегко представить себе успешные революционные преобразования, во имя которых велась гигантская битва за национальное и социальное раскрепощение Китая. Не забудем, что повесть «Средний возраст» написана в 1979 году вслед за недоброй памяти «культурной революцией». Не забудем и того, что она была временем «свирепого водоворота», очередной кампании «борьбы и критики», когда «птица вздрагивала при одном виде лука». Время, когда начальник политотдела «владел множеством способов заставить человека вывернуть себя наизнанку» и «специальностью — травить других людей». Невозможно это забыть.

Автор все же не отчаивается. Повесть завершается эпизодом выздоровления, «возрождения» побывавшей на краю смерти героини. Звучит мотив обновления в ее жизни и жизни общества.

Повесть Цун Вэйси «Красная магнолия за тюремной стеной» (в 1957 году, во время «борьбы с правыми», автор был репрессирован, оторван от литературной работы и лишь после «культурной революции», в 1979 году, вернулся к ней) посвящена жизни людей, подвергшихся «трудовому перевоспитанию» в тюрьме. Кто эти люди? В чем их вина? Вот — бывший начальник отдела по «трудовому перевоспитанию» Гэ Лин, коммунист, участник антияпонской войны и военных действий китайских добровольцев в Корее, затем работавший в провинциальном комитете государственной безопасности. «Культурная революция» бросила его в тюрьму, где он отдан во власть закоренелого преступника, которому сокращают срок наказания в поощрение за жестокое обращение с Гэ Лином.

С началом «культурной революции» Гэ Лин был объявлен «идущим по капиталистическому пути» и отправлен в школу кадров «7 мая». Самым невыносимым из истязаний, на которые он был обречен, являлось для него каждодневное утреннее ритуальное шаманство — поклонение Мао Дзэдуну, «моление о прощении проступка». После многолетнего пребывания в «школе» Гэ Лина летом 1975 года вернули на прежнюю должность заведующего отделом «трудового перевоспитания» провинциального комитета государственной безопасности, но в дальнейшей «борьбе с правыми» он был обвинен в противодействии идеям Мао Дзэдуна и препровожден в тюрьму «трудового перевоспитания» — на сей раз бессрочно.

В человеке, присматривающем за ним, Гэ Лин узнает бандита, помещичьего сынка, подвергавшего его пыткам во время земельной реформы. Для тюремного начальства бандит милее, чем такой «враг», как Гэ Лин. В повести показано немало честных людей, заключенных в тюрьму. Интересен образ одного из них, Лу Вэя, старого коммуниста, бывшего соратника Гэ Лина по войне в Корее. Он заботится о Гэ Лине, отдавая себе отчет в том, что легко может из-за этого сам стать таким же «особо опасным» заключенным, как Гэ Лин.

Гэ Лин погибает в тюрьме в результате провокации, застреленный охранником. Характерно, что до самого конца он верит в то, что «бедный, больной Мао Дзэдун не подозревает о творимых злодеяниях». Повесть кончается победой тюремных начальников, жестоких и бессовестных ревнителей «культурной революции», и бегством вовремя спасшегося от них Лу Вэя, уезжающего в Пекин в надежде найти там справедливость. «Небо скоро посветлеет, скоро станет светлее...» — говорит автор.

Повесть написана живо, в ней — судьбы многих людей. Это и те, кто не оставляет борьбы, сохраняет достоинство, даже находясь в заключении. Это и их мучители, подлинные преступники, и тесно сомкнувшиеся с ними, потерявшие человеческий облик стражи «культурной революции», недвусмысленная оценка которой дается в редакционной статье партийного органа, журнала «Хунци» (1984, № 14): «Она возникла из-за ошибок руководителя и использована контрреволюционной кликой... Эта внутригосударственная смута принесла тяжкие испытания партии, государству и многонациональному народу Китая. Широкие массы партийных кадров подверглись преследованиям, над множеством людей была учинена расправа, национальная экономика была разрушена. Все это имело самые серьезные последствия. И с теоретической, и с практической точек зрения «великая культурная революция» была абсолютно ошибочной».

В отличие от повести Цун Вэйси, «Северное сияние» Чжан Канкан [1] рассказывает о жизни китайского общества уже после «культурной революции». Книга посвящена настроениям городской молодежи, выбирающей свой путь не без сомнений и не без охватывающего порой отчаяния при встрече со вновь возникающими трудностями. Автор не обходит вниманием долгое время игнорировавшиеся в китайской литературе проблемы любви. Над их разрешением не раз задумывается героиня повести.

Рассказы Ван Мэна, опубликованные в 1982 году, также знакомят с заботами нынешнего времени. Писатель вникает в психологию своих героев, находит важное в незаметных как будто мелочах, и это, в сущности, помогает ему более глубоко проникнуть в суть происходящего. Таковы «Смятение» (об утрате с годами и пришедшем вновь успехе, о молодой непосредственности и чувстве близости к людям), «Веселый вечер» (о вечно не прекращающемся круговороте жизни, смене поколений), «Слушая море» (о целительности природы, возвышающей дух утомленного каждодневной городской сутолокой человека). Сюда же можно отнести и повесть Ван Мэна «Блеск озера» (1981).

В последние годы в китайской литературе заметен поворот к раскрытию роли интеллигенции в современном обществе. Все чаще интеллигенция предстает как традиционный носитель высоких духовных и нравственных ценностей. В ряде автобиографических произведений обнаруживаются мысли о тяготах и радостях писательской профессии. Мы знаем, что китайским литераторам нередко приходилось, да и приходится трудиться в прискорбных обстоятельствах. И писатель зачастую выступает в роли общественного обвинителя и защитника человека.

Трудная судьба китайского интеллигента — в центре повести Ван Мэна «Ветер с гор» («Жэньминь вэньсюэ», 1985, № 1). Действие ее развертывается в наши дни. Однако, погружаясь в сложный душевный мир своих героев, автор то и дело возвращает читателя к давнему и недавнему прошлому. Он показывает, сколько испытаний выпало на долю его героя, ныне уважаемого преподавателя Сун Чаои. Подобно другим героям Ван Мэна, Сун Чаои обуреваем муками совести: после реабилитации он получает квартиру, но это не приносит ему радости — столько еще людей вокруг него живут в тяжелых условиях. Сун Чаои не радует «обогащение», пугает получающая распространение потребительская психология. И хотя концовка повести неоправданно успокаивающая — Ван Мэн возлагает надежды на «свежий ветер с гор», — новое произведение известного прозаика интересно постановкой проблем, волнующих китайскую интеллигенцию сегодня. В лучших произведениях Ван Мэна привлекают и умный взгляд на происходящие события, и тонкость письма, и множество жизненных наблюдений. И мы вправе, пожалуй, сопоставить их с литературными ценностями, создававшимися в Китае многими поколениями, прежде всего — зачинателями реалистической прозы, провозгласившими лозунг «Искусство для жизни». Нельзя не увидеть прочные нити, связывающие произведения наших современников с творчеством Лу Синя, а также виднейших прозаиков 40—50-х годов — Мао Дуня, Лао Шэ, Чжао Шули, Е Шэнтао, Сюй Дишаня, Чжан Тяньи, Лю Байюя и других. Здесь надо сказать и о влиянии советской литературы на творческое формирование китайских писателей — по их собственному признанию — особенно великого Горького.

Вернемся, однако, к нынешнему литературному процессу в Китае.

На наш взгляд, в самое последнее время для китайской прозы (повесть, рассказ, очерк) наиболее типично обращение к деревенской проблематике. В целом она, пожалуй, приобрела доминирующее значение в 80-е годы. Мы вправе говорить о том, что произведения о потрясениях времен «культурной революции» как бы отошли на задний план. Хотя известно, что джинн правды о «культурной революции» был выпущен из сосуда и его уже невозможно за-

[1] Опубликована в «ИЛ», 1985, № 6.

гнать обратно. Но сейчас очевидно поубавилось остроты в отображении негативных явлений, связанных с «культурной революцией». Ее критика явно смягчена. И все же как забыть, что многие «обработанные» хунвэйбинами и цзаофанями люди стали калеками на всю жизнь, что ослепшие от горя матери слепы и поныне, что нередко активисты «культурной революции», меняя окраску и камуфляж, продолжают существовать, занимают посты, вершат судьбами людей...

Как отмечает китайская пресса, начало новой экономической реформе в деревне положили решения III пленума ЦК КПК (декабрь 1978 г.). Система семейного подряда превратилась в реальность, и писатели все пристальнее начали вглядываться в изменившийся облик китайского крестьянства. «Фу» (богатство) — слово, которое стало наиболее употребляемым в китайской деревенской прозе. Литераторы охотно подхватили фразу Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана: «Зажиточное крестьянство означает стабильность народной власти». Все чаще говорят, что китайская деревня переживает исторический перелом.

В повести «Печальный рассказ о деревнях Яньчжуан и Чжаочжуан» («Жэньминь вэньсюэ», 1984, № 4) популярный писатель Цзян Цзылун прямо откликается на новый политический курс в сельском хозяйстве.

Слово «нищета», отмечает Цзян Цзылун, становится ныне лишь воспоминанием, страшным преданием. Деревня, которую посетил автор, изображается как небольшой городок с широкими улицами, домами под черепицей, с трехъярусными антеннами над крышами, цветными телевизорами, приемниками, стиральными машинами. Цветники, просторные дворы. Пруд для разведения рыбы, орошенные поля. И люди, казалось бы, те же, что и прежде, и земля все та же, а сколько упущено, потеряно за десять, двадцать минувших лет? Критикуя противников нового «правильного курса», Цзян Цзылун восклицает: «Да, одни боятся бедности, другие боятся богатства. Давайте честно спросим себя — чего боимся мы?»

Писатели, обращающиеся к теме экономической реформы в деревне, с одной стороны, показывают рост материального благополучия людей, с другой — не скрывают и возникающих конфликтов, противоречий в ходе претворения в жизнь лозунга «Обогащайтесь!». Приведем в пример рассказ молодого прозаика Чэнь Шосюя «Яростные волны» («Жэньминь вэньсюэ», 1985, № 3), рассказ о стремительном обогащении старика отца и сына Цзэнь Фу — рыбаков, получивших небольшой залив в семейный подряд. Писатель говорит о том, как губительно сказывается на психологии человека поглощенность желанием «стать богатым», как сталкиваются личные, подчас эгоистические интересы с общественными и как все это вместе ведет к разобщенности сельчан. Концовка рассказа — а это нередко случается сегодня в китайской прозе — неоправданно сглажена, разрешение конфликта слабо мотивировано психологически: герои «осознают свою вину». Отец и сын оказываются в разбушевавшемся море. Жертвуя жизнью, старика спасает односельчанин, и тогда тот посылает Цзэнь Фу в «яростные волны» на помощь терпящим бедствие рыбакам.

Немало произведений о переменах в китайской деревне публикуется на страницах периодических изданий; центральные газеты, особенно «Жэньминь жибао», отводят им иногда целые полосы. Несомненно, содержание и характер таких произведений определяются политическим курсом партийного руководства Китая. Это, как правило, короткие рассказы, порой миниатюрные зарисовки, позволяющие быстро откликаться на животрепещущие темы. Нередко, однако, они весьма упрощенно трактуют важные проблемы, некоторые напоминают бесхитростные агитки минувших десятилетий. Такие публикации не блещут ни полнотою охвата материала, ни оригинальностью мысли, не говоря уже о художественности. Что ж, таланту, как говорится, обучиться нельзя: либо он есть, либо его нет...

Достаточно назвать здесь хотя бы несколько произведений подобного рода. В рассказе «Сюцзан» Хань Иншаня, например, развивается тема роста благосостояния земледельцев на селе, проблема их морального долга перед теми, кто нуждается в поддержке и помощи. Сюжет элементарно прост: сознательной жене, которая печется не только о своем хозяйстве, но и бескорыстно помогает другим, удается пристыдить несознательного мужа. В финале он, разумеется, понимает, что был неправ, и в семье вновь воцаряются мир и согласие. Создается впечатление, что автор рассказа старательно вылавливает «микробы счастья» для своих героев.

В рассказе Гу Сяояна «Цзинь, которыи не изменился» изображается функционер, долгие годы работавший в городском управлении. После «культурной революции» за допущенные ошибки его освобождают от занимаемого поста и возвращают в родную деревню. Он, разумеется, думает лишь о том, как доказать, что был и остается настоящим коммунистом. Несмотря на сложную ситуацию, возникшую в связи с новым разделом земли, установлением новой налоговой системы, Цзинь быстро ориентируется в условиях новой политики (развитие индивидуального хозяйства, разведение собственного скота) и выходит в число образцовых тружеников. Тем самым автор как бы говорит нам: святое правило народного коллектива — труд искупает все. Вместе с тем при чтении рассказа чувствуется, что авторская позиция не лишена и такого оттенка: даже во время «десятилетнего великого бедствия» были достойные кадровые работники. Словом, Цзиня никак не причислишь к людям с больной совестью...

Из произведений об обретении благополучия и счастья сельчанами упомянем еще рассказ Ян Сяньхуэя «Дедушка, внук и море», переведенный в Китае на английский язык и опубликованный на страницах журнала «Чайн литерече» (предназначен для зарубежного читателя). Рассказ этот, как и многие ему подобные, отнюдь не отличается высоким идейным и художественным уровнем. Он скорее — свидетельство навязчивой назидательности, а нередко и наивного простодушия.

Преобразования на селе в соответствии с «правильным курсом» изображаются порой с поразительной прямотой и непосредственностью. В одном из подобных произведений читаем: «Нет, нынче уже не те времена, когда все из «больших котлов» ели. Теперь кто больше трудится — тот больше и получает, а кто мало трудится — тот и получает мало. А если кто не работает — так пусть и вовсе на еду не рассчитывает. И нечего все валить на погоду да на небо. Разве в них дело? Самое главное — правильный курс».

Деревенскую тему активно поощряет официальная критика. В статье, опубликованной журналом «Хунци» (1982, № 15), содержится призыв к писателям «отображать в литературных произведениях новых людей деревни, проявивших себя в ходе нынешних преобразований». Усиленно пропагандируется аграрная политика нынешнего руководства. На щит поднимается система «ответственных полей»: каждая семья обязывается обрабатывать выделяемый ей участок «ответственного поля».

Вместе с тем сегодняшняя аграрная политика, поощрение частной инициативы и обогащения предусматривает необходимость соблюдения общественной морали и высокой сознательности во избежание перерождения социалистической нравственности в частнособственническую психологию. Все это в той или иной форме находит отображение в деревенской прозе, прежде всего в рассказах и очерках, в изобилии публикуемых, как уже упоминалось, на страницах газет. В них явно обнаруживается тенденция авторов подчеркнуть плодотворность новой аграрной политики, хотя желаемое здесь иногда выдается за действительное.

В «Хунци» (1984, № 15) появилась статья Чэнь Даньчжэня «Литература и искусство должны глубоко проникать в сущность современных перемен». «Великие перемены», «великие события», пишет автор, вызвали ломку общественного сознания. То, что когда-то считалось разумным, например «большие котлы», теперь рассматривается как нечто сугубо негативное, раньше стремление к зажиточности казалось проявлением буржуазных нравов, теперь это — норма. Перед писателями стоит задача отразить деревенскую новь. Но как отразить? Как в зеркале? Чэнь Даньчжэнь подобрал ряд цитат от Бальзака, Белинского и Гоголя до Юнга, в которых употреблено слово «зеркало»: «сердце художника — зеркало», «драматическое произведение — зеркало», «каждая народная песня — зеркало», «произведение — всегда зеркало»... жизни народа, самого художника.

Эталоном для литераторов, по мнению Чэнь Даньчжэня, может служить повесть Цзян Цзылуна «Директор Цяо вступает в должность». Имя Цяо стало нарицательным для передовых руководителей, главная черта которых — готовность к переменам, к реформам.

Из прозаических сочинений, непосредственно описывающих сегодняшнюю деревню, Чэнь Даньчжэнь упоминает повесть Чжан Цзи «Дальний фланг», рассказ Цзян Цзылуна «Симфония плошек и очага», «Дождь и гром» Шуй Яньсянь, «Садовая» Ли Говэня, «Мужской стиль» Чжан Сяньлана, пьесу и фильм «Кровь, она всегда горяча». В них, по словам Чэнь Даньчжэня, создан образ способного мужественного современника, ступившего на путь перемен.

Обращает на себя внимание то, что чрезмерное подчеркивание фактора политики в творчестве, прямолинейность постановки вопроса о том, что искусство служит прежде всего политике, не привели, судя по всему, к ожидаемым результатам. Проблема эта вызвала серьезную дискуссию на страницах партийной печати. «Жэньминь жибао» опубликовала статью Ван Жошуя, заместителя главного редактора, «Литература и искусство — политика — народ» (28 апреля 1982). Посвященная разбору двух лозунгов (старого — «Литература и искусство служат политике» и нового — «Литература и искусство служат народу, служат социализму»), она примечательна во многих отношениях. Но прежде всего она — свидетельство несостоятельности установки на то, чтобы литературу всецело подчинять политике. В течение многих лет, отмечает Ван Жошуй, мы только и слышали: «Литература и искусство должны служить политике», «образование должно служить политике», «философия должна служить политике», «наука должна служить политике»... Но никогда не слышали, кому должна служить сама политика? Однако политика не есть нечто самодовлеющее, нельзя же говорить о «политике ради политики», подобно тому, как в буржуазном обществе принято говорить об «искусстве ради искусства». «Великая культурная революция» — тоже политика, — продолжает Ван Жошуй. — Но какую роль в ее условиях мог играть лозунг «литература и искусство должны служить политике»?.. «Великая культурная революция» не является проблемой кучки людей. Это проблема партии, это ошибка партии. По крайней мере на начальном этапе «культурная революция» проявилась в форме такого движения, в которое были вовлечены десятки и десятки миллионов людей... и народ, и партия, и вожди — все могут ошибаться».

Если в политике допускаются ошибки, пишет далее Ван Жошуй, их следует исправлять, исходя из интересов народа. Народ имеет право на критику, включая критику через литературу и искусство. Все должно быть подчинено интересам народа. Как литература и искусство, так и политика должны служить народу.

Следуя лозунгу «Литература и искусство должны служить политике», добавляет Ван Жошуй, авторы многих произведений на производственную тему (периода борьбы с «правым уклоном и консерватизмом») строили их по неизменному шаблону: техническая интеллигенция — сплошь консерваторы, директор слепо верит специалистам, рабочие — инициаторы технических новшеств, классовый враг скрыто творит свое черное дело, а все конфликты, конечно, разрешает секретарь парторганизации...

Мы хотим, заканчивает Ван Жошуй, свободы творчества, такой свободы, которая

направлена на служение социализму и народу, но мы против «буржуазной либерализации», против того, чтобы все сводилось к деньгам, а литература и искусство служили эгоистическим интересам, хотя, к сожалению, среди некоторых творческих работников и у нас наблюдается подобная тенденция.

Небезынтересно мнение недавно ушедшей из жизни писательницы старшего поколения Дин Лин, автора известной в нашей стране книги «Солнце над рекой Сангань» и многих других произведений. Касаясь животрепещущего вопроса о связи литературы и политики (поскольку у некоторой части художественной интеллигенции Китая как реакция на зло, принесенное «культурной революцией», возникли мысли об отходе литературы от политики), Дин Лин отмечает в записи лекций, прочитанных ею в 1981 году в Канаде: «Подобные взгляды возникли из-за отождествления в прошлом некоторыми людьми литературы и политики или понимания литературы как орудия политики... Конечно, литература не то же, что политика, но нереально и отрывать литературу от политики, ибо формирование идеологии любого писателя в значительной мере обусловлено политической обстановкой, самим временем, в которое он живет» («Вэньи бао», 1982, № 3).

Обратим внимание на провозглашавшийся ранее курс развития литературы: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», курс КПК в области науки и культуры. Практика подтвердила жизнеспособность этого курса, подчеркивает Гао Чжаньсян в статье «Создавать новый стиль литературно-художественной критики» («Хунци», 1984, № 16). Необходимо последовательно проводить этот курс в жизнь, развивать дух соперничества. Это, конечно, не означает борьбу ради борьбы, соперничество ради соперничества. Конечная цель соперничества — достижение истины, развитие социалистического искусства.

По этому поводу многие литераторы выражали известные опасения. Сейчас «поощряется «цветение», — сказал с трибуны съезда Союза китайских писателей (1984) критик Цинь Чжаоян. — Но не начнут ли в будущем снова «косить»... Цинь Чжаоян, как это самоочевидно, имел в виду расправу с писателями, которые смело высказались, когда впервые был провозглашен лозунг «Пусть расцветают сто цветов».

На совещании кафедры китайской филологии Пекинского университета был единодушно одобрен выдвинутый ЦК КПК лозунг «Великое воодушевление, великое единство, великое процветание» («Гуанмин жибао», 11 января 1984 г.). Этот лозунг, отмечали выступавшие, воплощает в себе доверие партии к работникам литературы и искусства. Он актуален в период «искоренения идейной заразы левачества» и соответствует нуждам времени. Однако единение и сплочение всех сил — теоретиков и творческих работников, писателей старшего и нового поколения, сторонников разных направлений — пока не достигнуто. Дают себя чувствовать внутренние разногласия. Литература добилась успехов, говорили участники совещания, но еще слаба ее связь с массами и до «процветания» далеко... Вместе с тем не следует «открывать дорогу большой критической экзекуции». Благотворна спокойная, деловая критика, ведь большинство литераторов — патриоты, они поддерживают социализм и уверены в будущем страны. «Я считаю, — сказал один из выступавших, — что сейчас еще не наступило время расцвета, которое было в эпоху Тан (618—907 годы, золотой век китайской литературы). Мы находимся в преддверии такого расцвета. Поэтому руководство литературой и искусством должно помочь извлечь исторические уроки и не допустить «новых шатаний то вправо, то влево» со всеми вытекающими отсюда последствиями: «выступил — мятежник; мятежник — будешь схвачен; будешь схвачен — умрешь».

Работникам литературы следует освободиться от пут старой идеологии, углубиться в жизнь, поднять выше уровень культуры, говорилось на совещании. Творческие работники должны идти в деревню, писать о новом крестьянине, «стремящемся к обогащению». Писатели действуют именно в этом направлении, но «гармонии взаимоотношений» пока не достигли. Современная книжная продукция порой крайне слаба, выпускаются книги поверхностные, которые не в состоянии выполнять свое воспитательное назначение.

Работа совещания свидетельствовала о постепенном выходе творческой интеллигенции из состояния оцепенения, вызванного новой кампанией по борьбе против «духовного загрязнения». Все же чувство недоверия и неуверенности, очевидно, сохранилось. Не без причины в речи при вручении премии за лучший рассказ 1983 года Чжоу Ян, один из деятелей идеологического фронта Китая, процитировал слова Ф. Энгельса о том, что писатели, деятели искусства должны обладать «мужеством настоящего художника». Качества этого, констатировал Чжоу Ян, не всем писателям хватает, они не обладают достаточной смелостью и не могут в новый исторический период дать глубокий анализ происходящего. «Развитие социальной активности» — ключевой вопрос современности. «Без активности нет перспектив, и если говорить о литературе, то это, естественно, так и должно быть, ведь литература не застойное болото, а живая, движущаяся река» («Жэньминь жибао», 7 мая, 1984).

Нет нужды доказывать, сколь важно добиваться идеологической и социальной эффективности искусства слова. Это значит, что оно должно быть глубоким по жизненному содержанию и отвечать высоким требованиям художественности. Об этой цели говорилось и в докладе заместителя председателя Союза китайских писателей Чжан Гуанняня, озаглавленном «Социалистическая литература нового времени большими шагами идет вперед». В нем отмечается, что китайская литература находится лишь на подступах к подъему, что пока еще далеко не достаточно произведений высокого качества, есть еще писатели, путь которых не очень правилен.

При этом Чжан Гуаннянь подчеркнул значение курса на «расцвет всех цветов...». Понимая сомнения тех писателей, которые видят в этом курсе поддержку некоторыми деятелями левацкого уклона, он разъяснил, что курс на «расцвет всех цветов... является основным курсом, направленным на развитие социалистической культуры, и сам факт существования еще в Китае гнилой идеологии буржуазии и других эксплуататорских классов не должен при этом смущать».

Развитие китайской литературы мыслится на основе того, что предстоит, как заявил Премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян, «заложить фундамент социалистической хозяйственной системы нового типа, имеющей китайскую специфику». Что собой представляет «китайская специфика», автор не уточняет. Чжао Цзыян, однако, призвал «серьезно изучать и учитывать весь передовой опыт оперативно-хозяйственного управления, накопленный странами мира, в том числе и развитыми капиталистическими государствами» [1].

Надо сказать, что критика одобряла гражданское мужество авторов, прорвавшихся в некогда «запретные для литературы зоны».

Приведем мнение Чжан Чжуна, писавшего в 1979 году об опыте «культурной революции», что он страшен и реакционен, а причастные к ней люди заражены отравой. Чжан Чжун писал о тех, кто в свое время поверил громкой демагогии. «Их души пропитаны реакционной отравой: все социалистическое они «разбивали вдребезги», полностью отрицали передовую науку и культуру человечества, «бунтовали» и шли наперекор» против всего созданного после революции: тогда, борясь с учителями, можно было стать героем, а получив нуль на экзамене — большим начальником; можно было бесчинствовать, ломать и грабить, и все это прославлялось как «революционные действия» [2].

Как не обратиться к рассказу Лю Синьу «Классный руководитель», опубликованному в русском переводе в сборнике «Люди и оборотни». «Я начал,— пишет Лю Синьу,— вспоминать свою жизнь за последние несколько лет. Разные оценки той поры, когда я был учителем и классным руководителем, а также знакомых мне людей: учителей, школьников, родителей... Зачем отказываться от подлинных конфликтов и противоречий, событий и людей и где-то еще вслепую искать сюжет?.. Тогда я уже работал в издательстве. Меня командировали в уезд Миюнь, и, пользуясь свободными вечерами, я начал писать рассказ. Я сказал себе: на этот раз ты должен быть верен жизни и исходить только из жизни; персонажи, сюжет, эпизоды, речь — все должно быть из жизненного сплава, не надо заранее определять тему, а потом ее иллюстрировать; надо ненавязчиво внушить читателю собственные мысли о жизни. Я описал учителя Чжана и хулигана Сун Баоци, спор между преподавателями о том, принимать Сун Баоци в школу или нет... наконец, образ секретаря молодежной ячейки Се Хуэйминь, который вызревал у меня очень давно. И тут я заколебался. Изобразить Се Хуэйминь, активистку, вышедшую из трудовой семьи, с клеймом, оставленным в ее душе «четверкой», почти наверняка значило заслужить ярлык «клеветника» или «очернителя» [1].

Любопытна реакция читательницы этого рассказа Лю Синьу, одной из преподавательниц пединститута. Поначалу она предполагала, что автор далее покажет, как педагог Чжан займется методическим перевоспитанием хулигана Сун Баоци. «Но при длительном чтении,— пишет она, — я обнаружила, что моя догадка была совершенно неверна. В рассказе нет повергающих в трепет конфликтов, нет замысловатой фабулы, однако он побуждает к глубоким раздумьям, заставляет дрожать сердечные струны...

Они обвиняют, они протестуют, они вопиют, потому что в пережитом ими много горечи и кровавых слез, гнева и скорби, потому что они познали отрезвление после обмана и борьбу. В присущей им острой манере они отринули предрассудки и запреты, изобразили потрясающие события, увиденные и глубоко пережитые ими. В этих произведениях показаны зияющие раны, нанесенные народу, его душе Линь Бяо и «бандой четырех», обличены их вопиющие преступления» [2].

В статье «Широкая дорога литературы нового периода» («Жэньминь жибао», 24 сентября, 1984) Фэн Му, заместитель председателя Союза китайских писателей, заявляет, что настало время дать справедливую оценку литературным произведениям, отражающим чувства, помыслы, радость, боль и гнев народа. В них нашли подлинное и масштабное отображение взгляды и раздумья об историческом пути, пройденном миллиардным народом, потрясения, конфликты, расколы, возникшие в жизни общества, показаны вред, причиненный стране в период десятилетней смуты, извращения революционных традиций и исторического пути. Эти художественные документы, несмотря на известные огрехи, отмечает Фэн Му, являются живой зарисовкой времени и помогают должным образом понять историю, понять жизнь.

И все же литература, по мнению китайских критиков, еще отстает от великих перемен. Главная причина отставания — слишком быстрое развитие драматических событий в жизни общества и слишком медленный поворот писателей от дня вчерашнего ко дню сегодняшнему. В таких произведениях, как «Чистая вода горных ручьев» Гэн Линьмана, «В час морского прилива» Чжан Канкан, «У подножья рухнувшей горы» Е Мана, «Переполох в Огородном переулке» У Чэньцзя, «Третье письмо» Ли Сянгэня, «Желаю вам счастливого пути» Хэ Цзешэня, опубликованных в 1984 году на страницах ведущего журнала «Жэньминь вэньсюэ», есть и зарисовки живописных мест, и картины деревенской жизни, и сценки из жизни кадрового работника. Все

[1] «Правда», 30.III.1986, с. 5.
[2] «Бэйцзин дасюэ сюэбао», 1979, № 1, с. 35—36.

[1] «Жэньминь жибао», 19.II.1978.
[2] «Жэньминь жибао», 20. XI.1979.

это, однако, нередко делается на уровне элементарного описательства, что, разумеется, снижает их значимость и интерес. Тем самым создается режим благоприятствования серой, ремесленной литературе. О подобных поделках писал еще в 1978 году журнал «Вэньи бао» (№ 6, с. 36): «Такие вещи изготовляются по шаблону. Прочел одну — будто прочел все. Познакомился с началом — уже знаешь конец».

Пусть позволено будет здесь заметить, что, знакомясь с тем или иным произведением, рассматривая вопрос о выходе его в свет, издательский работник или редактор в Китае порой все еще решает его не с точки зрения художественной ценности и интересов будущего читателя, а с точки зрения старшего по рангу, который может одобрить, а может и отвергнуть, не утруждая себя объяснением такого шага. Возникает впечатление, что серьезные, остропроблемные произведения иногда с трудом проходят сквозь «редакторские фильтры», зато совершенно беспрепятственно всплывают на поверхность рассказы и повести, возникающие по чьему-то указанию. И появляются сочинения с «остротой» на уровне слов. Как будто все дело в том, чтобы «выкричать» острые слова. Важно идти не на эскалацию словесной смелости, а вглубь, к пониманию сути проблем, которые ставит жизнь.

В упомянутой статье «Широкая дорога литературы нового периода» Фэн Му отмечал накануне съезда писателей, что развитие китайской литературы последних десятилетий шло зигзагообразно, но после III пленума ЦК КПК (1978) наступил новый период ее развития, период расцвета. Возникает, однако, вопрос: правомерно ли столь категорически утверждать, что литературный процесс в такой стране, как Китай, мог столь радикально измениться, чтобы можно было говорить о моментальном наступлении «периода расцвета»?

Мы помним о творческом взлете после образования Народного Китая; затем, как известно, наступило «десятилетие смуты», или «десятилетие бедствий» (по определению некоторых источников — «период феодально-фашистской диктатуры») — речь идет о «культурной революции», в ходе которой устраивали костры из книг китайской классики и выдающихся произведений зарубежных авторов. Сегодня верх берут новые тенденции, соответствующие нынешнему периоду общественного развития. И все же с периодизацией китайской литературы, очевидно, не следует обращаться произвольно и делить этот процесс на краткие отрезки. Создание значительных произведений литературы связано прежде всего с особенностями творчества художника, со временем, в которое он живет.

И все-таки... Если говорить о нынешней китайской прозе в ее лучших проявлениях, то можно сказать, что идеологические и социальные проблемы, сохраняя свою остроту, все более преломляются не только в политическом, но и в нравственном разрезе. Изображается противоборство позитивных и негативных тенденций и явлений жизни в духовном мире современника, в общественном и личном его поведении.

Своеобразие развития современной китайской прозы в том, что, сосредоточиваясь на изменениях в общественной жизни и их нравственном воздействии на человека, она вышла за пределы темы преобразования села, да и производственной темы вообще, и охватывает широкий круг таких вопросов, как ответственность человека перед обществом, собственной совестью, цель и смысл его существования. Своими произведениями писатели фактически участвуют в борьбе за права и достоинство людей. Они участвуют и в борьбе против загрязнения не только среды обитания, но и души человека, в том числе и по причине усиливающегося распространения буржуазной идеологии в нынешнем Китае. На последнее обстоятельство все чаще обращают внимание многие литераторы в стране.

Как говорил председатель Союза китайских писателей Ба Цзинь, выступая на IV съезде Союза (1984), китайская литература нуждается не просто в значительных произведениях, нам необходимы эпические шедевры, необходимы сокровища искусства, достойные нашей эпохи, нам необходимы замечательные произведения, которые могли бы идти в сравнение с нашей блестящей национальной культурой, с самыми прекрасными творениями всего человечества. «Мы жаждем, чтобы скорее родились современные Ли Бо, Ду Фу, Гуань Ханьцин, Цао Сюэцинь, китайские Данте, Шекспир, Гёте, Толстой. Эта историческая ответственность ложится на плечи наших китайских писателей, в особенности писателей молодого поколения».

Речь, таким образом, о преходящем и вечном в искусстве, где время отбирает произведения литературы по своим законам и критериям. Призыв руководителя творческого союза китайских писателей, обращенность старейшего художника слова к великому наследию прошлого весьма примечательны. Речь, в сущности, идет о необходимости расширения горизонта современной литературы, об уровне художественного исследования жизни искусством слова.

◆

ВИК. ЕРОФЕЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ СЕЛИНА НА КРАЙ НОЧИ

Что такое Селин, как не последний по времени, крупнейший, всамделишный, не буря в стакане дистиллированной воды, скандал в современной французской литературе?

В западной словесности настала унылая пора подавляющей, «репрессивной (по терминологии гошистов) толерантности». Когда вроде бы все позволено, о скандале можно только грезить.

«Кто не восхищается Селином? — пишет историк новейшей французской литературы Жак Бреннер.— Ни у кого из французских писателей в настоящее время нет более прочной литературной репутации, чем у него».

С мнением Ж. Бреннера, считающего, что только Марсель Пруст способен оспаривать у Селина «первое место» среди французских писателей XX века, соглашается немало серьезных французских исследователей литературы. Однако они явно не способны прийти к единому или по крайней мере схожему выводу, почему Селин занял такое положение.

«С тех пор как критики вновь принялись читать его добрый десяток лет тому назад,— пишет в 1984 году исследовательница творчества Селина Мари-Кристин Беллоста,— многие видят в нем самого значительного писателя, изобразившего болезни нашей современной цивилизации. Остается задаться вопросом, что же хорошего мы видим в нем, раз «компрометируем себя» (как говорил Жан-Луи Бори) [1] обращением к нему. Порожден ли наш интерес — на основании формулы: литература прежде всего! — поразительным соответствием его языка содержанию его книг, его скрипучему смеху? Или же интерес вызван тем, что он был очарован злом, которое необходимо понять, чтобы уберечься от него? Или же дело в том, что индивидуальность его голоса мстит нам за рассудочность нас опекающей цивилизации? Или его религиозное и садо-мазохистское мировоззрение, когда историческое становление видится как неизлечимая болезнь, создает почву для некоей системы безответственности, дающей нам премилое оправдание лености мысли? Или же, наконец все дело в том, что, описав историю как механизм, которым мы не в состоянии управлять, он предоставил литературное алиби тем, кто стыдливо отказывается от осознанно критического взгляда на общество?»

Подобные вопросы о Селине, которые порой в растерянности ставят перед собой и молодые, и маститые писатели Франции, литературоведы, критики, историки культуры в многочисленных статьях, диссертациях, книгах последних лет, имеют болезненную актуальность для литератур современного Запада. Подумать над ответами на эти вопросы, вникнуть в сущность полемики вокруг Селина — наша задача.

В чем загадка Селина? Он несомненно показатель критической ситуации, когда слава повенчана с бесчестием, и определенная часть французских читателей испытывает, как пишут авторы исследования «Литература во Франции после 1968 года», «тревожащее пристрастие скорее к предателям, чем к героям» [1].

Литературный путь Луи Фердинана Селина (1894—1961) стал яркой парадигмой

[1] Недавно умерший известный французский критик. *(Здесь и далее прим. авт. статьи.)*

[1] B. Vercier, J. Lacarme. La littérature en France depuis 1968, Paris, Bordas, 1982, p. 15.

ЕРОФЕЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1947 г.)

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор многих статей по истории русской и западных литератур.

опасного пути западного индивидуалистического сознания в XX веке, аполитичного, глухого ко всему, что лежит вне сферы его субъективных интересов, желаний и удовольствия. В известной мере высветлив социальное зло окружающего его мира изнутри, Селин с удивительной ясностью, сам едва ли подозревая о том, что делает, раскрыл чудовищную метаморфозу такого сознания в решающий момент исторического выбора, когда мечущееся, анархиствующее «я» в страхе перед уничтожением бросается в сторону иррационализма, расовой ненависти, мизантропии, фашистского тоталитаризма. Своим существованием и своей прозой он посягнул на союз морали и эстетики.

Вместе с тем Селин совершил стилистическую «революцию», которая оказала и продолжает оказывать существенное влияние на французскую литературу. Он писал так, что слова, словно спирт, проникали немедленно в кровь читателя, горячили, разрывали внутренности. И четверть века спустя после смерти Селина во Франции идет реабилитация писателя, переходящая в мифологизацию. Такой феномен, вероятно, можно было бы как-то психологически объяснить, но гораздо сложнее его оправдать, представить этого — талантливого — писателя в хорошем свете, переистолковывая его высказывания. Это отнюдь не обеляет писателя, а скорее затемняет его образ, архетипический в плане постижения природы зла, которое, как пишет М.-К. Беллоста, «является единственным сюжетом его книг».

Чтобы разобраться в явлении, которое представляет собой Селин, и в причинах его нынешнего «воскрешения», обратимся сначала ко времени, когда Луи Детуш, «доктор для бедных», врачующий в пригороде Парижа, превратился в литературную знаменитость, автора сенсационного романа «Путешествие на край ночи».

У доктора Детуша была образцовая биография. Он — герой и инвалид первой мировой войны. В декабрьском номере «Иллюстре насьональ» за 1914 год на первой странице скачет на коне с саблей наголо молодой гусар Детуш. Он мог бы стать украшением любого общества ветеранов. Он получил военную медаль и всю жизнь страдал от ранения в руку.

Демобилизовавшись по инвалидности, Детуш много путешествовал по свету, меняя профессии, пока в 1920 году не посвятил себя медицине. В 1924 году он выпустил первую книгу, основанную на диссертации «Жизнь и творчество Филиппа-Игнация Земмельвайса (1818—1865)», венгерского гинеколога. Книга получила одобрительные отзывы в медицинских и даже литературных кругах.

С 1928 года, работая преимущественно по ночам, Детуш пишет роман. «Мне бы лучше было стать психиатром!.. Но я знал Эжена Даби... Он только что добился огромного успеха своим романом «Гостиница «Север»... Я подумал: «Я написал бы не хуже. С помощью романа я бы смог заплатить за квартиру». И вот я засел за него, ища язык, стиль, чтобы он был непосредственный, насыщенный чувством...» — так на закате дней, не без старческого кокетства, писатель вспоминал о работе над романом «Путешествие на край ночи», который — под псевдонимом Селин — он публикует в октябре 1932 года.

Роман становится сенсацией всего десятилетия. В 1934 году он переводится на русский язык Эльзой Триоле, но по ее сокращенному переводу приходится порою лишь догадываться о литературных достоинствах книги. Между тем они действительно существуют как в плане содержания, так и формы.

Хотя Селин написал немало произведений, «Путешествие на край ночи» остается его главной книгой. В ней дано апокалипсическое видение современного ему западного мира, абсурдного, циничного, похотливого, чреватого уничтожением и смертью. Жизнь — «дорога гниения», долгая агония; смерть — единственная правда и реальность среди фантомов.

С чего началось «путешествие» главного героя книги Бардамю, от имени которого ведется повествование, что побудило его вывернуть мир наизнанку и показать гнилое нутро? Мировая война 14-го года — первый этап «путешествия», определивший философию героя. Все врут: на фронте, в тылу, в речах и разговорах, ничто не может оправдать бессмысленную бойню, горы разлагающихся трупов. Почему стреляют немцы? («Сколько я ни старался вспомнить, я ничего худого этим немцам не сделал».) Но простодушие героя, заключенное в этих словах, быстро улетучивается. Селин показал судьбу этого простодушия в XX веке: оно перерождается в глухой цинизм. Чтобы подчеркнуть, что эволюция Бардамю не исключение, а общее правило, Селин вводит в повествование «двойника» Бардамю — Робинзона, которого в конечном счете начинают посещать раскольниковские (правда, в сильно окарикатуренном виде) мысли об убийстве старухи ради наживы. Как отнесся к этому проекту сам Бардамю? «Все стало еще немного грустней, и только. Все, что можно сказать в таких случаях, чтобы разубедить людей, ничего не стоит. Разве жизнь с ними ласкова? Почему и кого же они станут жалеть? Зачем? Жалеть других? Видано ли это, чтобы кто-нибудь спускался в ад, чтобы заменить собой другого?» Больше того: «Стремление убивать, которое внезапно появилось в Робинзоне, показалось мне даже в некотором роде шагом вперед по сравнению с тем, что представляли собой другие люди, всегда наполовину злобные, наполовину доброжелательные, всегда скучные вследствие неопределенности своих стремлений. Несомненно, что, углубляясь в ночь вслед за Робинзоном, я все-таки кой-чему научился».

Углубление в ночь совершается в книге в четыре этапа. Опыт войны сделал Бардамю убежденным трусом. На трусости зиждется его антимилитаризм, не лишенный, впрочем, патетики и причудливо переплетающийся с неверием в будущее: «Можете ли вы, например, Лола, вспомнить хоть одно имя солдата, убитого во время Столетней войны?.. (...) Для вас это анонимные, ненужные люди, они вам более чужды, чем последний атом этого пресс-папье

перед вами, чем то, что вы оставляете по утрам в уборной. Вот видите, Лола, значит, они умирали зря! Абсолютно зря, кретины этакие! (...) Хотите пари, что через десять тысяч лет эта война, которая сейчас нам кажется замечательной, будет совершенно забыта?.. Я не верю в будущее, Лола».

Второй этап путешествия — колониальная «французская» Африка, откуда Бардамю вынес вновь ощущение «ада», в котором он всех уравнял в своей ненависти: и одуревших от жары, хинина, наживы, распрей колонизаторов, и покорных, нищих туземцев.

Далее — Америка, мечта разбогатеть и новый каскад неудач, изнурительная работа на заводе Форда и знаменательное предупреждение заводского врача: «Нам не нужны на заводе люди с воображением. Нам нужны шимпанзе. Еще один совет. Никогда не говорите здесь о своих способностях. Думать на заводе будут за вас другие, мой друг! Советую вам это запомнить».

Наконец, Бардамю словно выбросило на берег в парижском пригороде, где так же, как и сам автор, он лечит бедняков,— существа подозрительные, мелочные, жестокие, неблагодарные. Зачем соседи повествователя сладострастно мучают свою десятилетнюю дочь? Зачем профессор Парапин подглядывает из окна кафе за школьницами «наизусть» изучив их ноги? Показав извращенные страсти, Селин не щадит никого, кроме детей. Единственная надежда — это малыш Бебер, к которому привязывается Бардамю. «Уж если обязательно надо любить кого-нибудь, лучше любить детей: с ними меньше риска, чем со взрослыми, по крайней мере находишь извинение в надежде, что они будут не такие хамы, как мы». Но у Бебера не будет будущего — он умрет от тифа; погибнет от пули ревнивой любовницы и несостоявшийся убийца Робинзон, и, равнодушно держа умирающего друга за руку, Бардамю будет рассуждать о себе, «которому недоставало того, что делает человека больше его собственной жизни: любви к чужой жизни. Этого во мне не было, вернее, было так мало, что не стоило и показывать. (...) Не было во мне человечности». Это уже похоже на приговор.

Поскольку речь шла о западном мире, апокалипсическое видение Селина можно толковать в социальном духе, как это делали у нас в тридцатые годы, видя в Селине критика капитализма, милитаризма, колониализма. В предисловии к русскому переводу книги И. Анисимов написал, что «эта книга, взращенная капитализмом, идущим к гибели, пропитанная запахом тления, вместе с тем заключает в себе огромную разрушительную силу».

Трудно однозначно ответить на вопрос: против чего восстает Селин — против природы человека или против общественных обстоятельств, коверкающих эту природу? То, что Селин — разоблачитель, ясно. Не ясно только, разоблачитель чего. Ответ остается двойственным, вводит в заблуждение, допускает различные толкования. Возможно, в этом отчасти и состояла интригующая загадочность книги.

Разорванной картине мира, подошедшего «к самому краю», соответствует язык Селина.

Это был преобразованный в прозу разговорный язык улицы, полный арготизмов, непечатных, но напечатанных Селином ругательств, неологизмов, выражающий непосредственное волнение и страсть повествователя. Этот язык разрывал с традицией «прекрасного» французского языка, хотя сам Селин впоследствии был недоволен глубиной разрыва, находя, что в романе все еще достаточно «медленно разматывающихся фраз» в духе Анатоля Франса и Поля Бурже.

Мнения о книге разделились. Она вызвала восторг в левых кругах как образец социальной критики. Напротив, в благонамеренных кругах буржуазной интеллигенции роман был воспринят как плевок, пощечина, осквернение и порнография.

Однако главное влияние роман Селина оказывает по-над социальным уровнем, воздействуя на формирование экзистенциалистского типа романа и прежде всего экзистенциалистского героя, который становится «малым без коллективной значимости... просто индивидом». Эти слова из пьесы Селина «Церковь» (которую можно рассматривать как некий набросок к «Путешествию на край ночи») молодой Сартр берет в качестве эпиграфа к своему роману «Тошнота». Герой этого романа, Рокантен, равно как Мерсо из «Постороннего» Камю являются «младшими братьями» Бардамю.

Окрыленный успехом «Путешествия на край ночи», Селин садится за новый роман, «Смерть в кредит», который в 1936 году выходит в свет. Восторгов критики на этот раз несколько меньше. В самой же книге проницательные читатели, и в частности Сартр, вдруг обнаруживают «презрение к маленькому человеку», которое в предыдущем романе как бы заслонено презрением и ненавистью к миру, терзающему маленького человека. Иными словами, здесь меньше вольнолюбивого анархизма, чем ядовитых пассажей относительно духовной тщеты человека.

Важным формальным новшеством по сравнению с «Путешествием» становится отказ автора от вымышленного повествователя. Возникает лицо, максимально приближенное к самому автору, заимствующее его второе имя, Фердинан. Стиль произведения еще больше приближается к спонтанной разговорной интонации. Становится характерным большое количество многоточий. Между фразами возникают пропуски, лакуны, создающие впечатление, с одной стороны, недоговоренности, отрывочности, дискретности, с другой — «воздушности» стиля, который сам Селин называл «дырявым, кружевным». Свои многоточия автор сравнивал с пуантилизмом постимпрессиониста Сера.

В том же 1936 году Селин отправляется в Советский Союз. Поводом служит его желание получить деньги за русский перевод «Путешествия». Селин пробыл в СССР два месяца и возвратился, по свидетельству друзей, довольный тем, как его принимали. Однако в результате путешествия им был написан памфлет «Mea culpa» [1] (1937), в

[1] Моя вина *(лат.)*.

котором, почти не затрагивая советских реалий, он оспаривал возможность социального усовершенствования по причине, которая кроется в самом человеке. Селин называет его «подлинным незнакомцем всех возможных и невозможных обществ», исходя из убеждения, что «человек настолько же человечен, насколько курица умеет летать». Поэтому же Селин отрицает и классовый антагонизм: «Две такие различные расы! Хозяева? Рабочие? Это стопроцентная выдумка. Это вопрос везения и наследства. Отмените их! Вы увидите, что расы были одинаковые...» Он называет «огромной ложью» стремление к счастью, поскольку в существовании нет счастья, а есть большие или меньшие несчастья.

Отцы церкви, по мнению автора, были искуснее социалистов: они считали человека «мусором» и ничего не обещали ему, кроме загробного спасения. Селин согласен насчет «мусора», но не верит и в потустороннее спасение.

Последующие памфлеты отдаляют Селина не только от прогрессивных, но и от просто порядочных людей. Эти памфлеты настолько одиозны, что у некоторых читателей возникает подозрение: уж не дурачит ли их Селин и не представляют ли памфлеты собою пародию, неуместную, грубую шутку. Такого мнения придерживался А. Жид, который писал: «Ну, а если это не шутка, тогда Селин полный псих».

Однако Селин и не думал шутить.

Путь духовно близкого Селину героя в крайне правый лагерь, смыкающийся с фашизмом, предсказал Горький в речи на Первом съезде советских писателей: «Литератор современного Запада... потерял свою тень, эмигрируя из действительности в нигилизм отчаяния, как это явствует из книги Луи Селина «Путешествие на край ночи»; Бардамю, герой этой книги, потерял родину, презирает людей... равнодушен ко всем преступлениям и, не имея никаких данных «примкнуть» к революционному пролетариату, вполне созрел для принятия фашизма».

Селин не был единственным французским писателем, ушедшим от анархизма в сторону фашизма. Подобную эволюцию проделал и Дрие ла Рошель, ставший в годы оккупации активным коллаборационистом.

В какой-то момент эти писатели заколебались перед выбором, куда пойти: налево или направо? Сама необходимость выбора была продиктована скорее не сиюминутными политическими соображениями, а душевным состоянием. Нельзя вечно пребывать «на краю ночи», жить, как говорил Достоевский, бунтом. Требовалась какая-то прочная опора вместо отчаяния. Писатели истосковались по опоре. Показательно в этом плане свидетельство Дрие ла Рошеля: «В чем твоя вера, какова твоя концепция мира? — вопрошает он в те годы своего аргентинского корреспондента.— Тебе будет, наверное, затруднительно это выразить. А мне? Единственно, кто прав,— это великие страшные скептики, такие, как Джойс, Валери, Жид. Если я не стану социалистом, коммунистом, я подохну... Единственные, кто говорят четко,— это коммунисты, прочие вязнут в идеализме... Но я слишком поздно прихожу к социализму, как Жид. Беда, черт возьми, в том, что для того, чтобы стать коммунистом, нужно быть материалистом, а к этому нет возможности прийти. Утверждать материю — значит в какой-то степени утверждать бытие. А как раз в том и состоит моя болезнь, что я не могу утверждать ни бытия, ни своей личности. И вот почему мои романы так плохи, когда они не негативны».

Селин тоже не смог стать социалистом, потому что был не в состоянии «поверить» в материю и человека. Он считал, что «социализм — это вопрос качества души. Социалистом приходят в мир, им не становятся». Но Селин, как и все европейцы тридцатых годов, безусловно чувствовал приближение новой войны. И он был пацифистом, испытавшим на своей шкуре прелести войны. В конечном счете пацифизм и становится единственной его опорой. В основу своего пацифизма он положил... расовую теорию.

В «Путешествии на край ночи» Селин отозвался о расе и о французах весьма категорично: «То, что ты называешь расой,— это просто большая куча изъеденных молью, гнойноглазых, вшивых субъектов вроде меня. Вот что такое Франция и французы!» В конце тридцатых годов Селин берет на себя «защиту» арийской расы, этой, по его словам, уязвимой «грунтовки», на которую насильственно хотят наложить другие цвета. Селин возлагает ответственность за поджигание новой войны на евреев. Из гонимого буржуазной публикой анархиста Селин превращается в гонителя. В послевоенном интервью он признавался, что был антисемитом «в той степени, в какой считал, что семиты подталкивают нас к войне».

Селин излагает свою позицию в памфлете «Резня из-за пустяков» (1937): «Я не желаю воевать за Гитлера, это я вам говорю, но я не желаю воевать и против него, за евреев... Это евреи, и только они, толкают нас к пулеметам... Гитлер, он не любит евреев, я тоже их не люблю... И нечего волноваться из-за ерунды... Евреи в Иерусалиме, немножко пониже, на Нигере, мне не мешают! Они совершенно мне там не мешают!.. Я бы им отдал все Конго! Всю бы Африку отдал им!.. Либерия, я знаю, это их негритянская республика, она ужасно похожа на Москву. До такой степени, что вы не поверите...»

Все это напоминает параноический бред, который до сих пор скрывают от читателей наследники Селина, запрещая переиздание памфлетов. Но «полный псих» продолжал упорствовать. Он уповает на силу. Он рассматривает нацистский вермахт (вплоть до начала войны) в качестве гаранта европейской безопасности.

Вслед за «Резней из-за пустяков» (в самом названии уже содержится выпад против врагов нацизма) он выпускает «Школу трупов» (1938). Памфлет преследуют за клевету; на его тираж налагается запрет. Однако в новых условиях, при немецкой оккупации, Селин переиздает его и тогда же пишет памфлет «Переполох» (1941).

Поведение Селина при оккупации многократно подвергалось анализу не только

французской критикой, но и французским правосудием с целью определения степени вовлеченности его в коллаборационизм.

В момент объявления войны Селин хотел вступить добровольцем во французскую армию в качестве врача, но он был признан негодным для службы по состоянию здоровья. При наступлении вермахта на Париж Селин вместе с диспансером, где работал, эвакуировался в Ла-Рошель, но затем, после подписания перемирия, возвратился.

Есть две оценки поведения Селина во время войны. Сартр в «Портрете антисемита» (1945) прямо писал, что Селин «был куплен» нацистами. Столь же резко высказывался Р. Вайан в статье «Мы не пощадили бы больше Селина» (1950), обвиняя его в дружеской близости к идеологам коллаборационизма.

Защитники Селина (публика смешанная: среди них были как бывшие коллаборационисты, так и «левые» поклонники таланта Селина) в этой связи ссылались на слова Талейрана: «Все, что преувеличено, становится незначительным». Даже некоторые деятели Сопротивления утверждали, что «Селин нас не предал», и вступали в полемику с линией Сартра и Вайана. Они старались найти благородные черты в поведении Селина в эти годы. Так, в хронике его жизни, опубликованной в 1962 году, в первом томе собрания его сочинений можно прочесть, что в 1943 году квартира, находящаяся этажом ниже квартиры Селина, была «местом собраний деятелей Сопротивления, а главное, в ней скрывались подпольщики. Для доктора Детуша это не было тайной, и однажды он даже лечил человека, которого пытало гестапо».

Однако доктор, великодушно не выдавший подпольщиков, известен и менее благовидными поступками. В 1942 году он дает согласие на посещение Берлина в делегации французских врачей, и там, по некоторым свидетельствам, выступает перед депортированными французскими рабочими в защиту немецко-французского сотрудничества. Отношение Селина к коллаборационизму явствует из его заявления, опубликованного в пронемецкой газете «Эмансипасьон насьональ» (21.11. 1941): «Чтобы стать коллаборационистом, я не ждал, пока Комендатура вывесит свой флаг в Крийоне».

Таким образом, если подытожить позицию Селина во время войны, даже если учесть, что время от времени он позволял себе антинемецкие, «пораженческие» высказывания (в узком кругу), редко публиковался в коллаборационистских изданиях, он тем не менее был в стане коллаборационистов и не имел никакого основания писать, что во время оккупации был будто бы «единственным, пожалуй, писателем с именем, который остался строго, ревностно, непримиримо именно писателем и не кем иным, как писателем». Еще более одиозно звучат его слова: «Евреи должны бы поставить мне памятник за то зло, которого я им не причинил, но которое мог бы причинить».

Сущность позиции Селина, наверное, точнее всего выразил французский писатель Р. Нимье, который сказал, что «нельзя утверждать, будто Селин ответствен за лагеря. Он выразил, однако, страсти, которые вели к лагерям». Именно поэтому руководство французского Сопротивления памятник Селину ставить не собиралось. Напротив, по лондонскому радио было неоднократно передано, что Селин приговорен Сопротивлением к смертной казни. И конечно, когда союзники высадились на берегах Нормандии, Селин имел все основания для беспокойства. В послевоенном интервью он жаловался, что, останься он в освобожденном (слова «освобожденный», «освобождение» Селин до конца своих дней брал в кавычки) Париже, его бы убили без суда и следствия. В июне 1944 года Селин вместе с женой решают ехать в Данию через Германию, в которой уже началась агония поражения.

В Германии Селин был встречен довольно недружелюбно (было не до него) и, несмотря на множество демаршей, никак не мог получить «аусвайс» для поездки в Данию. В ноябре 1944 года, исколесив пол-Германии, он отправляется в Баварию, в местечко Зигмаринген, где пребывает вишистское «правительство» в изгнании. Вместе с «правительством» в Зигмарингене живет около двух тысяч коллаборационистов, скрывающихся от народной мести. В этой компании морально разложившихся людей, в обстановке трагикомического фарса Селин живет несколько месяцев, работая врачом. В марте 1945 года влиятельные друзья выхлопотали ему разрешение на выезд в Копенгаген, и Селин на последнем поезде под сильной бомбежкой союзников добирается до «земли обетованной». Почему Дания?

Это был чисто финансовый вопрос. В Данию, по просьбе Селина, его друзья отослали деньги за опубликованные до войны книги. Однако никаких денег не оказалось. И несмотря на то, что после разгрома нацистов Селин жил в Копенгагене под вымышленной фамилией, от правосудия ему скрыться не удалось. В декабре 1945 года датская полиция отправляет его в тюрьму. Это одобрительно встречается левой французской печатью. Датчане отказываются выдать Селина французским властям и в сущности обходятся с ним довольно снисходительно. Через четырнадцать месяцев он был выпущен на свободу под честное слово не покидать пределы Дании.

Датские годы жизни прошли для Селина в обстановке крайней бедности. Тем временем в Париже идет новое судебное разбирательство его дела. Издательства отказываются печатать его произведения, печать именует его «мелким коллаборационистским дерьмом». В 1950 году Судебная палата Парижа заочно приговаривает Селина к году тюрьмы и штрафу в сумме пятидесяти тысяч франков. Однако вскоре, не без влияния кружка активизировавшихся друзей Селина, военный трибунал Парижа амнистирует писателя.

Какую позицию занимал Селин в последние годы жизни, поселившись в пригороде Парижа Медоне и вновь занявшись врачебной практикой? Испытывал ли он чувство раскаяния?

Нет. Скорее он считал себя несправедливо обиженным; более жертвой, чем чело-

веком, совершившим злонамеренные поступки. Самое большее, на что он оказался способен,— это признать, как было сделано в интервью журналу «Экспресс» в 1957 году, что «был идиотом». По ряду вопросов Селин открыто отстаивал свои прежние взгляды. Относительно германской армии Селин говорил, что «если бы немцы не развязали войну и сохранили свою армию и если бы Германия была такой, какой она была (то есть, выходит дело, нацистской.— В. Е.), то они бы (имеются в виду французы.— В. Е.) без труда сохранили Алжир, не потеряли бы ни Суэцкого канала, ни Индокитая». В последние годы место евреев в мыслях Селина стала занимать желтая раса. Вплоть до последнего дня жизни Селин настойчиво предвещал оккупацию Франции китайцами. Он хотел, чтобы Франция сохранила свои колонии; он остался колониалистом и расистом.

Селин сохранил и свою мизантропию. Американский исследователь феномена Селина Мильтон Хиндус, навестивший писателя в датской деревне, был поражен как человеческими качествами Селина («Селин — это гадюка»; «Единственная вещь, которая действительно интересует его,— это деньги»), так и его идеями, согласно которым «Гитлер был агентом британской разведки».

В атмосфере послевоенной Франции, когда Сопротивление еще не стало историей, никакие разговоры о литературных достоинствах книг Селина не могли заставить забыть его политические грехи. Однако уже в начале пятидесятых годов издательство «Галлимар» начинает с ним переговоры по поводу издания его произведений.

Писатель ищет тему, чтобы вернуть себе читателя. Он обращается к проблематике своего бегства в Германию. Среди произведений о второй мировой войне трилогия Селина, включающая в себя романы «Из замка в замок» (1957), «Север» (1960) и «Ригодон» (издан посмертно в 1969 году), занимает особое место.

Главное, что отличает трилогию,— это позиция ее повествователя. Она далека как от позиции победителя, освободителя Европы, сражавшегося за правое дело, так и от позиции побежденного, рассматривающего военную катастрофу с «немецкой» точки зрения.

Автор, таким образом, оказался вне обоих станов. Однако он не стал и нейтральным созерцателем событий, а написал трилогию об агонии нацистской Германии конца 1944 года — первых месяцев 1945 года с позиции предателя, которым Селин в сущности и являлся. Именно этот момент определил основную тональность книги: отчаяние и исторический пессимизм.

В отличие от побежденного предатель не рассчитывает ни на какое снисхождение, по всем человеческим меркам он достоин не только наказания, но и презрения. В знаменательном диалоге, составляющем одно из центральных мест первого романа трилогии, происшедшем между бывшим послом нацистской Германии в Париже Отто Абецом и повествователем, последний, превосходно отдавая себе отчет в собственном положении, настаивает на «маленькой разнице» между ними: «Однако же, однако ж, господин Абец!.. есть маленькая разница!.. вы как будто ее не замечаете!.. ведь вы, Абец, даже архипобежденный, подчиненный, захваченный со всех сторон всевозможными победителями, вы все ж таки останетесь, черт вас побери, сознательным, преданным немцем, гордостью родины! совершенно законно завоеванным! в то время как я, бесноватый, я навсегда пребуду проклятым мерзким еретиком, по которому плачет веревка!.. позор для братьев и сыновей!.. на первом же суку вздернуть его!.. вы признаете разницу, господин Абец?»

Итак, повествование в трилогии ведется от лица предателя, который носит фамилию автора, предельно приближен к нему по всем обстоятельствам жизни и образу мыслей, и вместе с тем это полноценный п е р с о н а ж, который создается и развивается соответственно имманентным законам художественного текста. Этот персонаж понимает, что обречен, что единственным выходом для предателя, единственной его надеждой остается бегство. И он бежит. Вот почему все повествование разворачивается вокруг темы бегства, которая в свою очередь порождает тему «сакральной» границы. Преодоление границы равносильно преображению: предатель, уходящий в нейтральную страну от возмездия, превращается в несчастного беженца-оборванца и счастливо теряется в чужой толпе.

Германия в трилогии — огромная западня (это основная метафорическая функция страны). С каждой минутой неумолимо сжимается круг: союзники наступают с востока и запада, бомбят с воздуха. В этих апокалипсических условиях повествователь кружит по стране в поисках легального или же нелегального выезда из нее. Север выносится в заглавие второго романа как символ надежды, география пытается перехитрить историю.

Но тщетно. С самого начала трилогии читатель знает, что ждет Селина в Дании: четырнадцатимесячное заключение в Копенгагене за сотрудничество с немцами. С заранее объявленным концом, живописующим крушение надежд, повествование замыкается в рамках отчаяния.

Трилогия открывается пространным прологом, посвященным событиям жизни Селина и его окружения в 1957 году, его политическим комментариям; затем намеренно нестройное повествование резко направляется к финальной точке одиссеи Селина, в Копенгаген, к его аресту: «Все это не страшно! скажете мне... миллионы погибших были не более виновны, чем вы!.. конечно!.. поверьте, я думал об этом во время прогулок по городу... прогулок с «сильным сопровождением»... не однажды! двадцать! тридцать раз... через весь Копенгаген с востока на запад... в автобусе с частыми решетками, набитом полицейскими с автоматами... отнюдь не любителей побеседовать... «уголовные» и «политические» туристы ведут себя благоразумно, они в наручниках... от тюрьмы до прокуратуры... и обратно (...)».

В этом образчике повествования как в капле воды проступают стилистические

приемы трилогии. Во-первых, позиция повествователя, субъективно осознанная им как «невинная». Во-вторых, юмор, не покидающий повествователя даже при описании самых мрачных событий. Этот юмор, превращающий заключенных в туристов и т. п., имеет все черты «черного юмора». В-третьих, «непоследовательность»: начал с проблемы меры наказания (не страшная, с точки зрения читателя, мера), а кончил рассказом о «прогулке» в автобусе и уже больше к теме невинности-невиновности не обратился в течение многих страниц.

Особо следует отметить созданный Селином образ повествователя. Образ «доброго доктора», спасающего в одном из эпизодов шведских детей, возникает в первом же романе «Из замка в замок». Попав в исключительно «ненормальные» обстоятельства (непонятно, однако, каким образом и почему), доктор всегда стремится помочь беременным женщинам, раненым солдатам, министрам в изгнании и т. д., всех их рассматривая как «больных» (здесь важна скрытая антиномия: здоровый доктор — больное окружение), всем поддакивающий («ну, конечно же! ну, конечно!» — постоянный селинский ответ, выражающий в сущности крайнюю степень цинизма и отчуждения: «делайте все что хотите, только отстаньте от меня!»), но в то же время холодным взглядом смотрящий на мир.

Отчаяние Селина нередко оборачивается смехом; это горький смех человека, увидевшего нищету нацистской пропаганды, демагогической идеи «новой Европы». В Зигмарингене он вплотную сталкивается с создателями мифа «новой Европы». Среди них — Отто Абец, проводник утопической идеи тысячелетнего немецко-французского союза, и Пьер Лаваль, такой же «утопист», который накануне немецкого разгрома готов по-царски одарить Селина за его врачебные услуги. Селин немало-немного желает стать губернатором островов Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане (однажды он их посетил до войны). Лаваля отнюдь не смущает подобная «дикая» просьба. «Обещано!.. согласовано! договорено!» — восклицает Лаваль, приказывая секретарю записать свое решение. «Главное, я был назначен губернатором...— иронически завершает Селин свой рассказ о визите к Лавалю.— Я до сих пор им являюсь!..». Но, отсмеявшись, Селин стремится представить этого идеолога коллаборационизма, расстрелянного по суду в 1945 году, «миротворцем»: «Лаваль был примиренец... Миротворец!.. и патриот! и пацифист!.. вокруг меня я повсюду вижу палачей... он не из их числа! он — нет! нет!.. я ходил к нему домой, на его этаж в замке, в течение месяцев... Лаваль, знаете, чего он хотел, он вовсе не любил Гитлера, он хотел столетнего мира...»

Защищая Лаваля, не самого ли себя защищает Селин? Что противопоставляет он безумному миру? Помимо образа «доброго доктора», образы своих спутников. Во-первых, своего любимого кота Бебера, путешествующего в лукошке. Селин вообще любил животных. Он посвятил животным свой роман «Ригодон». В трилогии Бебер противопоставляется людскому сумасшествию. Чуть сам не ставший жертвой нацистских законов, предписывающих уничтожать «нерасовых» и «непродуктивных» животных и свидетельствовавших о бесновании нацистов накануне катастрофы, Бебер — явно положительный герой трилогии, олицетворяющий здравый смысл, терпеливость и снисходительность. Положительная героиня и Лили, жена Селина, танцовщица, которая, несмотря на весь апокалипсис, всюду ищет возможность не забывать свою профессию, танцует и дает уроки танцев. По контрасту с войной у нее вызывающе мирная профессия.

Автобиографический роман создает трудно разрешимую проблему соотношения героя и прототипа, повествователя и автора. Даже самая «правдивая» автобиография включает в себя частицу вымысла. Селин в своей трилогии стремился решить эту проблему путем форсирования, гиперболизации вымысла. Он не желает быть рабом памяти и фактов, тем более что, все равно подобный раб не может быть до конца верным. Он стремится завязать с памятью обратные отношения: чтобы память стала «служанкой» стиля.

Для Селина сам процесс творчества оказывается самодостаточным, он — писатель «par exellence». Он хочет не только или даже не столько произнести защитительную речь, сколько найти *музыку* повествования, которая все вбирает в себя: и слезы и смех; она преображает эмоции в *чистый текст*. Этот «чистый текст» с точки зрения этики не так уж и чист, поскольку отражает моральный индифферентизм своего создателя, очевидное нежелание отличать добро от зла. Вот почему интерес современного поколения французских писателей к Селину подчас отражает эстетизм новейших литературных поисков.

Одержимость Селина стилем видна вместе с тем в огромной работе, которую он ведет над рукописью. Разговорный, «легкий» стиль повествования может породить ошибочное представление, будто Селин пишет легко и даже несколько небрежно, будто поток его слов вырывается импульсивно, под нажимом страстей и эмоций, и в таком «неотрефлектированном», «непричесанном» виде попадает на бумагу. Это представление разрушается при анализе педантичной работы Селина над текстом, вызванной его стремлением закрепить на бумаге разговорный язык. Стиль Селина являет собой нечто совершенно противоположное автоматическому письму сюрреалистов. Селин писал, как правило, медленно, переписывал текст по четыре раза и более. Если в его тексте можно обнаружить «беспорядок», то это намеренный, что называется «ученый» беспорядок.

Ярко выраженному повествователю должен соответствовать активно воспринимающий его читатель, прежде всего современник, лучше всего соотечественник. Эта потребность в «актуальном» читателе с течением времени из сильной стороны превращается в слабую сторону Селина. От читателя требуется хорошо ориентироваться в современной политике и жаргоне (он должен быть читателем газет и еженедельников, их содержание обсуждается в момент создания романа, роман чрезвычайно актуализируется, время его написания можно

определить до месяца). Однако эта политическая актуальность быстро выветривается. Распадается и эфемерный «сегодняшний» жаргон. Текст начинает обрастать комментариями, призванными объяснить тот или иной пассаж. В этом отношении романы Селина скорее похожи на частную переписку двух современников, которые отлично понимают друг друга, но которые и не подозревают, что их письма когда-то получат общественное значение. Что же касается арго, то пример Селина как раз указывает на пределы его использования. Арго стареет куда быстрее нормативного языка, и опять-таки комментаторам пришлось поместить в конце трилогии целый словник арго 40—50-х годов, без которого читатель может неверно понять текст. Бывает «красивое», «благородное» старение текста, похожее на то, как темнеют краски на старинных картинках, создавая какое-то дополнительное измерение «тайны» и глубины. Вряд ли «старение» селинского текста может показаться столь «благородным»: вчерашняя мода всегда производит впечатление неэлегантности.

Кто же автор трилогии на самом деле? Предтеча неоавангардизма? Предатель? Хроникер? Жертва? Пацифист? «Добрый доктор»? Лицемер? Друг животных? Приспособленец? А может быть, все это вместе: разорванная фигура.

Горький смех Селина в трилогии вызвал недоумение и неудовольствие в крайне правом лагере французских журналистов, в котором отрицательно высказывались об издевательствах Селина над «честными французскими патриотами». Напротив, либеральная печать, а также органы сторонников Сопротивления отметили художественные достоинства романов, хотя неодинаково оценили каждый в отдельности (наиболее скептически высказавшись о последнем как о «перепеве» двух первых).

Интересная оценка содержится в словах Р. Нимье о «Севере» (их можно отнести ко всей трилогии): «Север» — скорее урок стиля, чем урок морали. В самом деле, автор не дает советов. Вместо того чтобы нападать на Армию, Религию, Семью... он постоянно говорит об очень серьезных вещах: смерти человека, его страхе, его трусости».

Эти слова характеризуют не столько даже позднего Селина, сколько его последователей из литературной группы «голубых гусар», к которой принадлежит сам Р. Нимье. Дело в том, что в пятидесятых годах наступает новая волна влияния Селина на современную французскую литературу. На этот раз от него ждут не урока экзистенциалистского отчаяния, а «урока стиля» в духе Р. Кено, противопоставляя с позиций «чистого искусства» его творчество «ангажированной» литературе.

К концу шестидесятых годов поднимается еще одна волна увлечения Селином. Селин парадоксальным образом становится близок тому поколению молодежи, которое подняло бунт в мае 1968 года против буржуазных институций Молодым писателям Селин интересен неприятием нормативного «буржуазного» языка и нигилизмом «Путешествия на край ночи», который они произвольно трактуют как антибуржуазный. Этот образ Селина, выхваченный из исторического контекста, образ безбожника и богохульника (который начинает роман «Ригодон» с того, что повествователь опровергает мнение, будто его убеждения приведут его к богу: «Клянусь, что нет!.. Боженька — вымысел попов!» — и могилу которого отказывается освятить приходский священник во время похорон) становится все более каноническим.

Селин оказывается мэтром в области стиля для широкого круга деятелей не только литературы, но и паралитературы. Его идеи преображения устной речи в прозу привлекают, с одной стороны, авторов детективных романов (особенно популярного во Франции Сан-Антонио), с другой — они влияют на произведения авангардистов. Но подражание Селину зачастую обречено на неудачу, поскольку столь яркий индивидуальный стиль способна воспроизвести лишь личность, которой он присущ органически.

Образ Селина приобретает форму литературного мифа о вечном бунтаре-одиночке, идущем наперекор всем, непонятом, затравленном, оплеванном пророке, последнем «проклятом» писателе, бывшем заключенном, ссыльном, экстравагантной личности, эстете, стилисте, тонком любителе женской красоты (особенно танцовщиц) и животных — собак и кошек. С этим мифом все сложнее бывает справиться французскому литературоведению; к тому же оно само порою способствует его распространению.

Современное поколение французских писателей, по большей части, видимо, мало волнует вопрос о «злодействе» Селина, хотя некоторые не прочь посмотреть «новыми глазами» на Сопротивление. Куда больше, пожалуй, это поколение заворожено его «гением».

Можно ли, однако, сказать, что политические аберрации Селина предопределили характер его творчества и создали феномен Селина?

Есть критики, готовые утверждать, что Селин намеренно отстаивал непопулярные, вызывающие праведное негодование взгляды, с тем чтобы попасть в униженные и оскорбленные и таким образом состояться как писатель. Сам писатель не отрицает такой мазохистской интерпретации: «И если полностью признаваться, то, коли от меня отвернулись люди, коли возникла враждебность всего мира, я не убежден, что произошло это не добровольно. Именно чтобы не стать популярным... Я не хочу сказать, что я только этого и добивался, но добился... Если бы я хотел этого избежать, было бы очень легко это сделать, достаточно было молчать... Я мандарин, если хотите, бесчестия...».

В этом заявлении есть, конечно, задним числом переосмысленное и ложно истолкованное прошлое. Но факт тот, что Селин действительно оказался «мандарином бесчестия».

Что это дало ему как писателю?

«Я одинок. Я в одиночестве, чтобы стать ближе к вещи,— утверждает Селин.— Я очень люблю объект. Сейчас больше занимаются личностью, чем вещью. Я тружусь над вещью в себе».

Селин не любил говорить о своих предшественниках. Но одно имя он называл постоянно. Это Рабле. По мнению Селина, в XVI веке произошла языковая драма. Разговорный язык Рабле отступил перед академическим стилем Амьо, «языком перевода» с ученой латыни. С тех пор нормой языка становится высокопарный, выхолощенный, «прекрасный» слог.

Особенно вопиющ разрыв между нормативным и разговорным языком в XX веке. Большое воздействие на литературу оказывают технические новшества века, особенно кино. «Нужно заметить...— пишет Селин,— что тщеславные писатели, заграничные и французские, продолжают заниматься подробностями, описывать, болтать совершенно так же, как если бы еще не существовало кино! Которое описывает, болтает, показывает в тысячу раз лучше их, идиотов!»

Селин считает, что область, принадлежавшая роману, существенно ограничивается в XX веке. Соответственно меняется его функция: «...роман больше не имеет той миссии, которую имел раньше: он не является теперь органом информации. Во времена Бальзака по нему изучали жизнь деревенского лекаря; во времена Флобера в «Бовари» находили жизнь адюльтера и т. д. и т. п. Теперь мы осведомлены обо всех этих делах чрезвычайно хорошо осведомлены и через прессу, и через суды, и через телевидение, через медико-социологические анкеты... Больше нет нужды во всем этом. Я думаю, что документальная и даже психологическая роль романа закончена, таково мое впечатление».

Что же остается роману?

«Ему остается стиль и затем обстоятельства, в которых находится человек».

В качестве примера Селин ссылается на Пруста, который принадлежал к высшему обществу и потому описывал это общество, все то, что он видел, включая мелкие драмы педерастии. По мнению Селина, «нужно поместиться на той линии, на которую вас ставит жизнь, и затем не сходить с нее, чтобы собрать все что есть, и преобразить в стиль».

Слово «преображение» получает в этой связи ключевое значение. Преображение требует больших усилий, огромной работы. Стиль не имеет много общего с красноречием, с бурным потоком разговорной речи. Нужно, чтобы «красноречие держалось на бумаге». Ради 400 страниц печатного текста исписывается 80 000 страниц. Однако читатель не должен этого замечать. Он словно путешественник на корабле. То, что творится в трюмах, его не интересует. Он наслаждается морем, коктейлем, вальсом и свежим ветром.

Каждая эпоха имеет свой стиль или, вернее, несколько своих стилей. Они дряхлеют со временем, новое поколение писателей приходит со своими стилями, высмеивая стилистические гримасы стариков.

Но что именно понимает Селин под словом «стиль»?

«Стиль образуется тогда, когда фразы легонько выходят из их обычного значения, сходят, так сказать, с петель, передвигаются и заставляют читателя передвигать их смысл. Но очень легко! О, очень легко! Потому что, если вы сделаете это с нажимом, выйдет ошибка, это будет ошибка».

Перемещение смысла требует от писателя большой осторожности и чувствительности. Необходимо, чтобы фраза вращалась вокруг оси.

Имя этой оси — эмоция.

Это центральное понятие селиновской поэтики. В его основе лежит спор Селина с начальными строками Евангелия от Иоанна. В начале, по утверждению Селина, было не Слово, а эмоция. Слово пришло потом, чтобы заменить собой (или выразить) эмоцию, как галоп заменяется рысью.

Но эмоция в литературе (ее нет, утверждает писатель, у холодного монстра—кинематографа) не означает, что писатель призван описывать «великие чувства» Сентиментальность исключается: «будучи писателем, следует иметь стыд». Самодостаточная любовная интрига изгоняется.

Эмоция толкает писателя к самовыражению. Здесь лучшей формой повествования становится повествование от первого лица, причем повествователь зачастую превращается в такую навязчивую фигуру, что ему приходится извиняться за свое «ячество».

Выбор сюжета связан с силой эмоции. Пока эмоции горячи, живы в памяти, их следует фиксировать. В отличие от классической традиции писатель вовсе не должен быть холоден как лед в процессе письма. Когда эмоции Селина носят слишком частный характер, касаются каких-то слишком мелких переживаний, воспоминаний, интерес читателя к тексту значительно ослабевает.

Эмоция преображает действительность, окрашивает ее в субъективные тона. «Колорист определенных фактов», Селин отказывается от объективного взгляда в пользу индивидуального зрения. В этом отказе содержится отход от классического реализма XIX века.

Оригинальность писателя, по Селину, состоит в том, чтобы найти «собственный эмоциональный ритм», создать свою «музычку».

Помимо музыкальной метафоры Селин прибегает к другому сравнению. Он несколько раз обращается к образу метро. Есть два способа пересечь Париж, рассуждал Селин, обдумывая роман «Путешествие на край ночи». Один — наземный, в автомобиле, на велосипеде, пешком. Тогда постоянно сталкиваешься со всякого рода препятствиями, непрерывно останавливаешься. Другой — сесть в метро и ехать прямо к цели через самую интимность вещей. Но это может произойти только тогда, когда писатель не сходит с рельс, а уверенность в том, что писатель не сойдет с рельс, дает ему ритм.

Что касается содержания, то Селин нередко сводил его к стилю, ссылаясь в основном на опыт художников-постимпрессионистов. Яблоко Сезанна, зеркало Ренуара, женщина Пикассо или хижина Вламинка — они являются стилем, который художник им придает.

«Мои книги,— считает Селин,— похожи больше на средневековый эпос. Они — песни, а вовсе не проза... Они находятся в предельном музыкально преображенном напряжении от первого до последнего слова, ни одного напрасного слога... Я пребываю постоянно в танце. Я не хожу пешком».

Есть у Селина и некоторые мысли относительно «преображения» содержания: чтобы рассказать о себе, «необходимо очернять и очерняться». Откуда такое стремление к очернительству? Вероятно, это связано с идеей проникновения в самую интимность вещей, с метафизическим планом бытия. Лишенный опор духовных ценностей, Селин не мог не рассматривать жизнь как сплошную агонию.

С тем же метафизическим планом связан источник юмористического у Селина: «Каждый человек, который говорит со мной, в моих глазах мертвец; мертвец в отсрочке, если хотите, живущий случайно и один миг. Во мне самом живет смерть. И она меня смешит! Вот что не нужно забывать: мой танец смерти меня забавляет как огромный фарс... Поверьте мне: мир забавен, смерть забавна; вот почему мои книги забавны и в глубине души я весел».

Селин никогда не приводил в порядок своих мыслей о поэтике. Он не любил философствующих и морализующих писателей, нападал на них с бранью, считал мораль прерогативой церкви, прерогативой писателя считал стиль.

Селин — разорванная фигура, стало быть, уродливая. Нет надобности принижать его литературный талант ссылками на его одиозные памфлеты. Одна сторона не должна заслонять собою другую. Нет надобности примирять противоречия Селина. Для историков литературы Селин как раз интересен своей гремучей смесью этих противоречий. Для современных писателей западных стран идейный аспект путешествия Селина на край ночи — это, может быть, самый поучительный пример того, *чего не делать*.

◆

Редакцию посетили...

Маргарет Форстер и Хантер Дэвис

Великобритания

Недавно мы встретились с двумя английскими литераторами: Маргарет Форстер и Хантером Дэвисом. М. Форстер — автор двенадцати романов, книг документальной и биографической прозы, в том числе пользующейся широким признанием читателей и критики «автобиографии» У. М. Теккерея. Советский читатель имеет возможность познакомиться с этим интересным и несколько дерзким по замыслу произведением (М., «Книга» 1986), написанным якобы от лица автора «Ярмарки тщеславия», который рассказывает о своей жизни и творчестве. (См. рецензию на это издание в «ИЛ», 1986, № 10.) Маргарет Форстер принадлежит также книга художественной публицистики «Выдающиеся сестры. Классовые корни активного феминизма, 1839—1939» (1984). Ее муж, Хантер Дэвис,— литературный критик, журналист, пишущий и на спортивные темы.

В настоящее время М. Форстер работает над новой книгой — биографией известной английской поэтессы XIX века Элизабет Баррет Браунинг. В свое время в России пользовалось широкой известностью ее стихотворение «Плач детей» — о беспощадной эксплуатации детского труда на фабриках и шахтах Великобритании.

В редакции состоялась оживленная беседа. Наши гости с интересом расспрашивали о работе журнала, поделились своими впечатлениями о встрече с Москвой и москвичами. «Нас поразило,— сказала М. Форстер,— какой Москва мирный, спокойный город».

РАССКАЗЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Перевод с итальянского
Л. А. ВЕРШИНИНА

ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО

Изо дня в день

Итальянский зритель хочет прийти в театр попозже, уйти пораньше и увидеть длинный спектакль.

Меня всегда беспокоили не те, кто приходит в театр после начала первого действия, а те, кто уходит, не дожидаясь конца третьего.

Зрители делятся на тех, кто веселится сам по себе, тех, кто веселится, если веселятся другие, и тех, кто никогда не веселится даже если другие веселятся.

В труппе есть крупные актеры, просто актеры и самодовольные глупцы.

Зритель всегда уверен, что он открыл тебя исключительно благодаря своей интуиции подлинного знатока. При всяком удобном случае он напоминает тебе, что ты должен век его благодарить уже за одно то, что он тебя открыл, признал и поддержал. Ему и в голову не приходит, сколько трудностей, лишений и разочарований ты испытал, прежде чем он открыл тебя, признал и поддержал.

Попробуйте выйти на сцену и заинтересовать зрителей своим героем, не произнеся ни единого слова. Если через минуту из зала донесется голос: «Ну и что?» — заплатите штраф директору труппы и смените профессию.

Тот, кто видит в игре сплошное развлечение, становится зрителем самого себя.

Рискуя прослыть реакционером, признаюсь, что предпочитаю театр «крупного актера» театру «крупного режиссера». Первый по крайней мере не столь дорогостоящ.

В чем театральные муки итальянского антрепренера? Как заменить на сцене один трактирчик другим.

У директора театра те же функции, что у дирижера. Он тоже поднимается на свое

Рисунки автора

ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО — EDUARDO DE FILIPPO (1900 — 1984)

Известный итальянский драматург, режиссер, актер. Многие его пьесы публиковались и ставились на советской сцене: «Неаполь — город миллионеров», «Призраки», «Филумена Мортурано», «Страх номер один», «Моя семья», «Суббота, воскресенье, понедельник», «Ложь на длинных ногах» и др. В 1983 г. издательство «Искусство» выпустило сборник его избранных пьес.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Плетеная корзинка» ('O Canisto. Eduardo De Filippo. Edizione Teatro San Ferdinando, 1971).

место, но знает, что не найдет на пюпитре нот. И все-таки дирижирует как умеет.

Главный герой пьесы — сама пьеса.

Написать значительную, социальную пьесу легко, значительно труднее заставить зрителя ее смотреть

Если ты не знаешь заранее, чего хотят от жизни персонажи твоей пьесы, то разве могут знать зрители, к чему зовут их эти персонажи?

Сколько идей может гнездиться в мозгу? Если это человек большого ума — одна-единственная если малого — множество. Из одной идеи порой возникают литературное произведение, театр, цивилизация.

В Италии драматург нуждается в «своем» зрителе, а не просто в зрителе.

Америка нам поможет

Пока готовят декорации, хочу поговорить с вами об экономической политике Обычно я люблю побеседовать с человеком с улицы; это позволяет мне передать на сцене то чувство доброты и жизненной справедливости, которым он щедро наделен. И вот однажды, гуляя по Неаполю, я встретил возчика Тотонно и спросил у него:

— Что ты думаешь о нашем финансовом положении? Как по-твоему, Америка нам поможет?

Тотонно ответил уверенно, словно он обдумывал это долгими вечерами:

— Конечно. Хочет не хочет, а поможет. Это в ее интересах.

— Почему в ее интересах?

— Очень просто, если позволите, я вам приведу один пример. Знаете историю про сумасшедшего с тарелочками?

— Нет.

— Тогда я вам все сейчас объясню,— воодушевился Тотонно.— В одном сумасшедшем доме (не знаю, почему Тотонно сравнил нынешнее положение в стране с обстановкой в сумасшедшем доме, скорее всего он имел в виду весь наш безумный мир) в большущей палате лежало с десяток больных. Кровать одного из них стояла у самой веранды, окна которой выходили в сад. У этого ненормального была безобидная и, пожалуй, даже полезная мания — он лепил во дворе из мокрой глины тарелочки. Наконец настал такой день, когда от тарелочек некуда было деться. Они лежали у бедняги-сумасшедшего под кроватью, возле столика и даже в проходе. Остальные больные с изумлением и восторгом глядели на эти горы тарелок, которые росли буквально на глазах.

— А мне тарелочку не дашь? — спросил у нашего сумасшедшего его приятель.

— Ну, а что я получу взамен?

— Денег у меня нет.

— Тогда дай мне пуговицу, а я дам тебе тарелку.

Тут все сумасшедшие принялись срывать с одежды пуговицы и покупать на них тарелочки. Прошел день, неделя, месяц, и вот наступил момент, когда у всех больных попадали штаны. Пуговицы кончились, и они уже не могли купить тарелочки. Но сумасшедший гончар, одержимый тарелочной манией, упорно продолжал их лепить. И вскоре в палате снова прохода не стало от тарелочек. Сумасшедший хотел сбыть эти тарелочки, но никто не думал их покупать.

— Друзья, вы должны купить тарелочки: ведь я сумасшедший и остановиться уже не могу — такая у меня мания.

— Да, но у нас больше нет пуговиц.

В ту ночь сумасшедший гончар не сомкнул глаз. На рассвете он собрал в саду у веранды своих приятелей.

— Друзья,— громко, с мольбой в голосе обратился он к остальным сумасшедшим.— Я всю ночь не спал, искал выход из положения. Вот вам ваши пуговицы. Отдаю их, и теперь вы опять можете покупать мои тарелочки.

МАРИО ГРАССО

Городское управление

Повестка дня была длинной-предлинной.

В тот вечер мэру нездоровилось. Он вошел в зал заседаний, кутаясь в плащ, и просипел:

— Добрый вечер, друзья.

— Здравствуйте, синьор мэр.

Городское управление было в полном составе, включая и асессора Альдо Паркилио, имевшего привычку сбегать всякий раз, когда принимались ответственные решения. За это коллеги прозвали его Неуловимый Альдо.

Адвокат Овцини, асессор по продовольственным вопросам, сидел в углу и перелистывал вечерний выпуск газеты, проклиная на чем свет стоит корреспондента, не упомянувшего о его выступлении относительно свежемороженного мяса. Остальные асессоры, сгрудились у стола, как всегда, слушали анекдоты коллеги Лисино. На этот раз он рассказал анекдот, который понравился всем, и когда вошел мэр, они попросили Лисино его повторить.

— Потом-потом,— сказал глава города и громко высморкался,— приступим к повестке дня.. Да, а где же секретарь?

— Он в соседней комнате — асессор Овцини попросил его отыскать какой-то номер официального бюллетеня за прошлый месяц.

— Есть еще время рассказать анекдот,— вмешался помощник мэра.

— Нет-нет, давайте приступим к повестке дня и, пока не придет секретарь, обсудим вопрос об одностороннем движении. Пора принять окончательное решение.

— Категорически возражаю!— воскликнул асессор по дорожной безопасности, дернувшись так, словно его укусила оса.— Хотите ограничить свободу движения?! В таком случае я немедленно подаю в отставку!

— Но вы же знаете, что печать...

— Я знаю, что на печать мне начхать. Простите, господин мэр, вы сами — журналист, но не всякое слово произносят по делу. И потом, этот вопрос не стоит в повестке дня.

— Но я имел в виду интересы граждан, мне-то самому, как вы понимаете...

— К черту граждан,— вмешался асессор Музумечи.— Кто в конце концов представляет интересы граждан?! И разве не мы являемся истинными и лучшими гражданами? А остальные пусть трудятся, на хлеб семье зарабатывают.

— Ваше утверждение,— пробурчал асессор Овцини, встав и подойдя к столу,— представляется мне, коллега Музумечи, крайностью. Да-да, это крайность, ибо разве можно всерьез утверждать, что мы первые граждане и потому способны выразить и защитить все до одного интересы избирателей.

— Я говорил не об избирателях, уважаемый коллега Овцини. Но раз вам так хочет-

---

МАРИО ГРАССО — MARIO GRASSO (род. в 1932 г.)

Итальянский поэт, прозаик, журналист. Автор сборников стихов, отмечавшихся литературными премиями, романа «Королевский филин» («Il Gufo Reale», 1968), сборников рассказов «Мельница в Ачи» («Il Mulino D'Aci». Milano, Todariana Editrice, 1972), «Самаркандские весталки» («Le Vestali di Samarcanda». Udine-Firenze, Biancamartina editrice, 1979), из которых взяты публикуемые рассказы

ся все ополитизировать, считайте мои слова крайностью. И учтите, это в буквальном смысле слова мое последнее на сегодня утверждение.

— Последнее причастие,— глупо хихикнув, добавил асессор Паркилио.

— Господа, хватит спорить по пустякам,— перекрывая все голоса, пророкотал асессор Дурино.— Пора обсудить вопрос о сооружении писсуара на виа Дей Лампиони.

— Нет-нет, дорогой Дурино,— резко возразил асессор по убою скота,— мы должны строжайшим образом придерживаться повестки дня. Но если вы хотите обсудить другие проблемы, то самая важная из них на сегодня, разумеется, цены на сосиски.

В спорах о первых гражданах, писсуарах и сосисках пролетело часа два, а договориться о том, с какого вопроса начать, господа асессоры так и не смогли.

Тем временем вернувшийся в зал секретарь успел выкурить шесть сигарет, а асессор Паркилио три раза сходил в туалет, поклявшись, что никогда больше даже не притронется к жареной телятине. Адвокат Овцини возразил, что это лишь предлог — уважаемый коллега явно не хочет голосовать относительно того, какой же вопрос обсудить первым. И тут раздался такой звук, словно заиграл контрабас. Все обернулись и увидели, что Альфио, асессор по вопросам здравоохранения и гигиены, безмятежно храпит, утонув в удобном кожаном кресле.

— Черт возьми, я же предлагал рассказать тот самый анекдот,— пробурчал помощник мэра.

— Но уже поздно, половина одиннадцатого,— робко возразил асессор Паркилио.

— Конечно, уже сто анекдотов можно было рассказать,— парировал все тот же помощник мэра.

После долгих уговоров мэр сдался и согласился выслушать анекдот, но только один и не длинный.

— Жил когда-то в аду,— начал свой рассказ Лисино,— один грешник. И вот однажды он узнал, что на земле умирает его самый близкий друг, а встретиться им не суждено, так как друг попадет в чистилище. Тогда он отважился просить у главного дьявола разрешения слетать на землю, чтобы попрощаться с другом. Сказано — сделано, вылез он из адского пламени и потребовал у дежурного дьявола отвести его к главному дьяволу. Его тут же перенесли в кабинет главного из главных — красивого дьявола, приземистого и плотного. К тому же рога у этого дьявола были поистине необыкновенные. Огромные, развесистые, прямо-таки величественные! Да, рога непостижимо великолепные даже для самого главы дьяволов. Грешник чуть было не воскликнул: «Ну и рога!» — но в последний миг удержался и лишь несмело пролепетал свою просьбу.

— Сгинь в огне! — мрачно ответил главный дьявол.

— Но, господин начальник, мне хватит и пяти минут. И потом, это мой лучший друг. Ради вашей любви к матери отпустите меня.

— Сказано тебе — сгинь в огне. У дьявола не бывает матери!

— Умоляю вас. Хотя бы из любви к вашим сестрам.

— Не приставай, сгинь в огне. У дьявола не бывает сестер.

— Тогда из любви к вашей уважаемой жене, господин главный. Сделайте такую милость.

— Вот пристал. Сгинь в огне. У дьявола не бывает жены.

Грешник совсем уже было пал духом и покорился судьбе, но, подойдя к двери, обернулся и сказал:

— Господин начальник, приказы, конечно, не обсуждаются, и я подчиняюсь... Только очень было бы любопытно узнать одну вещь. Вы уж не сердитесь, господин начальник, за мою назойливость, но если у вас нет жены, откуда же появились эти красивые рога?

Из-за позднего времени, а главное, сложности обсуждаемых вопросов, заседание городского управления было перенесено на следующий день.

Воскресенье и сто патронов

Сегодня понедельник. На улице дождь. Коллега Спурио просил передать, что у него грипп и он пришлет завтра медицинское свидетельство. Вот что значит быть в чести у начальства! Сам начальник вошел к нам с неизменной улыбкой; ведь начальники, как и модные поэты, улыбаются, даже когда им тошно.

Батареи опять не работают.

Мой друг Евросевер говорит, что в Гамбурге светит солнце. Он знаток погоды почти на всех континентах. Каждую неделю отправляется в путешествие — улетает в субботу вечером и возвращается в понедельник первым же рейсом. На службу он является с завидной точностью и уже минуту спустя принимается рассказывать о викингах и о нравах, царящих в Северной Италии и в Северной Европе. Счастливый человек — сразу и путешествует, и ума-разума набирается.

В полдень, как всегда, выпил стакан молока. Многие утверждают, что это бурда, но для меня это — молоко. По крайней мере по цвету.

Коллега Раппа явно пудрилась впопыхах — заметил это по ее носу.

Мой друг Корнелио наверняка все еще лежит в постели. Должно быть, сладко спит. Он принадлежит к иной социальной категории — не работает, не платит налогов, ибо не имеет недвижимого имущества. Но зачем ему недвижимое имущество? Он неизменно прикрывается знаменем очередной правящей партии и потому, когда встанет, первым делом отдаст приказ.

Вторник. Забавный сегодня выдался денек. Мой друг Евросевер рассказал одну из своих бесчисленных историй. Каждое утро он приносит какую-нибудь новость, все больше из уголовной хроники. С обезоруживающей бесцеремонностью вмешивается в разговор и обрушивает на нас очередную

сенсацию — дело о зверском убийстве, биржевой крах, внезапную смерть популярного актера при таинственных обстоятельствах. А заканчивает неизменным: «На службу же я, друзья мои, являюсь из чисто спортивного интереса — побегать по коридорам. Неплохая зарядка, правда?» Мы криво улыбаемся. Впрочем, мы тоже бегаем — в кабинет к начальнику по вызову.

Позвонил мой друг Валерио. Сказал, что прочел мою комедию и даже не поленился проверить, не совпадает ли она по содержанию с романом, который я написал два года назад. Потом спросил, не создал ли я еще какое-нибудь бессмертное творение, а то он готов снова проверить возможные совпадения. Да, друзья у меня один лучше другого.

Этот невежда, наш мэр, женился на дочери инженера Биотти, между прочим, моей недавней невесте. Все правильно — от бывшего жениха к настоящему мэру.

Денег опять не хватает, ведь жалованье мне давно не повышают, а я, болван, пока замещал помощника начальника, не догадался украсть ни лиры. А вот у моего друга Корнелио — машина и шофер: он встает ровно в двенадцать часов, в карманах у него по миллиону, и каждое его слово, даже самое пустое, на вес золота.

Встретил Джованну Раппа с новым любовником.

Наш депутат в одиннадцать утра отправился в парикмахерскую. За ним стайкой летели подхалимы и прихлебатели с выражением блаженства на лице. Да, ожидание подачки делает людей счастливыми.

Среда. Решил смотреть на все философски, как бы отстраненно. Начал с такой посылки: я глупец, мир ужасен, так что ж теперь — умирать? Находятся, однако умники, которые принимают все всерьез. Вот уж возомнили о себе!

Все-таки приятно, когда начальство тебя замечает. От радости весь даже съеживаешься. Ведь обычно начальство либо глядит мимо, либо принимает тебя за телеграфный столб.

Наш коллега Куальо со второго этажа пришел в новом костюме и очень боится, как бы мы не обратили на это внимание.

Синьорина Дзокки по-прежнему ни с кем из нас не здоровается. Но и синьора Бьянки, а у нее диплом экономиста, тоже с нами не здоровается. А почему? Ну, надо же как-то заявить о себе и выделиться — закон жизни.

А вот синьор Бракко, чиновник группы «А», упорно не здоровается только со мной. Похоже, относит меня к разряду червей. Сам он паук, но с положением. В нашем мире животных это главное.

Мой друг Евросевер говорит, что по его заказу один викинг строит ему ладью, точно такую же, как у Эрика Рыжего. Он явно хочет стать морским снобом.

Предвыборную речь нашего депутата слушало полгорода. Все яростно хлопали в ладоши и вопили дурными голосами: «Эввива!» А завершил этот циркач свое выступление старым как мир трюком. С пафосом воскликнул: «Да здравствует свобода, справедливость и демократия!» Бурная овация.

Эта жареная рыба застряла у меня как кость в горле. Причина? Узнал, что мог бы купить ее за полцены, скажи я продавцу, будто я друг господина Корнелио.

И сегодня не собрался в кино — заснул у телевизора.

Четверг. Мои коллеги могли бы быть и поумнее. Я-то заранее знал, что начальство ответит отказом. Хочешь что-нибудь выклянчить, делай из слона муху. Ведь мухе бросить крошку не жаль.

Бедный Евросевер! Он верит, что ему верят. Но ведь и Корнелио, и даже наш паяц-депутат всерьез верят, что их принимают всерьез.

Пятница. Придется все-таки этот зуб вырвать. Гнилой зуб — даже не болезнь, а родовое проклятье. Мой друг Евросевер умеет утешить всех и каждого — чужая глупость всегда утешительна.

Если бы не пятница, я бы влюбился в красивую девушку, которую встретил на улице. Но я человек суеверный, как, впрочем, и все чиновники группы «Б» и «В». Недаром же народная мудрость гласит: «В пятницу тот, кто жизнь понимает, не влюбляется и не уезжает». Как жаль, что я не встретил ее днем раньше!

Опоздал на минуту, и мне объявили выговор — таков приказ начальства. Приказания отдает и Корнелио, проснувшись в двенадцать часов дня. Для него время — деньги, даже когда он спит. А мне после семи утра спать не положено — категория не та.

Кстати, на сколько категорий делятся люди? Паяцев и зрителей? Воров и обкраденных? Бедных и богатых? Тех, для кого работа хобби, и тех, для кого она обязанность?

Суббота. Сегодня счастливый день для моего друга Евросевера. Дневным рейсом он улетел в Финляндию, где прежде не был. Он говорит, что на одни авиационные билеты тратит в месяц сумму, равную шести жалованьям. Хочу ему посоветовать — чем приходить на службу, он мог бы платить жалованье четырем человекам, ну, скажем, красивым девушкам. Они бы вместо него отсиживали полный день на службе. Ну, а Евросевер летал бы в другие страны лишь раз в месяц, и у него оставалось бы еще целое жалованье. Правда, мы бы меньше знали о пейзажах Скандинавии, но это с лихвой компенсировалось бы видом красивых девушек.

Сегодня вечером наш депутат парламента прилетает из Рима последним рейсом. Кто улетает, а кто возвращается: не жизнь, а вечное движение. Завтра и я уеду из города. Возьму ружье и отправлюсь на охоту.

Воскресенье. Половина одиннадцатого — кругом полевые цветы и луга, воздух чистейший.

Корнелио, конечно, встал куда раньше обычного, чтобы первым встретить в холле господина депутата.

Мой друг Евросевер, верно, яростно торгуется с викингом — строителем лодок а-ля Эрик Рыжий.

На службе никого, полная тишина. Какой чудесный день!

Беру ружье, патронтаж со ста патронами и начинаю стрелять. «Эта пуля вам, господин...» Нет, слишком велик выбор. Не

подскажете ли вы, дорогие читатели, с кого начинать?!

Новые аппараты

В передней первого гражданина нашего городка посетителю сразу же преграждало путь объявление: «МЭР ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ПО НЕЧЕТНЫМ ДНЯМ».

Однако представитель «Американ Уэнсер Траст» не желал считаться с этим предупреждением.

— Я бы не настаивал, если б господин мэр отсутствовал. Но раз уж он у себя в кабинете, то доложите обо мне. Ведь меня привела сюда любовь к вашему городу.

Секретарь пребывал в растерянности. Костюм, манеры и сам тон незнакомца произвели на него сильное впечатление.

— Боюсь, как бы господин мэр меня не выгнал, даже не выслушав. Он сегодня в плохом настроении.

— Но, дорогой мой, скажите ему, как только войдете, что приема просит командор Бениньи, главный и единственный представитель «Американ Траст» в Европе.

Наконец секретарь решился. Вошел и через минуту вернулся довольный, с сияющим лицом.

Командор сделал знак негру, который в ожидании сидел в коридоре с папкой в руках, и небрежно объяснил секретарю, перейдя на «ты»:

— Не беспокойся, он со мной — принес образцы нашей продукции.

И командор, сопровождаемый негром, твердым шагом проследовал в кабинет.

— Добрый день, глубокоуважаемый господин мэр. Меня зовут Телемако Бениньи, я представитель «Американ Уэнсер Траст». А этот негр — опытный техник, демонстрирующий продукцию нашей фирмы.

— Прошу вас, командор, прошу, очень рад с вами познакомиться. Садитесь... да, оба садитесь.

Командор Бениньи не стал терять времени даром. Тут же принялся излагать потрясающие планы компании, которая удостоила его великой чести быть ее единственным представителем в Европе и главное — в Италии.

— «Американ Уэнсер Траст» одна-единственная запатентовала и производит необыкновенные, уникальные аппараты, которые ваш славный сицилийский город может теперь приобрести.

Телемако Бениньи говорил горячо, убежденно, и лицо мэра все больше светлело. А какой у этого Бениньи красивый голос! Все, начиная от костюма, туфель, галстука и кончая прической, отличалось редкой изысканностью.

— Увы, наш бюджет скуден,— пожаловался господин мэр.

— О, речь идет о полезности и редкой эффективности нашего устройства. При чем тут бюджет, господин мэр? Красивая девушка не нуждается в приданом, для хорошего коня всегда найдется седло.

— Конечно, конечно. Это я так, к слову,— извинился мэр.— Я, знаете ли, отлично разбираюсь в самых разных устройствах и всяких там аппаратах.

— Прекрасно, всегда приятно иметь дело со знатоком. Так вот...

И Телемако Бениньи начал во всех подробностях объяснять устройство аппарата.

— «Орел» — обратите внимание: само название говорит о многом — предназначен для поимки летучих мышей. Это удивительное, неподражаемое устройство. В Европе его имеет только Париж.

— Да, но...

— Никаких «но». Париж и прилегающие районы. Подумайте, какой это произведет фурор! О вашем городе заговорят все газеты. Второй Париж.

— Это весьма интересно. Однако есть одна проблема — у нас летучих мышей днем с огнем не найти. Их просто нет.

— Вы меня недооценили, господин мэр. Так же как находчивость и мудрость «Уэнсер Траст». Аппарат, который мы вам сейчас продемонстрируем,— тут он сделал знак негру,— способен не только изловить летучую мышь, но и приманить ее, и околдовать. Смотрите, приступаем к показу.

Техник-негр вынул из коробки диковинный аппарат, похожий на транзистор, нажал на красную кнопку вверху и поставил его на пол. Минуты две спустя из аппарата донесся пронзительный прерывистый свист. Столь сильный, что он буквально раздирал уши. Мэр сидел в полнейшей растерянности. Потом не выдержал и заткнул уши пальцами.

— Потерпите еще немного, господин мэр, сейчас произойдет важная трансформация.

И правда, еще через минуту комната наполнилась странным сильным запахом, напоминавшим запах гнилой трески. Мэр совсем растерялся. Он морщился и прижимал к носу платок.

— Выключи,— приказал командор технику-негру и сразу же стал объяснять все тайные свойства «Орла».

— Едва аппарат включается в сеть, как со свистом начинает кружиться опахало. Этот пронзительный звук не что иное, как эротический призыв летучей мыши-самки. Тем временем пластинка сопротивления нагревается и сжигает соединенную с ней парафиновую прокладку. Сгорая, эта прокладка издает неповторимый манящий запах. За одну ночь на главную площадь вашего города слетятся все летучие мыши Италии.

Мэр от изумления разинул рот.

— Господин мэр, поставьте свою подпись... вот тут. Подобная трата облагородит ваш бюджет. Ну а платить нашей фирме вы сможете частично наличными, частично векселями. Достаточно слегка повысить налоги и привлечь банки. Граждане вашего города будут счастливы внести свой вклад.

Мэр, поколебавшись немного, подписал. Что же до денег... Он их, конечно, выбьет у жителей города, даже если придется ввести особый налог на летучих мышей.

◆

© 1979 by Biancamartina editrice, Udine-Firenze

Среди книг

Издано в СССР

РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАДЕЖДЫ ЭСЫ ДЕ КЕЙРОША

Жозе Мария Эса де Кейрош. Избранные произведения в двух томах. Перевод с португальского. Предисловие и комментарий С. Ереминой. Москва, «Художественная литература», 1985.

«Под легким покровом вымысла — могучее нагое тело истины» — этот эпиграф к роману «Реликвия» можно поставить ко всему творчеству Эсы де Кейроша (и не зря эти слова высечены на памятнике писателю в Лиссабоне). Что касается вымысла, то Кейрош мастерски пользуется приемами развлекательной литературы, его романы захватывают читателя с первых же страниц. Роковая любовь, желание и невозможность для героев быть вместе, смерть от любви, пикантные сцены — в романах Кейроша есть все, чтобы развлечь невзыскательного читателя, не особенно утомляя его рассуждениями о «высоких материях». Действительно, о чем роман «Преступление падре Амаро»? О том, как молодой священник соблазняет свою прихожанку приличную девицу из буржуазной семьи? Об ухищрениях, к которым им приходится прибегать, чтобы сохранить в тайне «преступную» любовь? О трагической развязке этой любви — смерти Амелии и (не без содействия Амаро) их новорожденного сына? Если попытаться пересказать сюжет романа «Семейство Майа», также вошедшего в двухтомник «Избранных произведений», то история получится не менее увлекательная: отпрыск древнего аристократического рода, не обремененный необходимостью завоевывать место под солнцем, растрачивает энергию на пирушки, любовные приключения, одно из которых (самое значительное в его жизни) заканчивается сенсационным открытием: возлюбленная Карлоса, с которой он решил связать жизнь, оказалась его родной сестрой, разлученной с ним еще в детстве.

Разумеется, не эти столь выигрышные сюжеты и захватывающие дух истории определяют постоянный интерес к творчеству португальского писателя и ставят его произведения в ряд лучших созданий португальской и мировой литературы. Более внимательному читателю за чисто внешними эффектами, за «вымыслом» откроется особый, кейрошевский мир: его не оставят равнодушным философские, историко-культурологические, социальные проблемы, которые волновали писателя. Гуманистическая направленность его творчества не потеряла актуальности и в XX веке.

Эса де Кейрош начинал писать как романтик, и многие принципы романтической эстетики проявились и в зрелом периоде его творчества: «Избранные произведения» представляют преимущественно этот период — элементы фантастического, вплетающиеся в ткань реалистического повествования; романтическая ирония — от насмешливо-горькой до лирически-грустной; пантеистическое восприятие мира, в большей или меньшей степени характерное для всего творчества Кейроша; постоянный поиск и утверждение Идеала. Протестуя против литературы «маленьких страстей, воспетых вполголоса», где из всех звуков необъятного универсума слышен лишь шорох «юбок Эльвиры», писатель формулирует основы литературного творчества, свое понимание главной задачи литератора: правдивое, объективное отображение действительности. Но, обратившись к действительности, он видит перед собой «мир цвета плесени», мир ханжей и лицемеров, над умами и чувствами которых властвуют падре Амаро и ему подобные; противостоять же им честные люди не в состоянии —

«нет героя». Им не может быть ни серый, «маленький человечек» Теодоро из повести-притчи «Мандарин», который, получив несметные богатства (и неограниченные возможности), попросту не знает, что с ними делать, ни плут и лицемер Теодорико из романа «Реликвия». Карлос да Майа и Жоан да Эга («Семейство Майа»), Фрадике Мендеш («Переписка Фрадике Мендеша»), Жасинто (новелла «Цивилизация», впоследствии переработанная писателем в роман «Город и горы») — остаются личностями несостоявшимися, дилетантами в жизни.

В современной действительности героя нет, и Кейрош вспоминает о древних мифах, вложив в них свое понимание предназначения человека. Речь идет о новелле «Совершенство» и вставной новелле в романе «Реликвия». В первой Кейрош обращается к одному из эпизодов странствий Одиссея — пребыванию на прекрасном острове нимфы Калипсо. Все, что окружает Одиссея,— совершенно, и кажется, смертному больше не о чем мечтать. Но герой тяготится праздностью и окружающим совершенством, потому что главное для него — деятельность, несущая добро, сознание того, что в его силе, уме, защите кто-то нуждается; его место — в несовершенном, обыкновенном мире, который Улисс-Одиссей любит во всех его несовершенных проявлениях. «Какая нужда тебе в тепле моего сердца...— говорит он Калипсо.— Я ни разу не почувствовал, что моя сила тебе необходима». Сюжет вставной новеллы в «Реликвии» — казнь Иисуса Христа. Главное, что хочет подчеркнуть Кейрош, Христос — обыкновенный человек, не лишенный недостатков и ошибок, «всего лишь мечтатель», но мечтает он о преобразовании мира, о том, чтобы «сделать его добрее». Деятельное Добро — вот что, по мнению Кейроша, должно определять человеческие отношения и личностную ценность.

Однако в современной действительности героя все-таки нет. Поэтому роман «Преступление падре Амаро» завершается символической сценой: «деятель государства и два столпа церкви» — падре Амаро, каноник Диас и граф де Рибамар,— стоя у подножия памятника Камоэнсу, гордости португальской нации, воспевшего ее в момент величия и славы, самодовольно созерцают панораму центральной площади Лиссабона, восхищаясь «оживлением, благоденствием, миром и довольством». На самом деле картина этого «благоденствия» весьма мрачна: бледные, дряблые лица и вялая походка прохожих «говорили о вырождении целой нации», запряженная тощими волами телега и изможденный рабочий люд были «живыми символами» хиреющих ремесел и вековой отсталости, молодой дворянин на хилой кляче олицетворял жалкие остатки разоряющегося и вымирающего португальского дворянства. Между этой сценой и завершающим эпизодом романа «Семейство Майа» — пятнадцать лет, но Карлос да Майа и Жоан да Эга видят перед собой все ту же картину — слегка изменившийся, подновленный центр города, апатичные лица и развинченная походка прохожих, огромные гербы на потрескавшихся стенах дряхлых особняков, в которых «в злословии, молитвах и за игрой в биску доживало последние дни худосочное и спесивое дворянство». Да и сами герои — обладатель в прошлом «сатанинской» внешности, а ныне слегка полысевший и потрепанный Эга и «средневековый рыцарь» с уже наметившимся брюшком Карлос — прекрасно вписываются в то общество, устои которого они собирались потрясать. Грандиозные планы их юности так и остались только планами, милыми и грустными воспоминаниями о той поре, когда Эга призывал к «истреблению буржуа, к любви, свободной от оков брака, к раздаче земли крестьянам» и даже «к культу Сатаны», а Карлос чувствовал в себе невероятное «кипенье сил», но (с иронией замечает Кейрош) не мог определить точку их приложения. И, подводя итоги, Карлос и Эга приходят к выводу, что они «проиграли жизнь», что не стоит труда делать шаг навстречу чему бы то ни было на земле, потому что, как говорит Екклезиаст, все кончается разочарованием и прахом. Это уже отнюдь не проповедь священника Амаро, лицемерно призывающего к «смирению», а «теория жизни» лучших представителей, цвета нации — «побежденных жизнью» (так в 90-е годы называли себя представители поколения 70-х, к которому принадлежал и Кейрош). Что касается Амаро, то он не упускает случая хоть чуть-чуть продвинуться в осуществлении своих честолюбивых мечтаний — получить приход побогаче или вообще перебраться в столицу, исповедовать прекрасных и изысканных дам, владеть их душами и тайнами. А энергии и упорства, которых в конечном счете так и не хватило Карлосу, ему не занимать.

Однако чем пристальнее вглядываешься в этих, казалось бы, совершенно непохожих друг на друга людей — Карлоса да Майа и падре Амаро,— тем больше проступает некая парадоксальная их общность, своего рода «точка пересечения» разнокачественных и разноцелевых личностей. Общее — то, что мешает Карлосу осуществить прекрасные планы и толкает Амаро на его преступные, некрасивые поступки,— эгоизм. Отнюдь не тот эгоизм-честолюбие, который движет героями Бальзака и Стендаля, определяет их как натуры сильные и яркие. Измельчание, «дегероизация» героя в романах Кейроша — отражение общей тенденции западного реалистического романа второй половины XIX века. На смену Сорелю и Гобсеку пришли Фредерик Моро, сэр Уилоби Патерн, Жорж Дюруа, а в Португалии «героями дня» оказались столь разные и столь похожие Карлос да Майа и падре Амаро.

Однако, несмотря на все разочарования Кейроша-человека, Кейрош-художник не только не стал пессимистом и скептиком, резонером и нигилистом, но сумел противопоставить «дегероизированной» действительности свой идеал, гуманистические принципы (может быть, и несколько абстрактные). В определенном смысле для Кейроша его герои — модель, персонификация той или иной авторской идеи, хотя он безусловно чужд дидактичности, декларативности. Он часто использует принцип аргументации от обратного, свои симпатии и антипатии преподносит с определенной

долей иронии, и только по качеству, по характеру этой иронии можно определить истинное отношение автора к герою или проблеме. В «Переписке Фрадике Мендеша», одном из самых концептуальных, замечательных романов Кейроша, есть фраза, во многом объясняющая истоки оптимизма писателя: «...пока в нашей стране живет мысль, пусть способность действовать в ней умерла,— все равно, страна эта еще не стала трупом... Да, работа мысли многообразна; не все ее проявления равно блистательны, но все они показывают, что породивший ее народ жив».

Думается, что оригинальность решения философско-эстетических проблем и их общечеловеческая значимость, блестящий стиль Кейроша (а переводы в целом более или менее адекватны оригиналу), увлекательные сюжеты несомненно доставят истинное удовольствие и неподготовленному читателю. К сожалению, в двухтомник не смогли войти ни роман «Переписка Фрадике Мендеша», ни «Знатный род Рамирес», но без этих романов представление о творчестве португальского писателя все же неполно. А ведь еще в 20-е годы было задумано и начато так и не осуществившееся полностью собрание сочинений Эсы де Кейроша...

Е. ГОРБАНЬ

ИТАЛЬЯНЦЫ, ЗАГОВОРИВШИЕ ПО-РУССКИ

Вернисаж. Стихи итальянских поэтов. Перевод с итальянского. Составление и вступительная статья Е. Солоновича. Москва, «Радуга», 1986.

Пожалуй, мы несколько устали от антологий зарубежной поэзии — классической и современной. Нынешние книгоиздатели скупятся на бумагу, стихи разных поэтов налезают друг на друга, и перед нами не ансамбль солистов, а массовка, в которой хорошо если узнаешь знакомые лица да заметишь своеобразные. Трудно выловить что-то по-настоящему близкое, созвучное — а ведь именно для этого в конечном счете читаем мы книги.

После весомых, что и говорить, томов БВЛ и других солидных антологий мы стали ждать сборников отдельных поэтов — и с радостью прочли томики Эудженио Монтале, Алена Боске, Марка Брата, Роберта Лоуэлла. (Однако здесь нас подстерегает опасность: издатели подчас издают отдельными книгами стихи и тех, кто может претендовать лишь на скромное место в антологиях самого широкого охвата). В недавнее время читательские симпатии привлекли «малые антологии», где поэтов немного и каждый из них (или почти каждый) переведен «своим» переводчиком. Книга «Молодые голоса» («Радуга», 1981), посвященная наисовременным представителям французской поэзии, привлекла читателей и принципами отбора, и общим уровнем исполнения. «Вернисаж», мне кажется, подхватил эти веяния и успешно претворил их в жизнь.

Сборник приглашает нас на встречу с «полотнами» тридцати итальянских поэтов, чьи даты рождения располагаются от 1903 до 1957 года и чьи стихи, за исключением Данило Дольчи, никогда ранее по-русски не публиковались. Обширная экспозиция разбита на два «зала»: в первом расположились работы поэтов постарше, тех, кого можно причислить к «отцам», а во втором — произведения «детей», и «внуков», впрочем, тоже. Составитель помог нам ориентироваться во временных рамках, когда мы внимательно всматривались в незнакомые еще черты этих «полотен»...

В первом же стихотворении открывающего сборник сицилийца Лучо Пикколо поэзия заявляет о своих правах как особый мир: «... где наши кромешные будни /сложились в свои лабиринты/ на грани воронок молчанья, /на тоненькой ниточке смысла...» (перев. Е. Солоновича). В последнем стихотворном цикле сборника принадлежащем перу «внука», еще не достигшего тридцатилетнего возраста Валерио Магрелли, выражена мысль об «орудийных» свойствах поэтической речи, когда нужно «принимать в расчет не только /вид этого дома,/ но и его философию» и, следовательно, подбирать «литургическую фразеологию» (перев. Е. Костюкович). Наследуя великую традицию итальянской поэзии, восходящую не только к Данте и Петрарке, но и к первым сонетам сицилийской школы, современные итальянцы не могут не задумываться о том, какими средствами станут они передавать образы, будоражащие их сознание.

Еще Батюшков говорил о том, что итальянский язык, «гибкий, звучный, сладостный... образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными... сделался способным принимать все виды и все формы». Нынешние поэты научили его быть по-разговорному неопрятным, непричесанным, по-молодежному отрывистым и резким, но сохраняя прочие достоинства — по мере необходимости.

Прямых связей с итальянской классической поэзией мы на страницах этого сборника не почувствуем, разве что случайно всплывет по-новому трактованная трубадурская тема («Раз я тебя люблю» К. Черголи), или прорвутся романтические интонации в разговоре о звездах (стихотворение «И вьюжит, и вьюжит, и кружит ..» Ф. Лоя). Или вырвется наружу высказывание о том, что от куртуазной поэзии «веет выхлопами отработанной страсти», впрочем содержащими «залежи смысла» (В. Цейкен, перев. Е. Солоновича). Зато прямые, кровные связи с итальянским кино, давшим человечеству прежде всего шедевры Феллини (и еще многое другое), ощущаются настойчиво и регулярно. И вовсе не в стремлении к точности зарисовок, впечатляющей законченности отдельных кадров, но в органичной пластичности образов, в дерзком и властно-мастерском монтаже.

Поэты нет-нет да напомнят о всевластии кино, этого детища XX века, и прямыми

репликами: «Искусства народного нет, есть только надсада /в разогретом кино по экрану яркие краски»,— выкрикнет Антонио Порта (перев. Н. Котрелева). «Негатив нескончаемых кинолент — /дух времени —/ кокон слова, скукоженная мертвая гусеница,/ воспроизводит себя в миллионах цветовых пятен»,— скажет мрачно Фабио Допликер, рисуя картину затуманенного ужасом сознания (перев. О. Пахлевской). «За ближним наблюдай из кинотемноты» — так предлагает строить отношения с действительностью Анджело Лумелли (перев. Е. Мирской); Маурицио Кукки, уточняя рассказ, действует как оператор: «плавная панорама. тусклый кадр» (перев. Е. Солоновича).

Или вспыхнут перекличками с образами Феллини отдельные стихи, или пассажи из книги великого режиссера вспомнятся как комментарий к образам итальянских поэтов. В сгущенной гротескности, органично соединенной с какой-то закругленной, мягкой лепкой образа в стихотворении Раффаэлло Бальдина «Подпись», угадываются контуры памятных кадров «Амаркорда». И откликаются отсылами к тому же «Амаркорду» и «Репетиции оркестра» строчки Франко Корделли из «Вечных деяний»,— о природе массовых празднеств, когда «непрестанно/ меняются взятые с потолка координаты», «завтрашний день вцепляется в волосы сиюминутной эпохе» (перев. А. Эппеля).

Поэты «Вернисажа», выполняя, по выражению Феллини, «роль соединительного шва между бессознательным и сознанием», с полной мерой ответственности перед своим талантом, который дает им возможность выразить невысказанное другими, «стараются делать то, что они умеют делать».

Мария Луиза Спациани как бы соединяет сгущенность лирических образов с прозрачностью световоздушной среды, в которой живут эти образы. Они могут быть по-борхесовски укоренены в насыщенной взаимосвязями почве мировой культуры — как сундучок Робинзона — в стихотворении «Польза памяти». Или, отрываясь от этой почвы, уходить в сферу открытого чувственного начала. «Шквал, от которого коробит синтаксис...», определяющий взвинченные и непрерывно-настойчивые ритмы одного из стихотворений, все же не выворачивает наизнанку сознание поэта, способного чувствовать «гармонию в природе как дань безмолвию» (перев. Е. Солоновича).

Банальные, даже ходульные образы голубков и орлов наполняются непростым содержанием в контексте стихов Франко Лоя, где «сгустело время, не успев протечь». Мускулистые, наполненные энергией слова обретают какую-то плотскую осязаемость в стихотворении, которое читается как притча об искусстве и его мнимых связях с пошлостью жизни («Поэты и творцы, фантазии собратья...»). В другом стихотворении снег низвергается на землю и делает местность по-феллиниевски «размытой», «колеблющейся, неопределенной»: «...и булками снега завален/ простак олеандр и кусты, птичьи гнезда, крыла /блистанье и тени, и кружево без перебоя,/ причуды молчанья, дрозды без числа, /рассеялись, порскнули...» (перев. Г. Русакова).

Иронично усмехается Карло Вилла: Дега просит выхлопотать ему пропуск на репетицию в Опера, чтобы хоть раз посмотреть вьяве на своих «голубых танцовщиц», которых он доселе писал, «и близко их не видев»,— и за нехитрыми словечками письмеца скрывается вера в безграничность фантазии художника, в обезоруживающую убедительность его вымысла. Уже без усмешки, острым скальпелем препарирует поэт незащищенность ребенка перед «все понимающими» взрослыми и его отчуждение — «законный итог сиротства» при живых и «заботливых» родителях. И в самих ритмах рассказа, полуразговорных-полуджазовых, «раскручивает» зашедшее в тупик сознание невротика, которого «буквально осадили /вещи, непрестанно торжествующие победу,/ горланящие, что их взяла» (перев. Н. Котрелева).

Бок о бок, на расстоянии всего лишь в страницу, живут образы, почти взаимоисключающие. В стихотворении Мело Френи, где «уже давно отцокали копыта по камню, отшлифованному морем», «где вдоль моря, как когда-то /Розария бежит взметая брызги/ и у нее в глазах огонь заката /скала шушукающаяся с морем/ и пальцы держат розу» (перев. Е. Солоновича), угнездились наши ассоциации с лирикой Сафо и Феокрита по соседству с отголосками античных и армянских стихов Мандельштама. А у Антонио Порты речь идет об «озлобленных пинках и пятнах чернил», о том, что при конфликте юнца с обществом встает угроза насилия, и тут уж в наше ассоциативное поле вторгаются кадры из фильмов Бертолуччи и Антониони.

Как бы жестка ни была окружающая поэтов действительность, большинство из них стремятся победить упадок духа. И хотя «законы страха» (одноименное стихотворение Дж. Рабони) имеют власть над людьми и разрушают человеческие связи, хотя ужас заставляет их видеть в своей неприкаянности конец света и причитать, что «смерть поэтов неотвратима... в царстве убийственного для духа страха» (Д. Беллеца, перев. Е. Солоновича), побеждает позиция трагического стоицизма, сохраняется достоинство духовной осмысливающей самое себя личности, а истерика обуздывается верой в реальную силу добра.

Примечательных стихов в сборнике много, и сила их воздействия на читателя велика. Хочется при этом напомнить, что эта сила не в последнюю очередь определена мастерством переводчиков.

Традиция усвоения итальянской поэзии русской литературой, начатая еще Г. Державиным, а в XX веке блистательно развитая А. Ахматовой (Леопарди), достигла того момента, когда поэты чужой страны входят в наш обиход «с пылу, с жару», без долгого ожидания. Вслед за классиками XX века — У. Саба и Дж. Унгаретти, Э. Монтале и С. Квазимодо — к нам пришли многие поэты сегодняшней Италии, и этому нельзя не радоваться.

А. ПАРИН

Издано за рубежом

ПАМЯТИ ПОЭТА

Nichita Stănescu. Album Memorial. Bucureşti, Viaţa Românească, 1984.

Никита Стэнеску. Мемориальный альбом, 1984.

Эта книга, не так давно вышедшая, уже стала библиографической редкостью. Она целиком посвящена памяти одного из крупнейших поэтов современной Румынии, Никиты Стэнеску.

Мы его еще недостаточно хорошо знаем, хотя в 1984 году вышел томик его избранного — «Стихи» (изд. «Художественная литература», составление и предисловие Ю. Кожевникова). Имя Никиты Стэнеску впервые появилось в «Иностранной литературе» около двадцати лет назад, в 1968 году,— и с тех пор в журнале и других изданиях все чаще появляются его стихи (его переводили известные наши поэты — Б. Окуджава, Б. Слуцкий, Ю. Левитанский, Е. Винокуров), о нем писалось в статьях и рецензиях. И все-таки, повторяю, настоящее понимание масштабов его наследия нам еще предстоит.

Если вкратце попытаться определить качественно новое, что он внес в румынскую поэзию, то прежде всего бросаются в глаза необычайная свобода, раскованность, размах его вдохновения. Отличный мастер традиционного стиха, он редко пользовался его канонами — стихотворение выливалось в ту прихотливую форму, которая возникала вместе с замыслом. Метафорический язык Никиты Стэнеску кажется непредсказуемо своевольным, лишь по мере освоения его художественного стиля постигаешь и глубину мысли, и современность мироощущения и направленность его поисков. Если для лирического стихотворения часто характерна локальность (чувства, наблюдения, мысли, образа), то у Никиты Стэнеску даже поэтическая миниатюра стремится быть всеохватной — она, словно капля, которая легко и сразу отражает в себе небо и солнце. Его стихи больше чем поэзия, они — целокупная вселенная тревожной души современника, человека второй половины двадцатого столетия. Потому творчество Никиты Стэнеску перешагнуло национальные рамки, стало общим достоянием, оно отмечено не только Государственной премией СРР, но и международными премиями Гердера и Стружских поэтических вечеров. В 1980 году Никита Стэнеску был предложен Шведской академией кандидатом на Нобелевскую премию наряду с О. Элитисом, М. Фришем, Л. Сенгором и Х. Борхесом (лауреатом стал О. Элитис).

Никита Стэнеску по-хозяйски уверенно владел словом и в то же время он целиком отдавался стихии, был так охвачен стремительным прозрачным пламенем поэзии, что югославский поэт Адам Пуслоич, переведший на сербскохорватский многие его произведения, сказал мне, ошеломленный (после того как всю ночь слушал новые стихи Никиты): «Это уже не человек, это только поэт».

Знали, что он большой поэт, и все-таки, когда умер, поразились, словно в первый раз заметили, какой он был. Почему — был? Он существует, он весь обозрим, как страна,— она дая тебя становится все больше, по мере того как ее узнаешь...

Я пишу эти высокие слова, но они никак не утешают: я знал и любил его. Приезжая в Румынию, я спешил к нему. Никогда уже не будет этого. Так случилось, что я был у него в гостях за три недели до его внезапной смерти, он успел узнать, что в Москве подписана в печать его книжка, он с нетерпением ждал ее, строил планы на весну, собирался с женой попутешествовать по нашей стране, спрашивал, куда лучше, где интереснее...

Это был поэт большого таланта, человек открытого щедрого сердца. И была в нем удаль — не русская ли, от матери Татьяны Никитичны, родившейся в 1910 году в Воронеже в семье Черячукиных, чей род тянется из донских краев? Он жил широко и упоенно, с какой-то неутоленной жаждой, удивлявшей всех, кто его знал. «Цель творчества — самоотдача»,— сказал Пастернак. Самоотдача Стэнеску была такой безудержной, будто он горел. И сгорел, едва достигнув пятидесяти лет...

К годовщине его смерти, в декабре 1984 года, вышла замечательная книга в 500 страниц крупного формата, называющаяся «Никита Стэнеску. Мемориальный альбом», издание литературного журнала «Вяца Ромыняскэ». Создатели этой книги — составитель и редактор — поэт Георге Томозей, поэт и переводчик, главный редактор журнала — Иоаникие Олтяну, поэт и прозаик, ответственный секретарь журнала — Георге Питуц, художественный редактор — Янош Бенчик.

Эту книгу нельзя читать без волнения. Она создана людьми, которые умеют любить и чтить память поэта. О ней трудно рассказывать — ее нужно видеть, держать в руках, читать и перечитывать.

Книга открывается вступительным словом Иоаникие Олтяну, затем следует эссе самого Никиты Стэнеску, озаглавленное «Автопортрет» (1982), где он, в частности, пишет:

«Человек свою индивидуальную обособленность искупает словом, являющимся всеобщим органом человечества, если не единственной его сущностью, разбитой на бесконечные существительные и глаголы, произносимые всеми смертными земного шара... Поэзия поэта высвобождает сокровенную поэзию каждого. Величие поэта растет по мере того, как читатели открывают в нем не его самого, а самих себя». Под этими пророческими словами стоит дата: «Сегодня». Это непреходящая дата, это — мир, в котором живут душа и творчество поэта.

В книге сотни фотографий, сотни страниц воспоминаний, огромный биографический и литературоведческий материал, сот-

ни неопубликованных стихотворений Стэнеску и десятки стихотворений, ему посвященных. В книгу вложен художественный плакат с его портретом, его подписью и стихотворным автографом, который начинается так:

Только это не забудьте:
что он был человеком живым
живым
и его можно было пощупать рукою...

В книге россыпь рисунков, гравюр, множество факсимильных воспроизведений текстов, снимки античных монет — Никита Стэнеску был страстным нумизматом,— так случилось, что одной из его последних прижизненных публикаций было предисловие «Богини носили бусы» к книге Иона Доною «Женские образы на римских монетах». Коллекционер — это понятие, как правило, никак не связывается с щедростью, но, вопреки самой сущности собирательства, Никита Стэнеску, любя кого-нибудь, становился расточительным, он в порыве сердечности дарил и раздаривал. Он раздавал и книги. Прочитанные, они на полках не задерживались, куда-то исчезали безвозвратно (кроме самых любимых, насущных, а таких было немного), даже не было у него комплекта своих авторских сборников. На мой недоуменный вопрос — как же можно так, не иметь под рукой всех своих изданий, мало ли для чего могут понадобиться? — он полушутя ответил в том смысле, что если его книги чего-то стоят, то родина их сохранит и в любой момент одолжит ему нужное издание.

Где бы он ни жил, двери его были открыты днем и ночью, творчество превратилось то ли в круглосуточное празднество, то ли во всепожирающий огонь жертвенника. К Никите Стэнеску шли друзья, знакомые и незнакомые.

Только в последние годы, когда он поселился на улице Амзей, на дверях его квартиры появилась вежливая записка (жаль, что я не переписал ее слово в слово!): тот, кто собирается постучать в эту дверь, пусть подумает и о том, что хозяин обители при всем его гостеприимстве и радушии тоже нуждается в некотором времени для одиночества и сосредоточенной работы...

Невозможно перечислить имена всех, кто участвует в этой книге. Они собрались во множестве, их больше, чем могло поместиться когда-либо в доме поэта. В этой книге сошлись, пожалуй, все имена, которыми гордится современная румынская культура,— целая антология художников слова, деятелей искусств. Эта книга — пример полиграфического искусства, издательской оперативности, но прежде всего и превыше всего пример настоящей любви румынского народа к своему большому поэту.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Carlos Fuentes. Gringo viejo, México, ed. Fondo de Cultura Económica, 1985.
К. Фуэнтес. Старый гринго, 1985.

Все лучшие произведения Карлоса Фуэнтеса посвящены судьбе мексиканской революции 1910—1917 годов — точнее, ее нынешнему социально-политическому «резонансу», связям и конфликтам революционного поколения с поколением последующей эпохи. Таковы, например, «Смерть Артемио Круса»[1] и «Сожженная вода».

Действие нового романа Фуэнтеса «Старый гринго» тоже происходит в годы мексиканской революции. Действуют в нем три основные персонажа: один из которых — мексиканец Томас Арройо, полковник революционной Северной дивизии, той, что командовал знаменитый Панчо Вилья. Остальные два — американцы: молодая девушка Харриет Уинслоу и старый писатель Эмброз Бирс, конкретное историческое лицо, исчезнувший в разгар революционных событий в Мексике при невыясненных обстоятельствах. Фуэнтес предлагает читателям роман-гипотезу, роман-разгадку, вернее — свое объяснение причин возможной гибели Бирса.

События в романе, личность героев, их реальная духовная жизнь предстают в восприятии одного из персонажей произведения, в данном случае — Харриет Уинслоу, по профессии учительницы. Ее воспоминания и отношение к происходящему в известной степени придают достоверность фабуле, создавая у читателя эффект соприсутствия.

Харриет воспринимает мексиканскую революцию по-своему. Она чувствует себя чужой и смотрит на происходящие события как бы со стороны. Выросла она в состоятельной семье и не знала бедности. Смысла революции она не понимает, да и не стремится к этому и видит лишь неизбежную жестокость бескомпромиссной борьбы. Она замыкается в мирке своих переживаний и воспоминаний, пытаясь уяснить себе самой свои поступки, свою грустную, бессодержательную жизнь, а вместе с тем она не может избавиться от чувства ненависти к уехавшему в Гавану отцу.

Бывший пеон, полковник Томас Арройо, тоже ненавидит своего отца: тот не признавал его сыном и обрек на тяжелую крестьянскую работу в асьенде. Желая добиться справедливости и получить свою землю, Томас присоединяется к Панчо Вилье. Однажды, оказавшись неподалеку от родных мест, он временно завладевает пустующим домом отца, нарушая приказ Панчо Вильи действовать вместе с основными вооруженными силами революции. Дело в том, что Томас нашел документы, подтверждающие его права на владение домом и землей. Свидетелями его находки стали Бирс и Харриет, с которой Томас вскоре сближается.

С Харриет он искренен и нежен. Однако ей Томас кажется весьма сложным и противоречивым: он одновременно может быть добрым, но способен на грубость и жестокость. По-разному они воспринимают жизнь и смерть. Томас считает, что смерть — это естественное завершение жизни, Харриет, напротив, страшится смерти и полагает, что вся жизнь — это упорное сопротивление ей.

Томас суеверно опасается Бирса, даже

[1] «ИЛ», 1965, № 7—8.

убеждает Харриет, что тот должен умереть: «Никто его не звал. Он не наш. Не верит в революцию. Хочет умереть. Он мне страшен...» Бирс, как явствует из романа, был уставшим от жизни, уже старым, одержимым мыслью о смерти человеком. Единственным его желанием было — не погибнуть впустую, однако погиб он не в бою. Томас убивает его выстрелом в спину. В отряд приезжает Панчо Вилья. Узнав о случившемся, он приказывает расстрелять Томаса Арройо. В итоге смерть настигла и «старого гринго», искавшего смерть вне родины, и молодого патриота-генерала. В живых остается Харриет, которую любили и мексиканец и американец. Ей писатель отвел роль некоего третейского судьи в большом моральном и социальном споре.

Трактуя факт бесследного исчезновения Бирса, писатель далек от мысли предложить какой-то определенный вывод — он просто показывает, как и чем живут его герои, рассказывает об их вере в революцию, об их надеждах и разочарованиях. Весьма многозначительна символика романа: на сожженные солнцем земли Мексики хлынул дождь, однако не может он сразу оживить бесплодные пески пустыни. Дождь в пустыне, бесследно теряющийся в ее песках, по мысли автора романа, символизирует пока несбывшиеся мечты, но жизнь по-прежнему идет вперед, не останавливаясь. Фуэнтес не лишает читателя надежды на лучшее будущее.

В романе чувствуется злободневная политическая заостренность, направленная против агрессивного вмешательства в дела революционной Мексики — но, разумеется, американского империализма в целом, а не «старого гринго». Роман — первая попытка воссоздать с помощью художественного вымысла трагическую судьбу замечательного американского сатирика, непонятого на родине и, очевидно, погибшего на чужой земле, чаяниям народа которой он симпатизировал. Не исключено, что «жажда смерти» у старого американца, о которой пишет К. Фуэнтес, объяснялась горьким разочарованием в обманувшей его, как и многих других писателей США, «американской мечте».

ДАЛИЯ МЕНДОСА
Мексика

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПРЕМИЯ СОВЕТСКОМУ ПЕРЕВОДЧИКУ

Одним из первых лауреатов учрежденной в Австрии Государственной премии в области художественного перевода стал советский переводчик и литературовед С. К. Апт.

Как сообщает газета «Винер цайтунг», в речи по случаю присуждения премии федеральный министр просвещения Австрии Мориц назвал художественный перевод «реальным ответом на проблему вавилонского смешения языков». Он особо отметил выполненный С. К. Аптом перевод эпопеи австрийского писателя Роберта Музиля «Человек без свойств» (главы из нее были опубликованы в «ИЛ», 1983, № 9).

Подлинными достижениями переводческого искусства явились и такие работы С. К. Апта, как романы, также печатавшиеся на страницах «ИЛ»: «Степной волк» Германа Гессе и «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша.

БОЛГАРИЯ

ПЕРВАЯ КНИГА НОВОЙ БОЛГАРИИ

По давней традиции в Национальный музей болгарской литературы, пишет еженедельник «АБВ», часто обращаются любознательные читатели. Вопрос одной десятиклассницы поставил сотрудников музея в затруднительное положение. Она спрашивала, какая книга была издана первой после 9 сентября 1944 года — после победы народного восстания, положившего начало новой, социалистической Болгарии. Как установил сотрудник музея Тодор Ризников, маленький стихотворный сборник «Человеческие волнения» вышел в Благоевграде (тогда еще — Горна Джумая). Книгу написал НА-ВЛА-МИ (под этим именем скрывался Нако Владимиров Мицов — автор популярных афоризмов и учитель с многолетним стажем). 9 сентября 1944 года его первая и единственная книга была уже набрана, но после встречи с горскими партизанами он написал еще одно стихотворение — «Человек и новое время» — и отнес его в типографию, поэтому книга вышла 11 сентября. Тираж составил всего 1200 экземпляров распространял сборник сам «бай Нако» и его друзья.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ КОНАН ДОЙЛ

«Сэр Артур Конан Дойл, человек скромный и разумный... никогда, верно, не думал, что в один прекрасный день ученые мужи вытащат на свет божий письма, которые он написал более полувека назад»,— шутливо замечает Хью Грин в рецензии, опубликованной в журнале «Лиснер» в связи с выходом в свет книги «Неизвестный Конан Дойл: письма в периодическую печать». Книга эта подготовлена английскими литературоведами Джоном Гибсоном и Ричардом Грином.

Три года назад Гибсон и Грин издали библиографию произведений создателя Шерлока Холмса — солидный труд в семьсот страниц, затем опубликовали его «Эссе о фотографии» и «Рассказы», не вошедшие ни в один прижизненный сборник. И вот теперь — книга писем, принадлежащих перу писателя, которого, констатирует Хью Грин, «спустя более полувека после его смерти мы можем смело назвать великим, не боясь ничьих возражений».

Каким же предстает перед читателем Конан Дойл — публицист, чьи выступления на страницах английской и американской прессы являются, как правило, откликами на общественно-политические и литературные события того времени? «Качества, наиболее характерные для автора,— пишет Х. Грин, — любознательность, здравый смысл, либеральность взглядов... Он не был, как Герберт Уэллс, мечтателем, его волновали факты, конкретика, реальность». Вот, к примеру, первое письмо: Конан Дойлу было двадцать лет, он работал ассистентом врача в Бирмингемской клинике. Будущий писатель гневно выступает против применения в медицине неапробированного, вредного препарата. А спустя несколько лет он обрушивается на «цензоров-любителей» — двух лондонских книготорговцев, распорядившихся изъять из продажи книги известного ирландского писателя Джорджа Мура. В последнем письме, опубликованном «Дейли телеграф» в день смерти Конан Дойла, он пишет о причинах провала Дарданелльской операции 1915—1916 гг.

ВЕНГРИЯ

«ГДЕ-ТО В СИБИРИ»

Под таким заголовком в журнале «Кёнььвилаг» напечатана статья историка и писателя Ференца Ботки — отклик на новое издание книги Родиона Марковича «Сибирский гарнизон», выпущенной в будапештском молодежном издательстве.

В 1926 году один довольно известный адвокат из города Сатмар, рассказывает Ф. Ботка, опубликовал в рождественском номере газеты «Келети уйшаг» обра-

щение к читателям. Адвокат сообщал, что хочет написать роман о «детище-уроде» первой мировой войны — о плене. Переживания тех, кто побывал в плену, могли бы составить огромный эпос, говорилось в обращении, и писать его надо так, как когда-то создавался великий греческий эпос, — коллективно, собрав воедино тысячу красок, тысячу печалей плена, тысячу мозаичных осколков. Автор обращения просил тогдашних своих товарищей по несчастью прислать на его адрес воспоминания, дневниковые записи, письма, фотографии, газеты, выпускавшиеся в лагерях, поделки, рисунки, сделанные в плену.

«Не правда ли, совсем неплохой замысел?» — спрашивает у сегодняшних читателей Ференц Ботка. Адвокат Родион Маркович, инициатор обращения, хотя и в своеобразной форме, но уже несколько лет восстанавливал воспоминания о плене. Сидя в сатмарском кафе «Виктория», он рассказывал тем, кто подсаживался за его столик, о долгом пути через всю Россию в Сибирь, о лагере «Красная речка» близ Хабаровска.

В первые же недели Маркович получил несколько десятков писем, дневников, воспоминаний и сразу взялся за работу. Газета «Келети уйшаг» по горячим следам стала публиковать главы «коллективного романа-репортажа». Нашелся и издатель, который, используя газетный набор, напечатал книгу. Книга попала в Будапешт, писатель и критик Лайош Хатвани позаботился не только о новом ее венгерском издании, но и об издании на немецком языке. Потом последовали переводы на английский, французский языки. За короткое время роман «Сибирский гарнизон» был переведен на 14 языков и принес автору широкую известность.

Эта книга, пишет Ботка, впервые рассказала о переживаниях людей, оторванных от родины — а их было около полумиллиона,— об их «гарнизонной», совершенно особенной жизни. В книге Р. Марковича, продолжает Ф. Ботка, рассказано и о «днях, которые потрясли мир» и круто изменили судьбы многих пленных. Родион Маркович, к примеру, вступил в Красную Армию, был в составе Первого интернационального полка, которому было поручено взять на себя охрану знаменитого «золотого поезда» и сопроводить это золото в Казань, где оно прежде хранилось. Позднее Р. Маркович рассказал об этом в книге «Золотой поезд».

«Может ли сегодняшнего читателя тронуть некогда имевшая огромный успех, а теперь незаслуженно забытая книга?» — спрашивает автор статьи и с уверенностью отвечает: «Да, может. Неповторимая манера изложения, зримые, яркие образы, глубинное знание материала не оставляют читателей равнодушными. Надеюсь, что новое издание книги поможет ей наконец занять подобающее место среди лучших произведений, написанных о плене».

ГДР

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Очередной, 21-й фестиваль пролетарского искусства состоялся в городе Магдебурге. В нем приняло участие около 24 000 человек — профессиональные артисты, художники, писатели и участники самодеятельных коллективов, народных театров. Более 700 программ было показано в домах культуры, в театрах и концертных залах. Были организованы выставки изобразительного искусства, встречи с писателями.

Магдебург — родной город известного поэта Эриха Вайнерта. Газета «Нойес Дойчланд» рассказывает о программе, которую посвятил памяти Вайнерта ансамбль его имени: читались стихи, исполнялись песни на стихи поэта, были разыграны небольшие сценки по произведениям Вайнерта.

Как всегда, к фестивалю приурочили присуждение премий Объединения Свободных немецких профсоюзов. Премии получили писатели Иоахим Новотный «за литературное творчество в целом, в особенности за сборник рассказов «Любовное свидание», Бенито Вогацкий за романы «Шутовской наряд» и «Охота на ласточек», Герхард Хольц-Баумерт за книгу «Чудаковатая родня», Катрин Ланге за радиопьесы, Кристина Барнхаузен за репортажи и очерки.

Премий удостоены также Вальтер Хайновский и Герхард Шойман за документальный фильм о Чили, художник Рольф Мюнцнер за серию графики «Война — мир», ансамбль имени Эриха Вайнерта.

ИНДИЯ

ИНТЕРВЬЮ С АМРИТОЙ ПРИТАМ

В специальном выпуске, посвященном литературам Индии, французский журнал «Кензен литтерер» публикует интервью с известной индийской поэтессой и писательницей Амритой Притам, автором 25 романов и 20 сборников стихов. Ее произведения опубликованы на 16 индийских и на многих европейских языках (см.

ДАНИЯ

«Спектакль «Сирано — печальный мушкетер», поставленный театром «Трибунен» по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», был тепло принят зрителями во время гастрольной поездки театра по стране»,— пишет театральный обозреватель газеты «Ланд ог фольк» Ранди К. Педерсен.

На сцене оживает бессмертный образ Сирано де Бержерака, остроумного задиры и дуэлянта, и образы тех, кого он любит, высменивает, ненавидит. Главный герой сражается с ложью, лицемерием, ограниченностью, и здесь он беспощаден. Но в своей трагической любви к Роксане он рыцарственен и трогателен.

«Режиссер Торбен Йетсмарк стремился сохранить исторический колорит пьесы и в то же время придать ей современное звучание, — отмечает в «Ланд ог фольк» Ранди К. Педерсен.— Это классическая постановка в лучшем смысле слова».

На снимке: сцена из спектакля «Сирано — печальный мушкетер».

(Газета «Ланд ог фольк»)

«ИЛ», 1979, № 10; 1982, № 11).

«Я начала писать очень рано: моя первая книга увидела свет, когда мне было шестнадцать,— говорит Амрита Притам.— В этом же году я вышла замуж за человека, с которым была помолвлена с четырех лет. В юности я стала свидетельницей и в какой-то степени участницей сопровождавших раздел Индии кровавых событий, которые вынудили меня бежать из родного Лахора».

— В каждом из ваших произведений звучит тема страдания. Может быть, она и определила особенности вашего творчества? — спрашивает корреспондент «Кензен литтерер» Франс Юзер.

— Да, я видела немало страданий. Легче выразить свои страдания, рассказать о них, чем носить их в себе. По впечатлениям того времени был создан роман «Скелет». Его перевели недавно на английский язык, в Югославии по нему поставили радиопьесу. «Раздел Индии был подобен отделению плоти от кости, нам достался только скелет,— объясняет название своего романа Амрита Притам.

Отвечая на вопрос корреспондента, трудно ли в Индии женщине быть писателем, Амрита Притам говорит: «Еще несколько лет назад это было очень нелегко. Критики судили не столько книгу, сколько поведение женщины, которая ее написала. Когда я в нарушение религиозных предписаний постриглась и переоделась в европейское платье, мои книги изъяли из библиотек религиозных учебных заведений».

— Вы руководите литературным журналом «Нагмани» («Мелодия»), основанным вами в 1966 г. Как бы вы охарактеризовали современную индийскую литературу?

— В Индии существует древняя поэтическая традиция. У нас очень любят стихи. Вечера поэзии, которые могут продолжаться до утра, собирают множество слушателей. Роман — жанр для нашей литературы новый, пришедший к нам из Европы. Я думаю, что современная литература не может довольствоваться лишь описанием действительности, она должна увидеть то, что находится за окружающей нас реальностью,— перспективу. Поэтому одну из своих книг я назвала «Путешествие от действительности к действительности».

ИТАЛИЯ

УЧИТЬСЯ ИГРАЯ

Живой интерес итальянской критики вызвали два неожиданных литературных дебюта. Эти книги весьма различны по содержанию, зато их «биографии» схожи. Их авторы — провинциальные учительницы, решившие послать свои первые литературные опыты известным писателям. Ответы последовали незамедлительно: Себастьяно Васкалли рекомендовал книгу Эрсилии Дзампони для публикации в издательстве «Эйнауди», Пьетро Читати направил новеллы Марты Морацини в издательство «Лонганези».

Подзаголовок книги Дзампони гласит: «Изучайте итальянский, играя словами». Само название перевести сложнее, ибо «агитировать примером» автор начинает уже с него. Название книги — анаграмма сочетания «игры словами», приблизительно означающая «Драконы-словотворцы».

История создания книги такова. Намереваясь посвятить один из уроков словесности текстам популярных песен, Дзампони решила выяснить мнение известного поэта Франко Фортини о специфике этого жанра. Затронутые в ходе разговора проблемы словотворчества увлекли Дзампони всерьез. Она принимается штудировать «Грамматику фантазии» Джанни Родари, обращается к языковым экспериментам французского писателя Рэймона Кено и группы УЛИПО, поэтической практике Андре Бретона, коллажам и каллиграммам Гийома Аполлинера. Э. Дзампони и сама принимается сочинять лимерики, акростихи, липограммы (тексты, не содержащие определенной буквы). «Если замена одной буквы в слове совершенно меняет его значение, то в самом деле, почему не представить язык как огромный архипелаг словостровков?» — пишет в рецензии на книгу Дзампони, опубликованной газетой «Унита», известный поэт Джованни Джудичи, отмечая, что зрительные образы, манипуляции словами помогают школьникам быстрее и глубже постичь внутренние законы и выразительные возможности языка. Стимулирующая фантазию игровая методика, которую применяла Дзампони, знакомя своих учеников с самыми разными пластами языка — от броских газетных заголовков и текстов рекламных плакатов до поэтической классики, включая Данте, — оказалась весьма эффективной. Более 70 учеников — слушателей спецкурса, организованного Дзампони в 1982 году, — стали, по существу, соавторами книги. Она полна находок столь остроумных и свежих, что в своем предисловии известный литературовед и писатель Умберто Эко назвал ее «средоточием удовольствий».

Пять новелл Марты Морацини, составившие сборник «Девушка в тюрбане», поразили П. Читати умением начинающей писательницы мастерски создавать таинственную атмосферу, в которой действуют довольно загадочные персонажи. Морацини признается, что плохо ориентируется в современной литературе и очень любит классику; ее стиль несколько архаичен, но именно это, по отзывам критики, и составляет его прелесть. Среди главных героев новелл есть и исторические лица — Моцарт, Карл V, но Морацини, по ее словам, не привлекает собственно исторический жанр: ей нравится «путешествовать» по разным эпохам, воссоздавая их на свой собственный лад.

«Книги Э. Дзампони и М. Морацини, выросшие из опыта преподавания, напоминают нам, что процесс обучения непременно должен быть творческим, включать в себя эксперименты», — пишет в еженедельнике «Эспрессо» Марио Фортунато.

КУБА

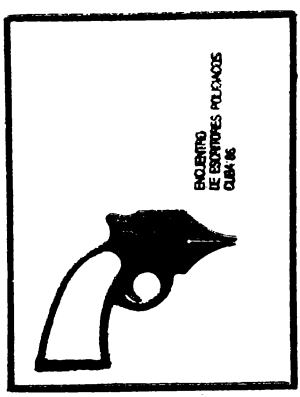
ТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ — ДЕТЕКТИВ

В Гаване состоялась Международная встреча писателей, работающих в жанре детектива. По сообщению газеты «Гранма», в ней приняли участие более 80 авторов из разных стран мира. Были прослушаны доклады на темы: «Детективный роман как часть идеологической борьбы за новое общество», «Теория и практика кубинской детективной прозы», «Детективная литература социалистических стран, опубликованная на Кубе», «Детективный роман в Латинской Америке и на Кубе, в частности».

«Гранма» информирует читателей о том, что в рамках встречи были проведены обсуждения, дискуссии, конференции. Отмечается, что большим успехом пользовались книжные выставки и ярмарки, где жители кубинской столицы могли встретиться с авторами популярных произведений. Телевидение Кубы организовало серию передач, посвященных этой международной встрече. В кинотеатрах Га-

Эмблема Международной встречи писателей, работающих в жанре детектива.

(Газета «Гранма»)



ваны были показаны кубинские и зарубежные детективные фильмы. В эти же дни были объявлены результаты проведенного журналом «Опина» конкурса на самые популярные на Кубе роман, книгу рассказов и документальную повесть на детективный сюжет. По итогам опроса читательского мнения победителями признаны А. Корреа («Досрочное убийство»), Л. Р. Ногераса («Если завтра я умру») и Х. К. Фернандес («Все остается тайной до определенного дня»). В связи с присуждением ему премии «Опина» Арнальдо Корреа дал корреспонденту «Гранмы» интервью, в котором выразил уверенность, что «детективный роман благодаря своей особой популярности открывает возможность идеологического воздействия на самые широкие читательские массы». Писатель поддержал высказанное в некоторых докладах мнение: «В ближайшем будущем во всех или почти во всех значительных литературных произведениях будут использовать детективные сюжеты».

К Международной встрече писателей был приурочен выход первого номера журнала «Энигма». На его страницах опубликованы отрывки из романов Н. Наварро, Б. Ресио, Х. К. Фернандеса, рассказ Г. Гарсиа Маркеса, интервью с Ю. Семеновым и Б. Райновым. Несомненный интерес, по оценке «Гранмы», представляет помещенная здесь же библиография кубинской детективной литературы. Отныне журнал будет выходить три раза в год.

НИДЕРЛАНДЫ

ГОЛОС МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ

Американский еженедельник «Ньюсуик» поместил сообщение о выходе полного текста «Дневника Анны Франк». Как известно, впервые эта книга была опубликована в 1947 году и принесла ее автору (Анна Франк погибла в концентрационном лагере в возрасте 15 лет) посмертное мировое признание. «Это был голос шести миллионов исчезнувших с лица земли душ. Новое издание придало этому голосу более индивидуальную окраску»,— пишет «Ньюсуик».

Волнующий рассказ о трагической судьбе еврейской семьи, скрывавшейся от фашистов в Амстердаме и погибшей в нацистском лагере, был одним из первых образцов документальной литературы, которая пережила небывалый взлет в послевоенные десятилетия. «Ньюсуик» отмечает, что у этого дневника была и другая характерная черта, особенно ярко проявившаяся при полном издании,— необычные для того времени и столь юной девушки «феминистские» высказывания. Анна задумывалась и над социальным положением женщины. «В прошлом, а нередко и в наши дни,— писала она,— женщина занимает в обществе гораздо более скромное место по сравнению с мужчиной. И мне хотелось бы знать причину этой несправедливости. На долю женщины выпадает больше боли, страданий и больше трудностей, связанных с рождением детей, чем на долю любого героя войны». Необычны для юного возраста и размышления Анны о любви: «До конца дней рядом с человеком должен быть тот, кто его понимает...»

ПОЛЬША

ГАРДЗЕНИЦЕ

Так называется небольшая деревушка недалеко от Люблина и расположенный здесь Экспериментальный театральный центр, о котором рассказывает критик Лидия Вуйчик на страницах ежемесячника «Театр». Руководствуясь концепцией «расширения театрального пространства», создатель Центра Влодзимеж Станевский не случайно сделал в 1978 году этот живописный уголок, где в течение многих веков «пересекались» культурные традиции многих народов, постоянной базой своего «театра на колесах». «Мы должны стремиться к новой, «естественной» театральной среде,— таково кредо режиссера.— А для этого необходимо выйти за пределы здания театра и города и обратиться к людям, свободным от привычных шаблонов восприятия и поведения».

Творческая программа коллектива реализуется в трех формах: это «поездка», или, как говорят актеры, «путешествие к людям»; «сбор», возрождающий традиции совместного участия в обряде, пении; и собственно спектакль. Центр осуществил три постановки: «Вечерний спектакль» по «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле (1978), «Гусли» по мотивам поэтической драмы Адама Мицкевича «Дзяды» (1981) и «Житие протопопа Авваакума» (1984). Структура представлений, в основу которых ложатся собранные во время «поездок» и «сборов» образцы фольклора, остается подвижной. Неизменно одно: все спектакли начинаются в сумерки и продолжаются при свечах до глубокой ночи. Это, по мнению режиссера, дает возможность «сломать» привычные представления о времени и пространстве. Обязательными элементами постановки, как всякого обрядового действа, являются музыка, пение, танец.

«Наибольший интерес в деятельности «Гардзенице» представляет все то, что сопутствует театру,— отмечает Лидия Вуйчик,— то есть та культурная среда, в рамках которой театр соприкасается с общественной жизнью». Одинаково важны и сами спектакли, считает Л. Вуйчик, и все, что связано с ними: подготовка к представлению, разговор за чашкой чая в деревенской избе. Самое главное — это человеческое общение, контакты актеров и зрителей, совместные переживания.

США

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ЭЛИС УОКЕР

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг, которого называют «королем Голливуда», экранизировал известный роман Элис Уокер «Цвет багряный». В книге молодой негритянской писательницы описывается полная тягот и лишений жизнь чернокожей женщины по имени Силия, которая в четырнадцать лет была изнасилована собственным отцом, лишилась своих детей, долгие годы жила с мужем, влюбленным в ее сестру, и которая тем не менее сумела сохранить веру в себя и чувство собственного достоинства.

Роман составлен в форме писем, и фильм Спилберга, занимающий более двух с половиной часов экранного времени, тоже состоит из слабо связанных между собой сцен, каждая из которых имеет свою мораль, но, как пишет обозреватель английской газеты «Гардиан» Дерек Малколм, «каждый эпизод приправлен изрядной долей юмора, спасающей зрителя от скуки...». Рецензент отдает должное высокому профессиональному мастерству Спилберга, сумевшему достичь в экранизации искренности и простоты, отличающих и роман Элис Уокер.

Вместе с тем критика предъявляет фильму ряд претензий. По мнению ряда обозревателей, в картине плоско и однозначно изображены отношения между супругами в негритянских семьях. Неудачны, как считает Дерек Малколм, и «африканские» эпизоды, показывающие жизнь сестры Си-

Вупи Голдберг в роли Силии.

(Газета «Гардиан»)

лии Нетти, которая вышла замуж за миссионера.

Однако фильм имеет несомненный успех как в США, так и за пределами страны, его посмотрели уже многие миллионы зрителей, пишет Д. Малколм. Успеху картины в немалой степени способствует и блестящий актерский ансамбль. Главную роль успешно сыграла молодая актриса Вупи Голдберг.

Несмотря на популярность у зрителей, фильм «Цвет багряный», представленный за режиссуру и игру актеров к одиннадцати «Оскарам», не получил ни одного. По мнению другого обозревателя газеты «Гардиан», Майка Байгрейва, причину этому следует искать в дискриминации, которой подвергается в Америке «черное кино».

ФРАНЦИЯ

НЕТРАДИЦИОННЫЙ МОЛЬЕР

Известный французский режиссер Роже Планшон поставил на сцене Национального Народного Театра классическую комедию Мольера «Скупой» (1668), сообщает журнал «Нувель обсерватёр».

Идея создания нового сценического варианта пьесы давно ставшей хрестоматийной, возникла у режиссера после его неудачной попытки экранизации «Скупого». На этот раз прекрасному актеру Мишелю Серро Планшон предложил сыграть Гарпагона, хорошо известная советским зрителям актриса театра и кино Анни Жирардо работает над ролью Фрозины. В спектакле заняты и молодые «звезды» — представители нового течения в актерской школе современного французского театра — Ф. Леруа-Больё (Марианна), П.-Л. Ражо (Клеант) и другие.

Такой подбор исполнителей явился полной неожиданностью для театральной критики, но на самом деле он не случаен: кажущаяся «несовместимость» актеров вполне соответствует оригинальности творческого метода Р. Планшона. «В нетрадиционной трактовке Планшона мольеровская комедия обретает новую жизнь,— пишет критик журнала «Нувель обсерватёр» Нита Руссо. — Зловещему великолепию Гарпагона противостоит дерзкая юность». Н. Руссо восторженно отзывается о творческой атмосфере, в которой рождается спектакль. Однако сам Роже Планшон более сдержанно говорит о своей работе: «Сделать предстоит еще много. И главное — получилась бы комедия. Главное — чтобы было смешно!»

Сцена из спектакля по пьесе Мольера «Скупой». В роли Фрозины — Анни Жирардо, в роли Гарпагона — Мишель Серро.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ЯПОНИЯ

КАБУКИ СНОВА В ЕВРОПЕ

С традиционными формами японского национального театра европейская публика познакомилась сравнительно недавно — в последние тридцать лет, но за этот период она увидела все основные

Тамасабуро Бандо в гриме и костюме.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

классические жанры драматического искусства Японии: средневековый театр масок но, театр марионеток бунраку и, конечно, кабуки — наиболее современный из видов традиционной драмы, зародившийся лишь в начале XVII века как театр простонародья. Кабуки — это танец, изысканные, полные глубокой символики жесты, наконец, это пение...

Гастроли театра кабуки за рубежом всегда встречает волна благодарных откликов в прессе. Так было и в этом году, когда на сцене парижского концертного зала «Могадор» в течение двух недель шли спектакли знаменитого «Кабуки-дза» из Токио. Видный обозреватель французского журнала «Нувель обсерватёр» Жан Лакутюр недаром называет кабуки «театром пластики и лиризма, театром мгновений»: по его мнению, изяществом сценического рисунка мизансцены спектакля напоминают ожившие японские гравюры. Скупой и сдержанный язык кабуки привел в восторг французскую публику. Как пишет Жан Лакутюр, «кабуки не пытается соперничать с Чеховым и Жюлем Ренаром, зато он поражает нас, ослепляет, интригует, вызывает слезы...»

Становление кабуки неразрывно связано с именем Мондзаэмона Тикамацу, «японского Шекспира», но на сей раз труппа привезла в Париж пьесы менее известных в Европе драматургов — Дандзюро Итикава (1660—1704) и Цуруя Намбоку (1755—1829).

Внимание любителей театра привлекла игра двух прославленных актеров «Кабуки-дза» Тамасабуро Бандо и Такао Катаока, которая, по оценке известного театрального критика Ги Дюмюра в журнале «Нувель обсерватёр», «превосходит по

мастерству и виртуозности всё, что европейскому зрителю доводилось видеть».

Тамасабуро Бандо, самый известный из живущих ныне актеров кабуки,— «оннагата», то есть исполнитель женских ролей (их, по средневековой традиции, играют мужчины). «Тамасабуро мало грима, парика и кимоно, чтобы передать женственность,— пишет Ги Дюмюр.— Все его тело, с головы до ног, участвует в своеобразном неподвижном танце, в этом таинстве, которому не в силах подражать самые великие из наших танцовщиц».

Вся жизнь артиста кабуки посвящена только одному — постижению сокровенных глубин актерского ремесла. Жан Лакутюр на страницах «Нувель обсерватёр» вспоминает известную историю о том, как тридцатилетний Дандзюро VIII (наследники старинных актерских династий, подобно монархам, присоединяют к имени цифру) покончил с собой за несколько часов до премьеры, боясь, что не сможет соперничать в искусстве с семью Дандзюро, игравшими ту же роль до него.

Неповторимый мир кабуки, высокое мастерство исполнителей произвели глубокое впечатление на французов. По словам Ги Дюмюра, «Тамасабуро и Такао преподали западной публике прекрасный урок театрального искусства».

Такао Катаока и Тамасабуро Бандо в спектакле по пьесе Дандзюро Итикава «Наруками».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ, (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 22.08.86. Подписано в печать 15.10.86. А 05413. Формат 70×108 1/16. Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 26,56.

Тираж 475 000 экз. (1-й завод: 1—425 000 экз.) Зак. 3032.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ПЬЕР ЖЕСЬЕ «Клоуны».

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394